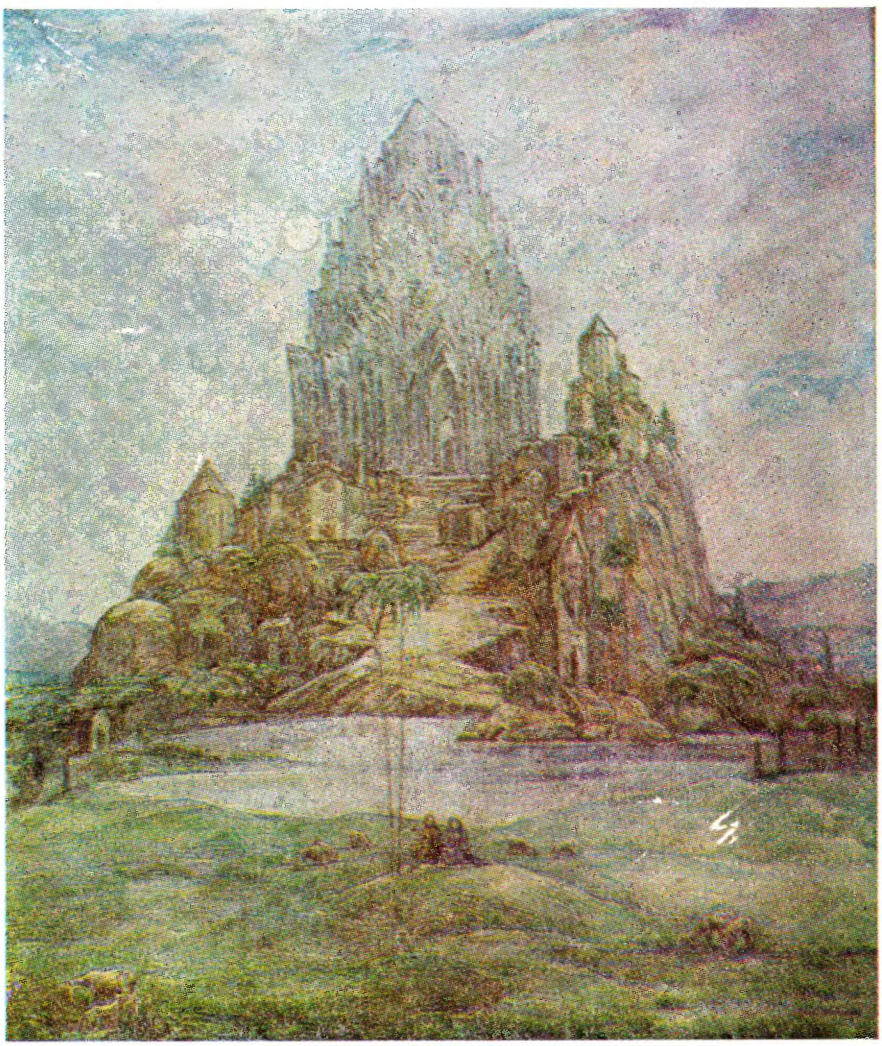
ISSN 0130 – 6545

11. 1989

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Мистерия розовых венцов.

На 1-й и 4-й страницах обложки — Долина пастухов. В хрустальном храме.

Цветные иллюстрации номера — работы Фрица Хёрауфа (ФРГ)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

**Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»:**

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Главный редактор — председатель совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (ФРГ)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная
коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель
главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного
редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. В. ЛАНИНА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
В. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
В. С. ПЕРЕХВАТОВ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного
редактора

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

11 ноябрь 1989

СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОР ПАСКОВ — Баллада о Георге Хениге *(Повесть. Перевод с болгарского М. Тарасовой)* 5

РОБЕР САБАТЬЕ — Стихи *(Перевод с французского Э. Ананиашвили)* 71

ДЖОН ФАУЛЗ — Дэниэл Мартин *(Роман. Продолжение. Перевод с английского Ю. Здоровова)* 75

Из классики XX века

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Улисс *(Роман. Продолжение. Перевод с английского В. Хинкиса и С. Хоружего)* 117

Е. Гениева — Комментарии 167

ГЕОРГ ТРАКЛЬ — Стихи *(Перевод с немецкого и вступление С. Аверинцева)* 171

Публицистика

ИНГМАР БЕРГМАН — Laterna Magica *(Окончание. Перевод со шведского А. А. Афиногеновой)* 177

Резонанс

ВЛАДИМИР ЗОТОВ — Китай: истоки политического кризиса 204

Критика

ВЯЧ. ВС. ИВАНОВ — Классика глазами авангарда 226

Философские аспекты

Из писем ВИЛЬГЕЛЬМА ФОН ГУМБОЛЬДТА *(Перевод с немецкого Сергея Окропиридзе. Предисловие Г. Рамишвили)* 232

Литературный мир об «Улиссе»

Е. Замятин, В. Вишневский, А. Архангельский, Б. Пильняк, Б. Пастернак, К. Радек, С. Эйзенштейн, А. Ахматова *(Вступление и составление Екатерины Гениевой)* 239

Возвращаясь к напечатанному

Протоиерей АЛЕКСАНДР МЕНЬ — Камень, который отвергли строители *(Размышления, навеянные романом Мигеля Отеро Сильвы)* 244

Читальный зал

Книги, о которых говорят

ФРЭНСИС КИНГ — В поисках ускользающей правды *(Перевод с английского Г. Масленниковой)* 249

Советская литература за рубежом 253

К нашим иллюстрациям

Лариса Шульман — В саду единорога 254

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1989

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.**
Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая, д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 28.08.89. Подписано в печать 22.11.89. Формат 70×108¹/₁₆. Печать высокая, бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,43.

Тираж 420 000 экз. (1-й завод: 1 — 350 000 экз.). Зак. 3216. Цена 1 р. 80 к.

Отпечатано с матриц типографии ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, проспект Победы, 50, в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ВИКТОР ПАСКОВ

Баллада о Георге Хениге

ПОВЕСТЬ

Перевод с болгарского М. ТАРАСОВОЙ

«Баллада о Георге Хениге» — вторая книга молодого прозаика Виктора Паскова — получила высокую оценку на проходившей в 1988 г. в Софии традиционной Апрельской дискуссии болгарских писателей.
За эту повесть В. Паскову была присуждена премия Союза болгарских писателей, которой отмечаются лучшие книги года.

Красимиру Дамянову

Недавно, перебирая старые бумаги, я наткнулся на два письма от Георга Хенига, написанных неразборчиво химическим карандашом на листочках из школьной тетрадки.

В верхнем правом углу помечены год — 1960, а также место, где они были написаны,— дом престарелых в селе Хайредин.

Ко второму письму ржавой скрепкой подколото извещение о том, что такого-то числа скончался Георг Хениг от (следовало на латыни слово «старость») и похоронен на следующий день на сельском кладбище.

В соответствии с последней волей покойного с ним в гроб положили скрипку, составлявшую все его имущество.

По странному стечению обстоятельств в день, когда умер Георг Хениг, мне исполнилось двенадцать лет.

Пытаясь представить себе тот день (кстати, где хранятся воспоминания — в сердце, в душе?), я не находил ничего, кроме белого пятна.

Возможно, было теплое солнечное утро начала осени... Наверняка расцвеченное какими-то красками — но какими?

Существуют ли еще подобные краски?

Сейчас, когда я пишу эти строки, на улице моросит дождь. Поздний осенний вечер. Здания напротив кажутся лиловыми в грязно-сером тумане. Время от времени внизу останавливается автобус, дверь его с треском открывается и захлопывается. По комнате ползут тени, но тени Георга Хенига среди них нет. Никогда я не ощущал одиночество так сильно.

...Скорее всего было теплое солнечное утро начала осени. Моя мать готовила в кухне. Мы занимали комнату и кухню в старом доме на улице Искыр. Теперь на том месте другой дом. Как он выглядит, не знаю, да и знать не хочу. Отец, наверное, ушел после завтрака с двумя хозяйственными сумками, заглянул в пивную на углу улиц Раковского и Искыр, купил пива, а может, вина и виноградной водки.

Что еще произошло в тот день?

Семья наша готовилась к торжеству. Нет! Весь квартал к нему готовился. Замечательно когда-то умели устраивать праздники наши родители.

А я важно расхаживал по комнате — тонконогий мальчишка в противных очках с круглой оправой, ужасно самодовольный (ведь я был царь Виктор, как говорил Георг Хениг).

Зачем я роюсь в старых бумагах? Ничего в них не найдешь. Ни семейного герба, ни дворянского титула, никаких корней, уходящих в глубь веков,— ничего, ради чего стоило бы перебирать старые квитанции, счета и открытки, непогашенные облигации да судебные решения.

Мать моя из кулацкой семьи, землю и имущество которой национализировали после 9 сентября 1944 года. Правда, в их роду был некий Постонькю, который, по семейным преданиям, в начале прошлого века совершил великий подвиг — разбил голову какому-то турецкому аге (впрочем, письменных свидетельств этого нет).

Отец же мой родом из валахов, а они даже не даки, и вообще неизвестно кто и откуда пришли (да и куда идут — тоже).

Так что не на этом основании величает меня «царем» Георг Хениг. А перечитывая два его последних письма, замечаю, что он и тут величает меня «царем Виктором».

Георг Йосиф Хениг.

Вспоминаю согнутое чуть ли не пополам из-за болезни Бехтерева тело, трясущуюся из-за болезни Паркинсона голову, руки с длинными крючковатыми пальцами, покрытые коричневыми пятнами, похожие на двух спрутов, руки, создавшие столько совершенных скрипок.

Хениг.

В тот день двадцать четыре года назад ты лежал в гробу — сосновом, кленовом? Сколько годовых слоев было на дереве, какой процент влажности? Нет, ты лежал в простом гробу из грубого, немузыкального дерева и был мертв.

Мертв.

Надеюсь, что, прежде чем опустить в могилу, тебя отпели в церкви, потому что ты был верующим. Слева от тебя лежала скрипка, предназначенная богу, венец твоей долгой девяностолетней жизни,— этот необычный инструмент, вызывавший жгучее любопытство преуспевающих твоих учеников, которое заставляло их бродить вокруг подвала на улице Волова, где ты жил, чтобы хоть раз его увидеть. А увидев, прищелкивать языком, насмешливо подмигивать и недоверчиво улыбаться.

Горьки, верно, были последние твои минуты.

Ты, последний из рода Хенигов, верно, думал с отчаянием, что после твоей смерти тебя ждет забвение (и недалек от истины).

Продолжает ли человек, покинувший этот мир, жить в сознании потомков? Переселяется ли, как красиво говорят, дух мастера в его учеников и продолжается ли его искусство в их памяти и делах?

Большинство твоих учеников живы, но ни от одного из них не услышишь о тебе ни слова. Ты забыт. Через двадцать четыре года после твоей смерти никто о тебе ничего не знает. То немногое, что знаю я, вряд ли может быть рассказом о твоем искусстве.

Скорее это рассказ обо мне.

Потому что я почти забыл, кто же я, в сущности, такой...

Сейчас мне хочется вскричать, подобно иудейскому царю: встань, несчастный Георг Хениг! И ответствуй: всегда ли то, что мы создаем с величайшей любовью, то лучшее, что мы способны создать и что должно нас возвысить, встречается насмешками, даже хохотом и приносит лишь огорчения?

Должны ли мы сотворенное в муках предназначать богу? Видел ли ты господа там, на небесах? Или ты истлел в могиле и вместе с тобой истлела твоя скрипка?

О чем ты помышлял, приступая к созданию инструмента, подобного которому еще никто в мире не создавал?

Георг Хениг, царя Виктора душат слезы. Позор всем нам.
И мир праху твоему.

* * *

Мне не сровнялось и пяти лет, когда я впервые увидел его. Воспоминание сохранилось в моей памяти — свежее и ясное, точно рисунок цветными карандашами на рисовой бумаге. Мне кажется, что я парю где-то высоко, словно витаю над событиями, происшедшими тридцать лет назад, рассматривая их во всех подробностях. И не хочу вмешиваться в их ход, а уж тем более что-то менять.

Отец мой был музыкантом, отец моего отца тоже был музыкантом. Было бы логично, если бы и я стал музыкантом — единственный вопрос, по которому мнение моих родителей полностью совпадало. Потому, что он тонким своим чутьем угадывал, что я талантливее его, она мечтала отомстить с моей помощью своим — матери, отцу, братьям, теткам, двоюродным братьям и сестрам, которые изгнали ее из благородного семейства Медаровых после того, как она вступила в гражданский брак с моим отцом — простым валахом.

Ко всему прочему, они утверждали, что он безродный бродяга. Но это неправда! Скорее не о нем, а о моей бабке, его матери, можно было сказать, что она без роду, без племени, но в любом случае бабушка у меня была чудесная, кроткая и добрая, хотя пол-лица у нее было в пятнах и по-болгарски она не говорила; да и не о ней сейчас речь.

В самых смелых своих мечтах мать моя видела меня на сцене концертного зала — чудо-ребенок в маленьком фраке, с галстуком бабочкой, с миниатюрной скрипкой в руке, купающийся в лучах света и славы. Позади меня — филармонический оркестр под управлением знаменитого дирижера. В ложе — члены правительства. В другой ложе — руководители партии Болгарского земледельческого народного союза (Медаровы принадлежали к этой партии). Цветы, овации. Конфетти, гирлянды, роскошь. Журналисты. А в последнем ряду третьего балкона, на галерке, посрамленная семья Медаровых с виноватыми лицами: вот тебе и сын бродяги.

Такие мечты были у моей гордой, лишенной прав матери. Да и я сам страстно жаждал стать прославленным скрипачом. (Впрочем, я столь же страстно желал стать прославленным машинистом, пожарником, милиционером.) Но скрипок для четырехлетних не продают — бывает половинка, четвертинка, а мне нужна была восьмушка, не больше мужской ладони, и все-таки настоящая скрипка. Единственный, кто согласился бы у нас сделать такую,— это Георг Хениг.

Прошу читателя извинить меня за то, что придется вернуться со мной назад, в прошлое, но по пальцам можно пересчитать тех, кто знает историю мастера Георга Хенига, как и почему он попал в Болгарию.

В начале нашего века, когда по желтым плиткам главной софийской улицы разъезжали коляски с дамами в кринолинах и господами во фраках, когда в городских скверах духовые оркестры играли попурри из «Травиаты», когда Иван Вазов прогуливал свою собаку перед зданием Народного собрания и когда Оперное общество давало первые спектакли, в Софию приехали чешские и итальянские музыканты, чтобы помочь нескольким энтузиастам в создании болгарской музыкальной культуры.

Кто знает, какие муки, невзгоды и лишения претерпели они, выполняя свою миссию. Не стану говорить об этом. Мне стыдно и больно. Большинство из них, разочарованные, вернулись в свои страны. Имена оставшихся в Болгарии почти неизвестны. Они похоронены в энциклопедиях и архивах институтов (и слава богу, что хоть эту дань уважения мы, победоносно шествующие по проложенному ими пути к вершинам мировой славы, им отдали).

Вероятно, был теплый осенний день. 1910 год. К софийскому вокзалу, пыхтя и свистя, подкатил поезд из Чехии. Из окна вагона с веселым удивлением выглянул мастер Георг Хениг — высокий, представительный мужчина лет сорока с русыми волосами и голубыми глазами. В грузовом вагоне ехал сундук с его замечательными инструментами — этими выкружными пилами, кривыми ножами, маленькими стамесками, рубанками, которые я увидел полвека спустя.

— Приехали, Боженка! — сказал он молодой и такой же, как он, голубоглазой женщине.— Вставай, выходим!

Встречали ли их на вокзале? Возможно, капельмейстеры Генрих Визнер и Мазарик — в то время, как и он, молодые и полные воодушевления люди.

Мир их праху!

Не знаю, где поселилась семья Хенига и как она жила последующие долгие, томительные, трудные годы. Знаю только, что Георг Хениг играл на контрабасе в придворном оркестре, что он делал великолепные скрипки и что его окружало множество учеников — один другого талантливее. Знаю также, что тогда закладывались основы болгарской школы скрипичных мастеров.

Но ты, Георг Хениг, был ли ты счастлив? Почему не вернулся в родную Чехию, к брату Антону, о котором ты мне столько рассказывал? Там вокруг родового замка простирались зеленые луга, и по зеленым этим лугам гуляли буйные кони, тонкий запах волнистого клена и лака стоял в твоей мастерской, где тихая Боженка смотрела на тебя с любовью — ну и что из того, что у вас не было детей, если на твоих скрипках играли по всей Европе?

Не буду доискиваться ни почему ты остался, ни как пережил мучительные годы. Ни какие обиды и огорчения довелось тебе перенести. Главное, что ты остался.

* * *

Наверное, было воскресенье, потому что отец мой бывал свободен только по воскресеньям. Остальные дни недели заполняли репетиции и спектакли в Музыкальном театре. Когда не было репетиций и спектаклей, он ходил куда-нибудь подхалтурить, ведь мы были бедны. Мать, которую никуда не брали на работу, была надомницей. Пришивала на старой машинке «Зингер» воротнички к рубашкам. Пользы от этого особой не было, но у матери от этого занятия постоянно было плохое настроение.

Порой, когда настроение окончательно портилось, она застывала, закусив нитку зубами и глядя пустым взглядом поверх машинки. Нога ее продолжала вхолостую нажимать на педаль. В такие минуты она вела воображаемый поединок с семьей Медаровых.

В этом поединке главную роль играл я.

Конечно же, в тот день, скорее всего в начале августа, было воскресенье.

Я встал сам. Очень старательно умылся, пока мать гладила мой кремовый костюмчик. От волнения я ничего не мог есть. Завтрак был просто мучением.

В комнате, к самому окну которой подступала серая потрескавшаяся стена противоположного дома, всегда было сумрачно. Светлее становилось, лишь когда на стену падал солнечный луч.

Но в то воскресенье все солнечные лучи точно рассыпались по полу, из крана струилась солнечная вода, на лице матери сияла солнечная улыбка. Только отец был строг и красив, как мраморная статуя: черный завиток падал на его мраморный лоб, и он откидывал его резким движением головы.

О, какой артист умер!..

Завтрак закончился в торжественном молчании. Снова полагалось вымыть руки.

Потом она проводила нас по коридору, вниз по лестнице до самой двери. Там она встала, скрестив руки, и пожелала нам доброго пути. Словно мы уходили далеко, в другую страну, с важной какой-то миссией.

Отец мой шагал, серьезный и сосредоточенный, в белом чесучовом костюме, от него пахло лавандовой водой. Я плелся за ним и жадно смотрел на то, что происходит вокруг.

А вокруг происходило нечто необыкновенно интересное. Квартал просыпался для своей привычной жизни.

Столяр Вангел стругал доски. Пекарь Йордан перед входом в свою лавку выбивал из фартука белые мучные облака. Деревья по правую сторону улицы выстреливали зеленые снаряды прямо в синее небо, а по улице проезжали телеги, запряженные коричневыми лошадьми, и очень редко— автомобиль.

Стук-стук! Цок-цок! — какими восхитительными звуками заполнялся некогда этот убогий, давно не существующий квартал!

Нам встречались соседи. Они пытались остановить отца и завести разговор, но он пресекал их попытки вежливым отказом: у нас очень важное дело.

Знаете ли вы, куда мы идем? Мы идем заказывать скрипку в одну восьмую, маленькое блестящее чудо, какого мир еще не видывал! На ней я буду играть чарующие мелодии. Я заставлю плакать всю Болгарию. Но громче всех будет рыдать семейство Медаровых. И когда они, обливаясь слезами, упадут к моим ногам...

Мы дошли до улицы Волова и свернули налево. Остановились перед вторым или третьим домом, отец толкнул деревянные ворота. Мы спустились на несколько ступенек вниз — мастер жил в подвале.

Отец позвонил. Послышалось шарканье. Дверь со скрипом отворилась.

Старая, очень старая женщина с ореолом седых волос и почти выцветшими глазами приветливо улыбалась. Боженка.

— Ну, входи, Марин и маленки мальчик,— сказала она.

Мы прошли до конца темного коридора. Отец постучался и, не дождавшись ответа, нажал ручку двери. Я, как меня учили, снял желтую кепочку.

Георг Хениг сидел на высоком стуле перед верстаком и лобзиком вырезал нижнюю деку скрипки, зажатую деревянными струбцинками. Необыкновенно любопытные острые ножи, полукруглые стамесочки, блестящие напильнички и другие незнакомые инструменты были разложены на верстаке. Повсюду на стенах висели разной величины формы для скрипок и альтов, в углу стоял отливавший желтым светом толстый добродушный контрабас — в два раза выше меня. Над диваном слева от верстака висели несколько икон и лампадка. Окошки закрыты были пестрыми веселыми занавесками. Пахло лаком, скипидаром и деревом. Я вдыхал эти совершенно незнакомые запахи с большим удовольствием. Полумрак, как в пещере гномов, не гнетущий, а таинственный и уютный.

И сам Георг Хениг походил на гнома. Когда он сполз со стула, оказалось, что тело его в пояснице согнуто, словно перочинный ножик. Руки свисали почти до полу. На нем был кожаный фартук, как у сапожника, и серая рубашка с подвернутыми рукавами. Чтобы посмотреть на нас, ему пришлось задрать голову, при этом глаза его, выцветшие и невыразительные, как вообще у стариков, смотрели куда-то вбок. У него было продолговатое лицо, длинные седые, ниспадающие на плечи волосы и тонкие, едва заметные губы. Как ни был я мал ростом, чтобы поцеловать ему руку, я вынужден был почти опуститься перед ним на колени.

— Здравей, мили колега Марин и велики муж — как злати име? — спросил он, пододвигая табуретку.

— Виктор,— прошептал я, очарованный.

— Име царско! Колико лет у злати Виктор?

— Четыре года и одиннадцать месяцев,— отчеканил я, вытягивая руки по швам моих штанишек.

— Ой! Много! Седи тут теперь и давай свой мальки руку деду Георги.

Я сел на табуретку. Отец — на диван. Георг Хениг снова взобрался на свой стул. Я протянул руку и доверчиво позволил ладоням старика сжать ее. Они были шершавые и теплые. Он осторожно брал один мой палец за другим, ощупывал суставы, легонько сгибал, измеряя длину своим большим и указательным пальцами. Он будто ласкал меня. Это было новое ощущение, дед мой по отцовской линии умер до того, как я родился, дед по материнской меня не признавал.

Может быть, именно в эти минуты, когда он, определяя размер смычка, измерял длину моих пальцев, я ощутил бесконечное доверие к Георгу Хенигу, и это чувство меня уже никогда не покидало.

Боженка достала из шкафа вишневое варенье, положила в две розеточки и поставила угощенье на верстак. Принесла и две чашки воды.

Пока я ел варенье, благовоспитанно беря понемногу на кончик ложки, отец и Георг Хениг вспоминали давних знакомых. Старик задавал вопросы, расспрашивал про того или другого, его неправильная речь непрерывно пересыпалась возгласами «ой» и «ай». Хорошие новости — «ой», то, с чем он был не согласен,— «ай». Я узнал, что несколько лет (еще до того, как я появился на свет) он подрабатывал в Музыкальном театре, но сейчас уже слишком стар, ему трудно ходить, и у него совсем нет сил водить смычком (ай-ай-ай!).

Так они разговаривали, когда раздался звонок в дверь. Боженка пошла открывать.

И в комнате появился огромный, как туча, черноволосый мужчина со сверкающим золотым зубом. Вдруг стало тесно.

— Ой, мастер Франтишек! — обрадовался старик.— Пришел, добро.

— Заказчики? — пророкотал гость, пожимая руку отцу и похлопывая меня по плечу.— Хорошо живешь на старости лет, не на что жаловаться! Что вы будете заказывать? Скрипку? Альт? Смычок?

— Мастер Франта — мое ученик! — гордо сказал старик.— Добро ученик!

— Вот, Франта, варенье пробуй! — Боженка поставила розеточку перед новым гостем.

— М-м-м, вкусно! — Он в один миг съел варенье, достал платочек, вытер рот и, вставив платочек обратно в карман пиджака, поаплодировал Боженке. Лицо ее просияло от удовольствия.

— Мастер Франта,— представился он отцу и вручил ему свою визитную карточку.— Мастерская на улице Леге. Делаю различные струнные инструменты. Смычки, разумеется, тоже.

— Добри мастер! — снова подтвердил старик.

— Добри, вот посмотри! — Он сунул руку во внутренний карман пиджака, достал сложенный вчетверо лист и протянул его Георгу Хенигу, но так чтобы все видели на листе две золотые медали.— Болонья и Канада!

Отец мой взял лист, внимательно рассмотрел его, поцокал языком из вежливости и вернул мастеру Франтишеку.

Я слез тихонько с табурета, подошел к контрабасу и прижался к его пузатому теплому телу.

Какой великан играет на этом чудище? Михель Голландец? Мастер Франтишек напоминал мне Михеля Голландца из сказки «Холодное сердце», которую мать читала мне перед сном.

Боженка тихо сновала по комнате. Я рассматривал темное нутро контрабаса. Раскатистый смех гостя заставил меня вздрогнуть:

— Что? Ха-ха-ха! Вы что, смеетесь? Восьмушку? Делай лучше деревянные лошадки!

— Сделать восьмую! — коротко, но твердо ответил Хениг.

— Дай немного лаку, а то у меня кончился.— Франта встал.— Работа стоит. Вчера закончил скрипку — морилкой покрыл, загрунтовал, осталось только отлакировать. Скрипка — чтоб пела, а не пищала! А лак кончился.

— Колико раз учил тебе, кажди мастер лак сам делал! — укоризненно сказал Георг Хениг, наливая густую жидкость в баночку.

— Смолы нет! Скипидара, мастики нет! — Франта произносил незнакомые прекрасные слова, которые я жадно впитывал в себя, чтобы потом дома повторять, как магические заклинания: ладан, копал, сандарак, канифоль...

— Ладно, не жадничай! — сказал он под конец.

— Дал лак. Вот.

— Мастер Георгий! — голос Франты вдруг зазвучал мягко.— Почему ты не продашь мне твои инструменты? Сколько можно тебя просить? Не видишь разве, что такими руками скрипки уже не изготовить.

— Сделаю!

— Не сделаешь! Если хочешь заниматься игрушками, я подарю тебе новый комплект инструментов из Германии. Электромотор, сверло...

— Мастер Франта, оставляй себе свой инструмент из Германия! — вдруг рассердился старик.— Хениг не продавай! Они подарок от мой отец! Я не хотел сверло!

— А Ванде подарил стамеску...

— Не подарил! Мастер Ванда приходил, брал стамеску, говорил, вернуть в момент. Месяц прошел. Нет Ванда, нет стамеска. Ай-ай-ай!

— Ай-ай-ай! Что ж он не пришел у меня попросить? Стамеской бы его да по голове! Ну ладно... до свиданья. А вы,— обернулся он к отцу,— если вам что-то понадобится, вы знаете, где мастерская? На Леге. Только игрушками я не занимаюсь.

Мастер Франтишек ушел. В комнате сразу стало просторнее. Георг Хениг подозвал меня, я подошел к нему и застыл, напряженно выпрямившись. Он взял меня за подбородок и, слегка приподняв его, стал всматриваться в мои глаза. А я уставился в его. Серо-белое в мутно-белом, точно мышата в молочной сыворотке. Он смотрел на меня долго-долго, бормоча «цар, мальки цар Виктор» и улыбаясь своими еле заметными губами.

Потом измерил расстояние от кисти до локтя и от локтя до плеча. От плеча до подбородка. Велел мне взять в левую руку линейку, приложил мои пальцы к ней там, где держат скрипку, и, прижав конец ее моим подбородком, повернул мой локоть вперед.

— Спокойно, спокойно,— бормотал он.

Напряженность моя исчезла. Я перестал смотреть ему в глаза. И мне представился зал, огромный зал, публика, множество музыкантов вроде моего отца, линейка, зажатая моим подбородком, казалось, издавала чуть слышные звуки. Вот моя мать, Георг Хениг и Боженка в первом ряду, а в дальних рядах мальчишки нашего квартала...

— Хочет играть на скрипку, господин Виктор?

— Очень.

— Когда дает концерт, пригласит деда Георга и бабу Боженку?

— Да!

— Сделаю тебе скрипку! Мальки цар, малька скрипка! Инфант!

Мне хотелось подольше остаться здесь, в этом приветливом доме у двух стариков, и следить за тем, как волшебник-гном трудится над скрипочкой для меня, как шепчет магические заклинания — копал, сандарак, канифоль, драконова кровь,— вырезает ножовочкой завиток, покрывает корпус лаком, секрет которого известен ему одному, натягивает золотистые струны на золотые колки...

— Папа,— спросил я уже на улице,— дедушка Георгий — большой мастер?

— Великий,— коротко ответил он.

— А мастер Франта?

— Он вообще не мастер.

* * *

В день моего рождения отец принес скрипочку, положил ее на кровать, открыл черный футляр и отошел, чтобы мы могли полюбоваться ею.

Мать ахнула, а я чуть не заплакал. В футляре лежало, отбрасывая красноватый отблеск, и словно нежно звенело и молило не прикасаться к нему неописуемо красивое создание, дитя женского пола, невесомое и хрупкое, сверкающее в нашей темной комнате золотыми струнами, с кокетливо выгнутой шейкой, с двумя вопросительными знаками по обеим сторонам грифа, как тонкие бровки, и благоухающее, как царская дочь,— скрипка Георга Йосифа Хенига.

Увидел я его в следующий раз только через пять лет. В эти годы я часто вспоминал о старике — ведь каждый день держал в руках его скрипку. Вспоминал подвал, иконы, два верстака, Боженку и особенно волшебника-гнома с теплыми руками, которые царапают кожу, его согнутое тело, выцветшие глаза, странные слова. Не раз хотелось мне побежать в подвал на улице Волова, постучать в окошко, войти в уютную, пахнущую смолой пещеру и снова услышать: «Мальки цар! Инфант!» Но я почему-то не решался.

Что касается скрипки, то я подрос, и отец подарил ее другому мальчику, страстно желавшему стать скрипачом. Дай бог, чтобы его желание сбылось, потому что из меня виртуоза так и не вышло... Но это уже другая история, и я рассказал ее в другом месте. Заманчиво и романтично было бы, если бы сын швеи-надомницы и безвестного музыканта стал знаменитым солистом, и был момент, когда я почти достиг своей цели, но это уже третья история. Когда-нибудь я, возможно, и ее расскажу.

Но сегодня я спрашиваю: в чем смысл всего этого, Георг Хениг?

Через несколько дней после того, как я прочитал твои случайно найденные письма, я сел в поезд и отправился в село Хайредин. Был мокрый синеватый день, осенние облака, точно клочки грязной ваты, висели над кладбищем. Я ходил от могилы к могиле, разглядывал крест за крестом, но твоей могилы и твоего креста не нашел, мастер Георг. Да и зачем он нужен? Свой крест мастер несет при жизни.

Какова судьба твоих скрипок?

Какая судьба ждет эти рассказы?

Лучше не думать об этом, Георг Хениг.

* * *

Годы проносились — один, второй, третий, четвертый, пятый. Вроде бы внешне ничто не изменилось, но так только кажется. Отец мой бегал с утра до вечера на репетиции, спектакли и концерты, был все такой же мраморный, красивый и строгий, только в черной его шевелюре появилась первая седина. Я ходил в школу и по-прежнему усердно пиликал на скрипке (на большей, трехчетвертной), но на вундеркинда уже не тянул — по возрасту. Мать продолжала пришивать воротнички. Длился мысленно и ее поединок с семейством Медаровых, но не так ожесточенно, потому что слабела надежда, что она когда-нибудь его выиграет. По натуре веселая и остроумная, моя мать начала замыкаться в себе, скулы ее заострились, на вопросы она отвечала «да» или «нет», весь свет стал ей не мил. Она все чаще застывала, глядя невидящим взглядом поверх машинки. Если он случайно останавливался на лице отца, то делался еще более пустым и безразличным: неужели этот человек,

который... и вообще, может, родители были правы? Не совершила ли она ошибки? Ведь если б не он, она могла бы учиться в Австрии на зубного врача... В Вене, где Бургтеатр и Пратер, венские вальсы, прекрасный голубой Дунай... Неужели все, что ее окружает, реально: этот старый еврейский квартал, эта темная неуютная комната — четыре метра на четыре, с двумя кроватями и столом, эта кое-как сбитая этажерка и самое ужасное — безобразная полка, на которую она ставит кастрюли, тарелки, кладет ложки и вилки вместо того, чтобы убирать их в прекрасный буфет из орехового дерева производства австро-венгерской мебельной фабрики. Буфет...

— Бедные мы, бедные,— говорила она себе под нос, нажимая на педаль машинки.

Отца это приводило в бешенство. Как всякого валаха, его возмущало слово «бедность».

— Есть и беднее нас,— враждебно ворчал он.

— Беднее? — Удивление было почти искренним.

— Тебе что, есть нечего? Нечего надеть? У тебя ребенок ходит голодный? Чего тебе еще надо?

Это был сигнал к атаке. Она, забыв нажать на педаль, вскидывала голову и отвечала ледяным тоном:

— Ты все прекрасно понимаешь. И не делай вид, что не понимаешь.

— Что?

— Буфет! Если ты привык...

— К чему?

— К чему? К беспорядку, то я не привыкла! И никогда не привыкну.

— Что ты хочешь этим сказать? — разъярялся он.

— В моем родном доме посуда стояла в буфете!

— Перестань,— умолял он,— у меня через два часа спектакль!

— Спек-та-акль! Тихо ты там! — кричала она, поворачиваясь к углу, где и без того тихо сидел я.— Служителю искусства не нужно ни семьи, ни дома, ни уюта, ему все равно, из чего есть, из тарелки или миски, ему не нужен...

— Буфет? — подсказывал он.

— Да! Но если ему не нужен буфет, то он нужен его жене! Ясно?

— Ясно.— Он вставал с кровати и брал пиджак.— В этом доме я не нужен,— заявлял он, после чего с достоинством покидал нас.

— Ты угадал! — кричала она ему вслед.— В этом доме нужен мужчина!

— Иди к своим Медаровым! — доносилось с последней ступеньки.— Они богаты. Пусть купят тебе мужа. Выпишут его из Австрии! — И хлопал дверью.

— Бедный мальчик! — Она лихорадочно гладила меня по голове, ероша мои волосы.— Бедный, бедный мальчик.

Я прижимался к ней, закрывал глаза и чувствовал себя бедным, бедным, бедным, бедным, бедным мальчиком — самым бедным мальчиком в мире. Беднее бедного Реми из книжки Гектора Мало «Без семьи».

Правда состояла в том, что в нашем старом и некогда красивом, в стиле модерн построенном доме на улице Искыр жильцов было полно, как крыс. Большие семьи ютились в одной комнате, едва сводя концы с концами.

У дома, который все ненавидели и проклинали, считая виновным в общей нищете, была интересная история. Построили его в конце прошлого века вскоре после освобождения Болгарии от османского ига, и в нем помещалось посольство Италии. На его покрившихся ныне лестницах и в обшарпанных коридорах когда-то слышалась звонкая итальянская речь, в этих комнатах с облупленными стенами, с оголенными ребрами потолков звучали стихи Данте, пелись канцонетты, плелись интриги... Еще интереснее становится его история позднее. В двадцатые годы уже нашего века дом, где я имел счастье родиться, купил богатый

еврей, повесивший красный фонарь перед его пышным фасадом и превративший его в публичный дом.

— Вышла замуж за валаха,—говорила моя мать в приступе самобичевания,— и живу в публичном доме.— После этой констатации она окончательно замыкалась в себе и опускала занавески на окнах.

Все были бедны... Вража и Стамен, жившие с сыном и дочерью, перегородили единственную свою комнату занавесками, и, когда кто-нибудь входил, они колыхались, словно там жили не люди, а духи (впрочем, там и духам было бы тесно).

Бедны были Фроса и Йорде и дети их Митко, Любка и Лили. Кроме огромной кровати, стола и нескольких стульев в комнате у них ничего не было. Не понимаю, где они держали свою одежду, спали ли все на одной кровати или кто-то на полу, на голых досках?

Лестница перед их дверью треснула пополам от удара бомбы во время войны, и в широкую щель были видны искореженные ржавые железные прутья. Торчали балки. Подняться в их комнату было опасным делом.

Возвращаясь ночью, пьяный Йорде частенько попадал ногой в щель. В лунные ночи он тонким голосом выл на луну и ругался последними словами, пока жена и дети не приходили и не вытаскивали его. Нередко рассвирепевшая Фроса оставляла его подолгу торчать в таком положении, одна нога — в щели, другая болтается в воздухе, голова уныло свешивается на грудь, словно у рыцаря печального образа.

Но еще беднее были Пепи и Манолчо, у которых было двое маленьких детей — Владко и Ванчето: их существование было повестью о бедности.

Бывший связной партизанского отряда Манолчо пил до умопомрачения и пьяный обычно искал топор, грозясь зарубить жену и детей. Дикие вопли и мольбы доносились из их комнаты — первой комнаты на нашем мрачном этаже. В таких случаях Роленский и мой отец вставали с постели, сонные и разгневанные. Общими усилиями, поколотив Манолчо, они укладывали его спать. На следующее утро он ничего не помнил и в уборную ходил на цыпочках, с виноватым видом.

В комнате напротив жили Роленский и Роленская — бывшие буржуи, в те годы торговавшие шашлыками. У них был буфет и радиоприемник «Телефункен», по вечерам реакционеры со всего квартала собирались у них слушать вражеские радиостанции. Все сидели вокруг радиоприемника, наклонив головы, и одобрительно хмыкали, когда квакающий голос Лондонского радио призывал: «Братья болгары! Опомнитесь! Коммунисты доведут Болгарию до полного обнищания!»

Роленских я жалеть не могу. В середине пятидесятых годов они сбежали в Америку, где, как утверждали некоторые, сказочно разбогатели на своих шашлыках. У них родилась дочь Сильвия, Сильвия жила чуть ли не во дворце, в отличие от нас — детей с улицы Искыр.

Но что ты знаешь о жизни, Сильвия!

И Цанка, хоть и занимала одна целую комнату, была бедна. Ей тоже буфет заменяла прикрепленная к стене полка. Цанка была старая дева и совсем помешалась от одиночества и бедности. По нескольку раз на день она варила кофе по-турецки и звала Бойку — эту старую ведьму — гадать ей на кофейной гуще, предсказывать ей, когда явится суженый и увезет в фаэтоне с нашей улицы туда, где живут избранные — на улицу Обориште или Сан-Стефано... И прощай тогда, голытьба с улицы Искыр!

А частники, жившие в подвале?

Пекарь Йордан, чтобы заработать хоть какие-то гроши, продавал перед входом в свою лавку вареную кукурузу и рассчитывал только на праздники, когда какой-нибудь ленивой хозяйке понадобится купить слоеное тесто для пирога.

Столяр Вангел сидел с утра до вечера без работы и от скуки размазывал молотком по верстаку убитых им мух. Если случайно кто-то заказывал ему оконную раму, Вангел брал задаток и посылал одного из мальчишек с бутылочкой из-под лимонада в ближайшую забегаловку купить ему анисовой водки.

Придя за рамой, заказчик обычно заставал мастера неподвижно лежащим с остекленелым взглядом среди груды стружек. В таких случаях Вангела нередко били (под жалобное мяуканье нескольких ободранных кошек, обитавших в его мастерской).

Отец мой брал деньги взаймы у Роленского. Роленский брал деньги взаймы у моей матери, мать моя занимала деньги у Цанки, Цанка — у Фросы, Фроса — у Вражи. Муж Вражи Стамен пил вместе с Манолчо и брал у него деньги взаймы. Манолчо, едва успев протрезвиться, брал деньги взаймы у моего отца.

Деньги вращались по какому-то заколдованному кругу, все всегда были должны друг другу. Образовалась сложная, но стройная система взаимной зависимости. Случалось иногда, что у кого-то вдруг появлялись деньги. Тогда во дворе начинались Дионисиевы празднества. На общем столе появлялся жареный поросенок, пиво закупали ведрами. Роленский жарил на всех шашлыки. Йордан приносил теплые лепешки, даже мой похожий на мраморную статую отец играл на своей трубе любые мелодии, какие его просили.

До завтрашнего нищенского дня.

Отец возвращался домой усталый и молчаливый после спектакля, садился на стул и, положив голову на локоть, неподвижно смотрел в стену.

Мать, так же молча, поднималась из-за машинки, накладывала еду в тарелку и ставила перед ним. Он молча съедал две-три ложки и отодвигал тарелку. Она молча возвращала остатки в кастрюлю, вытирала стол и снова садилась за машинку. Чтобы мне не мешал свет, лампочку с одной стороны завесили газетой. Я молча лежал в темной половине комнаты, они молчали в светлой.

Стучала машинка.

Тень буфета пролегла между ними, и примирение было невозможно.

Поздно вечером в глубоком молчании пришивался последний воротничок, они гасили свет, молча раздевались и ложились на семейное ложе каждый в свой угол. В темноте ночи, в тишине комнаты начинался один и тот же диалог сначала тихим, потом свистящим шепотом: бедные мы, бедные... опять ты со своей бедностью, чего тебе не хватает... прекрасно знаешь, чего... опять ты про свой буфет... если б он был мой... откуда я возьму тебе буфет, знаешь ведь, что у нас нет денег на буфет... найди, должен найти... перестань... я пришел со спектакля... а я что, на вечеринке была, у всех женщин есть буфет... что, у Пепи есть, у Цанки есть, у Фросы есть... а я не Пепи, не Цанка и не Фроса... ах, вы благородного происхождения... вот именно, родители мои порядочные люди, если б я их послушалась тогда... вот бы и послушалась, а раз не послушалась, то молчи и спи... тоже мне, господин нашелся... спи, подумай лучше о ребенке... ты о нем много думаешь... скажи наконец, чего тебе надо... знаешь, чего... оставь меня в покое, ты меня с ума сведешь, с этим буфетом... я ведь у тебя не кожаное пальто или экипаж прошу, не прошу тебя водить меня по ресторанам, буфет прошу купить... прекрати или я ухожу!.. ну и иди к черту...

Он вскакивал с постели, молча одевался и уходил. Шаги его гулко отдавались в длинном коридоре. Хлопала дверь. Мать плакала в темноте, кусая простыню. Я накрывался с головой одеялом, чтобы не слышать всхлипывания, и принимался мечтать. Мечты мои были обыденные и недетские. Я мечтал о концерте и полном кассовом сборе. Кому

и как я играю, не имело значения. Важно было, что после концерта я бежал в кассу, выдвигал ящик с деньгами и совал банкноты всюду — за пазуху, в карманы, в футляр скрипки. У входа меня ждут мать с отцом, я достаю кучу денег, отдаю им и говорю: покупайте буфет! — после чего я засыпал и мне снился этот проклятый буфет.

Но бывали ночи, когда они негласно заключали перемирие. Отец возвращался из театра, ужинал, мыл руки и кивал матери. Она вставала, надевала пальто. Укрыв меня получше и пожелав мне спокойной ночи, они отправлялись гулять.

...Я вижу их много лет назад, две одинокие фигуры, идущие под руку. Они пересекают улицу Раковского, спускаются по улице Дондукова: справа светятся витрины мебельных магазинов. Они замедляют шаги, приближаются к одной из них, останавливаются... вот он! перед ними гордо возвышается роскошный буфет, с манящим застекленным верхом и хитроумными ящиками, ручки на его озорных дверцах выгнуты дерзко и вызывающе, как кудряшки,— прикоснитесь к нам! дерните, откройте нас! Нутро клокочет: заполните меня! Стекла верхней части жеманно вздыхают: ах, как за нами пусто! Нижняя часть доверительно поскрипывает, а весь буфет говорит: эй вы! я солиден, крепок, богат, долговечен, я необыкновенно здоров, у меня все в порядке, я приношу счастье, я талисман, я культурный, интеллигентный, изящный, я верный и преданный, я умею хранить тайны, я ручаюсь за себя, у меня есть гарантийный срок, я не требую никаких забот, ни еды, ни питья, я не интересуюсь политикой, я большая достопримечательность, я виден издалека, и те, кто смотрят на меня, охают, ахают, замирают от восторга, за обладание мной они готовы на все: подраться, вызвать друг друга на дуэль, покончить с собой, если я им не достанусь, потому что я услужлив и горд, я потомок австрийских баронов, я сделан из орехового дерева, пропитан составом против жучка-древоточца, я знаю толк в моде, я моднее самого модного шлягера, я очень умен, я могу разрешать конфликты, восстанавливать мир, говорить на иностранных языках, я могу даже быть культатташе, я просто божествен! — падите на колени передо мной и молитесь, ах, вот как вы молитесь! — так убирайтесь же прочь, пролетарии!

Мои родители возвращались. Я слышал, как внизу хлопает дверь, слышал их нестройные шаги по коридору и знал, что она идет впереди, он следом за ней. Они входили в темную комнату и тихо спрашивали, сплю ли я.

— Сплю,— отвечал я,— где вы были?

— Гуляли,— говорили они.

Буфет — сначала мечта, а затем идефикс овладела матерью и помрачила ее рассудок, отодвинув на задний план даже грезы о вундеркинде. Заставила забыть концертный зал, свет и ложи, овации, поклоны, цветы. Теперь семейство Медаровых могло быть посрамлено только с помощью буфета. Слух о буфете непременно дойдет и до ее родных краев. Повсюду узнают, что у нее есть сказочная вещь, которой нет ни у кого. Прекраснее волшебной лампы Аладдина и сокровищ халифов, величественнее Трои и Микен, дороже золотого руна. Любопытство обязательно заставит ее упрямых родителей сесть в поезд и приехать в Софию, чтобы воочию убедиться... и уж тогда...

Видя, что жена сходит с ума, отец мой тоже обезумел. То немногое свободное время, которое у него было, он начал проводить в мебельных магазинах. Часто он брал с собой и меня. Мы застывали позади какого-нибудь буфета, отец впивался в него глазами, словно гипнотизируя, словно силой своего взгляда желая проникнуть в тайну его создания, вступить в телепатическую связь с проклятым этим буфетом. Он обходил его со всех сторон, измерял на глазок и ладонью, потом стал носить с собой складной метр и блокнотик, в который записывал размеры. Это не нра-

вилось продавцам, и они глядели на нас с неприязнью, но помалкивали, потому что мой отец с его мраморным лбом и безумными горящими глазами внушал страх.

Постепенно он стал специалистом по психологии буфетов. Он бродил среди них, небрежно постукивая по ним костяшками пальцев, прикладывал ухо к доскам, прислушивался к звуку и, прикрывая веки, шептал: неплохой, неплохой, но все же не очень прочный... а этот чересчур грубый... Гм! этот никуда не годится... смотри, а этот подходящий...

Однажды, когда мы сидели в комнате с матерью (она шила, а я читал книгу), входная дверь хлопнула как-то по-особому, резко и решительно. Вскоре торжественные шаги раздались в коридоре. Мы устремили взгляд на дверь — словно оба ожидали, что произойдет нечто волнующее, необыкновенное. Дверь отворилась. В ее проеме появился отец — с белым лицом, взлохмаченными волосами и пламенным, как у святого Георгия, взором. Низким густым голосом он произнес:

— Он будет у тебя!

Мать моя медленно встала и от смущения провела ладонями по вискам. Вопросительно взглянула на меня, но я тоже недоумевал.

— Что? — спросила она.

— Твой буфет.

— Какой буфет?

— Не прикидывайся, что не знаешь, о чем я говорю. Прекрасно знаешь.— Он закрыл дверь, прислонился к ней и проговорил тоном, не терпящим возражений: — Он у тебя будет.

— Откуда? — Мать повернулась и снова села.— Может, ты занял денег?

— Нет.

— Уж не продал ли ты своему брату свою часть участка?

— Нет.

— Неужели... неужели ты играл в карты?

— В карты? — Он смерил ее уничтожающим взглядом.

— Откуда же?

— Я его сделаю.— Он вытянул вперед руки ладонями кверху.— Вот этими руками!

— Ты? — Своим голосом она могла бы разрушить пятиэтажный дом.

— Да, я! — Его голос мог бы разрушить десятиэтажный дом.— Я, я! Если голодранцы дают слово, то они его держат! Я вам докажу,— он обвел широкий полукруг рукой,— что вы ничего не стоите со всеми вашими поместьями, лошадьми, курами, кабриолетами и слугами, Австрией и зубными врачами!

— У нас все национализировали! — закричала мать.— Прошу тебя считаться с этим фактом!

— С сегодняшнего дня факты будут считаться со мной, а не я с фактами! Ясно?

— Что это у вас случилось? — Цанка открыла дверь и просунула любопытную свою физиономию.— Чего вы так разорались? Подрались, что ли?

— Он желает делать буфет,— сказала моя мать совершенно убитым голосом.

— Кто хочет делать буфет?

Мать указала на отца.

— А инструменты? — спросила практичная Цанка.

— Возьму у Вангела за бутылку.

— А мастерская? А доски? А фанера?

— Доски и фанеру мне в театре дадут.

— А мастерская? А верстак?

Отец не знал, что ответить.

— Ну скажи! Что ж ты молчишь? Говори! Что ж ты молчишь? —

нападали на него обе.— Где ты будешь делать этот буфет? На чем будешь его делать? Отвечай же!

Отец стоял безмолвно, понурившись.

Тогда я встал, подошел к нему и тронул его рукой за колено. Он взглянул на меня с отчаянием.

— Дедушка Георгий,— сказал я.— У дедушки Георгия есть два верстака!

Взгляд его прояснился. Сначала в глазах мелькнуло удивление, потом они просветлели, засияли, как никогда до сих пор, он поднял меня на руки и, подбросив к потолку, крикнул:

Умница! Талант! Гений!

* * *

Итак, музыкант, увлеченный лишь творчеством, трубач-виртуоз, записавший золотую пластинку на Софийском радио, прозванный музыкантами Марин-шмель за блестящее исполнение труднейшей пьесы «Полет шмеля» (а исполняли ее так лишь Тимофей Докшицер в СССР и Гарри Джеймс в Америке), забросил трубу и мастерил буфет.

Он, в пять утра спешивший в Музыкальный театр играть на виолончели, чтобы всегда быть в форме, мастерил буфет.

Он, делавший для трубы транскрипции скрипичных концертов и не замечавший ничего, кроме своей трубы, он, чья голова была заполнена только нотами (отчего он казался рассеянным и чудаковатым), вдруг забросил трубу.

Впрочем, разве мог не мастерить буфет он — уязвленный в своем самолюбии, оскорбленный в своем мужском достоинстве, доведенный бедностью до исступления?..

И я спрашиваю: если бедность не порок, то что же она?

Этот злополучный буфет, уже потемневший, до сих пор как злое чудовище стоит у нас в квартире (о, памятник бедности, я никогда не выброшу тебя!). Каждый день я прохожу мимо него, презирая всей душой, но я буду протирать его тряпкой, подвинчивать ржавые болты и заменять их новыми, смазывать дверцы, чтобы не скрипели от старости, любовно поглаживать стенки, шептать ему ласковые слова, посматривать на него ночью из-под прикрытых век.

Буду ухаживать за ним, как сиделка, до тех пор, пока не поднимусь духовно достаточно высоко и не почувствую, что имею на это право, и тогда я схвачу топор и разнесу его в щепки. Безжалостно!

Но он, подлец, так крепок, что у него есть все шансы меня пережить.

* * *

И вот, как это часто случается в жизни, сцена, происходившая пять лет назад, повторилась: снова было лето, снова был август. Мы с отцом завтракали, пока мать гладила мою белую рубашку и черные брючки.

Провожая нас, она пожелала нам доброго пути, точно мы отправлялись далеко-далеко, в другую страну, с важной миссией. Потом она сделала то, чего давно уже не делала — приподнялась на цыпочки и поцеловала отца в щеку.

— Ну, сынок, пошли,— смущенно сказал он, явно взволнованный.

Опять, наверное, было воскресенье. Мы шли по улице Искыр к улице Волова. Мой отец — строгий, мраморная статуя с завитком, упавшим на белый лоб, в том же белом чесучовом костюме, но перелицованном портным из Музыкального театра. Деревья взметали зеленые фонтаны в синее небо, точно кто-то накачивал их снизу. Само небо было невыносимо синим, по мостовой стучали подковами коричневые кони, запряженные в телеги с расписными боковинами, изредка проезжал автомобиль.

Фроса развешивала под окном латаное нижнее белье. Вража выбивала полысевший домотканый ковер. Йорде висел на лестнице, за-

стряв одной ногой в щели, и выл. Вангел, удивленно таращась, стряхивал с себя стружки. Роленский и Роленская обзывали друг друга потаскухой и потаскуном. Манолчо громко храпел, положив под голову топор вместо подушки. Какими восхитительными звуками наполнялся некогда наш квартал!

Встретившиеся нам соседи попытались завязать с нами разговор, но отец вежливо пресек эти попытки.

Знаете ли вы, куда мы идем? Мы идем делать буфет — высшее достижение человеческого гения, апогей, апофеоз апофеозов,— вперед!

Мы дошли до улицы Волова, повернули — третий дом от угла... Сердце мое стучало от волнения. Мы наклонились, чтобы заглянуть в чуть возвышавшиеся над землей оконца подвала!

Пустота.

Окна были пыльные и грязные, точно кто-то, зная, что мы будем проходить мимо и наклонимся, чтобы заглянуть в них, нарочно облил их грязью. Не было видно ничего, кроме каких-то тряпок.

Мы спустились по ступенькам и нажали на кнопку звонка. Безмолвие.

Полный скверных предчувствий, отец нажал звонок во второй, третий, пятый, десятый раз. Проклятый звонок, который звенел, словно сирена пожарной машины.

Наконец мы услышали шаги, дверь распахнулась, и дорогу нам преградил здоровенный мужчина в куртке, из-под которой виднелась майка, с густой рыжей шевелюрой, почти закрывающей узкий лоб, и злобными глазками, взгляд которых прыгал по нам, как блохи. Откуда-то из глубины помещения послышался яростный собачий лай.

— Смирно, Барон! Да уйми ты пса! — закричал мужчина, оборачиваясь к темному коридору.

— Сам унимай! — ответил хриплый женский голос.

— Чего вам надо? — враждебно спросил мужчина, почесывая грудь, заросшую рыжей шерстью.

— Мы ищем Георга Хенига, мастера, который делает скрипки.

— Какие еще скрипки? Здесь такой не живет.

— Видите ли, он старик. Очень старый человек. Здесь была его мастерская.

Снова раздался собачий лай, еще более яростный. Огромный пес выскочил из коридора, бросился к хозяину и положил ему лапы на грудь. Потом повернул морду к нам. Из разинутой пасти свисал красный язык.

— Смирно, Барон! А вы кем ему доводитесь?

— Никем... Я его друг, а это мой сын...

— Дверь слева,— кивнул мужчина, схватил собаку за ошейник и отодвинулся, пропуская нас.— Только он не Георг, а Георгий и просто столяр! Во всяком случае, был когда-то столяром.

Таща собаку за ошейник, он ушел в свою комнату, с шумом захлопнув дверь.

Мы постояли под дверью дедушки Георгия, прислушались — ни звука. Темень, тяжелый запах псины... У порога валялись обглоданные кости и опрокинутая миска. Отец постучал раз, другой и, не услышав ответа, нажал ручку двери. Мы вошли.

Георг Хениг сидел — точнее, скрючился на диване, словно от сильных болей в животе. Голова его тряслась. В комнате было мрачно. Никакой солнечный луч не мог пробить лежавший на стеклах окон слой грязи сантиметров в пять. Откуда-то сочился липкий, холодный, как иней на железе, свет, отчего предметы казались больше и темнее. Пахло старостью, замшелостью, гнилью, смертью. На плите булькал маленький медный кофейник — это был единственный более или менее человеческий звук в комнате.

Отец зажал нос и, в два шага подойдя к окну, широко распахнул его. Солнечные лучи прорвали сумрачную муть, разбежались по комна-

те и осветили брошенный рубанок, опущенную голову Хенига и угол, где стояла плитка.

Георг Хениг не обращал на нас внимания, не поздоровался с нами. Сидел в той же позе, мелко дрожа.

Наконец сделал мучительную попытку поднять подбородок и взглянуть на нас. Глаза у него были белые, как у брошенной в кипяток рыбы. Грязные пряди волос в беспорядке падали на плечи.

Пятна плесени покрывали серые засаленные стены, которые походили на обвисшие старческие щеки. Они тоже как бы вдыхали и выдыхали, и вся комната наполнялась больным этим дыханием.

Полчища тараканов бегали по полу. Над двумя покосившимися, коричневыми от грязи верстаками висели, как и прежде, формы для скрипок, нижние и верхние деки, разной величины грифы, почерневшие смычки, пучки пожелтелого конского волоса. Контрабаса, стоявшего в углу, уже не было. На этом месте валялся покрытый пылью горшок с застывшим столярным клеем.

Не было и Боженки. Под криво свисавшими нелепыми теперь иконами к стене гвоздем была прибита ее фотография. В нижнем углу был прикреплен кусочек черной ткани. Фотография выцвела и приобрела характерный для старых фотографий коричневатый цвет. С нее смотрела молодая улыбающаяся женщина — отдаленно чем-то напоминающая старушку, которую я видел здесь когда-то.

Отец выдернул из штепселя старый разлохмаченный шнур плитки. Ухватил двумя пальцами ручку кофейника и брезгливо понюхал его содержимое.

— Бай Георгий, что это? — спросил он, приседая на корточки перед стариком.

Тот переводил взгляд с отца на кофейник. Никакой мысли не выражал этот взгляд, будто перед Хенигом были просто два предмета. Рубашка его была в ржавых пятнах. Воротничок оторван. На подхваченных проволокой брюках не осталось ни одной пуговицы.

— Бай Георгий! — Отец протянул руку и, осторожно взяв его за плечо, слегка потряс.— Что это? — И поднес кофейник к его носу.

Ноздри старика сжались. Лицо искривилось. Он уставился на кофейник, чмокнул губами.

— Это обед для Георга Хенига,— ответил он неожиданно ясно.— Что-то должен кушать. Еще жив, должен кушать.

— Обед? Разве это можно есть?

— Немного уксус, немного вода. Добро для стари Хениг. Хлеб намочил, обедал. Кто ти? Знаю тебе? Мое ученик? Как злати имя?

Отец выронил кофейник. Вода разлилась по полу, побежала под диван и испугала тараканов. Еще сильнее запахло кислым.

Отец выпрямился, посмотрел на меня непонимающе, всегда горящие его глаза потухли.

— Вот...— сказал он, показывая на лужу.— Вот... Беги к доктору Берберяну! Купи булку и молока!

Достал из бумажника деньги и протянул мне. Я бросился на улицу.

Через час, когда я, купив булку, вернулся не один, а с доктором Берберяном, отец уже успел немного прибраться, но отвратительный запах по-прежнему стоял в подвале, хотя оба окна были открыты настежь.

Доктор Берберян, врач софийских музыкантов, высокий толстый армянин с голубыми (нечто совершенно необычное для армянина) глазами и с большим носом, отличался характерным для всех докторов юмором: «Никуда ты не годишься!», или: «Скоро будем кормить червей!», или: «Поп тебе нужен, а не доктор!».

Входя, он уже открыл было рот, чтобы сказать свое любимое «Поп тебе нужен...», но, увидев старика, осекся и некоторое время стоял, широко открыв рот и голубые свои глаза.

Не задавая вопросов, он помог отцу раздеть Георга Хенига. Потом быстро достал из докторской сумки стетоскоп, сунул трубочки в свои волосатые уши и принялся водить им по груди старика.

Хилая старческая плоть ссохлась и пожелтела, как у мумии. Трудно было даже назвать это плотью. Страшное зрелище.

Общими усилиями мы уложили его на спину. Берберян постучал тут, постучал там — старик позволял делать с ним все что угодно, только дрожал и прерывисто дышал.

Наконец врач выпрямился и с угрюмым видом стал засовывать стетоскоп в сумку.

— Доктор...— начал отец, но тот прервал его.

— Свинство. Ужасное свинство! Этот человек умирает от голода.

— Что с ним?

— Я же сказал — он голоден. Конечно, у него болезнь Бехтерева и Паркинсона тоже. Но год-другой он еще поживет, если не умрет с голоду.— И Берберян выругался, а отец в первый раз не рассердился, что ругаются в моем присутствии.

Отец спросил, сколько он должен заплатить, протянул ему деньги, но Берберян оттолкнул его руку.

— Лучше купи ему еды. Ему надо что-нибудь легкое, иначе у него желудок не выдержит. Рисовый отвар или суп из помидоров, в крайнем случае куриный бульон и немного хлеба.— Берберян достал бумажник, вынул несколько купюр и положил на верстак.

— Позор,— возмущенно сказал он.— Я тридцать лет знаю этого человека... Чтобы так его бросить... в этом...— И, махнув рукой, он направился к двери.

Пообещал, что завтра опять зайдет. Снова выругался и вышел.

В комнате царило молчание, только за стенкой слышался лай Барона. Отец вымыл кофейник, согрел молоко, накрошил в него хлеба. Мы поддерживали с двух сторон дедушку Георгия в вертикальном положении, что не требовало никаких усилий. Он весил не больше, чем я.

Поскольку сам он не мог держать ложку, которую нам удалось отыскать, приходилось его кормить как маленького. Мы не всегда попадали ложкой в узкую полоску его рта, и молоко стекало по подбородку.

Когда мы кончили его кормить, он был совершенно без сил. Мы уложили его, накрыли лоскутным одеялом и ушли.

Отец постучался в соседнюю комнату. Рыжий приоткрыл дверь, высунул голову.

— Чего вам еще? Назад, Барон! Фу! — Он отпихнул ногой пса, который пробовал прошмыгнуть у него между ног.

— Я хотел вас попросить присматривать за стариком,— сказал отец.— Я оставил молоко и хлеб...

Рыжий захлопнул дверь.

Всю дорогу домой мы молчали. На столе, накрытом скатертью, уже стоял обед. По обыкновению хмурая, мать встала из-за машинки.

— Ну что? — начала она, но отец остановил ее жестом.

Сели за стол. Мы с матерью ждали, когда он что-нибудь скажет. Вдруг он ударил кулаком по столу так, что тарелки подскочили и суп пролился на скатерть.

— Если я еще раз в этом доме услышу слово «бедность»,— произнес отец с жутким спокойствием,— если я хоть раз услышу это словечко от кого бы то ни было, то ему не поздоровится. Приятного аппетита! Ешьте! — закричал он, и мы усердно принялись за остывший суп.

* * *

С этого дня Георг Хениг стал четвертым членом нашей семьи. Каждое утро я относил ему завтрак, а к обеду мать готовила мне три каст-

рюльки, вставленные одна в другую, и я отправлялся в подвал, где отец делал каркас буфета.

Старик поправлялся на удивление быстро. Сейчас я думаю, что, может, не голод довел его до состояния, когда он казался живым мертвецом, а убийственное одиночество и полная беспомощность, на которые он был обречен, сидя в своем мрачном подвале (а может быть, все вместе взятое).

Мать прислала пару чистого нижнего белья, рубашку и брюки. Отвести старика в городскую баню было немыслимо. Как смогли, мы выкупали его в алюминиевом тазу. Он терпеливо сносил сложную процедуру, бормоча молитвы на смеси чешского, болгарского и латыни. Убрались, как сумели, в комнате, но когда мать пришла, чтобы повесить занавески, она чуть не задохнулась от того же тяжелого запаха.

Соседи Хенига реагировали на наше присутствие с раздражением и неприязнью. Когда кто-нибудь из нас приходил (дедушка Георгий дал нам ключ от входной двери), Рыжий тут же выскакивал в коридор вместе с Бароном, норовил толкнуть пришедшего, ругая нахалов, шляющихся по чужим квартирам.

Мы старались не обращать на это внимания.

Отец притащил из Музыкального театра обструганные доски, фанеру, взятые у Вангела инструменты — в общем, все, что ему было необходимо для буфета. Дома он проводил вечера, склонившись над листом картона из моего альбома для рисования, не расставаясь с циркулем и треугольником, занятый сложными вычислениями.

Труба отдыхала в футляре.

Он извлекал ее только, когда шел на спектакль или репетицию. В последнюю минуту. Дунув два-три раза, сбегал вниз, не сказав «до свиданья», потому что голова его была забита цифрами и всевозможными геометрическими фигурами.

Мы старались не шуметь. Я и не думал о том, чтобы играть гаммы и арпеджио. А он и не вспоминал, что мне надо заниматься. В общем, жилось чудесно.

Музыка надолго покинула наш дом.

Несколько дней отец посвятил тому, чтобы вычистить инструменты Георга Хенига, хотя они были слишком маленькие и ему пригодиться не могли. Они валялись в полусгнившем ящике, от которого пахло дохлыми мышами. Отец извлекал их по одному, осторожно протирал смоченной спиртом тряпочкой и клал на большой кусок полотна, расстеленный на верстаке.

И вот перед нами предстал прекрасный комплект инструментов для изготовления скрипки — изящные пилы с изогнутыми ручками, сверла, которыми просверливают дырочки в полмиллиметра, рубаночки величиной с детский палец, рубанки побольше, грациозные формы для всех видов скрипок, в которых дерево стягивают маленькими струбцинками и оставляют какое-то время полежать, острые ножи, колодки.

Вычистив все, отец замер как зачарованный. В полумраке подвала инструменты тускло поблескивали, на них блестели капельки машинного масла, теплым и благородным был коричневый цвет ручек, ставших такими от долгого употребления.

— Бай Георгий, откуда у тебя это богатство?

Хениг сполз с дивана. Голова его была почти на уровне колен. Руки затряслись еще сильнее, когда он принялся ощупывать инструменты.

— Дал отец Йосиф,— ответил он,— когда я бил злати дете, как Виктор, отец подарил, чтоби я стал мастер.

— Твой отец тоже делал скрипки? — спросил я.

— Отец бил велики мастер. Скрипки делал. И виолончель. И бас. Его отец — дедо мой, не помнил злати име — тоже бил велики мастер.

Он с трудом взобрался опять на диван и лег спиной к нам.

Отец снова полез в ящик и достал оттуда лежавшие поверх толстого слоя стружек деревянные пластины, старательно завернутые в кусок шерстяной ткани.

— А это что? — спросил он, перекладывая их из одной руки в другую и постукивая по ним ногтем.

— Дерево для скрипки,— ответил старик не поворачиваясь.— То, что держит сейчас, клен, со Шпиндлерова мельница, из Бохемия. Это для ее нижни деки. Сто лет... Добро дерево. Слишал, какой тон дает? Слишал звук?

— Не слышу,— признался отец.

— Не слишал... то, что держит, дерево из Миттенвальд, для деки. Сам сушил, когда бил злати дете. Слишишь глас?

— Нет...

— Не слишал... заверни добро, положи обратно. Сохнет, собирает глас. Добро дерево, стари дерево.

Отец бережно завернул пластины в шерстяную тряпку, положил на стружки и поверх них — инструменты. Долго еще они лежали вот так в ящике.

* * *

Были каникулы, и большую часть времени я проводил у Георга Хенига, даже когда отец занят был на репетиции и у него не оставалось времени на буфет.

Весть о том, что он делает буфет, молнией облетела квартал и изменила наше социальное положение. Если прежде мы были бедными, как все, то тут мы вдруг превратились в изменников, гнилых интеллигентов, в отступников, выскочек и вообще временных жильцов.

Мои сверстники, и без того презиравшие меня за игру на скрипке, запрезирали меня еще больше.

Я не имел ничего против — эта полная отверженность соответствовала полюбившейся мне идее об абсолютной бедности. Мне нравилось быть бедным! Под влиянием книги Мало я хотел быть бедным, моим идеалом был бедный Реми. Я мечтал быть беднее и лучше его.

Иметь буфет в то время было почти то же, что построить трехэтажную дачу с бассейном в наши дни. Квартал был оскорблен и разочарован. Отец не занимал больше денег у Роленского. Походка его стала тверже и уверенней. Стоя в очереди, мать уже не была робкой и тихой, не пела в общем хоре бедных. Напротив — посылала маленькие отравленные стрелы в сердца соседок, сообщая им последние новости о буфете. Например, о левом ящике: с какими трудностями столкнулся ее муж, собирая левый ящик. И как он их преодолел. Что в нем будет лежать. И как замечательно он будет гармонировать с правым ящиком. Главная трудность, конечно, достать подходящую краску: они должны быть синими на общем белом фоне, в то время как муж настаивает, чтобы весь буфет был синий, а только два ящика белых — а каково их мнение? Она возвращалась домой, и легкая победоносная улыбка играла на ее лице, пока она вдевала нитку в иголку и складывала воротнички в стопку слева от машинки, иногда при этом она даже напевала.

Квартал сгорал от зависти. Жены ругали мужей за то, что они сидят целыми днями в пивнушке, и ставили в пример моего отца. Мужья пили еще больше и поносили его, вымещая злость на женах. Фроса заставила Йорде проторчать целые сутки на лестнице, когда он опять застрял в щели, словно пленника, всецело зависящего от ее милосердия.

На следующий день их дети Митко, Любка и Лили без всякого повода здорово меня отлупили...

При одном упоминании имени моего отца Манолчо схватился за топор и изрубил в куски кровать, стол и стулья, затем выбежал на улицу и в бешенстве принялся рубить фасад дома, ругая фашистов. Его отправили в клуб дружинников. Протрезвившись, он не помнил, что на-

делал накануне, снова напился до посинения и умер бы, наверно, если б ему не было суждено умереть через год.

Мать моя обычно вешала белье сушиться в коридоре. Идя в уборную, Роленский плевал на него. Плевал и на обратном пути. Меньше всего основания плевать имел он, мерзавец, потому что у него буфет был еще до 9 сентября 1944 г. Однако мать выследила его и застала на месте преступления, когда он застегивал ширинку и плевал на белье. Она замахнулась на него утюгом и разбила бы ему голову, если бы не подбежала Роленская и не спасла его. «Кулачка! — кричала та, дергая мать за волосы.— Не смей трогать Воробышка!» (когда они не обзывали друг друга потаскухой и потаскуном, они ласкательно говорили друг другу: «Воробышек»).

Не проходило дня без скандала. Так как по моим тогдашним представлениям «бедность» и «скандал» были понятия несовместимые, я предпочитал ходить к Георгу Хенигу и проводить там почти все время.

Взяв три кастрюльки с едой, я отправлялся туда и, когда меня спрашивали, куда же это я иду, отвечал скромно, опустив глаза: «Кормить дедушку Георгия».

Наконец я нашел деда по своему вкусу — ужасно бедного, бесконечно доброго, с внешностью волшебника из сказки, знающего множество тайн, явившегося из неведомой далекой страны и говорящего на магическом языке, владеющего странным ремеслом и страдающего, как святой...

Я входил в подвал, не боясь Барона и Рыжего. Страх внушала мне его жена — здоровенная, с растрепанными светлыми волосами, в бесформенном черном халате, она ругалась, дыша перегаром, хуже мужа.

Толкнув ногой деревянные ворота, я спешил отпереть дверь в квартиру, быстро входил в комнату и ставил кастрюльки на верстак. Потом садился на табуретку и ждал, когда дедушка Георгий посмотрит на меня.

Я всегда заставал его в одной и той же позе. Он сидел на диване, согнувшись и положив трясущиеся руки на колени, весь погруженный в раздумья.

А может, Георг Хениг ни о чем и не думал. Может, мысли и воспоминания кружили вокруг седой его головы, словно бабочки вокруг лампы — она горит себе и не ведает ни о чем.

Тусклый свет освещал пол. Скелет буфета маячил в углу. Формы скрипок уныло висели по стенам, очерчивая пустые грушевидные, подобные печатям безнадежности, пространства. Второй верстак, на котором когда-то работал Хениг, поскрипывал и потрескивал, точно ломались его старческие кости. Верстак становился все ниже, постепенно приближаясь по росту к хозяину. Темным пятном выделялась фотография Боженки на стене между иконами и лампадой, которую никто не зажигал, потому что у дедушки Георгия не хватало денег на масло, а мой отец был атеист и не считал нужным ее зажигать.

Когда после долгих минут молчания Георг Хениг поднимал голову, неуверенная улыбка медленно растягивала тонкие его губы, и я догадывался, что ему стыдно за кастрюльки, синеющие на верстаке.

Я быстро понял, что ему неудобно есть при мне, и пока он ковырялся ложкой, я чаще всего вертелся около буфета, ложился в него, как в гроб,— он был достаточно велик, чтобы вместить меня, или я был достаточно мал, чтобы поместиться в нем,— снимал формы со стен, вертел их, рассматривая, сжимал и разжимал струбцинки или разглядывал иконы.

— Что это за женщина?

— Матерь божия.

— Но ведь бога нет? Как же у него может быть мать?

— Ай-ай-ай! Есть бог, есть мать, добра, как твоя злата мать.

— А этот младенец — он тоже бог?

— Он син бога. Младенец Исус. Как ти син твоего отца.

— А где его отец?
— Отец не видно. Он везде... Тут на земле, там на небе.
— Они что, развелись?
— Как?
— А так, он пил и бил ее, как Манолчо, они жили бедно, и, раз он о них не заботился, они развелись.
— Ай! Глюпости! Бог заботится для всех: тебе, мне, твоя злата мать, отец...
— Обо мне отец заботится, а мы заботимся о тебе.
— Много благодарен, пусть живет сто лет твоя злата мать и отец. Но бог заботится за стари Хениг, помилуй брат Антон, помилуй отец Йосиф и жена Боженка Хенигова.
— Почему же мы бедные, если он о нас заботится?
— Не бедни. Ти не беден.
— Бедный! И ты тоже бедный. И мой отец. Мать была богатая, но у них все национализировали, и теперь она тоже бедная.
— Не беден,— вздыхал Георг Хениг,— но мальки, инфант...
Я чуть не плакал от обиды.
— Я бедный! Во всем квартале нет никого беднее меня!
Тогда Георг Хениг вставал, волоча ноги, подходил ко мне, брал меня за плечо трясущейся рукой и заставлял опуститься на колени перед иконами. Становился сам на колени рядом и шептал:
— Ти не беден! Я глаза видел, я знаю тебе! Может, квартал беден, но ти не беден. Цар! Цар Виктор, как цар Давид, цар Саул, цар Соломон...— И он называл незнакомые имена, среди которых я улавливал имена его жены Боженки, брата Антона, отца Йосифа, имена моего отца и моей матери, его собственное имя,— Георг Хениг молился за всех.— Говори: Аве Мария...
— Аве Мария...
— Грациа плена...
— Грациа плена...

...Я уходил, полный путаных представлений о боге, о божьей матери и их сыне, об их сложных взаимоотношениях, о моей бедности, а в ушах у меня звучал настойчивый голос: «Не беден! Ти цар!».
Какой царь? Почему царь?
Мне совершенно не хотелось быть царем.
— Мама, мы бедные? — спрашивал я, когда мы с отцом, вернувшись со спектакля, садились ужинать.
— Бедные. Ешь.
— Перестань болтать глупости! Мы не бедные. Ешь.
— Дедушка Георгий сказал, что я царь.
— Гениальный трубач и царь — не слишком ли много мне одной? Ешь.
— Не болтай глупости! Никакой ты не царь. Ешь.
— Он сказал, что есть бог. Бог женат на божьей матери, а она ему родила сына Исуса.
— Был бы на свете бог, мы не жили бы так... Ешь.
— Как?
— Так, как сейчас... Ешь...
— Нет никакого бога! Ни божьей матери! Ни Исуса! Все это выдумки!
— А зачем он меня обманывает?
— Он тебя не обманывает... Видишь ли, он очень стар. Старые люди считают, что бог есть. А на самом деле его нет.
— А вы когда станете старыми, тоже будете верить, что бог есть?
— Может, и будем верить, если нам больше ничего не останется...
— Хватит! Надоело! — кричал отец, отодвигая стоявшую перед ним тарелку.— Ешьте! Только некультурные люди разговаривают за столом.

Мать садилась за машинку. Отец, прикрыв газетой лампу, погружался в вычисления. В более темной половине лежал я, накрывшись одеялом с головой, и рассуждал: царь. Бог...

Думал, стоит ли ждать, покуда постарею, чтобы поверить в него? Не лучше ли поверить в него сегодня? Бог, Исус, Давид, Соломон, аве Мария, Антон, Йосиф, Манолчо, Фроса, Стамен, Вангел, Каин и Авель, Митко, Лили, Любка, Георг Хениг, Йорде, бедный Реми, царь Виктор... о, как сложен мир!

— И он будет во всю стену? — шептала мать в темноте.

— Как ты захочешь...

— Весь белый?

— Белый... зеленый... синий... красный...

— Ты замечательный!.. Я хочу, чтобы справа был ящик для белья...

— Да-да, для белья...

— Большой, глубокий...

— Глубже не бывает...

— А что будет слева?

— Аптечка... а под ней — ящичек...

— А ниже?

— Ящичек... маленький такой.

— Я не хочу маленький! Хочу большой.

— Хорошо-хорошо, большой...

И из-за чего поругались бог и божья матерь, думал я, засыпая, что он то на земле, то на небе? Уж не просила ли она у него буфет, а он не мог его ни купить, ни сам сделать? В таком случае мой отец лучше бога. Они уже не ругаются, и он нас не бросит. Наверно, он пьяница, этот бог. Пьет и дерется, как Йорде! Самое лучшее было бы, если бы, когда он поднимался с земли на небо, то застрял бы на лестнице, ведущей в небо, и никто бы его оттуда не вытаскивал. Скажу дедушке Георгию, чтобы он в него не верил. Но ведь он старенький, а старые люди должны верить. Ну, конечно же... Разве я не ношу ему каждый день еду? Пусть верит, покуда жив, что будет есть три раза в день.

* * *

Рубанок в руках отца свистел, шипел. С дерева спадала кожица за кожицей, и под конец показывалась розовая, как детское тельце, сердцевина. Довольный отец проводил рукой по гладкой поверхности и удовлетворенно кивал. В углу выстраивались доска за доской, большие и маленькие, тонкие и толстые, от них исходил сильный чистый запах. Отец размашистым жестом вытаскивал торчавший за ухом карандаш и проставлял номера. Порядок был известен ему одному.

На полу валялись только что состриженные тонкие, спиралевидные русые кудри дерева. Он зажимал похудевшую доску тисками и разглаживал ее шероховатости. Раздавался звук, похожий на визг. Опилки сыпались, как перхоть.

Грустно вздыхал в другом углу Георг Хениг, наблюдая за ним белыми глазами. Страдальческим взглядом следил он, как испуганное дерево содрогается в крепких руках моего отца. За стеной лаял Барон.

— Не пугай дерево, Марин! — Хениг укоризненно качал головой.

— Или будет слушаться, или...

— Дерево не виноват.

— Вот я ему покажу...

— Почему сердит на дерево?

— Ох!

— Понимал. Но так работать не добро. Дерево хочет знать, что станет. Садись, говори с дерево. Спрашивай, стари или нет, откуда... Если дерево не хочет — не станет буфет. Дерево разумно, мастер неразумни.

— Верно.

Однако, вопреки предсказаниям Георга Хенига, буфет не по дням, а по часам обретал материальную форму. Сначала туманная идея, потом чертежи, подсчеты, внимательные наблюдения, оценка сил, потом груда толстых досок, атака, и вот — буфет постепенно вырастал, рождался среди горы стружек, все еще безносый, плоскогрудый и безликий, соединение пустых четырехугольников, сродни висевшим по стенам формам скрипок, но гораздо более объемный и внушительный.

— Марин, дай научим тебе делать скрипку!

— Ах, дедушка Георгий!

— Есть рука, есть глаз! Выучит ремесло!

— Куда там.

— Сердце есть!

— Гм...

— Эх, мастер Марин!

Доползая до дивана, Георг Хениг взбирался на него, ложился спиной к нам и затихал. Я укутывал его одеялом. Рыжий за стенкой поносил Георга Хенига, жена вторила ему. Барон лаял.

Черные завитки падали на лоб моего огорченного отца. Желваки двигались под кожей. Пи! Пи! Пи! — пищали шляпки забиваемых гвоздей. «Так, и так, и так, ага, посмотрим!» — рычал он, отступал, приближался, упирался лбом в доски, заходил то справа, то слева, беспричинно смеялся, притихал, мрачнея, закрывал один глаз (второй горел!), закрывал горящий глаз и открывал другой (тот горел еще ярче!). Отец плюхался на стул, тер вспотевшие виски, откидывал голову назад и застывал так с откинутой головой, потом вскакивал и опять набрасывался на свое творение. «На! На! На! — И, уступая этим порывам, буфет покорно рос вверх, в ширину и глубину.— При чем тут разговор с деревом? Чепуха, мастер Георг!»

Тук! Тук! Тук!.. Отец наносил последние удары молотком по шляпкам уже забитых гвоздей, опять валился на стул и обхватывал голову ладонями.

— Для кого делал буфет, Марин? — спрашивал вдруг старик.

— Для нас... для моей жены. Я же тебе рассказывал.

— Ти жена не любить?

— Как не люблю, ведь она мне жена. Что ты говоришь!

— Но так работать — все равно не любить.

— А как ты хочешь, чтобы я работал?

— Слушай, научу тебе. Когда пришел клиент и сказал: «Сделай мне скрипка», что делает стари мастер?

— Делаешь скрипку.

— Ай-ай-ай! Все забивал! Не помнишь, когда с цар Виктор пришел за скрипка?

— Ну и?

— Первое — говорим с клиента. Какой человек? Весели? Добри? Молчит-грустни? Умен? Не умен? Хотел за три дни инструмент? Спокойно? Любезен с мастер Хениг? Важен господин? Глаза какой? Если не говорил, то все спутал. Для весели человек сделает грустна скрипка. Для грустни — весела. Ти мне понимаешь? Когда скрипка как сестра, тогда играет добро. Широк тон, велики глас. Может грустни человек играть на весели инструмент? Не может. Сам скажи, ти музикант, может или нет?

— Не может,— соглашался отец.

— Потом с дерево говорим. Есть весело дерево, грустно, умно, спокойно, хитро, силно, тихо. Сколико человек, столико дерево. Скажешь ему, кому идет, куда. Он любит тебе, берегит тебе, служит добро. Добро дерево ждет много лет свой господин! Так, мастер Марин! Иначе не слушает, не дается, не хочет стать скрипка. Дерево выбирает человека, мастер выбирает дерево. Не бороться с ним, не бьется с ним. Оно не вино-

ват. Работай с ум! Так я учил мастер Франта, мастер Ванда... Смеялся. Не верил! Злати руки, железно сердце! Понимаешь?

— Понимаю...

— Слушал, а не понимал. Эх, мастер Марин!

Георг Хениг шарил под верстаком, брал консервную банку, где хранил окурки, рылся в ней трясущейся рукой. Доставал один, с нескольких попыток зажигал его. Он был страстный курильщик, но денег на сигареты у него не было, и он собирал на улице окурки.

Я покупал ему чуть ли не ежедневно по две пачки «Бузлуджи», но он предпочитал окурки. Отец, ничего не говоря, выбрасывал консервную банку. Потом вынимал из кармана пачку и передавал Хенигу. Тот с виноватым видом брал сигарету, разминал, смачивал языком, и оба они с наслаждением пускали горькие струйки дыма.

Наступал вечер, и в углу появлялись синие тени. Я отчетливо видел, как они передвигаются, садятся то на пол, то на верстак, подпирают кулаком подбородок. Видел их и Георг Хениг, он садился на диван, уставившись на стену.

Отец мылся во дворе голый по пояс, фыркал, брызги летели во все стороны. Он наскоро переодевался, прощался и бежал в Музыкальный театр. Тени облегченно вздыхали.

Мы оставались в темном подвале вдвоем с Хенигом и не зажигали свет, чтобы не испугать их, чтобы они не исчезли! Я снимал свои круглые очки, чтобы лучше их разглядеть.

Они приближались к Георгу Хенигу, прикасались к нему и, отталкиваясь, легко, как синеватые шары, взмывали вверх и плавно опускались вниз. Обступали нас полукругом, потом усаживались, поджав ноги по-турецки.

Старик сгибался еще ниже, словно желая сократить расстояние между ними и собой. От волнения голова его и руки дрожали сильнее. Сумрак комнаты наполнялся неясным бормотанием.

Георг Хениг начинал разговор со своим отцом Йосифом, братом Антоном и женой Боженкой. Иногда кроме них являлась и тень его матери, которая умерла, когда он был маленьким, таким, как я. Старик что-то ласково шептал им, но что, я не понимал, потому что разговаривали они по-чешски.

— Что они тебе сейчас говорят? — шептал я, дергая его за рукав.

— Спрашивал, что за дите у мне,— отвечал он тоже шепотом.— Ти не бойся, они давно умер. Не делает плохо.

— Что ты им говоришь?

— Говорим, это цар Виктор, добри мальчик, учится, станет цар.

— А они что?

— Ти им нравится. Отец Йосиф тоже сказал: ти цар. Невелики еще, инфант, але подрастет — станет велики цар.

— А им больно?

— Уже нет. Ничего не ощущал. Всем добро, отец, мать, брат Антон, жена Боженка. Жена тебе узнала, но плачет, грустни.

— Почему?

— Не может на концерт прити, когда цар Виктор играет.

— Скажи ей, пусть не плачет,— шептал я,— не хочу быть скрипачом. Не буду концерты давать!

— Ай-ай! Не добро!

— Что делать,— разводил я руками, словно извиняясь.— Не хочу играть на скрипке!

— Но что делает тогда?

— Буду писателем,— самым серьезным образом убеждал я его.— Как Гектор Мало. Он написал книгу «Без семьи».

Старик брал мою руку в свою и, сжимая ее, беззвучно смеялся.

— Будет, кем хотит, но цар.

Чем ближе к ночи, тем огромнее становились тени. Они разгуливали по комнате, залезали в буфет, с удивлением ощупывая его, заползали под верстак, тихо шелестели стружками. Георг Хениг кряхтя поднимался и, прихрамывая и опираясь на палку, доходил до угла комнаты. Одна из теней тотчас подплывала к нему и прислонялась к стене.

Я щурил близорукие глаза, но почти не различал, где он, а где тень. Страх охватывал меня.

— Что они сейчас говорят?

— Спрашивал, когда я приду к ним. Отец Йосиф сердит, ругает мне. Очень медлит стари Хениг.

Я молчал, пытаясь найти доводы, чтобы убедить тени не заставлять его уходить к ним. Что я буду делать, когда его не станет? Зачем он им понадобился? Никто не мешает им каждый вечер приходить сюда. А может, я им мешаю...

— Дедушка Георгий, спроси, я им мешаю?

— Не мешает, они довольни тебе. Еще маленьки, видит, но не понимает. Инфант. Не беда.

— Скажи им, что ты не можешь прийти к ним, потому что буфет еще не готов. Сказал?

— Сказал... Спрашивает, зачем отец делает буфет.

— Скажи им, что так нужно: мы бедные, и у нас нет денег на буфет. Мама...

— Не бедни! Брат Антон сказал — отец музикант, должен музика делать, не буфет. Он сам играл валторн, виртуоз, музикант не беден, слушай мой брат, что сказал!

Большая тень выплывала из угла, я различал усы, знакомые по пожелтевшей фотографии, которую я отыскал в сундучке Хенига, сверкали рыцарские доспехи, на стене проступала и тень лошади. Тень вздрагивала, то уменьшаясь, то увеличиваясь, плясала по влажной стене, словно темные языки пламени, мне слышалось отдаленное ржание и топот копыт.

Старик жевал губами, тер глаза рукавом, с трудом залезал на диван. Вертелся с боку на бок, пытаясь удобнее умоститься среди продавленных пружин. Колени его поднимались так высоко, что почти касались подбородка. Он лежал, обратив лицо в угол, и глаза его белели еще печальнее.

— Скажи им, что ты живешь хорошо,— умолял я его,— мы заботимся о тебе, я каждый день ношу тебе еду. Скажи им, что я буду носить тебе еду, пока ты жив. Побудь с нами еще немного. Скажи, пусть подождут.

— Сказал, но Боженка плачет.

— Она голодная?

— Не голодна, господь бог кормит всех.

— Может, он сегодня забыл ей принести поесть?

— Бог не забудет, у него все сити. Еда добра... Виктор, дай мне окурок.

— Возьми сигарету. Папа говорит, окурки курить вредно.

— Уже ничего не вредно для стари Хениг, просим Виктору, дай окурка.

Старик затягивался несколько раз, красноватый огонек на мгновенье жалобным светом освещал его морщинистое лицо. Темнота сгущалась, тени расплывались, пока совсем не исчезали.

— Дедушка Георгий, они ушли?

— Ушли.

Я вздыхал с облегчением, что и в этот вечер он остался с нами, не ушел к своим теням. Я мечтал выучить чешский язык, чтобы разговаривать с ними так же, как он. Я не верил, что он достаточно убедительно пересказывает то, что я хотел им сказать. Я ничего против них не имел. Они казались мне даже интересными, но я боялся, что однаж-

ды вечером они уговорят его и он вместе с ними растворится в темноте. Окурок его блеснет в последний раз, и он исчезнет. И тогда я навсегда останусь один в этом подвале. За стенкой будет лаять Барон, мне будет страшно выйти из подвала и возвратиться домой. Как я объясню родителям, что дедушка Георгий ушел с тенями? Они даже в бога не верят. Решат, что я все это придумал. Они и без того называют меня фантазером.

— Дедушка Георгий, научи меня говорить по-чешски.

— Научи, если ти хотел. Легко научи, ти умни. Цар Виктор!

— Как сказать «здравствуй»?

— Добри ден.

Как просто. Я выучу язык теней. Никто не будет понимать, о чем мы говорим между собой. И когда дедушку Георгия придется отпустить к его теням, я уйду вслед за ними. Его брат Антон посадит меня на лошадь, сядет сам и заиграет на валторне, чтобы бог слышал, что мы едем. Пусть ждет, пусть накрывает на стол!

* * *

Приближалась середина сентября, а с ней и новый сезон в Музыкальном театре. Обычно в эту пору отец играл на трубе с утра до вечера, а в промежутках занимался оркестровкой клавиров, переписывал партитуры и делал переложения скрипичных концертов для трубы под осуждающим взглядом матери и под монотонный аккомпанемент швейной машинки.

Мать не верила в блестящую карьеру отца, не разделяла его иллюзий и сомневалась в его таланте, что он воспринимал с холодным, гордым молчанием.

Однако этой осенью труба, никому не нужная, покрывалась пылью. Ноты лежали в папках, а отец отдавал весь свой талант и силы буфету.

Работа настолько его увлекла, что в какой-то момент он и сам стал похож на буфет: столь же безмолвный, далекий нам и чужой. Не от мира сего. Мне казалось, он забыл о конечной цели своих трудов. Он делал буфет ради буфета — с необыкновенной страстью.

Мать моя тоже уловила это его настроение, но неверно истолковала. Соседи, сгоравшие от желания стать свидетелями отцовской неудачи, нанесли контрудар. Они принялись намекать на непонятную, мол, причину задержки: за столько времени каждый из них сделал бы сто буфетов, и еще неизвестно, где он пропадает — уж такой красавец наверняка завел себе богатую любовницу.

Жены снова полюбили своих мужей и, завидев мать в очереди, бросали на нее сочувственные взгляды. Если она заговаривала о буфете, они не поддерживали разговор и смотрели без всякого выражения прямо ей в глаза, а за ее спиной шушукались, прикрывая рот ладонью.

Она начала ронять тарелки. И с каменным лицом сгребала осколки. Особенно часто она роняла их, когда отец, изнемогающий от усталости, возвращался от Хенига.

— Отчего бы тебе не выбрасывать их прямо в окошко? — предлагал он.— Зачем утруждаться, подбирать осколки?

Она открывала окно, хватала тарелку с полки и швыряла ее вниз. Через несколько секунд долетал звон разбивающейся тарелки.

— Если ты будешь продолжать в том же духе, скоро у тебя нечего будет поставить в свой буфет.

— Ах,— произносила она с убийственной иронией,— мой буфет? Неужели я доживу до того времени, когда у меня будет мой буфет?

— Может, и не доживешь. Может, доведешь меня до того, что я убью тебя раньше, чем доделаю его.

— Отчего бы нет? Возьми у Манолчо топор. Потом будешь спокойно жить со своим буфетом. Все давно знают, какой он из себя. Одна я, дура, не знала.

— Ах вот что? И какой же именно?

— Со светлыми волосами, верно?

— Ого! — Он поднимал палец кверху.— Внимание! На сцене появляются блондинки!

— Весь квартал знает, что у тебя любовница!

— Да! Из дерева. Такая же бесчувственная, как ты.

— Хоть из золота! Это меня нисколько не волнует! Делай что хочешь. Ты всю жизнь делаешь только то, что ты хочешь.

— Нет, на сей раз я делаю то, что ты хочешь!

После подобного разговора они ложились спать, не ужиная. Тень буфета — теперь уже реальная — пролегала между ними.

* * *

А сам буфет рос в высоту и ширину, занимая все больше места в подвале Георга Хенига, грозя и вовсе его поглотить. Он возвышался над головой отца, созерцавшего его сверху донизу, стоя перед ним с молотком или сверлом в руках, как Микеланджело перед своим Давидом. В сущности, буфет был готов. Оставалось просверлить желобки, чтобы вставить стекла, привинтить ручки к ящикам и покрасить. Но как истинный артист отец не хотел комкать финал. Он углубленно вникал во все детали. Менял винты и болты. Открывал и закрывал дверцы. Прикрыв глаз, вслушивался, не заскрипят ли. Если слышался хоть малейший скрип, он бежал покупать новые навески, чтобы сменить прежние.

Рыжий и его жена относились к нам все более враждебно. Всякий раз, подходя к двери, я останавливался, опустив кастрюльки на пол, и крестился трижды (так научил меня дедушка Георгий), молясь о том, чтобы, когда я войду, они не выпустили Барона в коридор.

Отец грозился обстругать псу уши самым большим рубанком, но это было слабое утешение. Я предпочитал бы не встречаться с псом. Однако, услышав, что я вхожу, они выпускали его, и громадная собака прыгала вокруг меня, заходилась в оглушительном лае, хрипя от злости. Ноги у меня подкашивались, я едва доходил до двери Хенига.

— Плоха собака, плохо животно,— озабоченно бормотал Хениг.— Скажи твой отец, чтоби не пускал тебе один. Хозяин плохи, собака плоха.

— Да я не боюсь,— убеждал я его, хотя поджилки у меня затряслись.

— Я знаю, но не ходи один. Ходи с отцом.

Я стал ходить с отцом.

Однажды утром мы еще издалека, на перекрестке улиц Искыр и Волова, услышали собачий лай. Мы заспешили к дому, из которого доносились крики Рыжего и его жены. Что он кричал, нельзя было разобрать, потому что голос его заглушал голос жены.

Мы бегом бросились к дому, отперли дверь и влетели в коридор. Барон кинулся к нам, встал на задние лапы, злобно лая. Дверь в комнату Георга Хенига была открыта настежь, он лежал на диване, сжавшись в комок. Рыжий с женой стояли, наклонившись над ним.

— Убери свою зверюгу, не то хуже будет! — закричал отец.— Что вам тут надо? Чего вы пристали к старику?

Ступая угрожающе, как борец, Рыжий пошел на нас, придвинулся к отцу почти вплотную, упер руки в бока. Серые его глазки впились в лицо отца.

— Ах ты подлец! — процедил он.— А что ты скажешь, если я спрошу, чего тебе здесь надо?

— А ну отойдите! — закричал отец, и синяя жила вздулась на его мраморном лбу.— Убирайтесь сейчас же!

— Сам убирайся! — истерически завопила стоявшая позади мужа толстуха.— Убирайся к черту со своим стариком. И не выламывайся, а собирай стариковские монатки и дуй отсюда!

— Что вы себе позволяете,— ответил отец,— здесь уже сорок лет, как мастерская музыкальных инструментов. Перестаньте издеваться над стариком.

— Если это мастерская музыкальных инструментов,— с издевкой произнес Рыжий,— то где патент? Старичок-то, оказывается, уже сорок лет живет здесь.

— Марин, оставь соседа, не говори, молим...— произнес Георг Хениг.

— Вы люди или не люди?

— Люди! Люди! Мы тут теснимся вдвоем в одной комнате, а старикашку не тронь. Да ему уж давно помереть пора, а он все не помирает. Занял один целую комнату, а теперь еще и сдавать ее придумал! Мастер! Я тебе такого мастера покажу — своих не узнаешь! Ну ладно, пошли! — Он схватил жену за плечо и толкнул ее перед собой. Они ушли в свою комнату, оставив пса с лаем носиться по коридору.

— Дедушка Георгий, что они от тебя хотят?

— Хотел, чтоби я ушел из своя дом.

— Как это ушел? Не волнуйся. Никто не имеет права выселить тебя из квартиры.

— Нет документа.

— Как так нет документа?

— Нет.

— Не может быть. Ты его куда-нибудь засунул.

— Все в сундуке лежал.

— Достань посмотри!

Я вытащил деревянный сундучок из-под дивана, но никаких нужных документов в нем действительно не оказалось. Только связка писем в пожелтевших конвертах с оторванными марками, фотографии — Боженка и Георг Хениг, брат Антон, одетый рыцарем, верхом на коне, держит валторну. Боженка одна перед замком, вокруг — луг, диплом, написанный на толстой бумаге красными и черными чернилами, с круглой печатью. Все, кроме документа, подтверждающего, что старый мастер, чех по национальности, Георг Йосиф Хениг, имеет право жить в этой лачуге до самой своей смерти, имеет право провести в относительном спокойствии остаток своих дней в грязном, сыром и запущенном подвале на улице Волова.

Отец растерянно пожал плечами.

— Нет,— сказал он.— Нет — и все тут!..

Подошел к буфету, пнул его ногой, прислонился к нему и долго стоял, задумавшись.

— Как я не догадался! — Он хлопнул себя по лбу.— Конечно же паспорт! Дай паспорт! Там же есть прописка.

— Нет пашпорт,— сокрушенно ответил Георг Хениг.

— Как нет? Потерял?

— Сосед бросил в мусор. Просил пашпорт видеть, если я имел право жить здесь, и бросил в мусор.

— Как это так — выбросил в мусорный ящик? Ты понимаешь, что говоришь?

— Понимал... Сосед сказал, пашпорт очень стари, двацет лет.

— И с каких пор ты живешь без паспорта?

— Забил. Мне не нужно пашпорт. Я сидел дома, нигде не ходил. Зачем пашпорт?

— А пенсия? Как же ты получаешь пенсию?

— Есть документ,— старик выдвинул ящик верстака, достал мятую бумажку, протянул отцу.

— «Настоящим удостоверяется,— прочитал отец,— что предъявитель сего Георг Йосиф Хениг, столяр, родом из Чехии и проживающий в городе София. Удостоверение выдано для предъявления народным властям». Подпись: Петр Кремыклийский, временно исполняющий должность комиссара района ИСУЛ. Да здравствует Отечественный фронт! София, октябрь 1944 г.».

— И по этому тебе дают пенсию? — Отец недоверчиво смотрел на мятую бумажку.

— Дают. Начальник мене знает с тех пор, как я живет тут.

— Ну как же без паспорта, дедушка Георгий? Разве так можно?

— Почему, Марин? Зачем мне пашпорт? Я нигде не ходил. Купил немного хлеба, собирал окурков, и все. Сидел дома, ждал, когда умереть...— И старик заплакал.

— Подожди,— заговорил отец мягче.— Что-нибудь придумаем. Успокойся! Получишь новый паспорт. Неужели у тебя нет никаких документов?

— Зачем документ? — сказал старик, размазывая рукавом слезы по лицу.

— Кто тебя лично знает кроме нас? Кто подтвердит, что ты — это ты?

— Никто... ти, злати дете, твоя жена. Никто не знает Георга Хенига, помилуй боже брата Антона, отец Йосиф, жена Боженка...—Дедушка Георгий призывал свои тени.

— Не может быть, чтобы никто тебя не знал! Постой... А твои ученики?

— Мастер Франта приходил, хотел покупать инструмент. Бил сердит, уходил.

— Когда?

— Не помню.

— А другой?

— Ванда? Добри мастер. Злати рука, железно сердце.

— Где он работает?

— Забил.

— Найдем их,— заявил отец.— Успокойся только! Если три человека подтвердят твою личность, тебе выдадут новый паспорт. Успокойся!

Отец прибил сбоку от двери толстый гвоздь и загнул его, как защелку.

— Без меня никого не впускай! Слышишь, дедушка Георгий?

— Не пустил. Ложился в кровать молиться, чтобы умереть. Пойти к родни: брат, отец, жене...

— Не умирай,— задержался у порога отец.— Без паспорта нельзя,— мрачно добавил он, и мы ушли.

* * *

За три дня он разыскал мастеров Франтишека и Ванду. Лучших учеников Георга Хенига. В мастерской первого (он переместился с улицы Леге на улицу Веслец) мы застали несколько человек, заказывавших скрипки и смычки. Стены просторного помещения украшали новые дипломы на глянцевой бумаге, подтверждающие высокое мастерство владельца. Между ними висели формы скрипок, колодки, разной величины смычки, почти как в подвале Георга Хенига, но не совсем. Все здесь говорило, просто кричало об успехе, яркое, блестящее, хвастливое.

Пришлось ждать целый час, пока мастер Франтишек принял нас у себя в кабинете.

Он был все такой же большой, как туча, энергичный, черноволосый мужчина с золотым передним зубом. Как бы в дополнение к этому зубу на носу его красовались очки в золотой оправе, придававшие ему рассеянный вид. Волосы у него падали на плечи, как у дедушки Георгия, и я не удивился бы, если бы он заговорил с нами на ломаном болгарском языке.

— Что будете заказывать? — деловито спросил он.— Смычок для мальчугана? Скрипку? Сразу предупреждаю, что в ближайшие полгода не смогу выполнить заказ: просто завален работой. Могу вам дать адрес...

— Нет, дело касается Георга Хенига.

— Да? — сказал Франта и снял очки.— Ну так что? Он умер?

— Нет,— сказал отец.— Пока жив. Именно поэтому вы должны ему помочь.

— В каком смысле? Материально?

— Надо удостоверить его личность. Вы должны сказать, что знаете его, чтобы ему выдали новый паспорт. Иначе его выгонят из квартиры.

— Давайте договоримся, дорогой,— вежливо сказал мастер Франта.— Оставьте этот тон — «должен», «не должен». Прежде всего, я никому ничего не должен. Согласны?

— Но ведь вы его ученик?

— Он выгнал своего ученика. Когда я три года назад пришел к нему и предложил продать инструменты, он обругал меня и выгнал. А я-то почитал его как отца! Притом я предложил ему очень приличную сумму. Более чем приличную! Но старик предпочитает жить в хлеву, сиднем сидеть в этом зловонном подвале. Так что я не собираюсь ничего предпринимать. Конечно, в случае его смерти...

Отец не дослушал, схватил меня за руку, и мы ушли, хлопнув дверью.

Наш визит к мастеру Ванде прошел с таким же успехом. Сцена повторилась с небольшими вариациями. Разница состояла в том, что Ванда все время хихикал и похлопывал отца по плечу, к его великому неудовольствию.

Мастер Ванда был маленький человечек, юркий, как хорек, и хитрый, как лисица. Его мастерская тоже была увешана дипломами. Фирма его несомненно процветала.

— Кто, вы говорите, послал вас ко мне? Франта? Не может быть! Чтобы он оторвал заказчиков от своего сердца, невероятно! Удивляюсь Франте. Только предупреждаю: у меня полно заказов. Не раньше чем через полгода...

— Мы не заказчики.

— А кто же? Бедуины в пустыне? Ха-ха!

— Мы пришли поговорить относительно вашего учителя Георга Хенига,— сказал отец и повторил все, что час назад говорил мастеру Франтишеку.

Мастер Ванда слушал сочувственно — он явно был взволнован. В какой-то момент едва не прослезился, но сдержался, только тяжело вздохнул и объявил, что ничем не в силах помочь.

— У меня нет ни одной свободной минутки! Просто ни секунды! Понимаете? Если я потрачу целый день на хождения в милицию и прочие учреждения, это будет просто катастрофа! Нарушатся все сроки. Кстати, вы не знаете, удалось ли Франте вытянуть из старика инструменты?

Отсюда мы ушли так же, как и из первой мастерской.

Похоже, во всем мире остались только мы... мой отец, моя мать и я — из тех, кто были готовы подтвердить, что злосчастный старик с улицы Волова, этот мешок старых костей и кожи, без имени, возраста, адреса, прописки, и есть тот самый человек, который основал школу скрипичных мастеров в Болгарии, Георг Йосиф Хениг.

Оба ученика отреклись. Не было, казалось, силы, способной заставить их узнать его.

И все-таки такая сила нашлась. Обойдя множество всяческих контор, райсоветов и выяснив, что Георг Хениг действительно не фигурирует ни в каких списках и документах, не значится ни в живых, ни в мертвых, отец заставил обоих его учеников выступить свидетелями. Их вызвали соответствующие учреждения, послав повестки, и после довольно нудной волокиты Георгу Хенигу все-таки выдали новый паспорт.

В паспорте указан был его адрес, и это было единственное доказательство того, что он законно проживает в комнате на улице Волова.

С ним самим тоже было много хлопот. Когда понадобилось фотографироваться для паспорта, мы с трудом выволокли его из подвала. Он весь трясся, охал, что-то жалобно шептал, путая языки, переходя

с чешского на болгарский, с болгарского на немецкий. Не понимаю, как нам удалось дотащить его до фотографа.

Робко присев на стульчик, он уставился жалобным взглядом в аппарат, словно оттуда вот-вот выскочит не птичка, а Барон и загрызет его. Изо всех сил он старался унять дрожь в теле, но совладать с собой не мог.

Чистое мучение.

Вернувшись домой, он лег на диван лицом к стене и пролежал так двое суток — без еды и питья.

* * *

Рыжий с женой затаились. Не выходили из своей комнаты, не выпускали отчаянно лаявшего пса — это было плохим предзнаменованием. Но прошла неделя, и отец решил, что они примирились с неудачей и отказались от претензий на комнату Хенига.

Оптимизм его не имел под собой никаких оснований, но отец был слишком занят буфетом, чтобы разгадывать тактику соседей. Кроме того, в театре начался новый сезон. Отец вставал в пять утра, до полдесятого трудился у Хенига, оттуда спешил на репетицию, потом наскоро обедал дома и снова бежал в подвал. В семь вечера он, быстро помывшись, торопился на спектакль. Поздно вечером возвращался смертельно усталый и без ужина валился в постель. Спал как убитый.

А я по утрам ходил в школу, где проводил пять томительных часов. Глухая стена отделяла меня от других ребят. Я с головой погрузился в мир Георга Хенига, населенный тенями, царями, богами, говорящими деревьями, полумраком и таинственными голосами. Этот мир был мне гораздо ближе реального, угнетающего, безжалостного мира зеленых парт, черной доски, указок, двоек и замечаний, непонимания учителей и насмешек одноклассников.

Из школы я мчался домой, швырял в угол портфель, хватал синие кастрюльки и почти бежал к Георгу Хенигу.

В последнее время он как-то ожил. Доставал по одному инструменты из ящика, протирал их, задумчиво рассматривал, говоря что-то себе под нос по-чешски. Просил меня подать ему деревянные пластины — дерево со Шпиндлеровой мельницы и дерево из Миттенвальда. Я осторожно разворачивал кусок шерстяной ткани, на цыпочках подносил их ему, словно что-то драгоценное и хрупкое, и садился рядом.

— Видел тут,— говорил он,— кольца, видел? — Дощечки были покрыты сетью тонких и толстых волнообразных линий, расширявшихся книзу и сужавшихся кверху.

— Вижу. Что это?

— Дерево зрели, много богати! Дерево — цар. Трогай тут.

Он заставлял меня, закрыв глаза, проводить кончиками пальцев по поверхности дощечек. Дерево словно ежилось.

— Чувствует?

— Чувствую!

— Что?

— Очень гладкое... как кожа.

— Тепло чувствовал?

От дерева исходило тепло, которое проникало в меня, заполняло изнутри, задержавшись на мгновенье где-то под ложечкой, растекалось по всему телу, размягчало всего меня.

— Откуда оно идет?

— Собирало солнце в Бохемии, двести лет, триста, дишало теплим ветром.

— Воздухом.

— Не воздух, ветер! Потом отец нашел, говорил с деревом, спрашивал, хочет пойти в наш дом.

— А потом?

— Отец делал дом для дерева, где било сухо и тепло. Чтоби не бил у дерева вода.

— Как же оно будет жить без воды?

— Живет! Дерево живей стари Хениг. Когда води нет, поет лучше, как сказать...— Старик раскачивался на диване, чтобы показать мне, как поет дерево.

— Мягче?

— Да, мягко, красиви глас! Слишишь? — Он легонько постукивал костяшками пальцев по дереву, которое издавало нежный звон.

— Слышу!

— Слишит... добро ухо. Я сказал — ти цар. Не верил, смеялся!

— Я не смеялся,— шептал я,— постучи еще раз!

— Сам постучи.

Так мы сидели часами, дощечкой постукивая по дощечке. Это было чудесно.

Иногда старик, задумавшись над дощечкой, вслушивался в голос дерева, долго смотрел на нее, шевелил губами, поглядывал на меня. В конце концов осмелился однажды сказать:

— Виктор, учить тебе делать скрипка?

— А это очень трудно?

— Очень трудно. Вся жизнь стари Хениг делал скрипка и сами лучши не сделал. Еще думал как, думал, думал... Хотит сделать скрипка для господа бога.

— Та, что ты сделал для меня, была очень хорошая! Папа сказал, ты лучший из мастеров.

— Добра скрипка, маленька,— смеялся он,— для цар.

— Сколько лет надо учиться?

— Много,— огорчился он,— жалько, нет время тебе учить. Жалько очень. Стари Хениг скоро уходить.

Обоим нам становилось грустно. Я брал у него пластины, заворачивал в шерстяную ткань и укладывал на дно ящика. Убирал инструменты.

Потом являлись тени. Располагались поудобнее — ведь мы были старые знакомые,— я здоровался с ними по-чешски, и начинался их долгий тихий разговор с Георгом Хенигом. Я сидел, напряженно глядя на его рот,— не скажет ли он, что согласен, не встанет ли и не пойдет, прихрамывая и опираясь на палку, за тенями. Рот его открывался через разные промежутки времени, казалось, он не договаривал слова, иногда он откидывал голову назад, точно птица, которая, жадно, захлебываясь, пьет воду.

Как обычно, Боженка плакала и умоляла не оставлять ее так долго одну. Отец его строго качал головой, а брат Антон похлопывал по холке коня, который становился то маленьким, как гном, то огромным, до потолка, и нетерпеливо потряхивал гривой, готовый пуститься вскачь.

Ко мне тени были добры и снисходительны. Радовались моим успехам в чешском языке. Но в последнее время стали нетерпеливы и, указывая на готовый буфет, говорили: «Вот, буфет уже готов, так почему он все еще здесь?» И мне приходилось долго упрашивать, чтобы они позволили оставить буфет до тех пор, пока я не научусь хорошо говорить по-чешски.

Наконец они удалялись. Уходил и я. Дома я склонялся над учебниками, делая вид, что целиком занят уроками, а на самом деле придумывал, как бы убедить их, чтобы они разрешили дедушке Георгию побыть еще немного со мной. Или если совсем никак нельзя — взяли бы с собой и меня.

* * *

И вот долгожданный день наступил: рано утром мы отправились к Георгу Хенигу. Отец нес в портфеле несколько банок краски, лак, кис-

ти, морилку. Тащили мы, кроме этого, два таза. Пока отец разводил краску для получения совершенно белого цвета, я неотступно был при нем, помогал ему — мешал палкой жидкость в тазу, чтобы не загустела.

Мать ни о чем не подозревала. В доме у нас уже давно не заводили разговор о буфете. Она почти не выходила из комнаты. Чтобы не встречаться с соседками, посылала в магазины меня. А в тот день, как всегда хмурая, она нажимала на педаль швейной машинки и в глубине ее души определенно звучали язвительные насмешки семейства Медаровых.

Наконец все было готово. Погрузив в таз с краской самую большую кисть, отец слегка стряхнул ее и принялся равномерными белыми полосами покрывать поверхность буфета.

Он покрасил его за день. Ящичек для аптечки и два под ним, обе нижние створки были ослепительно белого цвета. Застекленная верхняя часть — синего, а узкая ее рамка — приятного коричневого. Два дня сохла краска на важно потрескивавшем буфете, после чего всю его глыбу отец с помощью тонкой кисточки покрыл лаком, высохшим почти мгновенно.

И буфет предстал нашим восхищенным взорам во всем своем великолепии, можно даже сказать величии. Отец ощупывал его глазами. Даже на лице Георга Хенига заиграла легкая улыбка. Мы втроем сидели на диване и наслаждались. В комнате стало светло, словно мы зажгли сто свечей.

Потом отец поднялся с дивана, отбросил со лба курчавую черную прядь и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по подвалу: два шага к буфету — стоп. Взгляд. Два шага назад. Раздумье.

Когда он решил, что атмосфера достаточно накалилась, он остановился посредине, глубоко вздохнул, набрал воздуха в легкие и произнес следующую краткую речь.

— Я давно ждал этого мгновенья,— медленно начал он,— может, год, а может и больше. Не в этом суть. Я чувствовал себя несчастным. Ты пока не знаешь, что это такое. Я был слаб. Дай бог тебе никогда не быть таким. Я мечтал о минуте, когда ко мне возвратится вера в собственные силы.— Он остановился и, строго взглянув на меня, поднял указательный палец.— Ты уже не маленький и прекрасно знаешь, кто твой отец. Он из бедной семьи, которая ничем не могла ему помочь на трудном его пути. Когда я приехал в Софию, у меня не было ничего, кроме трубы и таланта, но я считал, этого достаточно для честного человека, чтобы спокойно прожить отпущенную ему жизнь. Оказалось, этого мало! — Он вдруг повысил голос и снова поднял указательный палец.— Понимаешь? Мало!

Выдержав долгую паузу, облизал языком губы, бросил довольный взгляд на буфет и продолжал:

— Как тебе хорошо известно, твоя мать из богатой семьи. По их понятиям, я плебей. Ты не знаешь, что это такое. Впрочем, не важно. Но что для них еще хуже — я беден! Я бездарь! Неудачник, не способный позаботиться о своей семье. Гм! Это я-то не способен? — Отец, побледнев, сжал кулаки.— Слушай! И пойми меня верно! Понимаешь?

— Понимаю,— ответил я ошеломленно.

— Всегда были и будут богатые и бедные! И всегда бедный будет жертвой богатого, который будет унижать его, топтать, пока не уничтожит. Но не меня! Я сумел доказать господам,— он описал полукруг рукой, который делал всегда, когда речь заходила о семействе Медаровых,— что я в них не нуждаюсь. У бедняка есть две руки, и на них он может положиться. Только на них — и больше ни на что! — Он приблизил свое лицо к моему. Взгляд был прямо-таки испепеляющий.— Ты мой сын! У тебя есть талант. Из тебя может выйти большой человек. Но запомни хорошенько... Их не интересует, что у тебя в душе! Для них талант ничего не стоит! Они хотят видеть...

— Что?

— Буфет! — крикнул он и указал на свое творение.— Вот что! Я горжусь тем,— продолжал он уже спокойнее,— что создал вещь, которой будем пользоваться не только ты и я, но, может быть, и твои дети. Это доказательство того, что если мы, плебеи, захотим, то сможем достичь их уровня. И даже поднимемся выше. Мы ходили с тобой по магазинам, и каких только буфетов мы не видели. Посмотри-ка на этот и скажи: видел ты что-нибудь подобное?

— Нет.

— И не увидишь,— удовлетворенно произнес отец, медленно поднес ладони к глазам и сказал с любовью: — Вот этими руками!

— Марин, ти дурак,— убежденно произнес Георг Хениг.— Ти беден. Ай-ай. Много беден.

— Ошибаешься, дедушка Георгий. Я больше не дурак и не бедный. Я доказал то, что требовалось доказать. Чего еще вы желаете? — крикнул он в сторону окна, точно там собралась вся семья Медаровых, готовая с ним поспорить.— Квартиру? Извольте! Машину? Пожалуйста! Самолет? Дачу с бассейном? С фонтанами и висячими садами? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Только пожелайте! Может, такое ничтожество, как я, способно выполнить все ваши желания? Что тогда? А тогда идите вы ко всем чертям!

— Ти богат, когда с трубой. Когда без него — совсем бедни.

— А ты — чего ты добился со своими скрипками? Этого подвала, нищеты? Того, что тебя чуть не выгнали на улицу? Твои ученики от тебя отреклись. Знаешь, что ценится в этом мире? Вот это! Посмотри на него! Хорошенько на него посмотри, вот что ты упустил когда-то, мастер Хениг!

— Эх, Марин! Злати руки, глюпа голова. Глюпости дете не говори. Не слушай отец. Отец сердити. Когда не сердити, тогда слушай.

— Беги домой,— сказал отец,— вот деньги, дай матери, пусть накрывает стол. Буфет везем. Всех зовем в гости!

Я пулей помчался домой, взлетел по лестнице, раскидал сушившееся в коридоре белье, рванул дверь и скороговоркой прокричал:

— Накрывай на стол! Буфет везем! Зови всех в гости!

Мать ахнула, побледнела, вскочила из-за машинки и снова опустилась на свое обычное место:

— Как, сейчас? Прямо сейчас?

— Мне некогда! — крикнул я, швырнул деньги на стол и бросился обратно к Хенигу.

Перед домом Хенига стояла красная телега. Лошадь помахивала гривой, а возница лениво похлопывал ее по заду рукоятью кнута. Григор Аврамов — ударник из Музыкального театра, Роберт Димов — вторая труба, Робертович — контрабас и мой отец с длинными, как у грузчиков, ремнями суетились вокруг буфета, который возвышался над их головами подобно белоснежной скале.

— Поко а поко! Осторожнее! — взывал Робертович.

— Нельзя ли немножко престо, давай виваче, что ты топчешься? — возражал Григор Аврамов.

— Анданте! Я вам что, подъемный кран? Немного по-комодо [1], у меня руки отрываются!

Отец удовлетворенно сопел.

Шаг за шагом они перетащили буфет, откинули заднюю стенку телеги и положили его боком на дно. Рыжий с женой тоже вышли на улицу и угрюмо наблюдали за их действиями. Прохожие останавливались и, открыв рот, смотрели, как грузят на телегу эту махину. Возница гордо поглядывал на всех. Отец изображал полное безразличие к происходящему вокруг.

Наконец удалось поместить буфет точно на середину. Возница громко крикнул: «Пошел!» — взмахнул кнутом, который описал в воздухе

[1] Удобно *(итал.)*.

изящную змею, и ударил по крупу лошади. Лошадь фыркнула, вскинула голову, и телега медленно тронулась с места.

Григор Аврамов, Робертович, Роберт Димов и отец стояли по четырем углам буфета, как почетный караул у гроба. Телега грохотала по булыжной мостовой. Я сидел, выпрямившись, на козлах.

По обеим сторонам улицы Искыр выстроились в ряд соседи. Мать уже успела сообщить им новость. Тут стояли Стамен и Вража, их сын Георгий и дочь Тони, Пепи и Манолчо с сыном Владко и дочерью Ванче, Йорде, Фроса, Митко, Лили и Любка (о, как они завидовали мне!), Цанка, Роленский и Роленская, Бойка и ее дочь Буба, Мирчо, домоуправ (у него первого в квартале случился инфаркт), жена его Малинка, дочь Станка и сын Станко. Тут был Вангел, недоумевающе почесывающий за ухом, Йордан — напудренный мукой, автослесарь Павел, часовщик дядя Брым с зеленоватой лупой в правом глазу, Сакатела, торговавший семечками, чью лавку я однажды поджег,— все, все застыли по обеим сторонам улицы, а желтое солнце светило прямо в раскрытые рты, прожигая до самых печенок неверующих, сомневавшихся в моем отце. Синее небо плескалось и струилось над их головами, деревья вытянулись по стойке «смирно», опустив руки по швам, и только их зеленые волосы развевались на ветру. Тишину нарушал лишь стук копыт и какой-то подземный гул:

— А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-ах! — рвущийся словно бы из земных недр.

Айсберг-буфет резал пространство белой своей грудью, желтые ручки на его дверцах улавливали в фокус солнечные лучи и разбрызгивали искры, как конфетти. А четверка в телеге стояла, словно статуи среди морской пены.

Перед старым зданием, бывшим итальянским посольством, затем публичным домом, принадлежавшим богатому еврею, а теперь прибежищем бедных семей, оказавшихся там по воле случая, как мыши в мышеловке, перед этим осиным гнездом стояла моя мать — черноволосая, черноглазая и скуластая, с бледным от волнения лицом, в ситцевом платье с беленьким воротничком, который она смущенно теребила.

Телега остановилась.

Возница крикнул:

— Го-оп! — голосом оперного певца.

Лошадь застыла с поднятой ногой, повернув морду направо.

Отец одним легким грациозным прыжком оказался на земле, ступая на носки, приблизился к матери пружинистой походкой, встал перед нею и коротким резким движением склонил голову.

Она сделала стыдливый девичий реверанс.

Он обхватил ее за талию, она положила руки ему на плечи. Соседи навострили уши, затаили дыхание. Наступила торжественная пауза.

И вдруг из буфета послышались, как из большого органа, торжественные звуки, огласившие весь квартал. Казалось, можно было видеть, как вибрировал воздух вокруг него, все ящики, ящички, дверцы, створки, издавали такой мощный звук, что листья с деревьев слетали прямо в разинутые рты соседей и прохожих. Это была прекрасная музыка, сочетание неслыханных созвучий, апофеоз, гимн бытию, небесная симфония, полифонический рев пяти океанов, а отец с матерью, влюбленные, молодые и счастливые, упоенно кружились, кружились, кружились.

Из ящичка для лекарств лилось целительное благоухание. Большой ящик для белья густым бархатным голосом выводил басовую партию. Из ящика слева, как нанизанные на веревочку сосиски, одна за другой тянулись мелодии для флейты. Из правого раздавался звон кастрюль и сковородок, словно удары тарелок в «Половецких плясках» Бородина: бум-трам-трам, бум-трам-трам, из застекленной части разносились хрустальные аккорды арфы, сладкие, как ликер, из маленьких ящиков слы-

шался энергичный стук ножей и вилок, словно кастаньеты в «Испанском каприччио»,— это была музыкальная оргия, буфет гудел, ревел, стонал, грохотал! Квартал был потрясен, а мои родители кружились в вальсе.

Потом все напились. Роберт Димов и Григор Аврамов держали под мышки Манолчо, который, как силач в сказке Андерсена «Самое невероятное», грозился изрубить топором в куски наш буфет, этот шедевр, созданный руками моего отца.

* * *

Не раз мы приглашали Георга Хенига в гости, но он всегда отказывался под тем предлогом, что ему трудно ходить. Действительно, он едва передвигался по тротуару, постукивая палкой, точно слепой. Голова его почти касалась колен и тряслась так сильно, что я опасался, как бы она не оторвалась и не покатилась по земле.

Но настоящей причиной его отказа было не то, что ему трудно ходить. Я знал: он стыдился своих трясущихся рук. Человек деликатный, он боялся, что вид его будет кому-то неприятен.

На этот раз не согласиться было невозможно. Дня через два после того, как перевезли буфет, мать сама пошла приглашать его на обед, а уж ей он не мог отказать. Я вызвался сопровождать его, только он не захотел.

— Найду дом. Давно не гулял. Ждите мне у себя.

— Ну что ж, ладно

С одиннадцати часов мы его ждали, было уже четверть первого, а он все не приходил. Мать постелила белую скатерть, пустые тарелки светлыми пятнами выделялись на ней, возле каждой лежала белоснежная салфетка. Горели зажженные по такому случаю свечи.

В честь Георга Хенига мать приготовила нежирный бульон, какое-то блюдо со сложным соусом и чешские кнедлики.

Мать чуть не ежеминутно протирала буфет чистой тряпочкой. Отец курил, делая вид, что читает газету, но уже полчаса как смотрел на одну и ту же строчку и при любом шорохе в коридоре привставал со стула.

У каждого из нас были основания волноваться: ведь Георг Хениг впервые приходил к нам в гости. У отца — потому что сердце у него разрывалось от жалости к старику, деятельная его натура не могла выносить спокойно вида человеческого существа, которое, примирившись со своей участью, с каждым днем приближается к смерти. Ему хотелось вырвать Хенига из жалкой повседневности, внести в нее какое-то разнообразие, доставить ему какую-нибудь радость. Но как? И вот отец то и дело вынимал часы из кармана, оглядывался на дверь, приподнимался со стула и, наверно, как и я, готов был броситься на улицу Волова, чтобы посмотреть, не случилось ли там чего.

У матери была своя причина: ей не хватало родительской любви. Ее лишили этого самые близкие люди. Вот уже десять лет, как ее родители вели себя так, словно их дочь была похоронена заживо. Они жили всего в ста километрах от Софии, но казалось, что на Северном полюсе. Она внушала себе, что дедушка Георгий очень похож на ее деда Стефана, но я уверен, что сходство это существовало только в ее воображении. Сердце ее, сердце дочери, лишенной родительской ласки, само искало объект, на который бы она могла излить всю любовь, скопившуюся в нем за долгие годы.

А что говорить обо мне — ясно, какие основания волноваться были у меня: в Георге Хениге заключался для меня весь мир. Он сам не подозревал, как глубоко вошел в жизнь трех людей. Пусть переедет жить к нам; каждый из нас ждал, когда другой произнесет эти слова. И каждый сознавал, что это невозможно.

Наконец я не выдержал и заявил, что пойду его встречать. Отец одобрительно кивнул и снова уставился в газету.

Спускаясь по лестнице, я заметил Хенига сквозь стекло входной двери. Он пытался нажать палкой кнопку звонка. Шарил концом ее по стене и никак не попадал в нужную точку.

— И давно ты тут стоишь?

— Не давно, не давно пришел. Патнадцать минут.

— Я же предлагал тебе прийти за тобой. Почему ты не слушаешься? — укорил я его, ведя под руку по лестнице.

Ради торжественного случая он постарался одеться, можно сказать, элегантно. Черный траурный пиджак доходил ему до коленей, рукава были так длинны, что почти закрывали пальцы, на шее была повязана бантом черная лента.

В коридоре он схватил меня за локоть и жестом велел наклониться к нему пониже:

— Виктор, скажу тебе. Стари Хениг решил делать скрипку.

— Когда? — взволнованно прошептал я.— Правда? Для кого? Кто тебе ее заказал?

— Не заказал. Но сделаю скрипку, для бога. Может, сегодни, может, завтра. Придешь смотреть?

— Приду, конечно, приду! Но неужели правда для бога?

— Я сказал. Для бога.

Мать, улыбаясь, вышла его встречать. Из-за ее плеча выглядывал отец, тоже с улыбкой от уха до уха.

— Здравствуй, дедушка Георгий! Заходи скорей, не то суп остынет! — И она протянула ему руку.

Георг Хениг взял ее в свою и прижался к ней старческими губами, матери стало неловко, она отдернула руку и спрятала ее за спину.

— Поздравляю вас, мила госпожа, ваш муж, мили мой коллега и злати дете. Желаю счастья вся дорогая для мне семья от мене, Георг Хениг,— торжественно произнес он, входя.

Отец уступил ему свое место во главе стола, встал позади стула, придерживая его за спинку, чтобы старику легче было усесться. Мы с отцом тоже сели, а мать пошла на кухню.

— Будешь пить пиво?

— Пью, но не смотри на меня, голова дрожить, руки дрожить, стари...

— Ничего, держи стакан обеими руками!

Отец налил ему пива.

Георг Хениг и впрямь зажал стакан в ладонях, крепко, насколько у него хватало сил. Мне показалось, руки у него трясутся больше обычного. Может, он тоже волновался?

— Когда бил молоди мастер, пил много пива,— сказал он.— Добро пиво в Ческо, черни как... как морилька.— Он поставил стакан на стол.— Шнапс не пил, шнапс не добро.— Он свесил голову на грудь и замолчал.— Столько лет уже. Стари. Не помни,— сказал он вдруг, словно самому себе.

— Чего не помнишь? Как ты пил пиво?

— Скатерть... тарелька... и свеча горить для стари Хениг, большой праздник для мне, простите мне. Давно не било, Марин, налей еще.

Он отпил еще глоток, заметил, что я уставился на пышную пену, и засмеялся.

— Давай выпьет мальки цар Виктор один мальки стакан?

Отец развел руками, словно бы говоря — так уж и быть, открыл створку своего буфета и достал оттуда стаканчик. Налил мне, и я чокнулся с ними обоими.

— Мастер Марин! — Старик поставил пустой стакан.— Спрашиваю тебе, сколько время делал буфет?

— Сколько? — Отец задумался.— Месяца полтора? Два? Да, месяца два, пожалуй. А что?

— Это много или мало?

— Скорее много... Если б у меня не было столько работы, то соорудил бы его и за месяц. А почему спрашиваешь?

— Я стари мастер, семдесат лет скрипки делал.— Он задумчиво вертел в руках стакан, они тряслись теперь не так сильно, как обычно.— Но скрипку за шесть день стари Хенигу не сделать.

— Конечно, невозможно. А кто от тебя требует сделать скрипку за шесть дней?

— Можно. Но скрипка будет плоха. Дерево жалко.

— Безусловно, только материал испортишь.

— Не понимает, мастер Марин! — Старик посмотрел на отца.— Мастер господь бог наш мир создал за шесть ден. Ти молоди, скажи — бистро или нет?

— Раз спрашиваешь, отвечу,— начал было отец, но тут дверь в кухню открылась и вошла мать, неся супницу, над которой поднимался пар. Она поставила ее посреди стола и налила всем бульон. Георг Хениг расхваливал хозяйку. Отец сидел довольный. Я набросился на бульон, потому что был голоден.

— Прекрасно! — восхищался дедушка Георгий.— Как у моя Боженка! — он вытер губы салфеткой, мать от удовольствия зарделась.

Когда она положила ему кнедлики, от удивления у него глаза округлились.

— Кнедли! Чески кнедлики! О, мила госпожа! Много вас благодарен, споменовал в молитви! Щастье и долги жизни желаю!

Все было лучше не бывает, вся семья наконец собралась вместе — отец, мать, дед и внук, каждый был счастлив по-своему, и ничто не могло омрачить нашего счастья.

Отец снова наполнил стакан Хенига, а для себя и для матери достал бутылку ракии.

— Шнапс! — весело сказал он.— Сегодня можно! Сегодня праздник! — они чокнулись и выпили залпом все до дна. Мраморное лицо отца разрумянилось, у матери тоже раскраснелись щеки, они смеялись, шутили, я тихонько выбрался из-за стола и шмыгнул на кухню. Пошарил под умывальником, вытащил оттуда начатую бутылку ракии (они забыли ее там после оргии в честь буфета), открыл ее и отпил большой глоток. Поперхнулся, закашлялся, на глаза у меня выступили слезы, но в груди разлилась приятная теплота, и я сразу почувствовал в голове какое-то кружение.

— На еличку-ку-ку, на вршичку-ууу, комар йеден...— услышал я, как отец поет в комнате. Мне тоже захотелось петь, но я не знал ни слов, ни мотива. Мать звонко смеялась. Георг Хениг умолял его не петь этой песни, потому что ее неприлично петь при женщинах. Отец запел еще громче.

Я вернулся из кухни и снова сел рядом с дедушкой Георгием. Как хорошо! — думал я. Так могло бы быть каждый день! Отчего бы ему не жить с нами?

Отец достал свою трубу.

— Насчет буфета ты не прав! — воскликнул он.— Что ты хочешь, чтобы я тебе сыграл?

Георг Хениг хотел слышать народную музыку. Отец сыграл для него болгарскую, румынскую, чешскую мелодии, сложнейший «Полет шмеля», «Чардаш» Монти, соседи, наверное, диву давались, что это у нас происходит, но соблюдали приличия и не портили нам семейного праздника.

— Доставай скрипку! — приказал отец.— Сыграем вместе для дедушки Георгия!

— Мальки цар играет для мне? — спрашивал совершенно счастливый старик.

Разве я мог не играть для него! Я достал скрипку, настроил ее, и мы с отцом заиграли «Оду к радости», начиная с того самого, всем известного места «Обнимитесь, миллионы», это была единственная вещь,

которую мы играли вместе с отцом. Голова у меня кружилась, я отбивал такт ногой, у матери блестели глаза, на лоб отца падали завитки волос. «Мальки цар! — говорил дедушка Георгий,— мой злати»... Отбивая такт ногой, я нечаянно задел, вернее коснулся его ноги, чуть выше щиколотки.

— Ауа! Ох! — вскрикнул старик и стал белым как скатерть.

Он откинулся назад, тонкие его губы посинели, глаза закатились, рот раскрылся, он почти застонал от внезапной невыносимой боли.

Отец опустил трубу и вопросительно взглянул на него. Мать встала, с тревогой спрашивая:

— Что случилось? Ты ударил его?

— Нет,— ответил я испуганно,— я нечаянно...

Я готов был заплакать, не понимая, отчего ему стало так больно — ведь я действительно едва коснулся его ноги...

— Дай я посмотрю, где у тебя болит?

— Не надо, просим, не хочу!

Отец все же присел на корточки, завернул штанину и приподнял ногу старика.

Худая нога страшно опухла и почернела. Голень была замотана грязной тряпкой и завязана веревкой. Отец разорвал веревку. Тряпка упала, и обнажилась глубокая уже гноящаяся рана. Старик, наверно, все время испытывал жуткую боль.

— Что это?

— Собака соседа. Укусиль мне. Сосед бил сердити, зачем я не ушел из дома, и пустиль собаку. Я сказал тебе: не пускай дете, очень плохи животни. Плохи господин, шнапс пил, жена пила и собаку пустиль...

Отец медленно поднялся и сел, глядя куда-то мимо Георга Хенига. Оба они с матерью были белее фарфоровых тарелок, что стояли перед ними. Старик сидел с подвернутой штаниной, виновато опустив голову. Мне стало муторно, я представил себе всю сцену: громадный пес бросается на старика, красная пасть раскрывается, острые зубы впиваются в ногу, крик, искаженное от боли лицо, смех пьяных соседей — волосы у меня на голове зашевелились, я застыл от ужаса и смотрел на отца, ждал, что он предпримет, умолял его что-нибудь предпринять, заклинал его встать...

...И он встал, глаза его загорелись грозным огнем, он уже походил не на моего отца, а на сказочного силача, который побеждает драконов и всяких чудовищ, вот он прошел по коридору широким шагом, я бежал за ним, едва поспевая, он шел по улице Искыр к улице Волова, и сучья трещали на деревьях, листья слетали, под ногами его проламывался асфальт, я падал в ямы, выбирался из них и опять бежал за ним — кулаки его стали больше куполов храма Александра Невского, вот он перешагнул через один, через второй дом и наклонился над домом, в подвале которого живет Георг Хениг и рыжий негодяй со своей женой и страшным псом.

— Выходи, подлец! — крикнул он грозным голосом так, что в окнах задрожали стекла.

— Не боюсь я тебя, разбойника! — Рыжий выскочил на улицу, а за ним пес.

Отец дал пинка псу (тот повалился замертво), протянул руку и схватил двумя пальцами Рыжего за шиворот, поднял его к своим губам, вобрал побольше воздуха и дунул, голова Рыжего отскочила, как мячик, и покатилась по небу, задержалась на миг, стала вытягиваться и превратилась в собачью морду. «Гав! Гав! Гав!» — загавкала беспомощно голова Рыжего, а мой отец стукнул кулаками по столу и уткнулся в них головой. Мать плакала.

Мы с Георгом Хенигом сидели молча. Он от неловкости, я — потому что мне нечего было сказать и потому что я был очень, очень несчастен.

Люди натравили собаку на беззащитного старика, никому не причинившего зла.

...Где-то далеко, в Чехии, расстилались зеленые луга и поля. Среди этих зеленых лугов возвышался старый замок. Возле него у могильных холмиков с крестами стояли люди, выстроившись в ряд, лица их были серьезны и печальны; а глаза устремлены сквозь пустое пространство далеко-далеко к старому подвалу с мокрыми стенами, на которых выступала вода, к продавленному дивану, где корчился от боли, где разговаривал с тенями и молился о том, чтобы смерть смилостивилась и поскорее пришла за ним, старый чешский мастер, основатель болгарской школы скрипичных мастеров Георг Йосиф Хениг.

* * *

Мать отвела Георга Хенига в поликлинику. Ему сделали укол, перевязали рану, хотели отправить его в больницу, но он ни за что не соглашался.

После обеда он лежал на моей кровати, а вечером, к моей великой радости, после долгих уговоров остался ночевать у нас.

— Ты что хочешь,— кричал отец,— чтобы этот изверг тебя до смерти довел? Образумься, дедушка Георгий!

— Не довел сегодня, не довел завтра! — упорствовал тот.

— Ладно! Хватит! Баста! Останешься здесь. Завтра я сам с ним разберусь.

— Марин, просим...

— Нет!

Отец повесил занавеску, разделившую комнату на две половины, как у Вражи и Стамена. Старик лег опять на мою кровать. Мы с родителями на их кровать: я — в одном углу, они — в другом.

Нам долго не спалось. В темноте слышалось прерывистое дыхание дедушки Георгия. Наконец, как мне показалось, он успокоился и заснул. Тогда я услышал шепот родителей:

— Давай оставим его у нас? — шептала мать.

— Не согласится,— отвечал отец.

— Пусть поживет неделю, две, может, ему понравится.

— Трудно будет.

— Я прямо не могу... Точно своего деда вижу... нисколько это не трудно. Где трое, там и для четвертого место найдется. Поговори с ним.

— Нелегко это. Сначала надо разобраться с этим извергом.

— Будь осторожен.

— Буду, спи.

— Спокойной ночи.

Но я понимал, что дедушка Георгий никогда не согласится жить у нас. Ведь тени не знали, где мы живем, пришли бы в пустой подвал и очень огорчились бы, спрашивали бы, куда он девался. У нас они не могли бы спокойно разгуливать. Тем более что в последнее время они приходили не только вечером, но и днем: они проявляли все большее нетерпение. Да и буфет занял полкомнаты. Как жаль, что у нас так тесно.

На следующее утро чуть свет мы с отцом, который вел меня за руку пошли будить Григора Аврамова — могучего ударника из Музыкального театра.

— В чем дело? — спросил он, сонный, в одной пижаме, впуская нас.— Опять что-то грузить?

Отец достал сигареты, они закурили, а меня отослали вниз поиграть.

Минут через пятнадцать они вышли из подъезда. Григор Аврамов обмотал левую кисть войлоком, а поверх него привязал веревкой кусок

кожи. Из правого кармана его пиджака торчала короткая толстая палка. Лицо у него было злое.

— Пошли,— сказал он.

Перед тем как свернуть на улицу Волова, отец присел, обхватил мое лицо ладонями и, пристально посмотрев на меня, погладил по голове.

— Вот что, сынок,— сказал он,— если боишься, не ходи. Мы с дядей Григором и сами как-нибудь справимся. Дело вот в чем: ты отопрешь дверь, войдешь в коридор и громко позовешь дедушку Георгия. Понял?

— Но ведь он у нас?

— Это не имеет значения. Позовешь громко. Ты боишься собаки?

— Не боюсь. (Я ужасно боялся.)

— И не бойся. Если она кинется к тебе, мы рядом. Она до тебя дотронуться не успеет. А если сосед выскочит и подлетит к тебе, сразу кричи: «Папа, на помощь!» Понял?

— Понял.

— Ладно, пошли! — он похлопал меня по щеке.

— Молодец! — Григор Аврамов затянулся в последний раз и бросил окурок.— Дай я тебя поцелую.

И, уколов щетиной, звучно чмокнул меня в щеку (мне при этом чуть дурно не стало от окутавшего меня сивушного облака).

Я сбежал по трем ступенькам. Сердце стучало. Отпер дверь, и запах псины ударил мне в нос. Я ступил два-три шага вперед и робко позвал: «Дедушка Георгий!», тут же послышался злобный лай. Дверь в комнату Рыжего распахнулась. Он показался в проеме: высокий, заспанный, взъерошенный. Он держал за ошейник Барона.

— Поспать человеку не даете!

Я бросился назад. У входа столкнулся с отцом и Григором Аврамовым, споткнулся, упал и так и остался лежать, весь съежившись, у порога.

— Закрой дверь!

Я закрыл.

— Ребенка бьешь, а?

— Ну, мы тебе сейчас покажем! — И они набросились на него.

Все произошло мгновенно. Рыжий даже не пикнул. Только выпустил ошейник. Пес, разинув пасть, подпрыгнул в воздухе, Григор Аврамов подставил замотанную войлоком и кожей руку. Зубы пса скользнули со скрипом по коже. Пока он хрипел, задыхаясь от злости, Григор поднял палку и нанес короткий сильный удар по черепу собаки. Она заскулила и грохнулась на пол. Рыжий открыл рот, но закричать не успел — отец схватил его за горло. Оба покатились по полу. Железное корыто, прислоненное к стене, упало на них. Шум, треск, грохот, сопение, нечленораздельные звуки. В открытую дверь я увидел, как Толстуха, растрепанная, с вытаращенными глазами, бросилась на помощь мужу, но споткнулась о стол, упала грудью на него, и он рухнул под ее тяжестью.

Стены содрогались, штукатурка сыпалась мне на голову. Отцу удалось усесться Рыжему на грудь. Он стал наносить ему сильные удары, отчего голова Рыжего громко стукалась о пол. Григор Аврамов схватил Толстуху, вывернул ей руку в локте, заткнул рот замотанной войлоком рукой.

— Молчи, а не то... Этой палкой я и твою голову проломлю!

Он замахнулся, и она затихла.

— Ну-ка, отойди! — Отец встал, отряхивая брюки.— Держи эту, чтоб не кричала! Займемся тем, кто бьет детей.

Он поднял Рыжего одной рукой, прислонил к стене и ударил кулаком под дых. Тот скорчился от боли. Григор Аврамов ударил его в челюсть, и тот повалился рядом с собакой. Потом Григор наклонился и, безжалостно крутя Рыжему ухо, свистящим шепотом заговорил:

— Слушай хорошенько, что я тебе сейчас скажу. Слышишь меня?

— Слышу! — прохрипел тот.

— Так вот. Слушай: я ем собак. Когда я был мальчишкой, съел одну побольше тебя. Убирай своего пса. Если я завтра приду сюда и увижу его, я его съем. А потом тебя. И никто тебя не спасет. Ни милиция, ни бог, ни черт. Я тут милиция. Я тут хозяин. Ну-ка, повтори, что я сказал. Повторяй! — И он шмякнул его головой об пол.

— Ты милиция! — Из носа Рыжего текла кровь.

— И хозяин! Одно слово скажешь мальчишке или старику, я тебя по кусочкам разрежу. Я займусь тобой, а не он.— Григор Аврамов повернул голову к отцу, который испепелял Толстуху взглядом.— Он добряк. Самое большое — побьет тебя. А я слопаю. Ясно? В порошок сотру!

Он выпрямился, сунул палку в карман, вытер ладони о брюки. Рыжий, сопя, ползал на четвереньках, голова его безвольно болталась, кровь брызгала во все стороны.

— Хватит на сегодня! — сказал Григор Аврамов, пнул лежащую собаку и вышел на улицу.

Рана еще не зажила, однако Хениг вернулся в свой подвал. Как мы ни пытались уговорить его остаться у нас, он не согласился. Прожил у нас три дня, но был очень беспокоен, все сидел на моей кровати и беспрерывно курил. Ему все время хотелось пить, но есть он почти ничего не ел. Мы предлагали ему пойти погулять с нами, но он отказался, ссылаясь на больную ногу.

— Хочу домой, Марин, отведи мне домой.

— Хорошо, а собака?

— Я собаки не боялся. Закрил дверь гвоздем.

— Что ты там будешь делать? Зачем тебе возвращаться в эту берлогу?

— Есть работа. Хочет работать.

— Какая работа. Тебе надо отдохнуть.

— Есть работа! Ти кончил своя, теперь у Хенига есть работа.

Мы пошли его провожать. Открыли дверь. В коридоре никого. Не слышно собачьего лая. Не видно никаких следов собаки.

— Нет собаки,— озадаченно заметил Георг Хениг.

— Нет,— мрачно согласился отец.— Но все же будь осторожен. А ты останься с дедушкой Георгием. Если они попробуют его обидеть, беги сейчас же за мной.

Рыжий присмирел. Это был плохой признак. Опьяненные победой, мы не задумывались, что означает его поведение. Несколько раз я встречал его в коридоре. Он прикидывался, что не видит меня. Жена его тоже притихла.

А Георг Хениг на несколько дней впал в странное состояние. Он или сидел неподвижно на диване, уставившись на стену, или бродил по подвалу, прихрамывая, опираясь на палку и рассуждая о чем-то вслух.

Попросил меня достать все инструменты и разложить их на верстаке. Протирал их рукавом, разглядывал, поднося к глазам, дышал на блестящий металл и опять протирал. Потом снова бродил по подвалу, о чем-то разговаривая сам с собой.

— Георг Хениг скоро уйдет,— сказал он вдруг и велел мне сесть на диван.— Цар Виктор, садись, слушай. Скоро уйдет к жене, брату и отец.

— Не уходи,— настаивал я,— пусть еще немножко подождут!

— Немного ждут. Еще есть работа. Потом уйдет. Но должен понять мене цар Виктор!

— Я тебя понимаю! — говорил я почти плача.

— Не плачь, а слушай. Когда уйдет Хениг, оставит инструмент цар Виктору.

— Как? Все инструменты?

— Все, все. Но обещай, никогда не продавал и не делал буфет с этот инструмент.

— Но я же не умею делать скрипки!

— Не беда... может научиться. Может твой син делать скрипки. Или его син. Стари инструмент это, нигде больше не найти. Знай это добро и храни.

— Буду беречь, не сомневайся!

— Видел... все видел,— засмеялся старик.— Приходи вечер, Хениг говорить с тебе.

— Лучше возьми меня с собой!

— Ай! Глюпости! Молоди еще, инфант. Когда постареет, станет цар, вспомнит деда Хенига.

— А ты придешь тогда за мной?

— Может... приду, если не забил стари Хениг.

— Я тебя не забуду никогда. Возьмем и маму с папой.

— Когда очень стари, как я. Сначала стань велики цар, учися много.

— Будем все жить в одном большом доме, да? — мечтал я.

— Большой дом, очень, место для всех есть.

— И бог будет нас кормить?

— Не знаю... может кормить, может забил. Сами себя кормить будем.

— Но ведь ты же сказал, что он никогда ничего не забывает.

— Сказал стари, глюпи. Когда увидит бог, больше узнает. Придет, скажу тебе. Храни инструмент, никому не говори.

— Буду беречь, обещаю. Никому не отдам!

— Много тебе благодарен стари Хениг. Просим, помни!

И вдруг несчастья обрушились на нашу голову. Однажды утром, когда я, оставив Георгу Хенигу завтрак, уже собирался идти в школу, раздался звонок. Я открыл. Двое мужчин и молодая женщина, моложе моей матери, стояли, улыбаясь.

— Здравствуй, мальчик! Как тебя зовут?

— Виктор.

— Ты не знаешь, Виктор, где живет столяр Георг Хениг?

— Здесь. Только он не столяр, а скрипичный мастер. Это Вангел столяр.

— О! — пришла в восторг женщина.— Можно войти?

Я проводил их в комнату Хенига. Он, как обычно, сидел, уставившись в стену.

Едва они переступили порог, женщина зажала нос платочком.

— Действительно... ужас! — послышался ее голос из-под платочка.

— Нечеловеческие условия,— согласился один из мужчин.

— Бай Георгий, добрый день,— произнес другой,— мы из санитарной инспекции.

— Добри ден,— старик посмотрел на них своими белыми глазами.

— Сколько тебе лет?

— Девяноста. Стари.

— И давно ты живешь здесь?

— У дедушки Георгия,— вмешался я в разговор,— есть паспорт.

— Ах, паспорт. Это ваш внук?

— Не внук, а мой друг.

— Да, я друг,— гордо заявил я,— и мой отец тоже.

— Почему ты так говоришь, мальчик? — любезным тоном спросила женщина.

— Я друг! — твердил я.

— Хорошо, хорошо, а родственники у вас есть?

— Нет, умерли.

— Дедушка Георгий, понимаешь ли ты, что в таких условиях жить нельзя? — участливо спросила женщина.— Даже собаку держать нельзя.

— Собака была у соседей,— сказал я.— Но ее больше нет. Тут живет только дедушка Георгий.

— Ах,— сказала женщина,— это помещение необходимо отремонтировать. Как вы считаете,— обратилась она к мужчинам,— нуждается эта комната в ремонте?

— Я этими вопросами не занимаюсь,— медленно и важно ответил один из них.— По этому вопросу следует проконсультироваться с товарищем Петровым из отдела ремонта и жилищного благоустройства. Но, по-моему, все ясно и без консультации. Дом пора сносить, а на его месте новый строить. Отремонтировать его вообще невозможно.

— Ну, дедушка Георгий,— ласково заговорила женщина,— что скажешь? Хочешь, чтобы мы помогли тебе переселиться в дом престарелых, поскольку родных у тебя нет?

— Не пойду.— Георг Хениг тяжело вздохнул.— Есть работа. Потом сам уйду.

— Хорошо, хорошо. Мы придем еще раз. Но ты должен написать заявление, что просишь поселить тебя в доме престарелых. Ты писать-то можешь?

— Оставь мне в покое!

Они ушли недовольные.

— Сукин сын! — кричал отец.— Изверг, подлец! Он его со света сживает. Дом престарелых! Надо же!.. Хочет забрать себе дыру, где живет старик!

— Дедушка Георгий! — убеждал отец на следующий день старика.— Никто не может выгнать тебя отсюда. Понимаешь? Запомни хорошенько: только не подписывай никаких бумаг. Что бы тебе ни говорили и ни обещали, не подписывай. Запомнил?

— Не подписивай,— кивнул Георг Хениг,— просим, Марин, подожди! Слушал, что ти сказал.

— Спокойно! Ах, негодяй...— Отец ударял кулаком по стене, за которой жил Рыжий.

Через несколько дней явилась другая комиссия. Они представились: из отдела социального обеспечения. С ними был врач, который осмотрел дедушку Георгия, хотя тот долго противился. Но в конце концов разделся. И врач, недовольно хмыкая и хмурясь, выслушал его.

— Да-а-а. Состояние плохое. Очень плохое. Кто за тобой ухаживает?

— Мастер Марин

— Кто он тебе? Родственник?

— Друг. Добри человек.

— Сколько получаешь пенсии?

— Осумнадцать лева...

— Слышите? — обратился врач к остальным.— Да он просто нищий! Его надо отправить в дом престарелых. Разве можно бросать человека на произвол судьбы?

Они соглашались, кивали головами и смотрели на Георга Хенига с сожалением — так смотрят на больное животное.

Отец тем временем пытался что-то сделать, ходил по учреждениям. В отделе жилищного строительства ему сказали, что уже принято решение о сносе дома, в котором Георг Хениг живет, и строительстве на этом месте нового. Но поселить старика где-нибудь временно нет возможности

— Поймите,— говорил служащий отдела,— у него нет никаких документов, подтверждающих, что он имеет право на занимаемую жилую площадь. Мы не можем его никуда переселить... Тем более, что рядом в одной комнате проживает семья. Поставьте себя на их место. А старик, пока дом будет строиться, скорее всего...

— Как вы можете так относиться к человеку! — заявили в собесе.— Ему же просто не на что жить, ведь на восемнадцать левов в месяц не проживешь — представьте себе, что это ваш отец.

— Тогда хлопочите, чтобы ему пенсию увеличили!

— На каком основании? У него не наберется и пяти лет трудового стажа.

— Его ученики завоевывают первые места на международных конкурсах!

— Но при чем тут он?

— Я готов взять его на свое иждивение.

— В таком случае он должен вас усыновить.

— Усыновить? Так ведь у меня мать жива!

— Ну вот видите...

Замкнутый круг. Мы ходили из одного учреждения в другое, сидели, стояли в очередях к разным начальникам, но всюду лишь пожимали плечами: ничего не поделаешь, придется отправить в дом престарелых. Почему бы старику не жить в доме престарелых? Там ему будет хорошо!

Наконец в собесе обещали не трогать его, если кто-то добровольно согласится давать ему 60 левов в месяц.

— Откуда я возьму столько денег? — сокрушался отец.— Банк ограбить, что ли?

— Иди к его ученикам,— робко предлагала мать.— Может, они дадут. Мы дадим двадцать, и они...

— К этим подлецам? Никогда! Эх...

* * *

Он знал все это — хоть и не подавал виду, что знает. Никого, кроме нас с отцом не пускал в свой подвал. Запретил приходить даже теням. Сказал им, что из-за них может разрушиться дом, и они перестали являться. Бродил по комнате, перебирал инструменты и что-то бормотал. Или часами сидел неподвижно.

Но вот Георг Хениг достал дерево со Шпиндлеровой мельницы и дерево из Миттенвальда, снял тряпку с пластин и произнес:

— Сказал тебе: сделаю скрипку. Смотри внимательно. Может, и не научишься, но смотри. Скрипка для бога.

— Дедушка Георгий делает скрипку,— взволнованно сообщил я родителям.— Представляете, скрипку для бога!

— Представляю,— мрачно сказал отец.— Старик совсем отчаялся... Но пусть делает. Пусть хоть чем-то занимается.

— А как это, для бога? Бог будет на ней играть?

— Сто раз тебе говорил, что бога нет! — рассердился отец.— Ну, не понимаешь ты... Он хочет сказать, что сделает скрипку для того, кто играет как бог.

— Для Васко Абаджиева? — наивно спросила мать.

— Ерунда! Между прочим, ты права,— обернулся он к ней.— Выхода нет. Придется идти к этим мерзавцам, просить у них денег.

* * *

Георг Хениг достал вырезанную из бумаги форму скрипки, но несколько увеличенную. Она была, должно быть, очень старая — края ее слиплись, и он осторожно отделял один от другого, чтобы не порвать бумагу. Положил ее на деревянную пластину со Шпиндлеровой мельницы и медленно очертил карандашом контуры. Долго разглядывал их в мутном свете, цедившемся сквозь окно. Потом неторопливо разорвал вырезку и велел мне выбросить клочки:

— Все. Никому больше не нужен.

Целый день потратил, чтобы разложить инструменты на верстаке. Клал, отходил, смотрел, менял местами, чем-то недовольный. Наконец разложил в нужном ему порядке: в верхнем ряду — пять-шесть рубан-

ков разной величины и формы. Объяснял мне, что одни нужны для вырезания, другие — для выдалбливания, третьи, слегка изогнутые,— для выработки внутренней стенки верхней деки. Ниже положил три ножика с тонкими острыми лезвиями. Затем цикли, острый плоский фуганок, разные пилы. Повторял названия инструментов, заставляя меня заучивать их: рубанок, ножовка, лобзик, фуганок, напильник.

Покончив с этим, дня три сидел на диване, гладил деревянные пластины, изредка тяжело вздыхая. Потирал ладонью лоб, переворачивал пластины, снова вздыхал.

— Что случилось?

— Не слушает мне. Оба очень стари. Не знаю, как объясню, куда пойдет.

— Скажи ему, что оно идет к богу.

— Он не знает, кто такой бог. И я не знал.

— Как ты не знаешь? Ты же столько раз мне говорил о нем! Ведь ты же мне рассказывал, что он большой-большой, что он всем нам отец, что он обо всех заботится, еду приносит...

— Сказал. Ти мальки, инфант. Так с дерево не говори. Не слушает, не дается...

— Попробуй! Возьми пилу и режь.

— Ай! Это не делай! Привикни к дереву, входи в него, думай, как он... Все скажет, станет друг...

— Так скажи!

— Как?

Мы умолкали, задумавшись. Я никак не мог его понять. Что, он мало скрипок сделал до сих пор? Со сколькими деревьями он разговаривал в своей жизни!

— Говори с ним, как с другими! Что ты им говорил?

— Говорил, куда пойдет, к какой человек. Сначала видит человек, говорит с ним, старается скрипку делать по его форма... Какой человек — такой скрипка! Не понимаешь?

— Понимаю — хочешь сказать, ты не видел бога и не знаешь, какой он человек?

— Умни...

— Что ж ты не спросил Боженку? Или своего отца? Или брата? Разве они его не видели?

Старик жевал губами, хмурился, гладил дощечку и не отвечал...

— Так что?

— Сказали...

— Что ж ты тогда?

— Думаю, видели, но не увидели.

— Ты им не веришь?

— Я не говорил с ними про бога, говорил, как било у нас, в Чехии.

— А как было?

— Люди весели... Му́ка нет. Собаки нет. В большой дом жили. Приходили гости из Виен, Германия, Москау. Уважали мастер. Делали большой стол, как твоя мила госпожа мать, пили пиво, вино... курил вот такая сигарета,— он раздвинул пальцы,— била большая гора возле наш дом. И вода, вода...

— Река?

— Река.

— Почему ты не остался там?

— Друзья пригласил. Сказал, в Болгарии мастер уважают, тут мастер нет, создай своя школа, имеешь ученики...

— Отчего же ты потом не уехал?

— Боженка больная била, деньги не било. Брат умер, отец, я на погребение не пришел. Только сидел тут, молился...

— Они на тебя сердятся?

— Не сердится. Знает, как било. Мольчи, не спрашивай.

Просил меня принести воды. Я выходил во двор, наливал в кувшин. Он жадно пил, ему все время хотелось пить. Курил окурок за окурком. Когда они кончались, шарил под диваном, находил пачку «Бузлуджи», закуривал. Дышал тяжело, прерывисто. По утрам кашлял долго — просто заходился в кашле. Я подавал ему чашку с водой, он, поперхнувшись, проливал ее, все лицо было мокрым.

— Надо бистро работать,— жаловался он,— времени нет! А дерево не слушается!

— Дай,— сказал я однажды,— я поговорю с деревом?

— Ти говорить с деревом?

— Дай попробую, может, что-нибудь получится.

Он лег, повернувшись ко мне спиной.

Мы оба долго молчали. Казалось, старик заснул. Дышал, во всяком случае, ровно. Голова у меня была совершенно пуста, и я уже проклинал себя за то, что решил поговорить с деревом. Я рассеянно гладил дощечку, как это делал он, подыскивая слова, но мысли мои разбегались. В уме вертелись только обрывки фраз с неправильным, как у Георга Хенига, порядком слов От дерева под моими пальцами исходило тепло.

— Вот что...— начал я смущенно.

Дерево словно бы вздрогнуло.

— Вот что...— Я закрыл глаза, и слова стали произноситься уже сами собой.— Дедушка Георгий должен из тебя сделать скрипку! Все-таки должен — не спрашивай зачем.— Дерево, кажется, стало тверже.— Подожди. Сейчас объясню,— быстро продолжал я,— они давно его зовут к себе. Он не уходил к ним... потому что мы делали буфет. А теперь надо скрипку сделать! Он возьмет тебя с собой и отнесет богу. Мы не знаем, какой он, дедушка Георгий уже не знает. Раньше знал, а сейчас думает...— Дерево как бы съежилось...— Подожди, подожди. Бог... богу нужна скрипка. Дедушка Георгий никогда не будет делать скрипку для плохого человека. Вот Франтишек — может, Ванда — тоже, а он никогда. Ты поверь, что дедушка Георгий тебя уважает и не отдаст кому попало. Никому не отдаст, кроме бога! Бог самый хороший на свете, он будет играть на тебе, пока не станет виртуозом. А виртуоз — это человек, который играет лучше всех. Когда виртуоз играет, зал полон, много цветов, все хлопают, некоторые даже плачут, не потому что им грустно, а потому что им нравится музыка. А там, где бог, есть залы такие большие, каких здесь нет. Ангелы летают. Дедушка Георгий знает. Когда бог будет играть, все ангелы будут слушать и хлопать крыльями. Там будет и его жена Боженка, брат Антон, отец Йосиф, наверно, и жена бога тоже будет, ее зовут матерь божья. И их сын Исус, он тоже там будет. Все ждут только тебя! Понимаешь, дерево? — Оно стало теплым в моих руках.— Столько людей вокруг, и все хорошие! Ни собаки, ни комиссий, в первом ряду сидит дедушка Георгий и слушает, как ты поешь! Когда бог будет играть, он всегда будет там. Жалко, что я приду позже. Дедушка Георгий говорит, сначала я должен царем стать. Потом, когда я буду старым, он придет за мной, и я тебя послушаю. Вот увидишь,— горячо продолжал я,— тебе будет приятно, что бог играет на тебе. На твоем месте я бы очень радовался. Я бы все отдал, чтобы быть на твоем месте! Подумай только: бог берет тебя в руки, подкладывает подушечку под подбородок, покрывает платочком и начинает играть... Волосы у него, верно, длинные и черные, как у великих скрипачей... Я видел фотографию Паганини — у него именно такие волосы. Да, сначала гаммы и арпеджио, чтобы разыграться. Потом концерт Конюса. Я его тоже играл и очень бы хотел послушать, как он его сыграет. Прошу тебя, дерево, позволь дедушке Георгию сделать из тебя скрипку! Я буду хорошо заниматься, исправлю плохие отметки, побыстрее постараюсь стать царем... и когда дедушка Георгий придет за мной, мы снова с тобой увидимся. И опять поговорим. Я скажу: видишь, как ты хорошо сделало, что послушалось меня? А если бы ты попало к Франтишеку или Ванде? Слышишь? Дерево!..

Кусок дерева под моими пальцами был мягким и теплым, словно пластилин. Словно живая плоть. Я не смел открыть глаза.

Мне казалось, в комнате послышался нежный мелодичный звон, раздававшийся из-под моих пальцев. И какое-то дуновение я ощутил — дерево вздыхало.

* * *

Вангел повесился.

Случилось это в конце октября. По утрам бывало прохладно. На тротуар осыпались листья с деревьев, но в обед припекало солнце и в воздухе вились черные мушки.

Бабье лето.

Однажды утром квартал разбудил протяжный вой его облезлых кошек — пяти-шести полудиких существ, злых, но странным образом необыкновенно привязанных к своему хозяину.

Первой его увидела Цанка. Она страдала бессонницей, от которой ничто не помогало — ни валерьяновые капли, ни холодные компрессы, ни разного цвета таблетки, ни порошки, которыми она отравляла свой хилый организм.

Часов в шесть утра из комнаты Цанки послышался истошный крик. Все выскочили в коридор. Пепи, Роленская и моя мать в ночных рубашках, мужчины — в пижамах и кальсонах. Ванчето, Владко и я напрасно пытались прошмыгнуть между ног родителей, чтобы посмотреть, что происходит.

Первым опомнился отец.

Он постучался к Цанке и, не получив ответа (она продолжала вопить, словно с нее живьем сдирали кожу), с размаху выбил дверь, так что хлипкий замок остался у него в руках.

Цанка, растрепанная, с посиневшим лицом, бросилась ему на шею. В уголках ее губ выступила пена.

— Ужас! — кричала она, указывая на окно, выходившее во двор.— Ужас!

Он оторвал ее от себя, вытолкнул в коридор, а сам остался в комнате. Все столпились в дверях. Я проскользнул в уборную, из окошка которой тоже был виден двор. Залез на стульчак и глянул вниз.

Вангел висел на перекладине, где выбивали ковры, как солдат, вытянувшись перед утренним солнцем. Руки его болтались ниже колен, глаза вылезли из орбит. Неизвестно, кому он показывал черный язык. Голова его склонилась к плечу. Между перекладиной и шеей видна была тонкая веревка, натянутая, как струна.

Меня вырвало. Меня вырвало второй раз, когда я слез на пол уборной, откуда мать выгнала меня, почему-то шлепая по щекам,— впрочем, я совершенно не чувствовал этих пощечин.

Уже придя в себя, я узнал, что приезжала милиция и тело Вангела увезли в морг.

Впервые в нашем квартале человек покончил самоубийством. Я долго и горько рыдал, хотя мне никогда не нравился ни Вангел, ни его кошки, которых мальчишки поили валерьянкой и которым надевали на лапы ореховую скорлупу. Поползли разные слухи, почему он покончил с собой,— как обычно, один нелепее другого.

Дня через два пришли какие-то люди, вынесли из комнаты кушетку, стол, два стула, гардероб, забрали верстак, инструменты и опечатали его мастерскую.

— Нельзя упускать такую возможность, пойми! Прямо под нами, сухо, тепло, есть уборная и умывальник,— возбужденно говорил отец, расхаживая перед дедушкой Георгием.— Разрешение получим. Я все вверх дном переверну, но получу. Поговорю с директором театра, попрошу его лично заняться этим вопросом. Ты ведь у нас когда-то работал, нам не откажут!

— Я остался тут. Нет время переехать.

— А представь, если тебя выселят? Придет бульдозер, сломают дом — куда денешься?

— Оставь мне работать.

— Дедушка Георгий! Как тебе еще объяснять? Пустое помещение! Сухое! Просторное! Места для двух верстаков хватит, мебель найдем, будешь жить в одном доме с нами, слышишь? У нас!

— Хочет работать.

— Сейчас не до этого! Скрипка не важнее того, о чем я тебе говорю. Сегодня же все перетащим и переедешь. Потом будем документы оформлять. Завтра же сможешь снова работать. Никто не будет тебе мешать.

— Я не пойдет в комнату мертви мастер.

— Не будь ребенком! Ну и что с того, что он умер? Все когда-нибудь умрем...

— Верно...

— Ну?

— Мастер сам себя убил.

— Тоже мне нашел мастера! Ну и что же, что он повесился? Его все равно нет, он умер, а мастерская свободна. Ладно, соглашайся!

— Нет.

— Почему?

— Нет время, Марин. Просим, оставь тут делать скрипку.

— Слушай, дедушка Георгий! Ты заставляешь меня думать, что ты действительно того... Да разве так можно? Пойми, если мы не поспешим, через день-два комнату займут. Какая скрипка? Дай я посмотрю на твою скрипку. Что это?

Отец склонился над верстаком, на котором, зажатая струбцинками, лежала готовая дека. Дедушка Георгий водил по ее поверхности циклей.

— Что это? Не похоже на скрипку!

— Почему не похож?

— Чего-то мне кажется... гм, не слишком ли велика? Почему тут,— он показал на деку,— так выпукло, а здесь,— палец его остановился в верхней части деки,— так узко? А это? — Он провел пальцем по месту, где полагается быть грифу.— Почему тут так широко? Что здесь будет?

— Гриф.

— Гриф? Контрабаса? Что ты, дедушка Георгий, выдумываешь?

— Сказал, делать скрипку.

— Но это же не скрипка!.. Я, во всяком случае, такой скрипки никогда не видел.

— Не видел. Никто не видел. Давно играли на такую скрипку, двести, триста лет назад.

— Неужели сейчас время этим заниматься? Балуешься ты, что ли? Возьми-ка свою скрипку, вот и Виктор тебе поможет, я приду с друзьями через час — и все перенесем. Сегодня же вечером опять примешься за свою скрипку.

— Марин! Сказал — время нет. Оставь работать.

— Твой бог что, подождать не может? — раскричался отец.— Знаю! Все знаю! Делаешь скрипку для бога. Мне все ясно! Это тебе не ясно, что завтра, послезавтра — самое позднее через месяц выгонят тебя отсюда, и конец твоей скрипке!

— За месяц кончу.

— Кончишь! А потом — куда? Не задумывался?

— Нет время думать. Сейчас думает инструмент.

Отец сел на диван. Достав сигарету, повертел между пальцами, безнадежно махнул рукой и снова положил в пачку.

— Не сердись, Марин, просим.

— Я на тебя не сержусь... Только что ж теперь делать?

— Сиди и жди.

— Сиди и жди! Завтра тебя отправят куда-то на грузовике, а я буду сидеть и ждать. Эх...

Он встал, огляделся вокруг. Грустный взгляд его задержался на деке, губы искривились. Он велел мне быть дома к обеду и ушел.

Георг Хениг вытащил стоявшую в углу необычную форму. Такой я еще никогда не видел. По размеру значительно больше скрипки, но меньше виолончели. Верхняя часть ее была действительно очень узкой, а нижняя — чересчур широкой. В ней струбцинками была зажата верхняя дека. Отделив ее от формы, он достал струну и укрепил ее на деке. Вынул из ящика в верстаке молоточек и, серьезно посмотрев на меня, проговорил:

— Слушай! Добро слушай!

Он легонько ударил по середине деки. Она дрогнула и зазвенела, вибрировала еле уловимо, как камертон, только звук длился дольше.

— Слишал?

— Слышал!

— Какой тон?

— Си-бемоль!

— Добро ухо! — Он довольно кивнул.— Си-бемоль, верно!

Он повторил то же самое с нижней декой. Она звучала в тоне до.

Обрабатывая напильником края обеих дек, Георг Хениг рассказывал мне легенды о скрипках. Самые прекрасные из легенд. Рассказывал о различных школах скрипичных мастеров (брешианская, кремонская, венецианская, миланская, неаполитанская, тирольская, саксонская, венская), о том, как скрипка бродит по свету, переходя из одних рук в другие, попадает то к великим скрипачам, то к мошенникам, то к богатым графам и баронам, то во дворцы, то в бедные хижины — какая странная судьба у скрипки, сделанной настоящим мастером! Сколько неудач, трагедий, но и сколько восторгов и какая слава! Какие имена произносились Георгом Хенигом! Они звучали в полумраке подвала, озаряя его на мгновенье, как золотые ноты нескончаемой мелодии: Гаспаро Бертолотти, Джованни-Паоло Маджини, Андреа Амати, Антонио Амати, Иероним Амати, Антонио Страдивари, Франческо Руджери, Андреа и Пьетро Гварнери, Джузеппе Джан Баттиста Гварнери, Гварнери дель Джезу́, Санто Серафино — да сколько еще я позабыл...

— Добро говорил с дерево.

— А ты слышал? — Уши у меня покраснели.

— Не слишал. Устали бил, спал. Но дерево мне слушает, дерево само себе делает, я только помогал.

— Почему ты не хочешь в наш дом переехать?

— Не пойду в комнату мертви человек. Там не можно скрипку делать.

— Ты думаешь, тени туда не будут к тебе приходить?

— Да. Место недобро. Мастер сам себе убил.

— Я его видел... Он был такой страшный.

— Ай-ай-ай! Не добро смотреть мертви человек! — Он обрабатывал деку, водя по ней рубанком.— Обещай мене: никогда не смотрит мертви человек! Не ходи на погребение. Еще мальки, инфант.— Он осторожно вырезал эф — отверстие в верхней деке, о котором говорил, что оно — почерк мастера. На пол падали тонкие, как волос, стружки...

— А ты видел мертвых?

— Когда бил, как ти. Моя мать.

— А Боженка?

— Не видел. Умерла — как сказать? — в госпиталь.

— В больнице.

— Больнице. На погребение била — как сказать?

— В гробу.

— Да. В гробу.

— А ты боишься мертвых?

— Нет. Но не смотри мертви человек. Лучше помни живой...

Чтобы длинные седые волосы не падали ему на глаза, он перевязал их через лоб бечевкой. Теперь, когда он сновал по подвалу, согнутый пополам, со свисающими до полу руками и глубоко запавшими белыми глазами, он походил на индейца — на колдуна какого-то индейского племени. В углу между диваном и верстаком стояло сооруженное им самим нечто, напоминающее спиртовку, на которой булькал клей в металлической посудине. От темно-коричневого месива исходил резкий, тяжелый запах. Золотисто-красный лак мерцал в стеклянной банке. Было жарко и душно, точно кто-то задувал горячий воздух сквозь щели серых стен.

— Сказал отцу про инструменти?

— Да.

— Что он сказал?

— Что лучше бы ты их продал Франте или Ванде. Не детские, мол, это игрушки.

— Не продал никому инструменти отца. И ти не продавай, помни.

— Никогда!

Он соединил верхнюю и нижнюю деки деревянной лентой, которая называется усом. Она была не толще двух миллиметров, он смастерил ее из клена, дерева со Шпиндлеровой мельницы, так, чтобы рисунок шел поперечный. Она состояла из шести склеенных между собой деревянных ленточек. Он изгибал их раскаленным железом, предварительно намочив мокрой тряпкой.

Корпус был готов. Как я ни следил за ним, я так и не уловил момент, когда он вставил внутрь душку — ничтожный кусочек дерева, вроде толстой спички, представляющий, однако, самую главную часть скрипки.

— Немножко влево — скрипка глухая. Немножко вправо — слабая, гласа нет. Надо место точно знал.

Нижнюю деку в отличие от верхней он составил из двух склеенных посередине кусков. Я наблюдал, как Хениг расчертил всю пластину на квадратики — это была трудная работа, отнявшая у него много времени. Измеряя расстояния между квадратиками, он сверял, что-то записывал в блокнот, и я не решался спросить, зачем он это делает, чтобы не отвлекать его. Впрочем, вряд ли он сумел бы мне толком объяснить.

Про душку я, однако, не удержался, спросил:

— Дедушка Георгий, откуда ты знаешь, куда именно ее надо вставлять?

— Спрашивал дерево, оно само сказал. Видишь квадрат? Положил палец в квадрат, ждал, ждал, ждал... Если дерево молчит — положил в другой. И опять ждал. Спрашивал, двигал, думал. Когда дерево видит, мастер имеет терпение — оно само сказал: тут вложи.

Руки у него перестали трястись — во всяком случае, пока работал. Потом, когда он садился на диван и клал их на колени, они снова начинали прыгать. Он разглядывал их, поворачивал ладонями вверх, укоризненно качая головой. Работал он с утра до вечера. Целый день. Когда бы я ни пришел, он работал. Уверен, работал он и по ночам. Он прекращал работу только, когда надо было какую-нибудь часть скрипки положить на время в форму. Ел он мало. Часто мне приходилось уносить домой кастрюльки, к которым Хениг не притрагивался.

Комиссия вновь посетила Георга Хенига. Он не пустил их в комнату. Просили его выйти на минутку — только подписать бумагу, и они оставят его в покое! — но он повернул задвижку и повторял одно: «Оставь мне работать! Когда кончил, тогда говори!»

Георг Хениг словно впал в экстаз. Движения его стали быстры и уверенны. Со стороны ощущение было такое, словно он действует по чьему-то повелению, таким затуманенным был его взгляд, такими точными — движения, таким странным внутренним светом было озарено его лицо.

В эти дни Георг Хениг жил в ином мире. Там он, несомненно, чувствовал себя более счастливым.

* * *

В комнату Вангела вселилась новая семья: высокий молчаливый смуглый мужчина, шофер, его жена — такая же статная, как он, с очень чистыми голубыми глазами, в которых зрачки казались черными точками, и их сын — длинноногий мальчик моих лет, обладавший способностью падать на землю прямо, как доска, вытянув руки вдоль тела и не разбивая при этом голову.

На следующий же день после переезда жена шофера подметала двор в одной розовой комбинации с оторванной лямкой, и голая грудь ее раскачивалась в такт движениям. Кроткая улыбка, застывшая у нее на лице, не становилась ни более широкой, ни более счастливой, ни более печальной. Улыбка-маска, за которой не скрывалось никакого лица.

Женщина была сумасшедшая. Каждый день ровно в час дня она выходила подметать двор, а затем улицу. Прохожие, сочувственно поглядывая, обходили ее стороной.

Муж частенько в течение дня наведывался домой, останавливал самосвал, выскакивал из кабины. По усталому его, заросшему щетиной лицу нельзя было понять, какие чувства он испытывает. Бережно обняв жену за плечо, он тихо уводил ее в дом.

Он был вежлив, со всеми здоровался, даже с нами, детьми. Не пил. Ни с кем не подружился.

Вскоре санитарная машина увезла его жену. На другой день на стене у лестницы мы увидели отпечатанный типографским способом листок. Это был некролог, подписанный: «Супруг и сын», и говорилось в нем о ее доброте, материнской любви и трудолюбии. «Спи спокойно вечным сном. Мы никогда тебя не забудем» — такими словами заканчивался некролог.

Это был второй человек, умерший в нашем квартале, хотя мы не успели привыкнуть к женщине и не считали ее своей. Да и вряд ли считали бы ее своей, даже если бы она не умерла.

* * *

Отец со дня на день откладывал визит к Франтишеку и Ванде. Однако после посещения Хенига комиссией понял, что медлить нельзя.

Утром мы встали пораньше, позавтракали и отправились к Франтишеку. Мне страшно не хотелось идти ни к нему, ни к Ванде, но родители полагали, что мое присутствие может оказать благоприятное влияние.

— Авось,— сказал отец,— хоть ребенка постыдятся.

— Надо попытаться,— согласилась мать.

Сначала Франтишек не хотел нас принимать, но, узнав, что Георга Хенига собираются отправить в дом престарелых, неожиданно проявил интерес к разговору с нами.

— Он что — не желает?

— А вы на его месте согласились бы?

— А от меня-то вы чего хотите?

— Этого можно было бы избежать. Он мог бы поселиться у нас. Но в собесе требуют документ о том, что он получает в месяц сумму не меньше шестидесяти левов. Я готов дать ему двадцать, если бы вы с мастером Вандой согласились давать остальные...

— Двадцать левов в месяц? Да что я, миллионер?

— Я тоже не миллионер.

— Нет. Так не пойдет. Вот если он согласится продать свои инструменты...

— Он их мне подарил! — крикнул я.— Когда он сделает скрипку, он их мне отдаст. А я их ни за что не продам!

Франтишек медленно снял очки, оглядел меня с головы до ног и протянул:

— На-а-а-до же! Вот в чем дело. Поэтому вы так заботитесь о старике? А я-то думал... Погодите — какая еще скрипка?

— Он сейчас скрипку делает,— продолжал я, хотя отец сжимал мне руку, пытаясь заставить меня замолчать.— Он скоро ее закончит. И потом подарит мне инструменты. Папа знает!

— Интересно! — Франтишек испытующе посмотрел на нас.— И для кого же он делает эту скрипку? Выходит, у него заказчики есть? О каких же деньгах вы тогда говорите?

— Он работает, чтобы не сидеть без дела. Я музыкант,— быстро ответил отец, чтобы опередить меня.— Я ее видел. Это совершенно не похоже на скрипку.

— Так вы тоже музыкант? Садитесь же! — Франтишек засуетился, пододвинул отцу стул, хотя до этого слушал нас минут пятнадцать и садиться не предлагал.

— Значит, вы ее видели? Чем же она, интересно, не похожа на скрипку?

— Во всяком случае, я подобной никогда не видел. Форма очень необычная. Думаю, он плохо понимает, что делает.

— Возможно, возможно...— Мысли мастера Франтишека витали где-то далеко.— А про инструменты мальчик правду сказал?

— Да... Кажется, так. Я в этом совершенно не заинтересован, я даже против. Но таково желание старика.

— Ясно. В общем, знаете что? Дайте мне несколько дней подумать. Я к вам зайду. Скажите-ка ваш адрес.

Написав наш адрес, отец посоветовал ему поторопиться. Мы любезно распрощались.

Мастер Ванда встретил наше предложение еще холоднее.

— Двадцать левов? Никогда! Да знаете, сколько мне приходится работать за двадцать левов? Вы знаете, сколько стоит материал, инструменты, лак, краски, струны? Имеете вы об этом какое-то представление?

— Так он же ваш учитель! — рассердился отец.— Он обучил вас ремеслу, которым вы зарабатываете на жизнь! Как вам не стыдно!

— Мне? Это ему должно быть стыдно! Думаете, я ему не платил за ученье? Что, я его единственный ученик? Вовремя надо было думать о том, как будешь жить в старости. И вообще — кто вы такой? Кто вас уполномочил?!

Пока отец бегал на репетиции и спектакли, играл по вечерам, чтобы подзаработать, пока мы ходили по разным учреждениям, пока один кончал жизнь самоубийством, другой умирал, третий готовился бежать в Америку, пока моя мать экономила на всем, чтобы заполнять свой буфет сервизами, пока соседи день ото дня все больше злились на нас за то, что мы собираемся поселить в своей комнате какого-то старика, этот самый старик, с трудом передвигавший ноги, глухой ко всем и ко всему, отрешенный от суеты нашего мира, создавал свою лучшую скрипку. Разговаривал неохотно. Почти ничего не ел. Только курил. Пил в огромном количестве воду Молчал, сжимая узкий рот. Иногда впадал в прежнее оцепенение — сидел на диване, уставившись в угол и что-то бормоча себе под нос, но теперь это длилось недолго, самое большее четверть часа, после чего он вставал и принимался за работу.

Когда он отдыхал, я потихоньку подкрадывался, поднимал полотнище, в которое он заворачивал то, над чем работал, и рассматривал. Боже мой! Разве это скрипка? Я видел всякие: в одну восьмую, одну четверть, три четверти и полную,— но такой ни разу. Это была, наверное, самая большая скрипка на свете. Вероятно, даже больше альта. Не слишком длинная — не намного длиннее альта, но глубокая, а зна-

чит, душка у нее была большая. Самая большая душка, какая только бывает!

Гриф переходил прямо в завиток. Это были не две отдельные части, а одно целое. В сущности, завитка, который я привык видеть у скрипки, не было. Георг Хениг словно изваял из дерева женскую головку. Его скрипка кончалась (или начиналась?) женской головкой, вырезанной с исключительным мастерством. Она удивительно напоминала Боженку со стершейся фотографии, прибитой к стене гвоздем. В то же время — волосами, скорбным наклоном, добротой, которую она излучала, она очень напоминала божью матерь на иконе («Аве Мария, грациа плена!»), глаза ее были завязаны повязкой, стянутой сзади узлом, похожим на пучок.

— Нравится тебе?

— Очень! Похожа на мать Исуса. И на твою жену на фотографии. Только старше. А что это за голова?

— Это амор. Значит — любовь. Ти мальки, не понимаешь, инфант.

— Почему не понимаю? Любовь, ясно. А почему у нее глаза завязаны?

— Любовь слепая,— отвечал Георг Хениг.

— Очень грустная голова.

— Не грустная. Когда музикант играет, смотрит на главу. Играет сначала для глави, потом для других. Глава слишит, все понимает. Если нет любовь в сердце, если не смотрит любовь в лицо — музикант не мастер. Может, виртуоз, но не мастер. Понимал? Глава слепая, а смотрит музиканту прямо в сердце. А если он сердца не имеет?

— Но ведь она же для бога?

— Для бога... Оставь мне работать. Смотрел, думал.

* * *

Через несколько дней после разговора с отцом мастер Франтишек посетил Георга Хенига. Был ясный день, солнечные лучи проникали даже в подвал и весело играли на полу. Настроение у него было приподнятое — то ли оттого, что работа близилась к завершению, то ли оттого, что радовало солнце, но дедушка Георгий шутил, дошлифовывая головку и поглядывая время от времени, как варится клей.

Он, как обычно, рассказывал о Чехии. О неугомонном брате Антоне, для которого самым большим удовольствием было скакать на коне по зеленым лугам в рыцарских доспехах, с мечом у пояса и валторной в руке, и так, на скаку, он мог сыграть самые сложные пассажи из увертюры к «Волшебному стрелку» и даже из концерта Моцарта. Дедушка Георгий забывал о грифе и пытался напевать мелодию из этого концерта. Голос у него был писклявый и скрипучий, и его пение никак не напоминало переливающиеся звуки замечательного инструмента, на котором играл его брат. В конце концов он замечал, что я еле сдерживаю смех, и сам начинал смеяться (правда, смех его скоро переходил в кашель, и я хлопал старика по спине).

В дверь громко постучали, потом попытались открыть ее, но Георг Хениг запирался теперь на гвоздь, чтобы комиссия не застала его врасплох.

— Кто? — спросил он, прислушиваясь.

— Эй, дед, открой! Это я, Франта. Или ты меня уже не помнишь, а? Но я тебя не забываю, ничего, что ты меня прогнал, когда я приходил к тебе в последний раз. Открой же!

— Уходи! Не имею время. Инструмент не продаваю.

— Оставь себе инструменты, не нужны они мне. Я знаю, что ты их подарил.

— Кто сказал?

— А ты и об этом позабыл? Ты же прислал ко мне этих двух — отца с мальчишкой. Они мне и сказали.

— Кто посилал? Никого не посилал! Иди! У стари Хениг есть работа. Уходи, Франта!

— Что ж ты так? Столько лет учил меня, зачем же сейчас гонишь? Хватит, пусти Франтишека посмотреть скрипку, которую ты делаешь. Кто тебе ее заказал?

— Знает про скрипку?

— Мальчишка сказал. Давай, старый чешский скупердяй. Покажи мне ее! Я сказал Ванде, что ты опять работаешь. Он тоже хотел зайти. Ну чего ты! Что ж мы, конкуренты разве? — И Франтишек гортанно захохотал, дергая ручку двери.

— Иди! Сказал. Скрипка не готова.

Мы слышали, как стоявший за дверью мастер Франтишек выругался. Хлопнула соседняя дверь. Послышались голоса Рыжего и его жены. Георг Хениг опустил гриф вниз. Женская головка почти касалась пола.

— Скажи мне, зачем с отцом к Франтишек ходил?

— Если они с мастером Вандой,— объяснял я,— согласятся давать тебе по двадцать левов в месяц и мы тоже будем давать двадцать, тебя никто не тронет. Будешь жить спокойно.

— Отец ходил к Франтишек? Двацет лева для Хенига?

— Они же твои ученики!..

Старик сокрушенно положил скрипку на верстак и, закрыв лицо руками, долго молчал. Я почувствовал: что-то вышло не так. Мне было неловко, хотя я не понимал почему. Ведь все делалось ради него. Пусть живет у нас — что может быть лучше? Как он этого не понимает?

— Иди, я устали, хочет немного отдихать.

Неужели он меня гонит? Никогда еще не отсылал он меня домой. Когда ему хотелось отдохнуть, он просто ложился на диван и поворачивался ко мне спиной. А я не мешал ему — развлекался, рассматривая инструменты. Чем же я его обидел?

— Дедушка Георгий, разреши мне остаться! Ты ложись, а я посижу тут. Ведь ты обещал рассказать мне про скрипку Гаспаро да Сало! Ту, которую украсил резьбой Бенвенуто Челлини. Прошу тебя!

— Нет. Иди. Приходи завтра, послезавтра. Хочет бить один.

Что поделаешь? Я ушел. Он проводил меня. Пробормотал «до свиданья» и запер за мной дверь.

— Большую глупость ты сделал! Не нужно было ему говорить! — сокрушался отец.

— Это Франтишек ему сказал!

— Ладно, что сделано, то сделано. Чего он от него хочет?

— Хочет не инструменты купить, а скрипку увидеть.

И вскоре Франтишек собственной персоной заявился к нам с бутылкой ракии и коробкой конфет. Поцеловал матери руку и, с плохо скрываемым презрением оглядывая обстановку в комнате, сел.

— В принципе я не против вашего предложения,— сказал он.— Я переговорил с моим другом мастером Вандой. Считаю, это дело можно уладить. Но на определенных условиях.

— Слушаю.

— Во-первых, вы должны нам посодействовать, чтобы он показал нам, чем сейчас занимается.

— Зачем это вам?

— Видите ли, скрипки в Болгарии стали изготавливать не слишком давно. Мы еще только завоевываем себе имя и клиентуру. Большинству заказчиков известно, что старик был нашим учителем. Нам надо знать, что он делает и для кого. Ведь он уже бросил свое ремесло. Я отлично помню, как вы несколько лет назад заказывали ему скрипку-восьмушку, так ведь? Я тогда был против.

— Да, я тоже помню. И что из этого?

— Неужели вы не понимаете? Такие фокусы подрывают наш авторитет. Заказчики — народ наивный. Они слышали, что Георг Хениг ког-

да-то был великим мастером, и считают, что он и нынче может творить чудеса. Каждая его поделка — удар по нам. Судите сами: если учитель делает барахло, то чего ждать от учеников?

— Что же вы предлагаете?

— Давайте возьмем его под опеку. Его психическое состояние должен определить врач-специалист. У меня есть хороший знакомый в Первой городской больнице, большой поклонник искусства. Ясно, старик не способен ни отвечать за свои поступки, ни принимать какие-либо осмысленные решения. Вы согласны?

Синяя вена прорезала лоб отца.

— Предположим, мы оформим над ним опеку. Что потом?

— Что потом? Он не будет заниматься ерундой. Мы станем давать ему втроем по двадцать левов в месяц, и пусть он живет себе спокойно на старости лет, да и сколько ему осталось? Это первое условие. Но есть и второе.

— Любопытно.

— Да... Инструменты. Я готов заплатить за них очень приличную сумму. Вы музыкант и имеете представление о ценах на такие вещи. Думаю, мы сторгуемся. Я не вижу смысла в том, чтобы ценные инструменты валялись без употребления. Для вас они — как бы получше выразиться, — скажем, не имеют никакой стоимости. Ну как? Договорились?

— Вон!

— Что?

— Вон! — заорал отец.

Франтишек встал. Лицо его побагровело.

— Вы пожалеете... — начал было он, но отец сделал недвусмысленное движение, и того словно ветром сдуло.

Вслед ему полетели бутылка и конфеты.

* * *

На следующий день мы передали Георгу Хенигу весь наш разговор с Франтишеком. Против наших ожиданий старик воспринял это спокойно. Даже улыбался, слушая. Особенно развеселили его слова о заказчиках. Когда отец закончил, он серьезно посмотрел на него и сказал:

— Не надо било ходить к Ванде и Франтишеку.

— Бай Георгий,— пробормотал отец,— ты же знаешь, я только ради...

— Знаю,— перебил Хениг.— Но не думал как надо. Когда нужно било, мастер Георг Хениг дал ученикам все, что знал. Дал Франте. Дал Ванде. Сколько взяли — взяли. Это добро. Научил ремеслу. Но стари мастер Хениг,— сказал он еще более строго,— не берет ничего от свой ученик. Так било в стара Чехия, так будет всегда. Понимал? Когда решит, Хениг сам пойдет. Знает куда. Не нужно мене ни Франта, ни Ванда. Понимал?

Отец молчал.

— Сейчас Франтишек сказал,— продолжал старик,— что у стари Хениг плохо с глава. Марин, дай документ для инструменти!

— Какой смысл, если они докажут... Как тебе объяснить? Ну, что ты умственно...

— Сумашедши?

— Вроде того.

— Отведи мене к врачу. Возьми бумагу, что я не сумашедши.

— Это уж чересчур!

— Мой друг отведет мене к врачу, потом к нотариус. А тогда стари Хениг показал скрипку Франте и Ванде!

Оба эти типа приходили к нему через день. Торчали под дверью, требовали впустить их, просили, угрожали. Прогоняя их, он говорил, что покажет скрипку, когда будет готова. Они заходили к Рыжему и по-

долгу там сидели. Я прикладывал ухо к стене, чтобы подслушать, о чем они сговариваются, но Георг Хениг сердился и не разрешал мне этого делать.

И в тот самый момент, когда все казалось безнадежным, мы узнали радостную новость. Руководство Музыкального театра изыскало средства для выплаты пенсии Георгу Хенигу. Оркестранты согласились каждый месяц давать деньги из зарплаты, чтобы поддержать старого мастера, когда-то игравшего в их оркестре...

Мы втроем были на седьмом небе. Но на сей раз не торопились сообщать новость старику, не зная, как он к ней отнесется.

Решили подождать, пока он завершит работу над скрипкой.

* * *

И вот он ее завершил. Однажды вечером старик попросил нас прийти к нему завтра пораньше. Скрипка, завернутая в кусок плотной ткани, стояла в углу. Я попросил показать ее мне, но он покачал головой: завтра.

От волнения я в ту ночь почти не спал. Я видел все детали скрипки по отдельности — верхнюю и нижнюю деки, корпус, кобылку, шейку, гриф с женской головкой (амор!), струны, но не мог представить ее всю целиком. В моем воображении возникало или нечто огромное и толстое, наподобие буфета, или нечто угловатое, бесформенное... Мне даже снилось странное соединение скрипки с буфетом — скрипка с ящиками, или, скорее, буфет в форме скрипки. И то отец, то Георг Хениг тщетно пытались извлечь звуки из этого урода. А кто-то третий, огромный, черный, с поблескивающими золотыми очками, бубнил грубым голосом мастера Франтишека: «Я бог! Отдайте ее мне!» Скрипка уменьшалась в его руках до размеров моей восьмушки, и бог говорил плачущим голосом: «Что это натворил старый Хениг? Опозорил всех мастеров!» Я встал не выспавшийся, раздраженный, за завтраком не проронил ни слова.

И вот опять мы шли, как когда-то, по улице Искыр в сторону улицы Волова. Листья уже облетели, деревья вздымали черные сучья над нашими головами, точно отрекаясь от чего-то (наверное, думал я, они потеряли веру, что когда-нибудь снова зазеленеют). Изредка проезжала со стуком телега, которую тащила унылая лошадь, или проносился «Москвич» — наступала эпоха легковых автомобилей.

Нам встречались соседи, кивали нам и проходили мимо. Я старательно смотрел, что происходит вокруг. А вокруг ничего особенного не происходило.

Бедный квартал пробуждался к своей бедной жизни.

Люди были хмурые и раздраженные. Два листка с некрологами выступали белыми пятнами на стене нашего дома. На одном, более раннем, был оторван уголок, а глаза на фотографии закрашены карандашом. На втором, более позднем, фотографии не было.

Наверное, Вража и Стамен просыпались в эти минуты в своей комнате, разгороженной занавесками на две, вперяли глаза в отводившийся им кусок потолка, а занавески колыхались — за ними еще спали дети.

Наверное, Фроса вытаскивала пьяного мужа, подхватив его под мышки, из щели на лестнице, а трое детей ей помогали. Она громко оплакивала свою судьбу. Этот день. Эту жизнь. Как оплакивают покойника.

Наверное, Цанка принимала первую в этот день таблетку от головной боли, на лбу у нее тряпка, смоченная в воде с уксусом, она поворачивала голову направо-налево и проклинала старый дом, виновный во всех бедах, потому что кто в нем поселился, тому счастья не видать. Из-за сильной головной боли она не могла вызвать в воображении свою мечту — другую улицу, другой квартал, другую жизнь.

Наверное, Роленский и Роленская, лежа в постели, обдумывали планы своего бегства в Америку.

Наверное, Манолчо со слезами на глазах просил прощения у жены и детей за то, что прошлым вечером хотел зарубить их топором. Они тоже плакали и все ему прощали: до вечера.

Наверное, Сакатела выставлял кулечки с семечками в витрине своей похожей на гроб лавки (длиной и шириной в метр), в которой он проводил все время с раннего утра и до позднего вечера, зная, что продаст не больше пяти кулечков.

Наверное, дядя Брым вставлял в глаз зеленоватую лупу.

Наверное, Йордан повязывал белый фартук.

Бедность.

Бедность.

* * *

Мы дошли до улицы Волова. Открыли дверь в коридор. Давно уже там не бегал, злобно лая, Барон. Не выскакивали при нашем появлении Рыжий с женой.

Мы постучались к Георгу Хенигу и услышали в ответ его бодрый голос:

— Входи!

Тщательно умытый, с причесанными седыми волосами, в старом черном пиджаке и с галстуком бабочкой, нас встречал Георг Хениг. Одной рукой он опирался о верстак, где лежала скрипка.

Когда мы закрыли за собой дверь, он взял скрипку обеими руками, поднес к губам, поцеловал и протянул нам.

Отец принял ее бережно, как младенца. Она действительно была большая, очень большая и светилась в утреннем полумраке красновато-золотистым светом, бросая отблески на его лицо.

Изумленный, он держал ее, на находя слов, настолько она была необыкновенная. По величине почти как альт или даже больше. На широком грифе натянуто семь струн и столько же — под грифом, на меньшие колки. Узкая часть грифа плавно переходила в женскую головку. Отец повернул ее к себе другой стороной и легонько постучал по корпусу там, где, по его предположению, должна быть душка. Разнесся чудный звук, словно мы были не в тесной комнатушке, а в огромном зале с прекрасной акустикой. Георг Хениг вынул из ящика в верстаке длинный смычок с блестящим конским волосом и ручкой, украшенной перламутром. Достал канифоль и медленно стал водить по ней смычком.

— Хочет пробовать?

Отец покачал головой и протянул ему скрипку. Георг Хениг сел на диван и сразу стал как-то меньше — такой громадной выглядела скрипка по сравнению с ним. Он опять походил на волшебника-гнома, которого я увидел сидящим на том же месте пять лет назад.

Он долго пристраивал скрипку на плече, положил на гриф из черного дерева свои трясущиеся руки, которые в ту же секунду, как он коснулся его, перестали трястись, и провел смычком по струнам.

Мощный мажорный аккорд огласил подвал, словно все первые скрипки оркестра заиграли одновременно. Звук был такой мягкий и бархатистый, такой теплый и страстный, какого мне никогда не доводилось слышать ни у одного из знакомых скрипачей! Он затихал, серебристый и легкий, точно зимний ветер качнул тонкую паутину сосулек на стоящих рядом кустах.

— Что это? Как ты этого добился?

— Нравится тебе?

— Фантастика.. но это не скрипка.

— Прав. Может, не совсем скрипка. Подожди, что сказал мастер Франта и Ванда. Пригласил их тут. Хочет видеть скрипку — стари мастер Хениг не прячет.

Минут через десять прибежали и они. Первым ворвался в подвал Франта, затем, по обыкновению хихикая,— Ванда.

— Эй, дед,— пророкотал Франта,— показывай! Хватит нас томить. Вот эта, что ли?

Старик протянул ему скрипку. Тот схватил ее и принялся переворачивать, разглядывая со всех сторон, поднося к глазам, обнюхивая, наконец передал Ванде.

— Что это, по-твоему?

— Гм... Не знаю... в общем, похоже на альт... но эти струны?

— Кто тебе ее заказал?

— Никто,— ответил мастер Хениг.— Работал для слави мастеров!

— Так,— прищурился Франта.— А что это, скажи-ка? Как на этом играть? Кто согласится играть на этом изобретении?

— Бог,— серьезно ответил Георг Хениг.

— Кто-о?

— Да,— подтвердил он.— Бог!

— Ясно.— Франтишек отдал старику скрипку.— Рехнулся. Как я и предполагал.— Он повернулся к Ванде.— Сумасшедший, а ты что скажешь?

— Бесспорно, сошел с ума,— ответил тот.— Подумать только...

— Франта и Ванда! — строго сказал старик.— Слушай мене. Жалько, что я учил вас добри стари ремеслу. Ничего не научил Георг Хениг, очень жаль. Не научил, как мастер работает не для деньги, не для клиент. Работает, когда ничего не имеет, когда один, и стари, и больной. Когда знает — жизнь прошла. Не научил, как работает мастер. Жаль мне вас! Учились — не научились. Ремесло больше сами велики мастер. Ремесло сами велики на свете, и мастер счастливи, когда работает... Ничего, что не имеет деньги, что один, стари, больной, голодни. Работает для себя! Ви не знает, что это за скрипка, сказал: виола д'аморе! Скрипка для любви! Зачем скрипка большая? Любовь у мастера большая! Никто не играет на виола д'аморе? Не играет, потому что забило, как любить. Мастер забил, как надо любить свое ремесло. Клиент забил, как любить скрипку. Скрипка забила, как любить музикант. Человек забил, как себе любить.

— Старый дурак! — Франта сплюнул на пол.— Пошли отсюда, Ванда! Оставь... этого христианина. Скрипка для бога! — Он захохотал, выходя. За ним ретировался Ванда.

Мы остались одни.

— Ти видел, Марин, какой бедни?

— Да, дедушка Георгий!

— Мальки цар Виктор видел?

— Да.

— Не забивай! Помни! Никогда не бить беднее Франта и Ванда! Слишал мне?

— Дедушка Георгий! — Отец встал с дивана.— У меня есть хорошая новость. Ты будешь получать пенсию от Музыкального театра. Все улажено. Жить будешь у нас!

— Много благодарен! — сказал старик.— Добри друг, злати друг! Но забил тебе сказать, била комиссия тут вчера...

— И что? Ты пустил их?

— Пустил. Подписал. Пойду в дом для стари человек.

— Что? — отец недоверчиво смотрел на него.— Ты подписал?

— Да. Не сердись, Марин, просим. Много тебе благодарен за все, за еду, за мальки мой приятель, но не останусь тут. Уйду.

— Зачем? Куда? Мы тебя чем-то обидели?

— Нет, Марин, не обидел. Кончал все. Устал. Уйду.

— Да ты знаешь, что такое дом престарелых? Ты представляешь, что это такое?

— Не хотел знать. Не важно, где пошел. Кончал работу. Марин, просим, отведи к доктору для глави. Напишет бумагу. Пусть он знает,

что у Хенига в главе порядок Потом у нотариус подпишет. Не оставь инструмент Франте. Инструмент — на память.

— Сейчас же пойдем в комиссию и откажемся от всего, что ты подписал. Вставай!

— Сказал! Так хотел. Просим последно, отведи к доктору.

Уговорить его было невозможно. Мы долго еще увещевали его, но он упорно стоял на своем. Пришлось отвести его к специалисту-психиатру, которого порекомендовал доктор Берберян.

Врач написал заключение о том, что Георг Йосиф Хениг, как принято говорить, в здравом уме и твердой памяти. Потом мы пошли к нотариусу, и Хениг написал завещание.

Инструменты он завещал мне.

На следующий день отец, Робертович, Роберт Димов и Григор Аврамов увезли из подвала оба верстака и ящик с инструментами. Они были мрачны и неразговорчивы. Рыжий подглядывал за ними, чуть приоткрыв дверь.

— Гад! — не сдержался Григор Аврамов и пнул дверь ногой (Рыжий тут же щелкнул замком).

Вещи поставили в подвал нашего дома. Комната мастера опустела. Остались только диван, деревянный сундучок да на стенах иконы и фотография Боженки.

Завтра за Хенигом должны были приехать, чтобы отвезти в дом престарелых.

Был поздний вечер. Мы сидели с ним, всматриваясь в стену. Тени давно не приходили — Георг Хениг попросил их не беспокоить его, пока не закончит работу. Теперь скрипка для бога лежала на диване рядом с ним, а мы ждали их.

Но они медлили.

— Может, они ужинают? — шепотом спросил я.

— Думаю, конь брата бегал по небу и брат не может его поймать. Буйни конь! Волоси, как у стари Хениг, и такие глаза,— он описывал круги указательным пальцем.— Когда бежить, искри из-под ноги, из носа — огонь...

— Они сразу тебя с собой возьмут?

— Думаю — нет. Нет места для Хенига на коне. Там Боженка сидит. Сказал брату — приходи один мене брать. Два сядем на конь — и уйду.

— А когда придешь за мной? Ведь ты обещал?

— Ай! Глюпости! Сказал тебе — учи, станет цар Виктор. Георг Хениг не забивает, придет поговорить с мой злати приятель... Ти забивал Георг Хениг?

— Никогда!

— Добро, добро...

Когда тени явились, их очень удивило отсутствие верстаков и других вещей. Они долго кружили по пустой комнате, прижимались к стенам, искали место, где сесть. Наконец кое-как уселись на полу против дивана.

А мы опустились на колени и читали в последний раз вместе «Аве Мария, грациа плена».

Потом я ушел. Они остались всю ночь разговаривать с Хенигом.

* * *

В этот день я не пошел в школу. Все утро слонялся по комнате, пытался читать «Без семьи», но история бедного Реми впервые показалась мне глупой, и я только скользил глазами по строчкам.

Отец пришел с репетиции, и мы сели обедать раньше обычного. После обеда мать сложила узел для дедушки Георгия — чистое белье, старые отцовские рубашки, брюки и пиджак. Он был в таком состоянии, когда человеку все равно, какая на нем одежда, широка она ему или узка, длинна или коротка. Она приготовила и мешочек с едой и фруктами, и мы с отцом пошли в последний раз к нему в подвал.

Застали его, как обычно, сидящим на диване. Под мышкой он держал скрипку, завернутую в тряпку. У ног старика стоял деревянный сундучок. Опустевший подвал выглядел еще более унылым, чем раньше. Слезы душили меня, но ведь Хениг учил меня: царь не должен плакать. Я беспрерывно повторял: «Я царь, я царь, я царь»,— и мне хотелось заплакать навзрыд. Георг Хениг поздоровался с нами, хотел поцеловать матери руку, но она отдернула ее и спрятала за спину. Он отвернулся, уставился взглядом в стену и впал в знакомое мне оцепенение. Мы сидели рядом с ним на диване и молчали. Отец дергал пальцы, и суставы потрескивали. Сухой, резкий этот звук раздражал меня. Мать протянула руку и коснулась его ладони. Он перестал. Вынул сигареты, предложил одну Георгу Хенигу, они закурили. Вдруг отец ударил себя по лбу, вспомнив о чем-то, сунул мне деньги и велел сбегать купить десять пачек «Бузлуджи».

Когда я вернулся с блоком сигарет, санитарная машина уже стояла перед домом. Врач и два санитара, прислонившись к ее кузову, весело болтали.

Дверь подъезда открылась. Георг Хениг шел сгорбившись, таща в правой руке деревянный сундучок, к ручке которого мать привязала мешочек с едой. Под мышкой, слева, нес он скрипку. Старик не позволил пройти с ним несколько метров до машины, не захотел, чтобы кто-то поддерживал его.

Я подбежал к нему, подал сигареты. Он поставил сундучок на землю, погладил меня по голове. Потом протянул мне руку. Я вложил свою ладонь в его ладонь. Она была теплая, сухая и шершавая. «Давай свой мальки руку деду Георги!» — вспомнил я.

Отец поставил сундучок в машину. Врач неприязненно взглянул на него.

— Ну, дед,— сказал он,— помочь? — И хотел подсадить старика.

— Нет,— ответил Георг Хениг, повернулся и, глядя на нас, спокойно проговорил: — Прощай, мила госпожа. Прощай, коллега Марин. Прощай, мили мой цар Виктор. Молимся за вас. Благодарю за все, не забивай мене, стари Хениг. Прости, если с чем огорчил. Не сердись. Прощай.

— Мы приедем к тебе в воскресенье,— сказал отец, стараясь, чтобы голос его звучал твердо.

Мать всхлипывала, вытирая глаза. Я заплакал. Врач посмотрел на нас недоумевающе.

— Он вам что, родственник?

— Нет,— ответил отец.— Друг. Просто друг.

Георг Хениг сел в машину. За ним сели санитары. Врач устроился рядом с шофером. Машина рванулась и скрылась за поворотом.

Его отвезли в дом престарелых, находившийся неподалеку от вокзала. Здесь старики оставались недолго, отсюда их направляли в разные дома престарелых по всей стране. Георг Хениг пробыл там дней десять до отъезда в село Хайредин.

Мы два раза навестили его. У входа в здание стояла деревянная скамейка. Над ней грустно склонялись голые ветки высохшего дерева. Дул ветер. Говорили, зима в этом году будет суровая. Мы сели на скамейку, дожидаясь, пока он выйдет к нам. Ждали, наверное, с полчаса.

Наконец он появился, держа под мышкой скрипку. Мне показалось, он стал еще меньше за эти дни. Не поздоровавшись, сел, непонимающе всматриваясь в наши лица.

— Дедушка Георгий,— осторожно начал отец,— ты не узнаешь нас? Коллега Марин, моя жена, царь Виктор.

Взгляд Хенига стал более осмысленным.

— Мальки цар,— пробормотал он,— учи, учи, стане большой цар!

Напрасно мы спрашивали, как он себя чувствует, не нужно ли ему чего,— старик молчал, глядя под ноги. Когда вскидывал голову, кадык у него дергался, точно мастер Хениг сглатывал слезы.

Когда мы навестили его во второй раз, дня за два до отъезда, он нас не узнал. Все так же прижимая к себе скрипку (санитарка сказала, что он не расстается с ней ни на секунду), качал головой и смотрел в землю. Лишь на миг остановил он взгляд на моем лице (в глазах его мелькнуло какое-то воспоминание), но потом они снова стали мутными и он опять понурился. Отец вырвал листок из блокнота, написал на нем наш адрес и вложил листок в карман его пиджака.

— Не забывай, дедушка Георгий,— как можно отчетливее проговорил он.— Это адрес. Адрес царя Виктора — помнишь ведь царя Виктора?

— Цар Виктор,— прошептал старик глухо.

И поплелся в дом.

В день его отъезда я сбежал из школы, на трамвае доехал до дома престарелых, но свиданий не разрешалось. Я стоял перед входом и ждал — час, а может, и два.

Наконец из подъезда стали выходить они — человек пятьдесят старых мужчин и женщин, все похожие друг на друга, все в одежде не по размеру — подарок каких-нибудь сердобольных людей, все сгорбленные, с бледными печальными лицами, все ужасающе беспомощные. Горстка человеческого несчастья.

Они сгрудились у забора — с опущенными головами, безразличные — и стояли так, пока не вышел санитар. Он что-то сказал, и они потащились за ним. Покорно и смиренно. Оставалось только держаться за хлястики пальто, чтобы они совсем стали похожими на малышей из детского сада.

Они шли к вокзалу по трое в ряд. Я — в нескольких шагах позади них. Георг Хениг шел, прижимая к себе скрипку, в середине второго ряда.

Их привели в зал ожидания. Они расселись по скамейкам. Те, кому не хватило места, садились на пол. Георг Хениг остался стоять.

Набравшись храбрости, я подошел к нему и дернул сзади за пиджак. Он еще крепче прижал к себе скрипку, но не обернулся.

Тогда я встал перед ним и тихо сказал:

— Георг Хениг, Георг Йосиф Хениг. Помилуй брат Антон, отец Йосиф и жена Боженка — узнаешь меня? Помнишь, что ты мне обещал?

Он поднял глаза, и тонкие его губы медленно растянула неуверенная улыбка.

— Цар Виктор,— прошептал старик,— мальки приятель много рад... помни... все помни... не забивай инструменти. Не продавай.

— Я буду ждать тебя каждый вечер,— сказал я,— приходи скорей. Если хочешь, возьми и твоих родных с собой, ведь они со мной знакомы. Я хочу знать, понравится ли скрипка богу. Обещай, что не забудешь!

Они вошли в вагон. Я не стал дожидаться, когда поезд тронется.

Долго бродил по привокзальным улицам, стискивая зубы, чтобы не заплакать, и повторяя про себя «царь, царь, царь», и еще твердил: тени могут прийти сегодня же ночью и забрать его к себе, чем быстрее, тем лучше. А завтра или послезавтра мы увидимся. Я сяду, как он, на кровать, уставлюсь в стенку. Мать пусть себе стучит на машинке —

она его не увидит. А он, войдя, произнесет наше «Аве Мария, грациа плена». Мы будем с ним говорить, говорить, говорить...

Прощай, Георг Хениг.

* * *

Но тени не сразу забрали его к себе. Вскоре после отъезда мы получили два письма (те, о которых я упоминал, начиная рассказывать эту историю), написанные неразборчиво химическим карандашом на листках из тетрадки.

Вот их точный текст:

Драги мои Марин и все ваше мило злати
семейство
Я очень щастлив за дар Котори ви мне
прислал
Очень благодарен
злато ваше дете
Миленьки Мой Кавалер
Мам велики радост за таки велики Дар
Будь здрав и щастлив Пусть бог даст
много здраве и щастье на всю жизнь и
Твоим родителям Не имею
очков ручки пера
чернила
Извените мене
Тебе просим мили Учи учи станеш цар велики
Целую тебе
Я добро только жаль я би хтел
бить близко ваш Дом
любим вас
ваш Георг Хениг

Если первое письмо было написано в сравнительно спокойном тоне, то, когда я читаю второе, у меня и сейчас застревает ком в горле.

Мили мой коллега Марин желаю вашему милу мне
семейству много Здоровье и щастье я здорови
и спокойни много здоровье и щастье я доволен
все забил писать
только у мене нет чего курить много здоровье
ваши дети цар син? забил его име если пошлешь
злати мальчик име име вспомнил! Виктор
молим пришли окурков собираю окурков с обгорели
бумагой
спрашивай на почте как
упакуешь пакет чтоби виден бил обгорели бумага
правда с обгорели
бумага никакой еди только окурков жалько надо
било остаться дома но поздно
мне очень жалько надо било
остаться в софия
конец финал
много здоровье цар Виктор целуем вас сердечно
окурков только с обгорели бумага
очень просим окурков мили Виктор учи учи прощай
Хениг
только окурков

— Но почему,— спрашивала мать сквозь следы,— почему он так упорно просит окурки с обгорелыми краями? Почему окурки? Почему не сигареты?

— Очень просто,— ответил мрачно отец.— Потому что окурки не воруют. Поэтому.

Через несколько дней после получения письма он поехал в Хайредин. Вернулся вечером того же дня — хмурый, неразговорчивый. Только на следующее утро за завтраком рассказал, что Георг Хениг его не узнал. Они сидели на скамейке, отец говорил ему, кто он, напоминал о том о сем, но старик качал головой, смотрел на него непонимающим взглядом. И по-прежнему прижимал скрипку к себе.

— Он, верно,— сказал отец,— уже и не понимает, зачем таскает ее с собой.

Несколько раз он повторял, что царь Виктор передает ему привет, но старик и на это никак не реагировал.

Потом мы получили известие о его смерти. Родители скрыли это от меня. Никто из нас не поехал на похороны.

* * *

Георг Хениг исчез из нашей жизни. Прошло совсем немного времени, и его имя перестало упоминаться в нашем доме.

Заботы состарили моих родителей. Они уже настоящие старики, и я часто замечаю, как они сидят на кровати, устремив невидящий взгляд на буфет.

В моих волосах тоже появилась седина. Все вокруг переменилось. Квартал уже не тот. Квартала не существует.

У Мирчо случился второй инфаркт. За ним ухаживает Малинка, ставшая тихой старушкой. Станка и Станко куда-то уехали.

Стамена задавило грузовиком.

Год спустя умерла и Вража. Их сын стал известным артистом. Их дочь лежит парализованная.

Йорде умер от алкоголизма. Его сын Митко живет в Чехословакии, работает шофером в посольстве. Любка много раз выходила замуж и разводилась, народила кучу детей. Сомневаюсь, что мы узнаем друг друга, если встретимся.

От алкоголизма умер и Манолчо. Он весь опух, как огромный кокон, три дня пролежал и скончался. Агония его была мучительной. Пепи состарилась и весит сто двадцать килограммов. Она постоянно ссорится с дочерью, которая нигде не работает и шляется с иностранцами.

Роленский и Роленская, как я уже говорил, сбежали в Америку. Они тоже уже умерли. Дочь их Сильвия — настоящая американка и ничего не знает ни о нашей улице, ни о нашем доме.

Умерла и Цанка. Она помешалась, но незадолго до этого вышла замуж за человека, который увез ее в точно такой же дом, как наш. Скончалась она в психиатрической лечебнице.

Давно умер и Йордан, пекарь.

Дядя Брым тоже.

И Сакатела.

Не забыл ли я кого-нибудь?.. Даже если и забыл, это не имеет особого значения. Люди, о которых я говорил, влачили жалкое существование. Они были так похожи, что при воспоминании о них я словно вижу одно и то же (то ли женское, то ли мужское) лицо.

Я грущу об этих людях. Грущу о том времени, когда они жили. Иногда мне думается, что если бы не этот проклятый дом, они были бы совсем иными... но вряд ли.

Франта и Ванда? Насколько припоминаю, они подали в суд на отца, но проиграли дело: инструменты и сейчас лежат в старом деревянном ящике в подвале нашего дома.

Иногда я спускаюсь туда, открываю ящик. На меня веет запахом моего детства, когда я мечтал быть самым бедным мальчиком на свете, поскольку не понимал, что значит быть бедным.

Вытаскиваю деревянную форму скрипки, достаю рубанок, верчу

его перед собой в темноте, вдыхаю запах его ручки, надеясь, что дерево сохранило что-то приближающее меня к Георгу Хенигу.

Разочарованный, складываю все обратно и поднимаюсь наверх, в комнату.

* * *

Здесь кончается мой рассказ о тебе, Георг Хениг.

Прошло четверть века с того дня, как мы расстались. Я уже не инфант. Я ждал, что ты придешь, как обещал, но ты не пришел.

Не пришел ни в один из последних вечеров той поздней осени, ни потом. По комнате бродят тени, но твоей среди них нет.

И все же я верю, что ты не забыл меня.

Но я забыл, кто я!

Георг Хениг, восстань! Ответь мне, какая судьба уготована тому, что мы создаем с величайшей любовью, тому лучшему, что мы можем создать?

Искусство ли выше жизни или жизнь выше искусства?

Почему на свете есть люди, унижающие и оскорбляющие мастеров?

Помнишь ли ты наш буфет? Он стоит у нас до сих пор в квартире и желтеет. Вечерами он отбрасывает огромную тень, и она скользит по мне, разрастается, доползает до окна, кидается вниз на улицу, расстилается веерообразно по другим улицам, простирается дальше — стоп!..

Бедность — это насилие, мрак, подлость, бесчестье, смерть!

Что делает нас алчными, злыми и бессердечными?

Что унижает?

Царь Саул, охваченный тоской, играет на арфе.

Царь Давид, победивший Голиафа, берет в руки арфу.

Царь Соломон тростниковой палочкой пишет: «Все на свете суета сует...»

А я — что ждет меня?

Растут инфанты, трудно им.

В тот день, когда я не нашел твоей могилы и креста, на котором было бы написано твое имя, я понял, как все произошло. Пелена тумана сползла с моих глаз, и мне представилась картина: наступает вечер, и из какой-то точки высоко в небе вырывается сноп звездной пыли, сквозь нее проступает всадник, он увеличивается, увеличивается, и ты видишь, что к тебе мчится на коне брат Антон. Вьется черная конская грива, из ноздрей вырывается пламя, и вот до ушей твоих доносятся звуки — это Антон играет на своей валторне.

Собирайся!

Иди!

Тебя ждут!

Конь гарцует, и брат едва сдерживает его, натягивая поводья, ты встаешь с кровати в доме престарелых и, прижимая к себе скрипку, выпрямляешься. Ты уже не гном с улицы Волова, каким я тебя знал, а молодой, высокий, голубоглазый мужчина, приехавший в начале нашего века в Болгарию, чтобы создать школу и воспитать учеников.

— Неужели ты опять пускаешься в путь? Неужели ты ничему не научился? — кричит тебе вдогонку хор нищих, но ты даже не оборачиваешься и садишься на коня позади брата.

Куда вы несетесь? Высоко в небе вьется ваша дорога, блестят под копытами яшма и рубин, семь подсвечников горят, освещая вход в жилище бога.

Вот он, огромный зал небес, где собрались все: ангелы и серафи-

мы, Боженка, Йосиф и Антон, Стамен и Вража, Йорде и Манолчо. Вангел с веревкой на шее, Сумасшедшая в одной комбинации, открывавшей грудь, божий сын и его мать,— и все они умоляют тебя вложить скрипку в руки этой бездари и научить его игре на виоле д'аморе, ведь это так нужно ему. Разве он творец? Наспех сотворил этот мир за шесть дней и допустил столько грубых ошибок.

Научи его гаммам и арпеджио, всем минорным и мажорным аккордам любви, заставь его трудиться до седьмого пота!

Каждый день! Учи его, словно перед тобой школьник.

А я — я буду рабом в моем царстве искусства и, быть может, когда-нибудь стану мастером. Тогда... тогда я напишу свою последнюю книгу. И знаешь, что это будет за книга? Простой букварь.

Не будем облегчать ему жизнь! Мастера не должны страдать от невежества и грубости!

* * *

Георг Хениг, ты, тот, что на небесах!

Услышь царя Виктора!

Я тебя не тороплю, но вспомни когда-нибудь о своем обещании. Я буду ждать, когда ты спустишься однажды вечером с небес на колеснице (тебя там, наверное, почитают), придержи коней, остановись перед бывшим публичным домом и крикни:

— Мастер уезжает! Время нет! Бог просит — книгу не забудь!

И тогда я сяду по правую руку от тебя и мы понесемся во весь опор в небеса, а вокруг нас будет греметь гром и будут сверкать молнии, и мы будем все окрест оглашать криком:

— Священно, священно, священно искусство — то, что было, есть и будет!

Аллилуйя!

Аллилуйя!

Аллилуйя!

□

РОБЕР САБАТЬЕ

Перевод с французского Э. АНАНИАШВИЛИ

Ода множествам

Полетом птиц из снов приходит «завтра».
Ты книге — брат. И будешь ты летать
Порхающей страницею лазури.

От рук к рукам — как пляшут фарандолу —
Сбирая рук столь щедрый урожай,
Что и своих не различишь меж ними.

Я говорю в тебе, пою тобой,
И ухом не своим тебя я слышу.
О, в сколько тел вошла моя душа!

Как много нас? Сто? Тысяча? Сто тысяч?
Взгляд подниму — и вижу мириады
Звезд, толпы солнц над толпами веков.

Во мне горит огонь всех этих душ,
Костры мои, я жив одними вами,
И в вашем пламени мое пылает.

О, задыхаясь, отдавать дыханье
Другим, о, умереть в себе — в экстазе,
Чтоб воскресать, жить в ближних, сестрах, братьях!

О россыпь множеств! Сколько голосов
Родит себе в ответ одно лишь слово
Того, кто хочет превратиться в кратер
Вулкана всех объемлющей любви.

Ресницы молчания

Если б я был поэтом —
Никогда не писал бы.
Я любил бы молчанье,
Хоть без слов — а живое.

Был бы я как блаженный
Из селенья теней,
Вел бы с птицей беседы
На ее языке.

Приплывал бы под вечер
К побережью чудес,
Под ночной легкой сенью
Был бы равным средь звезд.

Время жизни моей
Протекло бы без горя,
Лишь от боли телесной
Плакать мне б довелось.

© Editions Albin Michel, 1981

— О, да вы ведь поэт,
И вы знаете это!
— Нет, я только песок,
Ждущий грома прилива.

Белый лист — это мира
Незапятнанный снег.

Двадцать седьмая буква

Когда я в звездной книге
Пролистывал страницы,
Меня звезда писала.

Мои мгновенья — буквы,
А дни из них слагались:
Коротенькие фразы.

Когда, закончив книгу,
Я отойду на отдых,
Меня прочтут, быть может.

А я? В ином ли мире
Склонюсь над черным шрифтом
Изнанки прожитого?

Я выдумаю букву,
Какой никто не видел —
За краем алфавита.

И будет то сюрпризом
В конце пути — а может,
Нежданным воздаяньем

За то, что был я — Время
И сам того не ведал,
Возможное сплетая.

Город

Пусть каждое слово твое
Будет рождением мира.

Спрягай не глагол, а свет —
Годится ли песнь иная?

Восторг лозы виноградной —
В самой себе удвоенье.

Свои глубинные корни
Лелей, отражаясь в небе.

И зла не жди от птицы:
Ее рождает твой голос.

Лишь встречи с тайным значеньем
Неведомое подарит.

Читай все вывески: всюду
Начертано имя твое.

И если ведет тебя случай —
Он будет твоим провиденьем.

Место твоих прогулок
Твой череп — город грядущий.

В стихе назови хлеб и слово:
Все то, чем жив человек.

Сирена

Тебе морской напев мой,
Сестрица волн.

Не птицы, нет, над нами
Летят, а дни.

То солнце или тело
Блестит твое?

Ты плаваешь проворней,
Быстрей, чем я.

Ты пляшешь на прибрежьях
Грядущих лет.

И мы одни на свете,
Средь волн морских.

Ты вправду существуешь,
Сестра волны?

Ты не воспоминанье,
Не пены всплеск?

Я есть, я существую,
Моряк седой,

Не в ветре по-над морем,
Не в блеске волн:

Я — как осадок соли
Меж губ твоих,

Слита с твоею жизнью,
Как смерть твоя.

Угроза

Живя в тысячелетнем царстве духа,
Мы древним страхом сорваны с корней.
Кто нам укажет место общей встречи,
Объединит нас ради бытия,
Не исцеленными, но хоть в согласье
Живущими с запрятанным недугом?

Стихии, вырвавшиеся на волю,
Сравняли всех. Подтачивало нас
Подспудное броженье — и спаяло
В одно умы — и мы уже следа
В кровавом лабиринте не утратим.

Но если в этом ясном мире страх —
Удел всеобщий и всеобщий факел,
Пусть будет гнев ему апофеозом,
Вскипая в нас и путь нам освещая.

Ключ жизни — в чем он? И возьмет ли власть
Цифрованный язык уничтоженья?
Бывал ли так непрочен человек?
Рука едва считать умеет звезды,
Бессильна перед наглецом — и все же
Вздымается, чтоб защитить цветок.

Отчаянье, страдания, раздоры.
И ярость от преступных дел ничтожеств...
Оружие единственное — крик,
А мир идей в грядущее отброшен.

Все изменяет нам. Лгут зеркала.
Мы ищем за плечами след от крыльев
В местах, куда вонзается кинжал.
Для нас день принимает облик ночи
И в холод превращается тепло.

Но должно нам как дерево стоять,
Что смерти ждет — и в этом ожиданье
Над взрывчатым зарядом лишь мечтает
Враждующие бездны примирить,
Чтоб солнце вопреки всему сияло.

XXI век

Ты перейдешь в грядущий век —
Весь, с этим телом восковым —
Иль не покинешь берег наш,
Не веря в новое начало?

Душа, все силы собери,
Чтоб слить в одно два ярких века
И об ушедшем горький сказ
Закончить новой, светлой песнью.

Умру ль я смертью бегуна
На финише, у самой цели,
Ликуя, с факелом в руке,
Век озаряя наступивший?

Не забывайте — ведь всегда
Считали счастье утописты
Той искрой, что воспламенит
Род обновленный человека.

Я верю — вопреки всему —
В восход звезды, благой и чистой.
О, пусть, как новое вино,
Оно пьянит людей планеты.

Что ж, перейдешь из века в век?
Не важно, коль тебя обгонят
Стихи, что верою крепки
В надежд твоих осуществленье.

Следите ж, чтоб идущий век
Не стал машиной, автоматом!
Будь пищей свежею ему,
Мое истерзанное тело!

Вместо завещания:

завещатель

Кто Вы? Никто. О да, я всего лишь никто.
Так назвался Улисс, и ветер
Нашептывает дереву то же слово.

«Никто? — спросила птица.— Так уж никто?
Не человек и не отблеск человека?
О, я припоминаю ваше имя».

Забудьте его. Я только кривые буквы,
Каракули на страницах мира,
Слова, придуманные другими.

Так кто же я? Всего лишь вы сами,
Если вы дарите мне любовь — такую,
В какой я признавался порой рассвету.

завещанное

Вот завещанье мое: я вам дарю
Все, чего я не написал,
Все, чего я не пережил,
И все державы Мечты, и страны,
В которых, братья, я не родился.

Взамен сохраните не прах мой, не пепел,
Не мимолетное воспоминанье,
Не писание, что сотрется забвеньем,
А сокровища, освежившие мои уста:
Слова старинных стихов.

Тогда вы станете гражданами мира,
Пастырями стад огромного будущего,
Наездниками словесных табунов,
И унесетесь ввысь от самих себя,
Чтобы влиться в единство Вселенной.

□

ДЖОН ФАУЛЗ

Дэниэл Мартин

РОМАН

Перевод с английского Ю. ЗДОРОВОВА

Catastasis[1]

Нелепо говорить о чувстве отчуждения почти сразу после встречи с человеком, которого ты не видел много лет; но именно это чувство Дэн и испытывал к Джейн. Неловкость не исчезла и когда они подъехали к больнице. Она выключила зажигание, из ниши под приборным щитком достала книгу. На миг положила ее на колени.

— Я провожу тебя наверх, Дэн. Но Энтони хочет поговорить с тобой наедине.— Она не взглянула на него, должно быть догадываясь, как он растерян. Воображение снова подвело его: Энтони лежит в постели, Джейн сидит по одну сторону кровати, он сам — по другую, по меньшей мере таким он видел пролог к воссоединению старых друзей.

— Может, я потом сам подъеду в какой-нибудь ресторан? Возьму такси или пешком доберусь.

— Нет-нет, я подожду...— Она приподняла книгу, показав, что приготовилась к ожиданию. Потом, предупреждая любые возражения, отвернулась и открыла дверцу машины. Почему, интересно, она объявила ему об этом в последний момент? Ее, видимо, тяготило и само присутствие Дэна, и что-то еще. Пока они шли от стоянки ко входу в здание, она подчеркнуто обстоятельно рассказала о достоинствах больницы. Дэн чувствовал себя солдатом, которого посылали в жаркий бой без четкого приказа.

Они вошли в лифт и поднялись на третий этаж. На пересечении коридоров дежурная медсестра что-то писала за столом. Заметив Джейн, сестра улыбнулась ей, как старой знакомой, и что-то сказала, но слов Дэн не разобрал. Джейн ушла предупредить Энтони, Дэн остался ждать. Мимо, громко споря о шахматах, прошли двое мужчин в больничных халатах. Дэну хотелось курить, но за спиной медсестры висела табличка с перечеркнутой дымящейся сигаретой. Медсестра вернулась к своим записям. Дэн снова начал повторять про себя фразы, которые, как он подозревал, ему, возможно, и не придется произнести вслух; на доске висели какие-то объявления, смысл которых он и не пытался понять. Все это напоминало тягостные минуты из детства, когда он ждал вызова в кабинет директора школы. Дэн уже пожалел, что приехал. Такую сцену он ни за что не включил бы в сценарий. Наконец, Джейн вернулась.

Теперь они пошли вместе. Не доходя несколько метров до открытой двери в самом конце коридора, она остановилась.

— Вот сюда.

Продолжение. Начало см. в № 10.

[1] Термин античной поэтики: разрешение, устроение.

— Хорошо.

— Не переусердствуй с сочувствием. Не помогает.

— Постараюсь.

Она помолчала.

— Ладно, я тебя оставляю.

Но не уходила, словно еще не все сказала. Вдруг с нервной улыбкой, которая, видимо, означала, что ее дело сделано, отвернулась и пошла прочь.

Энтони сидел в кресле-каталке около окна: рядом, за закрытой стеклянной дверью, был маленький балкончик. Дэн смотрел на худого мужчину в синем шелковом халате, нижняя часть тела которого была закрыта темно-зеленым клетчатым пледом. Больше всего Дэна потрясло лицо — он с трудом узнал его. Энтони всегда выглядел немного старше своих лет — они с Дэном были ровесники,— но теперь ему на вид было никак не меньше шестидесяти. Хотя он и не полысел, зато был сед как лунь. Болезненно-желтые щеки ввалились. Он выглядел устало и был чем-то похож на своего более знаменитого тезку — Энтони Идена; только глаза да улыбка выдавали человека, которого Дэн когда-то близко знал. Он молча подошел к умирающему и пожал протянутую руку. Энтони не сразу отпустил руку Дэна. В короткой молчаливой паузе возникло то взаимное понимание, то мгновенное чувство, которого Дэну так не хватало в общении с женщиной, ждавшей его внизу.

— Я чувствую себя несносным, капризным ребенком.

— Ерунда.

— Шутка ли, такая дорога.

— Я все равно собирался домой. Никаких проблем.

Энтони искал глаза Дэна.

— Просто *фантастика* — видеть тебя снова, Дэн. В кои-то веки это противное слово действительно что-нибудь значит.

— Мне на ум приходят более грустные.

Больной задумчиво пожал плечами.

— Все начинают с извинений.— Он заговорил деланным голосом: — «Вы и представить себе не можете, как я сожалею, но я понимаю, что обречен». Абсурд.— Он улыбнулся.— Мы становимся очень суетными, Дэн, и принимаем сочувствие как должное.— Он показал рукой.— Выпей хереса. И прости, что не могу присоединиться к тебе.

Дэну хереса не хотелось, он не любил его, но стоять посреди палаты истуканом ему тоже не нравилось. На столике рядом с дверью он увидел поднос со стаканами и бутылкой «амонтильядо». Палата была небольшой, в глаза прежде всего бросались книги и цветы; над кроватью висела дешевая репродукция «Св. Себастьяна» Мантеньи [1]. Едва ли ее повесили здесь сотрудники больницы — в таком жесте больше сардонического, чем вдохновляющего.

Дэн откупорил бутылку и налил себе вина.

— Надеюсь, Джейн хорошо тебя встретила?

— Я собираюсь пригласить ее поужинать. Если ты не возражаешь.

— Ей будет приятно.

Дэн отвернулся и попытался еще раз сказать задуманное:

— Энтони, мне строго запрещено...

— Запрещено, так не делай.— Они оба улыбнулись, вспомнив свои прежние колкости.— Сильных болей я сейчас не испытываю. И остаюсь здесь, только чтобы избавить Джейн от утомительных домашних хлопот. Я подчас бываю очень капризен и привередлив.

— Понимаю. Но я...

---

[1] Андреа Мантенья (1431—1506) — итальянский живописец и гравер Раннего Возрождения. На его картине «Св. Себастьян» (она известна в двух вариантах) изображен пронзенный стрелами римский солдат, казненный в III в. за веру. Муки Себастьяна — христианский символ победы духа над физическим страданием и смертью.

— То, что ты здесь, красноречивее любых слов. Даже если они сказаны человеком твоего литературного дара.— Он сохранил прежнюю живость речи; разве что паузы между фразами стали чуть-чуть длиннее. Дэн поднял свой стакан:

— Тогда за доброе прошлое.

— Аминь. А теперь иди сюда и сядь.

Дэн сел на пластиковый стул с металлическими ножками, оказавшись немного выше собеседника. Улыбаясь и держа руки в карманах халата, Энтони пожирал Дэна глазами. Смущало то, что первая же минута их встречи родила больше тепла и понимания, чем предшествующий час, проведенный с Джейн. У Дэна, впрочем, стало полегче на душе, пусть он пока и не понимал, что означала эта улыбка. Энтони носил ее почти как маску; да и сам Дэн улыбался деланно, хотя, возможно, и по иным причинам. Взгляд Энтони сохранил прямоту, и в разговоре ему по-прежнему требовалось видеть глаза собеседника. Скептические искры и лихорадочный блеск его глаз не могли скрыть последнее черное пламя, горевшее в его мозгу.

— Так как живут в реальном мире? — спросил Энтони.

— Как всегда, ирреально.

— Жалеешь о чем-нибудь?

— О многом.

— Но, надеюсь, что не на своем поприще. Там ты достиг исключительных успехов.

— В мире кино это самое верное свидетельство вечного проклятия.

Улыбка Энтони стала живее.

— Ну-ну. Мы получили от твоих фильмов искреннее удовольствие. От тех, что удалось посмотреть.

— Мне не стыдно всего за один или два. Но в целом от них больше денег, чем удовлетворения.

— Я слышал, ты приобрел деревенское гнездышко? В родных местах? Нам Каро сказала.

— Обыкновенный крестьянский дом, где я почти не бываю.

— А как там с дикими орхидеями?

Он выпалил это неожиданно, словно вспомнил забытую шутку.

— На одной из лужаек растут ремнелепестники. Есть еще одна вполне симпатичная колония spiralis. Если, правда, ее не съедают овцы. Ранние пурпурные Венерины башмачки. Вот, пожалуй, и все.

— А ты знаешь, что около Нью-Фореста снова появились aestivalis?

— Нет, не знал.

— Чудеса, да и только.— Мы продолжали ходить вокруг да около.— Ты помнишь, как мы с тобой гонялись за Девичьим локоном?

Когда-то в молодости они поехали в Гэмпшир в надежде найти неуловимый Девичий локон, одну из самых редких английских орхидей. Долгие лазурные дни, бесконечные блуждания по болотам и лугам; и никаких следов вожделенного цветка.

— Конечно, помню.

— Но ты, наверное, уже охладел к этому занятию?

— Да нет, когда попадаю в те места, ботанику стараюсь не забывать.

— Мне не хватало тебя в Уотлингтоне. Никто другой не мог так...

Он улыбнулся, словно признаваясь в том, что сказал глупость. Дэн видел: Энтони хочет ободрить его и в то же время ни на секунду не спускает с него глаз, пытаясь понять, каким он стал и как, наконец, перейти к настоящему разговору. Дэн посмотрел на свой стакан с хересом.

— Мне, Энтони, очень часто тебя не хватало.

Наконец, Энтони тоже опустил глаза; потом пробормотал:

— Да.

Наступила тишина.

— Я сегодня сказал Джейн... в том, что случилось между нами, мне винить некого, виноват только я один.

Энтони улыбнулся, ответил не сразу:

— Давай, по крайней мере, возблагодарим бога, что я не стал юристом.— Дэн вопросительно взглянул на него.— Мне говорили, что девять десятых судейского таланта заключено в умении выносить приговор. Сомневаюсь, что я силен в этом.

— Не сомневайся. Этот приговор я заслужил.

Энтони впился в Дэна глазами:

— Пример необъективного вывода из объективной видимости.

Дэн покачал головой:

— В чем— в чем, а в этом-то я разобрался.

Энтони отвел от него взгляд и начал без нужды разглаживать темно-зеленый плед.

— У меня, Дэн, к сожалению, мало времени... Скоро придет сестра делать укол.

— Завтра утром я снова приду. И сколько потребуется...

Обреченный кивнул почти с раздражением:

— Я заставил тебя совершить такое большое путешествие не ради светского разговора.

— Ты меня ничего не заставлял, разве что пожалеть о случившемся с тобой.

Энтони снова замялся. В Дэне росло ощущение, что и его, видимо, представляли другим; в нем, возможно, увяло или атрофировалось то мальчишеское и незамутненное, что сохранил в себе оксфордский профессор, который продолжал возиться с пледом, пытаясь совместить его рисунок с линией своих ног. Дэна поразила нездоровая белизна его рук.

— Прежде всего, Дэн, хочу заверить тебя: в том, что я собираюсь сказать, желание облегчить собственную совесть играет второстепенную роль, а в мотивах, по которым я пригласил тебя сюда,— и вовсе никакой. Когда я узнал о своей болезни, то очень испугался. Не удивляйся. Даже если ты почти всю свою жизнь посвятил лингвистическому анализу Библии и теоретической этике, то тебе нисколько не легче, когда у тебя самого дело доходит до *этого*.— Он взглянул на Дэна с холодной улыбкой.— Не помогают также ни вера, ни теология. Первое время тебя буквально оглушает чувство всесокрушающей несправедливости. Божественная она или естественная — роли не играет. О прошлом ты не думаешь. Только о будущем, которое не увидишь. Но такое состояние ума настолько болезненно и бессмысленно, что ты должен — или по крайней мере я был должен — найти разумный выход из положения. Мой выход состоял в попытке честно оценить прожитую жизнь — работу, женитьбу на Джейн и вообще все. Я по-настоящему попытался подвести итог. А это требовало переоценки тех событий, которые я долго — и весьма успешно — старался вычеркнуть из своей памяти, а также готовности исправить то, что еще возможно. Ты меня слушаешь?

— Конечно. Но ты не должен...

— Прости, пожалуйста. Дай мне закончить.— Он сложил руки на груди.— В моем положении человек, кроме того, должен избавиться и от мысли о воздаянии. Я, дескать, грешил, потому и умираю. Врачи знают об этом больше других. Они вполне уверены, что карцинома — или, во всяком случае, та форма, которой я болею,— возникает чисто случайно. А вот в том, что воздаяние естественно, они совсем не уверены. Так что остается успокаивать себя поговорками типа «нет худа без добра». Поговорочное «добро», как ты догадываешься, каждая жертва находит сама. Я, например, обнаружил, что, по иронии судьбы, желание творить добро растет у меня вместе со способностью его обдумывать и неспособностью делать.— Они сдержанно улыбнулись, все еще смущаясь друг друга.— Не думай, будто мое самоуничижение связано с тем, что я скоро предстану... пред вечным престолом. Осмелюсь предположить, что полный список моих добрых дел удовлетворит святого Петра. Впрочем, я всегда сомневался в существовании на небесах таможенного или акцизного чиновника. А ты?

— А я, по многочисленности моих грехов, никогда не мог допустить даже мысли о его существовании. Его там нет.

Лицо Энтони просияло.

— Что касается меня, то, боюсь, мне на небесах не избежать искушения поспорить с таможенником о кое-каких провозимых мною предметах. Может, мне и удастся доказать, что часть моих ошибок в конечном счете обернулась благом.— Он на мгновение запнулся.— Одна из таких ошибок — обращение Джейн в католичество. Она тебе?..

— Только сам факт. Никаких подробностей.

— В ее случае крест нести легче ревностному язычнику, чем равнодушному католику. Даже я понимаю это.— Он хмыкнул.— Как видишь, я теперь глава семьи вероотступников.

— Сочувствую.

— Перестань. Будем надеяться, что теперь на небесах верят на слово, а не требуют наличных. Если это не так, нам всем не поздоровится.

— А ты сам, случайно, не отпал от веры?

Еще не закончив вопроса, Дэн понял, что лучше его было не задавать: он уводил разговор в сторону. Подумав, Энтони ответил с простодушной улыбкой:

— Недавно я слышал остроумную шутку. О молодом священнике из современной семинарии, который пришел к своему наставнику и сказал: «Я должен покаяться в самом страшном грехе». После чего он бухнулся на колени и закрыл лицо руками.— Энтони закрыл свое лицо руками.— «Преподобный отец, не знаю, как сказать, но я более не могу молча нести свой крест вины и позора». «Слушаю, сын мой».— С шутовски скорбным выражением изможденного лица Энтони поднял глаза.— «Я старался изо всех сил, но по-прежнему безгранично верую в Иисуса Христа!»

Дэн ухмыльнулся.

— И ты сам находишься в этом ужасном положении?

Энтони дотронулся до кончика носа.

— Едва ли. Моей веры хватает только на то, чтобы иметь право называть себя католиком. Но даю тебе слово, Дэн, ты здесь не для того, чтобы дать мне чистую пару духовных подштанников, когда... придет мое время. Совсем нет.— Энтони в очередной раз пытался опуститься до уровня неверующего, прибегая к мирским метафорам; Дэн покорно улыбнулся.— Скорее, я хочу вступить с тобой в сговор. Дабы исправить недосмотр провидения.— Потом добавил: — Небольшая месть слепой судьбе.

— Понимаю.

Он какое-то время задумчиво смотрел на Дэна, зная — как скоро суждено узнать и самому Дэну,— что тот не понимает.

— Я пригласил тебя сюда отнюдь не для того, чтобы простить тебе ту пьесу. Я, конечно, не помню дословно своего давнего письма, но сомневаюсь, что захотел бы отказаться от его сути. Даже сегодня.

— Не смею спорить.

— Даже если бы ты и знал настоящую причину, побудившую меня написать то письмо, твоя пьеса все равно не стала бы от этого лучше. Однако, похоже, и этого признания еще недостаточно.— Дэн пытался взглянуть в его перекошенное лицо. Энтони опустил голову, но тут же снова поднял. В его глазах появилось едва заметное холодно-насмешливое выражение.— Еще до нашей женитьбы Джейн сказала мне, что ты однажды переспал с ней. Я это знал с самого начала.

Дэн потупился.

— О боже.

Голос Энтони звучал тихо:

— Я знаю, что оксфордская философия стала — и во многих случаях заслуженно — любимой тетушкой Салли[1] умных писателей. Что толку спорить, мы нередко тратим время на современные аналоги задачи о числе ангелов, которые могут уместиться на острие иглы. И я вполне пойму, если ты сочтешь все это делом прошлым. Дескать, не то что океан пересекать, а улицы переходить не стоило ради такого разговора.

— Я понятия не имел.

— Чего мы с Джейн, собственно, и хотели.

Дэн вспомнил давнюю историю, высвеченную этим странным признанием. Его первой инстинктивной реакцией было ощущение обиды и абсурдности происходящего: сколько же они скрывали и каким снисходительным было их молчание. Энтони продолжал:

— Добавлю только, что сейчас я тебя уже не виню — говорю это от всего сердца. Жаль, что винил тогда. Жаль.

— Я сам...

— Знаю. И то, что виновата больше всего она. И что виноват я. Меньше всех виноват был ты.

— Так я могу слишком легко отделаться.

— Сейчас это не важно, Дэн. Сексуальные влечения очень преходящи. Этому меня научили мои студенты.— Он снова расправил плед на коленях.— Если бы Джейн была не столь честна... или общалась с человеком, который бы не столь высоко ценил свои софистические построения! Надо же — брезговал интеллектуальными мухами, зато заглатывал, не морщась, эмоциональных слонов.

— Если ты винишь себя, то, видимо, не избавился от этого греха и по сей день.

Это его несколько озадачило. Он стал говорить чуть мягче:

— Наш брак, и все, что с ним связано, Дэн, покоился на разуме. Не на страсти. И не на чувстве.— Он снова засунул руки в карманы халата.— Это-то и позволяло нам хранить нашу тайну. А тебя вынудило жениться на Нелл. Что снимает с тебя часть вины за написание той пьесы. За нашу многолетнюю разлуку.— Он помолчал.— Сделав тогда вид, что вычеркнул тебя из памяти, я лишь удостоверился, что это невозможно.

— Не понимаю, как ты мог испытывать ко мне что-нибудь, кроме ненависти.

— А испытывал я к тебе прежде всего зависть. Понял я это, конечно, позднее.

— Зависть?

— Да, зависть. К другому жизненному принципу.

— К измене?

— Нет, к человеческим слабостям.

— Странная добродетель.

— Противовес. Тем, кто кичится своей праведностью.

— Этого я не понимаю.

— Главный мой вклад в нашу с Джейн жизнь — интеллектуальное высокомерие. Джейн украсила ее терпимостью.

— Это не очень вяжется с тем, что она отпала от церкви.

— В самом начале она дала мне полную свободу выбора. Мне следовало расстаться с ней навсегда. А высокомерие можно проявлять не только требуя, чтобы жена следовала тем же религиозным догмам, что и муж. Я его проявлял, подавляя инстинктивную сторону ее натуры. Убеждая, что разум может оправдать даже самые странные решения.

— Теперь ты из нее делаешь дурочку.

Энтони холодно улыбнулся, словно загнав Дэна в угол.

— Нет. Жертву.

— Но... ваш брак неудачей не назовешь.

---

[1] «Тетушка Салли» — английская ярмарочная игра, в которой участник должен выбить шарами или палками трубку изо рта деревянной женской головы.

— А ты откуда знаешь? После стольких лет?

— Я просто не верю, что Джейн могла жить во лжи. Не такой она человек. Отпадение от церкви — лишнее тому доказательство.

— Боюсь, что это всего лишь форма развода с мужем.— Дэн неожиданно вспомнил «Рэндолф», странные нотки в голосе Джейн, оттенки цинизма и равнодушия, которые он склонен был отнести более к влиянию Оксфорда и английских манер, чем к ее личной жизни. Энтони продолжал: — То, что я говорю об этом частью предположительно, поскольку даже не знаю, разделяет ли Джейн мои взгляды, лишь доказывает, что я, увы, прав.

— Неужели с этим так трудно справиться?

— Наверное, нетрудно, если бы, конечно, не считалось, что правда вредна умирающему.— Потом добавил: — Кроме того, как я убедился, с некоторыми болезнями справиться действительно нелегко.

Хотя говорил он без горечи, слова его звучали укором.

— Ты слишком несправедлив к ней,— сказал Дэн. Энтони промолчал.— Такие вещи человек узнает инстинктом, интуитивно.

— Видимо, я слишком долго возился с глаголом «знать» и его производными, чтобы по-настоящему доверять ему. Я хочу сказать всего-навсего, что если моя слепая одержимость разумом глубоко — глубину эту Джейн сама может полностью и не осознавать — исказила ее истинную природу, тогда...— Тут он совершенно неожиданно умолк и не закончил мысли. Разговор с Дэном оказался труднее, чем он себе представлял. Помолчав, он сказал уже не столь резко: — Я не хочу умирать, не сделав для нее хоть что-нибудь.

— Подавление своей природы есть, по существу, цена, которую любой из нас платит за долгую совместную жизнь. Но люди типа Джейн не очень-то легко позволяют менять себя до неузнаваемости.

Энтони рассмеялся:

— Тебе надо пару раз отобедать за одним из наших «высоких столов» [1].

— Профессиональный кретинизм — это совсем другое.

— Конечно, он калечит не так сильно, как совместная жизнь. Какой же грех страшнее — изменить жене или изменить жену?

Дэн развел руками.

— Дорогой мой, таковы правила игры. Поскольку я не соблюдал этих правил и не позволил Нелл изменить меня... мы расстались. Ты это сам прекрасно знаешь.

— Хорошо. А если бы ты сохранил семью, позволив Нелл жить на твой манер? Может, так было бы лучше?

— Кто же это знает?

— Например, тот, кто всю жизнь жалел о разрыве.

Дэн уставился в свой стакан с хересом.

— Я не жалел только потому, что по сути своей неверен женщинам.

— А я, говоря твоими словами, по сути своей всю жизнь верен одной женщине. Велика ли разница между нами? Ты, по крайней мере, честно делил себя на многие части.

Дэн вспомнил старую шутку об Оксфорде: самый типичный оксфордский преподаватель всех времен — Льюис Кэрролл [2]. Он уже не мог скрывать, что они с Энтони дошли почти до полного абсурда.

— Послушай, Энтони, после шестнадцатилетней разлуки я видел Джейн едва ли час. Конечно, она изменилась. Но совсем не похожа на раздавленную личность. Кое-что я знаю о ней и от Каро. Она обожает Джейн. Могу представить, каково тебе, как велико искушение быть с собой построже и...— Он почувствовал нарастающее раздражение и сдержал его.— Ты понимаешь, что я хочу сказать.

[1] Стол в столовой колледжа для профессоров и членов ученого совета; обычно находится на небольшом возвышении.

[2] Литературный псевдоним математика Ч. Л. Доджсона (1832—1898), преподававшего в Оксфордском университете с 1855 по 1881 год.

— Паранойя умирающего?

— Разумеется нет. Но ведь даже со щепетильностью и порядочностью можно переборщить?

Наступило молчание. В изможденном лице Энтони Дэн видел безрассудную решимость, упрямство и раздражение: тот не хотел, чтобы ему мешали высказать давно лелеемое сомнение.

— Ты бы женился на Джейн, если бы я порвал с ней в самом начале?

— Сам знаешь, что на этот вопрос невозможно ответить.

— Но ты же любил ее?

— Я желал ее. Как и десятки других женщин с тех пор.— Энтони смотрел на него так внимательно, что Дэн от неловкости опустил глаза и пожал плечами.— Я не Казанова, Энтони, но я спал с изрядным числом женщин и, видимо, безнадежно непостоянен.— Энтони продолжал молчать, и Дэн, чтобы скрыть неловкость, чуть приподнял свой стакан.— Можно я еще налью?

— Пожалуйста.

Дэн встал и подошел к столику с хересом.

— И кроме того, у меня тогда была Нелл.

— А сейчас есть кто-нибудь?

— Да.— Дэн обернулся с виноватой улыбкой.— Она мне в дочери годится.

— По нынешним временам я до неприличия добропорядочен. Не совратил ни одной студентки.—Дэн улыбнулся, и Энтони продолжил: — А ты хоть какую-то ответственность по отношению к ней чувствуешь?

— Конечно. И прежде всего в том, чтобы показать ей, каков я на самом деле.

— Я такой честностью похвастаться никогда не мог.

Открылась дверь, и в проеме показалась молодая медсестра. Не сказав ни слова, она бросила на Энтони притворно суровый взгляд. Он сказал:

— Еще немного.

Она кивнула и исчезла.

— Может, мне уже пора?

— Нет, нет. Побудь еще.

Дэн со стаканом в руке подошел к балконной двери, став вполоборота к Энтони. Внизу, еле различимая в тумане, промелькнула машина, потом проехали два студента на велосипедах; он смотрел на крыши Оксфорда, который, казалось, на несколько веков отстал от только что покинутого Лос-Анджелеса в Калифорнии. Он снова подумал о Дженни, о том, что предпочел бы поужинать сегодня с ней, а не со ждавшей его внизу женщиной, не со своим невыразимым прошлым. Он чувствовал психологическое удушье, страдал от клаустрофобии университетской жизни, от ее изощренности и изысканности, от ее умов, которые, словно хлорозные растения, не получающие достаточно света, навсегда остаются недоразвито-юными, поскольку счастливым образом отгорожены от жестоких реальностей внешнего мира. Это, собственно говоря, верно и по отношению ко всей Англии.

— Ты что-то говорил об исправлении провиденциального недосмотра.

— Я просто хотел подчеркнуть, что само упоминание этой возможности — уже благо.— Потом быстро добавил: — Нет, я говорю не вполне искренне. Это чистое предположение, Дэн. Я вопреки всему... надеюсь, что у тебя когда-нибудь найдется время в теперешней Джейн откопать ту, какой она могла бы стать.— Тут он впервые посмотрел на Дэна как-то странно, с налетом официального холодка.— А вдруг ты все-таки решишься снова стать ей другом.

— Энтони, меня бы здесь не было, если... Я ведь послал оливковую ветвь вам обоим. Через Каро. Несколько месяцев назад.— Дэну снова

показалось, что он не угадал, в каком направлении пойдет их дальнейший разговор.

— Да... мы получили твое послание.— Энтони улыбнулся.— Ты, наверное, удивляешься, почему мы не предприняли ответного шага. Или почему делаем это только сейчас.

— В общем-то да.

— Смерть напоминает мне плохого лектора. Ты слышишь, что говорят, только когда сидишь в первом ряду.— Он помолчал.— Твое послание помогло мне выиграть мою битву, Дэн. Джейн свою проигрывает.— Он колебался.— Она не хотела, чтобы ты приезжал сюда. Я не знаю, понял ли ты это.

Дэн снова взглянул в окно: на улице не было ни души.

— Она все еще не может простить мне Нелл?

— Не думаю, что это как-то связано с Нелл. И о прощении тоже говорить не приходится.— Голос Энтони звучал уже не столь резко.— Она относится к прошлому совсем не так, как я. Мне кажется, ты стал для нее символом всего, что недостает нашему браку. Тем непрочным фундаментом, на котором, как она сейчас уверена, мы его и построили.— После недолгой паузы он продолжил: — Прости меня, Дэн, за путаность изложения. Я понял, что очень хочу тебя увидеть, около месяца назад. Реакция Джейн на мое признание показала, как же много мы с ней скрывали друг от друга все эти годы. Но в открытую мы ничего не обсуждали. Свое неодобрение она прятала за словами о том, что не хочет доставлять тебе неудобств. Какая, дескать, самоуверенность думать, что ты еще помнишь о нас! И в чем-то она была права.

Дэн стоял, прислонившись к стене, рядом с балконной дверью; вопреки обыкновению, Энтони прятал от него глаза, смотрел в серый больничный пол.

— Но только не в этом,— ответил Дэн.

Энтони вскинул голову и улыбнулся.

— Но в том, что мои мотивы по преимуществу эгоистичны, она безусловно права. Я действительно прошу тебя сделать то, чего не сумел сделать сам, Дэн. И я понимаю всю невозможность этого. После стольких лет, что мы не виделись. Я просто прошу. Умоляю. Теперь ты знаешь все.

Несколько мгновений — мгновений необычной природы, разрушающих чувство времени и последовательности событий,— двое мужчин искали в глазах друг друга тайну и ее разгадку. Взамен прежнего кода общения был предложен новый; даже еще не осознав его значение, Дэн понял, что, каким бы ни было отношение Энтони к католицизму, он сохранил в себе исключительно глубокую веру в абсолют. Его кажущаяся рассеянность, невнимание ко времени и всему внешнему были на самом деле производными от главного принципа: то, что я прошу, непреходяще... это нелепая, но искренняя просьба высоконравственной личности.

— Конечно, Энтони. Попытаться можно...

— Но я прошу невозможного?

— Я не это имел в виду.— Дэн посмотрел на свой херес.— А только то, что все зависит от Джейн, разве не так? Сейчас у нее, наверное, много более близких друзей, чем я.

— Она сейчас нуждается в человеке, который бы одновременно и знал ее, и не знал. Который помнит, какой она была когда-то. Она стала очень замкнутой, Дэн. И не только со мной.— Прежде чем сказать следующую фразу, Энтони ее тщательно обдумал.— Возможно, самая глубокая пропасть между нами — это непримиримые расхождения в том, можем ли мы быть хозяевами своей собственной судьбы. Наш брак — лучшее свидетельство, что моя точка зрения несостоятельна. Я проповедую в пустой церкви —значит, мои проповеди бесполезны. Теперь мы свели наши отношения к трогательной молчаливой договоренности: умирающий муж и заботливая жена.

Дэн сел в изножье кровати и уставился на низ балконной двери.

— Я не знал всего этого, Энтони.

— Ничего удивительного. Мы все тщательно скрывали. Даже от детей. Не говоря уже о других.

— А ты в последнее время не пытался?..

— Я много лет вынуждал ее лгать о ее религиозных чувствах, что, собственно, и породило отчуждение между нами. И теперь не собираюсь повторять эту ошибку по гораздо более важному поводу. Она ведь тоже невероятно горда. И играть с этой гордостью я не намерен.

— Значит, приговор без суда?

— Напротив. Суд без приговора.

— Она знает, о чем ты собирался говорить со мной?

— Должна... да, думаю, должна знать. Но я бы предпочел, чтобы ты сохранил наш разговор в тайне, Дэн. Если угодно, я настаиваю.— Дэн не ответил, чувствуя, что его все больше затягивает в какой-то водоворот, что он участвует в игре, правила которой почти забыл, что за дверью его ждет близкая и чужая женщина. Энтони продолжал: — Может, это звучит странно, но я настаиваю по чисто, так сказать, тактическим причинам. Если, конечно, ты готов простить нас обоих.

— Ты отлично знаешь, что вы передо мной ни в чем не виноваты.

Опять наступило молчание.

— Но все же я глубоко благодарен судьбе, что мне было даровано прожить с ней жизнь. Я имею в виду те жертвы, которые вы оба принесли. Само деяние было, возможно, и аморальным, но то, что последовало за ним... Конечно, моя благодарность — это в какой-то мере эгоизм бенефициария, извлекающего выгоды из чужого решения. Но, как бы то ни было, судьбе я благодарен.

Дэн улыбнулся.

— Один довольный партнер — это не так уж плохо для партии.

— Но не так уж и хорошо для серьезного состязания. Даже если это гольф.

Для Дэна Энтони стал чужим, человеком другого опыта и даже другой культуры. Для Энтони Дэн по-прежнему оставался самым близким другом, каким и был когда-то; будто за все эти годы никто не занял в его жизни место Дэна.

Дэн снова улыбнулся, потом посмотрел на репродукцию Мантеньи, висящую над кроватью.

— Я начинаю понимать, зачем ее здесь повесили.

Губы Энтони скривились.

— Очень дурной вкус. Даже моим остроумным друзьям-иезуитам не нравится.— Но отвлекаться он не хотел; чуть откинувшись назад, он посмотрел на собеседника через всю комнату.— Дэн, однажды ты мне сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Ты нашел прекрасную орхидею, которую я не заметил, пройдя рядом,— кажется, это была insectifera, точно не помню, но вечером мы рассказывали об этом случае сестрам. О твоем нюхе на орхидеи. И ты сказал, что я умею в них только *всматриваться,* но не умею их *высматривать.*— Помнишь? — Дэн покачал головой, глядя в вопрошающие глаза.— Когда я думаю о тысячах напрасных слов, что я без пользы употребил изустно и на бумаге, об абстрактных суждениях и философском счете ангелов... Это вместо того, чтобы...— Он пожал плечами.

Дэн вспомнил Барни: какая-то эпидемия самоуничижения.

— Ну что ты на себя наговариваешь! Даже если отвлечься от всего остального, ты научил думать сотни молодых людей.

— Только так, как я думаю сам. Я благодарю небеса за глупых студентов. Эти, по крайней мере, избежали заражения.

— Ерунда.

— Вот именно. Вся моя работа— ерунда. Игра в бисер на университетский манер.— Не вынимая рук из карманов халата, он снова откинулся назад, на спинку кресла, словно испытывая какое-то неудобство,—

возможно, боль, хотя он в этом и не хотел признаться. Криво ухмыльнувшись в сторону Дэна, он сказал: — Прости. Со стороны, видимо, похоже на жалость к самому себе. Слишком уж многое позволяют люди умирающим. Будто бы человеку нужнее всего собственные слабости.

— Ты не хуже меня знаешь, что умение всматриваться несравненно важнее умения высматривать.

— Может быть, для орхидей это и верно. Но не для самого человека. Я *всматривался* в себя. Всю мою сознательную жизнь. В такого, какой я есть. А не в такого, каким я мог или должен был стать. Это и позволило мне превратить тебя в живой символ всего того, над чем мы с Джейн якобы возвысились.

И в голосе его, и во взгляде сквозила неприязнь к самому себе.

— Хорошо. По немыслимо высоким христианским стандартам у тебя не хватило милосердия. Но ведь это не затрагивает сути самого приговора.

— Зато затрагивает его основы.— Он впился в глаза Дэна.— И твое безоговорочное принятие приговора лишний раз доказывает это.

— Почему?

— Дорогой мой, судья, берущийся за дело, в котором — как в случае с твоей пьесой — он кровно заинтересован, позор для правосудия. Особенно если принятое им ранее приватное решение — о котором ты не знал — во многом и толкнуло тебя на преступление. То, что у тебя хватает великодушия признать приговор справедливым, доказывает твою относительную невиновность.

— Но кто спровоцировал его первоначальное приватное решение? И почему ты думаешь, что это случилось лишь однажды? Что мы отказались от греха, едва познав его?

— А потому, что ты ошибочно предположил, будто пострадавшей стороной являюсь я.

Дэн покачал головой:

— Все гораздо проще. Я оказался недостаточно хорош для Джейн. А она — недостаточно плоха для меня.

— Думаю, мне было бы нетрудно убедить тебя в обратном! Но даже если бы ты был прав, вы тем не менее могли бы получить друг от друга несравненно больше, чем от...— Предложение осталось незаконченным.

Дэн молча взболтал остатки хереса в стакане. Зачем уводить разговор в сторону? Умирающий позволил себе еще одну злую самоиздевку.

— Я, пожалуй, уже утомил тебя всей этой предсмертной мелодрамой. Знаешь, я ведь просто соскучился по тебе. Интересно послушать, как ты живешь.

— Хочешь послушать, за какое дерьмо присуждают Оскара [1]?

— Ну, не все же так гадко.

— Не все, если погружаешься в это с головой. Как я большей частью и делаю.

— Что ж, не самая плохая из жизненных философий.

— До тех пор пока не пришло время подводить итоги.

— Одного нытика для этой палаты вполне достаточно.

Дэн едва заметно улыбнулся.

— Видимо, я стал, как и Джейн, детерминистом. Оказался более или менее вне игры.

— «Вне игры» с детерминизмом несовместимо.

— А если человек с детства привык выбирать самые легкие пути?

— Это пораженчество, а не детерминизм.

— Дело не в названии. Они ведь идут в одном направлении?

Энтони поднял палец.

— Чую Сэмюэла Беккета и его изысканную французскую бессмыслицу. Отъявленный романтический пессимизм.

— Ты несправедлив к Беккету.

---

[1] Одна из самых почетных премий в киноискусстве.

— Я думаю, от Паскаля или даже Вольтера ему досталось бы отнюдь не меньше. Mutatis mutandis [1].

— Здесь ты ошибаешься.

— На днях один из моих самых невозмутимо самодовольных оксфордских коллег убеждал меня в неотвратимости экологической катастрофы. Кажется, мне исключительно повезло, что я до такого безобразия не доживу. Вот я и сказал, что не вижу причин, почему бы ему не присоединиться ко мне.

Дэн рассмеялся.

— Но его точку зрения ты все же не опроверг.

— И все-таки я подозреваю, что пьеса Всевышнего вовсе не так плоха, как о том вещают многие кликуши. В конце концов, единственное греховное создание на этом свете — оно же и единственно разумное.— Он посмотрел на Дэна со своей обычной усмешкой.— Тайну Бога я так и не разгадал. А вот с Сатаной справился.

— И в чем же его тайна?

— В том, чтобы не видеть целое.— Он опустил голову.— В прошлом или позапрошлом году один из моих студентов заявил мне следующее: в двадцатом веке мы поняли, что являемся актерами в плохой комедии и что у комедии этой нет ни автора, ни зрителей, а в городе существует еще только один театр — кладбище.

— И что ты ему ответил?

— Что ему надо оставить философию и заняться твоим ремеслом.

— Жестоко.

— Ничуть. Ты принадлежишь миру бессмысленных грез, мы заключены в тюрьму осмысленных высказываний. Слово как игра и слово как инструмент. Все в порядке, пока одно не выдается за другое.

— Неужели вы никогда не играете на своих инструментах?

— Отчего же. Не рискну отрицать, что самообман равно присущ и твоей, и моей профессиям.

И они улыбнулись, как мне кажется, впервые безо всякой задней мысли— может, потому, что оба вспомнили свои прежние беседы с игрой слов и каламбурами, может, потому, что понимали: их первая встреча идет к концу... Энтони снова выпрямился в кресле.

— Ты и не представляешь, Дэн, как все это для меня важно. Твой приезд — королевский подарок.

— Прежде всего для меня самого.

— Я действительно верю в человека. Не могу объяснить рационально. Это... если хочешь, больше чем просто вера. Есть вещи и поглупее пелагианской теории совершенствования человека.

— Теория его несовершенства?

Энтони кивнул.

— Мы обязательно перерастем ее. Несмотря на все наши ошибки. Если только усвоим, что начинать надо с себя. Со своей жизни. Вместо того, чтобы винить всех вокруг.— Он бросил на Дэна задорный взгляд.— Иногда мне кажется, что я должен завещать миру еще один, последний мистический лозунг. Всматривайтесь в себя.

— Ты можешь позволить себе и арию.— Энтони не понял, что это значит.— Старый голливудский жаргон. Сэмюэл Голдвин [2] любил говорить: «Сократи этот проклятый монолог, арии умерли вместе с Шекспиром».

Энтони в знак одобрения вскинул голову.

— Надо запомнить.— Он посмотрел Дэну в глаза.— Ты понимаешь, что я хотел тебе сказать, Дэн?

— Конечно.

— Я знаю Джейн лучше, чем кто бы то ни было. Несмотря ни на что. Она действительно нуждается в помощи. В Добром Самаритянине.

---

[1] Здесь: делая необходимые поправки на время *(лат.)*.

[2] Сэмюэл Голдвин (1882—1974) — выдающийся американский режиссер.

— Сделаю все, что могу.— Дэн наклонился вперед, дотронулся до руки Энтони и встал.— Я приду завтра. Расскажу тебе обо всех ужасах моего мира. Если можешь, забудь на время о Шпенглере [1].

— Буду ждать.

— И не думай больше о прошлом. Основные просчеты провидения касаются вещей. Жизни. Не нас.

— Не буду возражать, если ты согласишься, что единственное спасение находится в нас. В нынешних. А не в тех, какими мы были.

— Договорились.

Больной протянул руку, и Дэн пожал ее. Затем наконец подчинившись затаенным чувствам, Энтони накрыл руку Дэна другой своей рукой. Но глаза его, все еще внимательные и улыбающиеся, остались сухими.

— Столько еще не сказано.

— Многое понятно и без слов.

— Тогда желаю приятного ужина.

— А тебе хорошего сна.

— В этом на современные лекарства вполне можно положиться.

Он отпустил руку Дэна, и тот пошел к двери.

— Позвать кого-нибудь?

— Нет, нет. Они сами придут.— Он поднял руку; знакомая улыбка не сходила с его лица. Она несла на себе едва заметный отпечаток благословения, а может, и отпечаток едва заметного благословения; что-то очень двойственное, похожее на висящий над кроватью шедевр — детище художественного гения и патологической религиозности.

Он уже решил для себя, каким я стал, и не хотел, чтобы я об этом догадался. Именно по этой причине последние мгновения я потратил на то, чтобы всмотреться в него.

Джейн

— Все в порядке?

— В порядке.

— Я зайду к нему сказать «спокойной ночи».

Я остался ждать Джейн там, где она только что сидела с книгой. Сложные чувства владели мною, но острее всего я ощущал неловкость — мне предстояло провести вечер с женщиной, которая не желала, чтобы я вновь появлялся в ее жизни, и которой более или менее добровольно я обязался лгать.

Неожиданным и необычным, как я потом понял, было не спокойное отношение Энтони к юношеской истории, а его выбор меня на роль спасителя Джейн, которая, со всей очевидностью, спасаться не хотела. Я вдруг почувствовал, что позволил себя одурачить, поддавшись — несмотря на все его старания отринуть мою жалость — ощущению безысходности его положения. Мне следовало поспорить с ним серьезнее. На его стороне была, конечно, внезапность, ибо, обдумывая нашу встречу заранее, я был готов к чему угодно, но не к столь резкой замене основной посылки... максимум, что я мог представить,— это возобновление самых формальных отношений с Джейн в будущем.

Как знать, из-за болезни и наркотических средств могла пошатнуться его психика; или он задумал какую-то иезуитскую месть своей жене; а может, он со всеми так себя ведет. Но тогда бы Джейн наверняка предупредила меня; да и ее собственное поведение вполне соответствовало поставленному им диагнозу. Самое же страшное потрясение для меня крылось в ином: то давнее событие, которое, как я всегда считал,

---

[1] Видимо, речь идет о культурологических взглядах известного немецкого философа-идеалиста О. Шпенглера (1880—1936), в частности, о невозможности единой культуры.

повлияло на мою жизнь намного сильнее, чем на ее, и к мучительной невозвратимости которого я уже давно привык, на самом деле — если верить Энтони — ее задело несравненно глубже. Но все это было умозрительно и как бы издалека; словно ты пришел в театр и обнаружил, что пьеса, виденная тобою четверть века назад, все еще идет на сцене. Конечно, в каком-то смысле Энтони и Джейн постоянно посещали этот театр и в том прошлом для них было немало и настоящего; но уже не в первый раз (и не в последний) мне вдруг подумалось, что я оказался среди детей— или, во всяком случае, среди людей с окаменевшими взглядами и ценностями. И в то же время Энтони задел во мне какую-то глубоко личную и уже очень давно отзвучавшую струну, всколыхнул что-то юношески незрелое — как в положительном, так и в отрицательном смысле этой метафоры, подразумевающей и наши последующие приобретения, и наши потери.

Джейн вернулась быстро. В лифте мы стояли рядом, лицом к двери. Наступило неловкое молчание.

— Ну, и как он тебе?

— Держится с поразительным самообладанием.

— Ты не пожалел о потраченном времени?

— Конечно нет.

Иначе как кощунственными ее слова не назовешь. Тоном своим она выражала полнейшую уверенность в абсолютной бесполезности моего приезда. Открыв сумочку, она стала искать ключи от машины.

— Он просил меня отдать тебе все свои книги об орхидеях.

— Очень трогательно с его стороны.

— Они, видимо, безнадежно устарели.

— Не думаю. Но мне они дороги сами по себе.

— Я подберу их для тебя.

Двери лифта открылись. Когда мы наконец снова оказались в машине, стало совершенно ясно, что она не собирается расспрашивать меня о разговоре с Энтони. Это, по крайней мере, избавляло меня от необходимости лгать. Либо она знала, либо вовсе не интересовалась: Энтони смог убедить меня, что хочет покончить с годами молчания. Она же была рада, что они продолжаются, и постоянно это подчеркивала своей вежливой невозмутимостью.

В итальянском ресторане мы в очередной раз встретили ее знакомых. Джейн представила меня супружеской чете — одно имя, словно она стыдилась вдаваться в причины моего присутствия. Поговорили немного об Энтони. Наконец мы пошли к своему столику в дальнем конце зала. Она объяснила мне, с кем мы только что говорили: профессор английской филологии из Мертона [1] и его жена. У меня создалось впечатление, что она бы предпочла теперь сидеть и беседовать с ними — и поделом мне: я ведь тоже в мыслях уносился к Дженни. Когда ужин был заказан, она спросила меня о работе. Мы болтали — она сидела в своей кремовой блузке с агатовой брошью, спокойно положив локти на стол, слегка сжав руки и откинув голову, и старательно избегала смотреть мне в лицо. Постепенно, почти против своего желания, я обнаружил, что согласен с Энтони: было в ней что-то упрямое и даже высокомерно отчужденное. Сквозь ее утонченную вежливость чувствовалось, что она презирает мир кино — точно так же, по словам Энтони, она относилась к его религиозным и философским занятиям. В каждом ее вопросе мне чудился подвох:

— И ты совсем забросил театр?

— Нет свежих идей. А может, не могу приспособиться к новомодным способам их выражения.

— А разве в кино иначе? Там что, другие проблемы?

Принесли первое. Слишком много времени в жизни я потратил на наблюдение за мельчайшими, но вполне красноречивыми жестами людей,

[1] Один из старейших (основан в 1264 г.) колледжей Оксфордского университета.

чтобы не отметить про себя поспешность, с которой она взяла свою десертную ложку. Я решил разрушить, по крайней мере, одно из ее заблуждений.

— Моя работа в кино больше похожа на работу инженера на крупном производстве. Я отвечаю за соответствие готового продукта существующим стандартам. А производим мы развлечения. Средства показа кинозвезд. Доля правды, которую удается втиснуть в фильм, чисто случайна. Ее роль сравнима с красивой упаковкой. Положение в нашей области зависит от кассовых сборов. В лучшем случае от ремесленных навыков.

Джейн погрузила ложку в дыню.

— И ты смирился с этим?

Я вытаскивал вилкой кости из жареных сардин.

— У меня очень много оправданий, Джейн. Но Энтони раскусил меня сразу. Он сказал, что я пораженец. А также романтический пессимист.

Это вызвало у нее улыбку.

— И Беккету, конечно, досталось на орехи.

Я улыбнулся и попытался заглянуть ей в глаза, но она не отрывала их от тарелки.

— А ты к Беккету иначе относишься?

— Нет, тоже плохо. Но только по другим причинам.

— По каким же?

Она пожала плечами.

— Дело в том, что литературная меланхолия очень часто предшествует фашизму. Вслед за Руссо появился Наполеон. Шатобриан оказался предтечей Реставрации. Вспомни и двадцатые годы нашего века.

— Рабле по-прежнему твой кумир?

Она еще раз слабо улыбнулась, улыбка получилась нервной и обезоруживающей.

— А я и забыла об этом.

— Но Рабле, надеюсь, остался в памяти?

— Да, конечно. Правда, не столько сам Рабле, сколько мое непонимание этого мастера.

Я имел в виду общество вседозволенности; что она имела в виду, я не понял.

— Вчера вечером он снова ворвался в мою жизнь. Ты помнишь Барни Диллона?

Ложка на мгновение застыла в ее руке.

— Она тебе все рассказала?

Я бросил на нее удивленный взгляд.

— Так ты знала?

— На прошлой неделе я ездила в город. Мы обедали вместе.— Джейн продолжала выковыривать ложкой мякоть дыни.— Каро привыкла рассказывать мне то, что боится рассказать своей матери.

Я понял, что Джейн хотела извиниться за неловкое признание, но мне почудился в ее словах и скрытый упрек.

— И ты поделилась с Нелл?

— Каро просила меня не говорить. А как ты встретил новость?

— Старался держать себя в руках.

— Не волнуйся. Каро очень разумная девушка.

— Ты что, одобряешь ее выбор?

Джейн задумалась.

— Посмотрел бы ты на молодых людей, с которыми шляется Розамунд. Я поняла, что от моего неодобрения ничего не зависит.

— Но он тошнотворно лицемерен. Ты себе даже представить не можешь.— Я рассказал ей, как мы летели из Нью-Йорка, как нас встречали в Хитроу, и, конечно, о том, что он ничего мне не сказал.

— Я не видела его много лет.

— Ты наверняка видела эту рожу на телеэкране.

— Да, несколько раз. Он еще не самый противный из них.— Она доела дыню.— Божественный вкус.

Я был уверен, что Джейн, во всяком случае, прежняя Джейн, не может так думать о нем; что в такой оценке не больше искренности, чем в приписывании дыне «божественного вкуса». Скорее всего, она прибегла к испытанному оксфордскому приему: если человек волнуется, всегда противоречь ему, дабы он разволновался еще больше. Видимо, из моего молчания она поняла, что я раскусил ее уловку, и потому продолжила:

— Как только приспичит, молодые тут же бегут за помощью.

— Если бы я только мог понять, что она нашла в нем.

— Каро не дура. Несмотря на все старания Нелл сделать из нее идиотку.

Я закурил, не дожидаясь конца обеда, хотя Дженни уже сумела отучить меня от этой дурной привычки.

— Я, кажется, начинаю понимать, почему она так любит тебя.

— Я ее тоже люблю.

В этом простом утверждении мне почудился упрек: у меня нет права обвинять Барни в моих же собственных грехах. Меняя тему разговора, я спросил ее о детях. Розамунд уехала из Кембриджа и работает теперь в научно-исследовательском отделе Би-би-си, регулярно приезжая в Оксфорд на выходные. Ее младшая сестра Энн, изучающая филологию, проходит годовую практику в Италии; Энтони настоял, чтобы она не прерывала ее. Младший, пятнадцатилетний Поль, которого я никогда не видел, учится в Дартингтоне [1]. От Каро я знал, что он трудный ребенок — «из него слова не вытянешь», так звучала наиболее запомнившаяся мне характеристика. Из рассказа его матери я не вынес о нем ясного представления — по ее словам, у него нелады с учебой, испытывает он и психологические трудности, но, как ей кажется, это с возрастом пройдет. Впрочем, не исключено, что таким ответом она еще раз подчеркивала, насколько я чужой и далекий от их семьи человек. Потом мы поговорили о Комптоне, об Оксфорде и о том, как последний изменился. Мне даже удалось вытащить из нее кое-какие сведения о ее собственной жизни, ее общественных комитетах и благих творениях; но об Энтони или об их браке не было сказано практически ни слова. Мне все больше становилось не по себе — она демонстративно не спрашивала меня о беседе с Энтони.

Наконец, я осознал, что меня терпят исключительно ради Энтони. Чем больше мы говорили, тем яснее становилось, что у нас нет ничего общего, даже прежний «грех» и неспособность простить его нас более уже не связывают. «Завещание» Энтони выглядело в высшей степени странным, ибо, совершенно очевидно, основывалось, если не на полном непонимании, то на чрезвычайной переоценке отношения Джейн ко мне. Мне осталось только запомнить происходящее, чтобы пересказать все Дженни при нашей ближайшей встрече. Потерять *ее* казалось теперь абсолютно невозможным. Она обязательно должна услышать рассказ об этой и предыдущей сценах — кроме нее, никто не понимает моего языка. Здесь говорят на безнадежно устаревшем диалекте.

Такие мысли носились в моей голове, пока мы ждали кофе,— наступившее молчание было красноречивее слов. Я сделал последнюю попытку:

— Ты останешься жить в Оксфорде, Джейн?

— Не знаю. Все мои нынешние друзья живут здесь. Эндрю предлагает мне переехать к ним в Комптон, но я... Нелл и я, мы обе против этого. Он, пожалуй, недооценивает нашего умения действовать друг другу на нервы.— Джейн затушила сигарету и продолжила, обращаясь к пепельнице.— Не исключено, что я вступлю в коммунистическую партию.

---

[1] Известная частная школа совместного обучения в графстве Девоншир.

Она не подняла глаз, но, должно быть, догадалась о дурацко-удивленном выражении моего лица. После первого потрясения у меня мелькнула мысль, что она шутит.

— Ты серьезно?

— Кстати, Энтони ничего не должен знать. Я еще не решила окончательно. Сама не знаю, чего больше в моем намерении: рациональных соображений или интуиции.

— Тебе показалось, что так надо?

— Да. Все остальное мне кажется менее привлекательным.

— Во всяком случае, твое решение вносит разнообразие в обычный порядок обращения из одной веры в другую.

— Я знаю, что здесь, в Оксфорде, это выглядит дико. Среди нашей утонченной публики.

— Влияние России?

Она едва заметно улыбнулась.

— Ты считаешь ее пример неубедительным?

— Да нет... я хочу сказать, что пример России хорош для отсталых аграрных обществ. Но не для нас.

— Разумеется, у нас ведь отсталое капиталистическое общество.

— Все же, надеюсь, не потерявшее вкуса к некоторым свободам?

Взяв еще одну сигарету, она наклонилась прикурить от моей зажигалки.

— У меня нет иллюзий Жанны д'Арк. Я ненавижу насилие. И догмы тоже. Хотя знаю, что без них невозможны никакие перемены. Я даже хорошей католичкой не сумела стать. Мне нечем похвалиться в этой области.

— И все же?

Она водила пальцем по краешку кофейного блюдца.

— Я наивно мечтаю о высокоорганизованном марксистском обществе. О системе, которая когда-нибудь сможет реализовать теорию на практике... Смотри, например, что Мао сделал для Китая.— Джейн бросила взгляд в другой конец зала.— Отчасти виновата пустота университетской жизни. Ее чопорность. Непрактичность.— Она улыбнулась каким-то своим мыслям.— Не знаю, может, это всего лишь глупая иллюзия, что левые нуждаются не только в думающих, но и чувствующих людях.

Наблюдая, как она снова потупилась, я вспомнил, какой хорошей актрисой она была в любительском театре нашей молодости. Джейн играла с самой первой минуты моего приезда сюда, играла и теперь, правда, уже новую роль.

— И часто у вас такое в Оксфорде случается?

— Я не очень падка на моду, если ты это имел в виду.

— И тем не менее?

— Я знакома с четырьмя — нет, с пятью убежденными марксистами. Одного из них я терпеть не могу.

— И Энтони совсем ни о чем не догадывается?

— Для него не новость мои левые убеждения. И часть из них он даже разделяет. Не думаю, что мое решение его сильно удивило бы.

— Тогда почему ты не хочешь ему все рассказать?

— Боюсь огорчить его.

— Нелл знает?

Джейн сжала губы.

— У нас уже было несколько шумных споров по этому поводу. В последний раз — три дня назад. Она усвоила глупейшие взгляды Эндрю. А вот свой юмор и терпение он ей передать не смог. Для него мое решение — шутка; Нелл же, боюсь, рассматривает его как личное оскорбление.

— Но уж в этом-то я тебя хорошо понимаю.

Если я и получил ответ на свое замечание, то весьма косвенный.

— Дом наш, как ты увидишь, очень большой, и весь он мне едва ли понадобится. Надо будет подумать, что с ним делать, когда все это закончится.— Она снова посмотрела в противоположный конец зала.— Как знать, может, я стану настоящей мымрой. Всеобщим посмешищем: листовки на завтрак, пропаганда на ужин.

— Прекрасно. Именно этим и знаменит Оксфорд.

— В пропаганде разочаровалась только интеллигенция, работающая по найму. Орава же оксфордских профессоров совершенно уверовала в средства массовой информации.— Она помолчала.— Боюсь, что либерализм газет и телевидения уже и мне представляется самым зловещим заговором правых.

— Популярность развращает. Даже сильнее власти.

— Не понимаю, почему самые умные должны быть и самыми развращенными. И тратить свой ум на увековечение социального и генетического неравенства.

— Тебе надо чаще бывать за границей, Джейн. Они просто манекены. Петухи на навозной куче.

— Я живу не за границей. И навозная куча, как ты изволил выразиться,— это моя страна.

— И моя. Но все равно сдаюсь.

Мое признание почти не вызвало ответной реакции. За этими репликами мы уже начали ощущать взаимное раздражение, поскольку, видимо, каждый чувствовал, что недооценил собеседника. Подошел официант, спросил, не хотим ли мы еще кофе, Джейн отказалась. Кофе мне тоже больше не хотелось, но я заказал, чтобы мы посидели еще немного. Официант ушел. Наступила тишина. Я заговорил, не глядя на нее:

— Твои проклятия падают и на мою голову?

— С чего ты взял?

— Я ведь только что говорил с человеком, который *был рад* меня видеть.

Помедлив немного, она сказала:

— Может быть, женщины меняются больше мужчин.— Но потом покачала головой.— Извини. Я искренне и глубоко благодарна тебе за твой приезд.

— Даже несмотря на то, что я стал полуэмигрантом и лакеем капитализма?

Она потупилась и ответила дрогнувшим голосом:

— Ты мне приписываешь очень несправедливые слова.

— Но, признайся, ты ведь не хотела нарушать молчание.

Джейн вздохнула. Я знал, что ее подмывало осадить меня; но за внешним спокойствием я уже различал неуверенность. Она уставилась в свою пустую чашку — словно ответ можно было отыскать только в кофейной гуще.

— Не знаю, что сказал тебе Энтони, но догадываюсь, что речь шла о вещах, которые я считаю сугубо личными. И которые касаются больше настоящего, чем прошлого. Вот и все, поверь мне.— Она помолчала в задумчивости, но потом продолжила, в голосе ее появились более человечные нотки: — Я не могу сейчас воспринимать прошлое, Дэн. Ни в каком виде.

Джейн наконец назвала меня по имени: а я наконец ясно увидел, какого напряжения ей все стоит. И ей, оказывается, ничто человеческое не чуждо. Я ответил не сразу.

— Энтони пытался убедить меня, что вы вдвоем разбили мою семью. А следовательно, и мою жизнь. Я сказал ему, что у вас нет права брать на себя подобную вину. Несмотря на все мои ошибки и неудачи, Джейн, я все-таки наслаждаюсь жизнью; кроме того, у меня всегда хватало сил, чтобы самому расстроить свою семейную жизнь. Что я, собственно, и сделал. Это во-первых. А во-вторых — он надеется, что мы с тобой снова станем друзьями. Я сам прихожу к выводу, что в твоей жизни

пугающе мало людей без стыда и совести. Надеюсь, что один такой тебе не помешает. Завтра мне предстоит отчитаться об этом Энтони. И Каро. Очень не хотелось бы убивать чужие надежды.

Она долго сидела, уставившись в пространство и не замечая меня, время от времени на губах ее появлялась жалкая улыбка.

— А ведь Нелл предупреждала меня.

— О чем?

— О твоем умении, как она выражается, «выпячивать чужие ошибки».

— Когда-то и ты могла кому угодно дать фору в этой игре.

— Видимо, давно не тренировалась.

— Не пойму я, Джейн, почему ты так упорно прячешься за маской.

— К тебе лично это не имеет отношения. Меня возмущает роль, которую тебе навязывают. И совершенно непонятно, за какие грехи.

— Если не ошибаюсь, одно из определений фашизма — это вера в то, что у тебя есть право выносить суждение за других людей?

Не поднимая глаз, она прошептала:

— Я уже не тот человек, которого ты знал, Дэн. Прости, что не смогла скрыть это. Ты тут ни при чем.

Дэн раздумывает, а потом над белой скатертью стола дотягивается до ее руки и прикасается к ней. Она не произносит ни слова. Он зовет официанта.

На улице туман сгустился — природа жила далеко не в унисон с нами. Видимость была настолько скверной, что машин не было совсем. Я знал, что мы едем по Бэнбери-роуд, но потерял всякое ощущение расстояния. Джейн вела машину очень медленно, напряженно всматриваясь в дорогу. Говорили мы урывками, в основном о ее политических убеждениях. Я не спорил, а только осторожно задавал уточняющие вопросы. Она говорила, чуть ли не осуждая себя и почти извиняясь; дескать, вопрос для нее носит во многом эстетический характер: в политическом букете Великобритании должен присутствовать и красный цвет; а всеобщий послевоенный британский антикоммунизм был-де формой несправедливого социального остракизма. Британия, по ее мнению, нуждалась в своих Солженицыных не меньше, чем Россия. В ее позиции было немало и от феминистских выкрутас немолодой женщины, и от желания поразить окружающих, и от боязни раннего вдовства с его пугающей пустотой. Мне также вдруг ясно увиделась в ее намерении и оксфордская эксцентричность. Интересно, мелькнуло у меня в голове, понимает ли она, что означало бы подобное решение в Соединенных Штатах, где церемониться не привыкли.

С Бэнбери-роуд мы свернули в боковую улочку. Наконец Джейн, сделав вираж, направила машину в ворота и остановилась у гаража. Я взял свою сумку с заднего сиденья и подождал, пока она запрет машину. В окнах цокольного этажа, где, судя по всему, помещалась кухня, горел свет. Столбы света с трудом пробивали туман и из окон первого этажа. Из тумана появилась стена дома —викторианский кирпич с белой отделкой,— потом ступеньки, крытое черепицей крыльцо.

Джейн остановилась, ища в сумочке ключи. На цветных стеклах парадного появилась размытая тень, и, прежде чем Джейн нашла ключи, дверь открылась. На пороге стояла тоненькая девушка-француженка, одетая в джинсы и черный свитер: очки в золотой оправе, косички с красными бантами, лицо из расиновской «Федры».

За дверью

Я не успевал следить за быстрой французской речью, но все-таки понял: девушка просто в отчаянии, что не смогла связаться с нами раньше. Мы вошли в прихожую. Багрово-красные стены и непомерно массивные викторианские перила с резьбой, выкрашенные в белый цвет,

поражали. На стенах я заметил несколько симпатичных картин; в углу стояла резная чугунная подставка для шляп, тоже выкрашенная в белый цвет. В этом театрализованном красно-белом пространстве было что-то от прежней Джейн, хотя в тот момент я этого не понял. Девушка продолжала суетиться и нервничать. Джейн, успокаивая, обняла ее. Я спросил, что случилось.

— Несколько раз звонили из больницы.— Джейн сделала гримасу, как бы извиняясь за беспокойство.— Познакомься с Жизель, Дэн.

Девушка молча сделала какой-то судорожный книксен.

— Пожалуй, я все-таки выясню, в чем дело. А ты иди и выпей чего-нибудь. Я сейчас.

Она жестом попросила Жизель проводить меня. Телефон стоял в прихожей на столике.

— А они сказали, в чем дело?

— Временами он с трудом засыпает. Тогда я ему читаю вслух.— Джейн бросила взгляд на девушку.— Мы сейчас тревожимся по любому поводу.— Она улыбнулась.— Там есть «арманьяк». Смелее.

Я вошел за француженкой в гостиную. Комната располагалась по всему фасаду дома — по существу, это были две комнаты, соединенные в одну едва заметным арочным пролетом. И снова картины и гравюры, множество книг, удобная старая мебель, рояль в дальнем конце, у стены, смотрящей в сад,— он напомнил мне о том, что в молодости Джейн вполне сносно играла. Один угол был отдан древней керамике — древнегреческие глиняные фигурки на пластиковых кубах, маленькая чаша. На каминной полке выстроились пригласительные билеты — старая оксфордская причуда; там же стояла терракотовая голова мальчика — видимо сына. Вещей и мебели в гостиной было многовато. Впрочем, все это я заметил позднее. Француженка сразу закрыла за нами дверь, она не скрывала своей тревоги.

— Они не сказали, что случилось?

Молча посмотрев на меня, она покачала головой:

— Je m'excuse, monsieur. Je suis...[1] — И снова покачала головой. Я предложил ей сигарету.— Non, non...[2] Все нормально.

На самом деле я уже почти догадался, в чем дело, или, во всяком случае, надеялся на это: после нашего ухода Энтони все обдумал и, видимо, почувствовал необходимость снять с себя добровольно наложенный обет молчания и поговорить с собственной женой.

Из-за двери послышался голос Джейн, но слов нельзя было разобрать. Я стоял у камина, девушка, словно сторожевая собака, так и не отходила от двери. Показывая рукой на бар, она сумела осилить английскую фразу:

— Если вы хотите что-нибудь выпить...

— Все в порядке. Не беспокойся. Я сам справлюсь.

Бутылки стояли на маленьком консольном столике в дальнем конце гостиной. Я налил себе виски. Девушка продолжала стоять у двери, откровенно прислушиваясь к голосу за дверью. Я подошел к роялю и посмотрел на тонущий в тумане сад, раскинувшийся за домом. Может, из-за тоскливого одиночества за окном или из-за ватной тишины я вдруг почувствовал себя совершенно ненужным, посторонним. У окна стояло кресло в стиле Жакоб[3], на нем лежала книга «Избранные отрывки из «Тюремных тетрадей» Антонио Грамши». В книжке были закладки, Джейн, очевидно, читала ее, и я взял том в руки. Многие места были помечены карандашом, попадались и жирные двойные отчеркивания на полях. *«Ибо каждый индивидуум есть продукт не только существующих отношений, но и истории этих отношений». «Структура перестает*

---

[1] Прошу прощения, месье... Я... *(франц.)*

[2] Нет, нет *(франц.)*.

[3] Жакоб — семья французских мастеров мебели XVIII—XIX вв.

быть внешней силой, которая подавляет человека, подчиняет себе и делает пассивным, и преобразуется в средство свободы, в инструмент создания новой этико-политической формы и в источник новых инициатив». Последние восемь слов были дополнительно подчеркнуты в самом тексте. Я небрежно листал страницы в надежде найти хоть какие-нибудь письменные комментарии Джейн, но их не было... Только в одном месте кроме отчеркиваний стоял еще и восклицательный знак. *«Философия практики есть противоречивое познание мира, в котором сам философ, рассматриваемый и как индивидуум, и как целая социальная группа, не только осознает противоречия, но мыслит самого себя элементом противоречия и поднимает этот элемент на уровень принципа познания, а следовательно, и действия».*

Я положил книгу на место, мне не хотелось, чтобы девушка заподозрила меня в нескромности, но она, похоже, совершенно забыла обо мне, напряженно вслушиваясь в разговор по телефону за дверью. Я принялся разглядывать другие книги, стоящие на многочисленных полках вдоль стен: сомкнутые молчаливые ряды философов и записных мудрецов. За дверью раздался характерный щелчок: телефонную трубку положили на рычаг. Девушка отошла от двери. Но, судя по доносившимся звукам, Джейн снова набрала номер телефона, а через какое-то время послышался и ее тихий голос. Разговор длился недолго. Трубку снова положили на рычаг. Наступила полная тишина. Француженка посмотрела на меня почти с ненавистью и отвернулась. Я подождал еще немного, поставил стакан на столик и, изобразив на лице улыбку, вышел в прихожую.

Опустив руки в карманы пальто, Джейн неподвижно стояла у входной двери, спиной ко мне, и смотрела в ночь. Хотя она, видимо, слышала мои шаги, но не обернулась.

— Джейн?

Она не шевельнулась. Я подошел ближе.

— Что-нибудь случилось?

Она полуобернулась, на ее губах появилась едва заметная улыбка — у меня возникло ощущение, будто я сказал какую-то невообразимую глупость.

— Наверное, сразу после нашего ухода. Он сумел выбраться на балкон.— Она снова смотрела в ночь.— И перелезть через перила.

— Не может быть!

— Увы, может.

— Насмерть?

— Врачи считают, что смерть наступила мгновенно.— Она слегка пожала плечами.— Когда его нашли, все было кончено...

Я сделал еще один шаг, поражаясь ее самообладанию; оно потрясло меня больше, чем само трагическое известие.

— Джейн?

Она почти незаметно кивнула. Я услышал за спиной шаги француженки, подошел к Джейн и взял ее за руку.

— Ради бога, иди сядь.

— Я себя чувствую нормально, Дэн. Я только что позвонила своему врачу и попросила ее не приходить.— Она прикоснулась к моей руке, но лишь затем, чтобы освободить свою. Потом с улыбкой повернулась к француженке, которая заговорила первой.

— Je ne savais pas comment...[1]

— Oui, oui. Il n'en voulait plus. C'est tout[2].

Девушка закрыла лицо руками. Джейн спокойно подошла к ней, обняла, поцеловала в голову и что-то прошептала. Девушка подняла на нее глаза — я не знаю, чего было больше в этом взгляде, удивления англосаксским хладнокровием или ужаса... Джейн повернулась ко мне.

[1] Я не знала как... *(франц.)*.

[2] Да, да. Он больше не хотел жить. Вот и все *(франц.)*.

— Я бы выпила чашку чаю.

— Тебе надо выпить чего-нибудь покрепче.

— Нет, я бы все же предпочла...— Она улыбнулась Жизель.— Иди-иди.

Девушка неуверенно сделала несколько шагов, еще раз осуждающе посмотрела на меня, а потом спустилась на кухню. Мы с Джейн вошли в гостиную.

— В голове не укладывается.

— Понимаю.

— Они сказали как?..

— Медсестра, которая была у него перед сном, говорит, что он выглядел как никогда умиротворенным. Вспоминал о тебе.

Она наклонилась к столу и взяла из коробки сигарету, я дал ей прикурить.

— А он раньше никогда не пытался?..

Она глубоко затянулась и выпустила дым.

— Нет. Никогда.

— И никакой записки?

— Пока не нашли.

Джейн отвернулась к камину. Там уже лежали поленья, оставалось только зажечь их.

— Может, они в чем-то ошиблись? Передозировали наркотики?

Она покачала головой:

— Не думаю. Они...

— Но почему именно сегодня?

Она молча подошла к окну гостиной, выходящему на улицу. Я теперь видел только ее спину. Подняв руки, она провела ими по волосам и на мгновение сжала шею чуть пониже серебряного гребня — казалось, будто она после сна пытается стряхнуть с себя ночной кошмар.

— Тут нет твоей вины, Дэн. Ни на йоту.

— Прошу тебя, сядь, пожалуйста.

— Не волнуйся. Я себя чувствую нормально. Я была готова... Так или иначе, это должно было вскоре случиться.

Я подошел к ней.

— Идем. Дай я сниму пальто.

После недолгой заминки она расстегнула пуговицы, и я снял с нее пальто. Угрюмое выражение ее лица говорило скорее о смертельной обиде, чем о глубоком потрясении. Положив пальто на спинку дивана, я пошел через всю комнату к столику с напитками. У меня перед глазами стояло лицо Энтони, и я почти явственно слышал его голос — непостижимо, как мы, сидя с Джейн в ресторане, даже не подозревали, что можем навечно потерять другого человека, который, как мы считали, был рядом и с нами? Мне вспомнилась его фраза об «исправлении ошибки провидения» — сколько же в ней таилось отвратительной, зловещей иронии. Отпущение давнего греха или же желание показать мне цену такого отпущения грехов каким-то необъяснимым образом приобрели в его глазах бóльшую значимость, чем новый «грех» самоубийства. Он, конечно, был на пороге смерти, и его добровольный уход лишь на несколько недель поторопил Атропос [1], но выбрать такое время... меня не покидало ощущение, что со мной сыграли скверную шутку. Я вернулся к Джейн с рюмкой коньяку.

— Выпей сам. Я действительно не хочу.

— Только один глоток, пожалуйста.

Она подчинилась, пригубила коньяк, но тут же поставила рюмку на подоконник.

— Какой ужас, что мы втянули тебя во все это. Простить себе не могу.

Я сказал мягко:

[1] В греческой мифологии одна из богинь судьбы, отрезающая нить жизни.

— Постарайся пожалеть его.

Джейн с необычайной тщательностью затушила недокуренную сигарету.

— Мне жалко нас обоих, Дэн.

На мгновение в голосе ее зазвучали нотки неподдельного отчаяния. Но, будто сожалея даже о такой незначительной уступке обычным чувствам, она тут же посмотрела на часы.

— Надо сообщить Розамунд. И Нелл.

— Я сам позвоню Нелл.

Она помолчала.

— Ладно. Раз уж ты так хочешь.

— Хочу.

Она глубоко вздохнула.

— Страшно подумать о предстоящей суете и всех хлопотах.

— Я попрошу Нелл заняться этим.

— Наверное, будет дознание.

— Ничего страшного.

— Они спросили, придешь ли ты завтра утром со мной в больницу.

— Кто ж тебя одну отпустит?

— Мне так неловко, я...

— Глупости.

Она опустила голову, хотела что-то сказать, но тут вошла Жизель, и Джейн с видимым облегчением принялась освобождать место для подноса с чаем на мраморном столике, стоявшем напротив камина. Девушка попыталась уйти, но Джейн остановила ее. Чаю мне не хотелось, я взял свой стакан с виски. Потом решил позвонить Нелл.

Внутренне я молился, чтобы к телефону подошел Эндрю; там долго не отвечали, но в конце концов бог внял моей молитве. Я с облегчением услышал нормальную реакцию: сначала потрясение, а потом соболезнование. От немедленного приезда я его отговорил, хотя, по его словам, у них в Комптоне тумана нет. В Оксфорде они будут завтра к полудню. Нет, ей бы не хотелось говорить с Нелл сегодня; да, я обязательно передам ей, что они все «убиты горем». Да, конечно, я продержусь до их приезда. И, разумеется, я тоже буду очень рад снова повидаться с ними.

Я вернулся в гостиную, а Джейн, взяв с собой чашку чая, заняла мое место у телефона. Она звонила не меньше двадцати минут, а я тем временем пытался вести беседу с молоденькой француженкой: откуда она родом, как давно в Оксфорде... из Экс-ан-Прованса, уже месяц, младшая дочь Джейн, естественно, живет сейчас у ее родителей во Франции. Я не мог себе представить, что может думать эта девушка о флегматичных англичанах, их чудовищном хладнокровии, об их наивных вопросах про Сезанна и разрушение Лазурного берега. Джейн вернулась, уже овладев собой, Розамунд разрыдалась, но потом вдруг решила, что, может, оно и к лучшему... Она будет здесь завтра днем. Потом поговорили о самом обыденном: что Жизель купит завтра к столу, кто где будет спать, как сообщить о случившемся Полю и Энн...

В половине первого Жизель ушла на кухню с подносом грязной посуды, а Джейн повела меня в «мою» комнату — на самом деле в комнату отсутствующего Поля. На стенах висели рисованные плакаты: образцы английской архитектуры, средневековое оружие — все было тщательно пронумеровано и снабжено аккуратными подписями. Очень много книг и пугающе мало обычной мальчишеской дребедени. Ясно было, что мальчик увлечен историей и что здесь растет будущий профессор. Джейн придирчиво оглядела комнату, проверяя, все ли для меня приготовлено. Она уже снова играла роль гостеприимной хозяйки, встречающей важного делового или просто случайного гостя, которому недосуг вникать в досадные неприятности чужой жизни.

— Тебе действительно не нужна моя помощь, Джейн?

— Действительно. Не волнуйся, пожалуйста.— Она посмотрела на кровать.— Надеюсь, что матрас не очень жесткий.

— Ты наверняка догадываешься, что меня не жесткость матраса сейчас тревожит.

Джейн посмотрела мне в глаза, я не улыбнулся. Она снова отвернулась.

— Каждый спасается как может.

— Энтони был со мной хотя бы откровенен.

Она посмотрела на окно. Занавеси были уже задернуты, но она сделала вид, что задергивает их поплотнее. Она была без жакета, в ее манере стоять и бесцельно возиться с занавесями сквозило что-то наивное и детски-упрямое. Словно она ждала, чтобы ее отговорили от этого занятия.

— Он сказал, что у вас с ним не все было гладко.— Я ждал ее ответа, но она промолчала.— Мы не знаем, что он хотел сказать этим ужасным шагом, но я не думаю, что нам следует делать вид, будто ничего не произошло.— Я попробовал более практичный путь: — Как бы то ни было, нам надо хотя бы обсудить, что мы будем говорить завтра. В официальной обстановке.

Наконец, она отвернулась от окна, хотя на меня по-прежнему не смотрела.

— Ты, наверное, очень устал.

— Я все еще живу по калифорнийскому времени. И, прошу тебя, сядь, пожалуйста.

Около нее стоял виндзорский стул. Она посмотрела на него, словно ранее никогда не видела, чуть отодвинула от стола и, скрестив руки на груди, села ко мне вполоборота.

Я присел на край кровати, тоже вполоборота к ней.

— Хочешь, я расскажу тебе о нашем разговоре?

— Если считаешь нужным.

Я наклонился, поставив локти на колени, и заговорил, тщательно подбирая слова: о его покаянном настроении, о чувстве вины за то, что погубил в ней личность, о моих возражениях; о том, что он отмел мои возражения ссылкой на мое длительное отсутствие... Я замолчал, наступила тишина.

— Он как-то объяснил, зачем все это рассказывает?

— Да, сказал, что ты призналась ему в нашем грехе. Еще до свадьбы.

После красноречиво долгой паузы она ответила по-прежнему тихим голосом:

— Это правда. Призналась.

— Жаль, что я не знал.— Она молчала.— Энтони считал, что все беды из-за этого.

— Из-за того, что я сказала ему? Или из-за того, что мы не сказали тебе?

— Мне показалось, что он имеет в виду и то и другое. Ту неискренность, которая за этим последовала.

— Мы ведь обсуждали, сказать тебе или нет. И решили, что не следует.

— Почему? — Она молчала. Я вздохнул.— Джейн, все обратят внимание, какое время он выбрал для своего ужасного шага. Нам придется говорить об этом.

Она еще помолчала, но все же ответила на мое «почему?»:

— Из-за твоих отношений с Нелл.

— И это все?

— Сыграло роль и чувство самосохранения. Я понимала, что предала тебя. И Энтони тоже. Ему было легче делать вид, будто в душе он простил тебя. Тем более, что о реальном прощении и речи быть не могло.— Поколебавшись, она продолжала: — Человек легко оправдывает те поступки, которые ему хочется совершать.

— Он все время говорил об исправлении ошибки провидения. Под этим он, кажется, имел в виду некий мифический брак между тобой

и мной, который, как ему представлялось, он... расстроил.— Я выжидательно смотрел на нее, но она молчала.— Словно ты была запертым шкафом, единственный ключ от которого находился у меня. Я твердо убежден, что он не только жил в прошлом, но и вычеркнул из своей памяти многие последующие события. Я намекнул ему на это. Он он, кажется, ничего не понял.

Я ждал ее ответа. Дверь в гостиную была открыта, и было слышно, как француженка поднимается по лестнице. Этажом выше тихо закрылась дверь, и над нашей головой раздались ее слышные шаги, так уже было однажды, правда, совсем в иных обстоятельствах.

Наконец Джейн сказала:

— Боюсь, что во многом он навсегда остался подростком.

— Кто же знал, что дела обстоят так плохо?!

— Наш брак держался только на тайнах. На запретных зонах.

— Тот, кто знал вас в молодости, с трудом поверит в это.

— Думаю, что наша хваленая искренность в те времена была всего лишь...— Она не закончила фразы.

— Ну, а чем же, как не предельной искренностью объяснить твое признание?

— Верно, и все же наш брак покоился на тайне.

— Недолго.— Она не ответила.— Когда ты ему сказала?

— Когда мы были в Штатах. Летом.

— Он очень переживал?

Она горестно покачала головой, тяжело вздохнула:

— Всю жизнь он как малое дитя не придавал значения подсознанию, и это сказалось на многом. В то время мы, конечно, этого не понимали. Кто понимает такие вещи в молодости? Но постепенно, с годами, рассказывать друг другу о своих истинных чувствах нам становилось все труднее...

— Но ты хотя бы догадывалась, зачем он вызвал меня сюда?

— Я подозревала, что он попросит тебя в той или иной форме оплатить счет за свое покаяние.

— Ну, это ты слишком.

— Тебе, к счастью, не пришлось узнать на своей шкуре, что такое католическое лицемерие.

Я улыбнулся, все еще не глядя на нее:

— Которого твоя новая вера лишена совершенно?

— Ее приверженцы, во всяком случае, больше пекутся о спасении общества. А не самих себя.

Я вспомнил его слова о том, что все улучшения в мире начинаются с отдельной личности. По крайней мере отчасти, это, видимо, было запоздалым наставлением самому себе; а также, возможно, и реакцией на глубочайший пессимизм женщины, которая сейчас сидела рядом со мной. Но мне совсем не хотелось пускаться в общие рассуждения.

— В конце концов, его трагический шаг можно объяснить очень просто. И думаю, это поймут.

— Еще бы не понять?!

Каждое предложение, и особенно последнее, она говорила, словно завершая разговор — дело, дескать, ясное. Я предложил ей сигарету, ожидая, что она откажется и, воспользовавшись паузой, уйдет: но сигарету она взяла. Я встал, чтобы дать ей прикурить, потом снова сел на кровать, уже лицом к ней; не отрывая взгляда от занавесей, она наконец заговорила:

— Мы все-таки как-то справлялись. В обыденной жизни мы не были несчастными. На многое смотрели одинаково. А потом, дети.

— Он еще сказал, что безмерно благодарен тебе.

Она кисло усмехнулась.

— В его профессии это называется целование креста.

— Не верю.

Несколько секунд она молчала.

— Он страдал из-за меня, Дэн. Ужасно страдал.

— Вы никогда не обсуждали возможность развода?

— Обсуждали несколько раз. До его болезни.

Снаружи послышался шум медленно подъезжающей машины, и я решил, что кто-то приехал к Джейн. Машина даже притормозила у дома, но потом столь же неспешно уехала.

— И что же вас остановило?

— Самые обычные вещи. Чувство общей вины. Ты понимаешь, когда наделаешь множество ошибок, разрыв представляется... очередной из них. Да и дети.— Она бросила взгляд на изголовье кровати.— Особенно Поль. Ему доставалось больше других. Девочки понимают. Розамунд — умница, все знает, она мне... здорово помогает.

— Зачем же ты все-таки рассказала ему о нас?

Она покачала головой, ибо теперь уже сама не знала этого.

— Может, религия повлияла? Моя голова тогда была забита католической ерундой о грехе и искуплении. Энтони, ищущий правду! Тогда я еще не знала, что поиски правды всегда заканчиваются у него приступом мазохизма.— Последнюю фразу она произнесла уже без горечи, почти сухо.— Возможно, он зря женился на мне, но едва ли что-нибудь было иначе, если бы я полностью соответствовала его представлениям о непорочности. Все дело в темпераментах... эмоциях. Может быть, даже в испорченности.— Она сделала гримасу.— В нас нет ничего необычного. Для Северного Оксфорда мы почти заурядная супружеская пара.

— Он говорил, что много лет буквально ненавидел меня.

— Не принимай всерьез высказываний католических умников о самих себе. Они прекрасно научились делать из мухи морализирующего слона. Он всегда чувствовал себя неуверенно как мужчина. Вот и все. А тут ему представилась такая замечательная возможность разыграть евангельскую сцену прощения грешницы: Иисус и женщина, взятая в прелюбодеянии.— Она встала, подошла к комоду, стоявшему у двери, взяла пепельницу, поставила ее на кровать рядом со мной и снова села.— Вспомни, что ты говорил за ужином. В разрыве с Нелл ты можешь винить только самого себя. То же самое и у нас.

— Ну уж совсем безгрешной я Нелл не считаю.

— Конечно нет. Для разрыва нужны двое.— Она смотрела на свои руки и кольцо сигаретного дыма, поднимавшееся над ними.— Хорошо ему, лежа на смертном одре, говорить, что он навечно мне благодарен. Этот дом не может похвастаться тем, что здесь часто произносили такие слова.— Она снова покачала головой.— Это так нечестно. Если сейчас ты не благодарен, зачем тебе вечность?! — Теперь уже *я* ждал, что она скажет дальше.— Мы со временем научились определять опасные зоны. Какое-то время я устраивала ему скандалы. Но для такого времяпровождения мы слишком цивилизованы. Чересчур ленивы. Можно два часа прожить в обстановке ибсеновской «Гедды Габлер». Но не десять лет.— После небольшой паузы она добавила: — От постоянных размышлений над собственными проблемами человек нечеловечески устает.

— Я понимаю, что ты имеешь в виду.

Сверху донесся очень слабый, едва различимый звук музыки из радиоприемника. Я представил, как француженка судорожно строчит письмо домой или запись в дневнике. И вдруг в молчании, не похожем на все, что происходило этой ночью, но столь типичном для прежней серьезной Джейн, почти как в сказке возникло наше прошлое и мы стали прежними. Взаимная симпатия, сохранившаяся с тех давних пор, окрасилась в кротко-печальные тона — так бывает, когда случайно наткнешься на любимую старую одежду, которую уже более не наденешь. Я не был даже уверен, что она не обманывает меня, не прячет свои истинные мысли под видом искреннего признания. Для удовлетворения моего законного любопытства она могла ограничиться самой банальной версией событий. Я никогда не разделял «высокую» теорию трагедии: что толь-

ко-де падения великих могут достигать трагических высот. Но зная, как часто воспоминания детства приобретают преувеличенный вид в рассеянной памяти взрослого (ибо любое возвращение есть форма ложного пафоса), я видел и свою вину в создании «высокой» легенды о нашем совместном прошлом.

— Нелл знала правду о ваших отношениях?

— Догадывалась.— Джейн откинулась на спинку стула.— В отсутствии любопытства ее, впрочем, не упрекнешь. К счастью, когда он заболел, она милосердно прекратила свои расспросы. Кажется, она еще пыталась вытянуть кое-что из Роз, но...

— Мне это знакомо. С Каро она вытворяла то же самое.

— С тех пор, как она сделалась хозяйкой Комптона, с ней стало еще труднее. В этих замкнутых мирках человек чувствует себя в безопасности, только если держит все под контролем.

— Могу себе представить.

— Я теперь уже не знаю ее. По крайней мере, с этой стороны.— Потом добавила: — Последние несколько месяцев она прекрасно себя вела. Если бы она только не заставляла всех жить по-своему.

— Сомнений она не признает.

— Это не только ее вина. Я сама разучилась быть такой, какой меня хотят видеть другие. Боюсь, что разочаровывать людей стало у меня дурной привычкой. Ты и сам, должно быть, это заметил.

Я улыбнулся, наверное и потому, что не улыбнулась она.

— Без тебя не заметил бы.

— Я говорю себе, что просто ищу утерянную честность.

— Странное наречие ты употребила.

— Тогда так: я честно ищу утраченную простоту.

— Вот уж чего я в тебе никогда не замечал.

— Мы все учились в плохой школе.

— Пожалуй.

Снова наступило молчание. Я протянул пепельницу, она загасила сигарету и заговорила живее:

— Тебе очень повезло, что ты живешь в мире, который знает о своей искусственности. Со времени Фредди Айера [1] у нас нельзя не быть футбольным фанатом. Я тебе не завидую, если на обеде, устроенном философским обществом, ты не сможешь принять участие в обсуждении последнего матча команды «Ливерпуль», системы «четыре—три—четыре» или проблемы «блуждающего форварда».

— Жаль, что ты не слышала, как кинопродюсер, претендующий на интеллектуальность, обсуждает Леви-Строса [2].

— Но ведь старается?

— И серьезнее, чем ты можешь себе представить.

Улыбаясь, мы отвели глаза друг от друга. Музыка наверху смолкла, в доме и в городе воцарился покой. Я представил, как Энтони лежит на спине, уставившись невидящим взором в безжизненную бесконечность, и все же каким-то образом прислушивается к нашему разговору. Джейн снова скрестила руки на груди.

— Я, пожалуй, все-таки скажу тебе, Дэн. Этого никто не знает.— Она снова уставилась на занавеси.— Когда я услышала, что Энтони хотел, чтобы мы вновь стали друзьями, я почувствовала... громадное облегчение.— Она подняла на меня глаза.— В моей жизни есть еще один мужчина. Вот уже два года. Мы были очень осторожны. Я боялась, вдруг Энтони догадывается.

— Будь это так, он сказал бы мне. И все же я очень рад за тебя.

Она пожала плечами — моей радости поубавилось.

---

[1] Алфред Джулс Айер (р. 1910) — английский философ, представитель неопозитивизма, преподавал в Оксфорде.

[2] Клод Леви-Строс (р. 1908) — французский этнограф и социолог, один из виднейших представителей структурализма.

— Все это так сложно. Он тоже преподает в Оксфорде философию. Правда, сейчас его здесь нет. Он получил отпуск и уехал на год в Гарвард [1]. Пишет книгу об Уильяме Джеймсе [2].

— Не вижу причины изводить себя.

— Просто... смешно, какое-то кровосмешение. Он наш давний общий друг. Я хорошо знаю его бывшую жену. Она уже снова замужем. И живет в двух шагах отсюда.— Джейн сделала строгое лицо.— Ситуация в духе Айрис Мердок [3].

— Ты собираешься за него замуж?

— Эта идея обсуждалась в самом общем виде.

— Идея прекрасная.

— Он на несколько лет моложе меня. Ты понимаешь, в мои-то годы. Здесь... есть проблемы.— Она помолчала.— Когда-то он был студентом Энтони. В философии они разошлись, но мне кажется, что в этом есть и Эдипов подтекст. И как положено, не обошлось без Иокасты [4].

— Он твой политический единомышленник?

— Нет. Он лейборист, и весьма активный.— Помолчав, добавила: — Любое более левое движение он считает несерьезным. Ты ведь знаешь, как преподаватели реагируют на несогласие с их взглядами: тут же начинают наставлять зарвавшегося студента на путь истинный.

Я улыбнулся.

— Как понимаю, он тебе все равно нравится?

— Да, очень. Я получаю от него удивительно смешные письма. Он сравнивает мерзости Гарварда с нашими. Он и Энтони пишет. Часто мне приходится выслушивать одну и ту же историю дважды.— Потом она сказала без всякой связи с предыдущим: — Иногда мне хочется, чтобы слово «этика» больше никогда при мне не произносилось.

— Мой собственный опыт подсказывает, что это ничего не упрощает.

— Мне осточертел хваленый оксфордский дух. Маленькие вундеркинды играют во взрослых.

— Но теперь-то вам ничего не мешает? Даже этика?

— Только мое инстинктивное убеждение, что он был бы куда более счастлив с кем-нибудь помоложе. Не со мной.

— Это ему решать. И поверь мне, у молодых в этой области тоже есть свои проблемы.

— Нелл была бы счастлива услышать это.

— Тогда я запрещаю тебе передавать ей мои слова.

Она улыбнулась.

— При условии, что ты будешь хранить мою тайну.

— Разумеется.

— Он хотел отказаться от этой годовой командировки в Гарвард, но я настояла.

— Что тебе мешает уехать к нему после требуемого для соблюдения приличий срока?

— Не знаю, как все это отразится на Поле.

— Трудный ребенок?

— У него хватает ума справляться со своими трудностями. А вот чувства он старается подавлять. Видимо, подражает родителям. Лучше бы у меня была еще одна дочь. Поль почти во всем берет пример со своего отца.

— И пытается отторгнуть тебя?

— По-своему, да.

— Это пройдет.

---

[1] Имеется в виду Гарвардский университет в США.

[2] Уильям Джеймс (1842—1910) — американский философ и психолог, один из основателей прагматизма.

[3] Айрис Мердок (р. 1919) — современная английская писательница, тяготеющая к экзистенциализму. Действие многих ее романов происходит в университетской среде.

[4] В греческой мифологии фиванская царица, мать и затем жена Эдипа.

— Если, конечно, ему не покажется, что я отторгаю его.

— Он ладит с твоим другом?

— Да. Ладит.— Она разгладила складки на брюках.— Боюсь, что Полю не избежать серьезного потрясения, если мой друг станет его отчимом. А ведь есть и другие проблемы. У него большие нелады с учебой. Очень своенравный ребенок — скучным предметом его ни за что не заставишь заниматься. Даже и пытаться не будет. Совершенно неуправляемый. Зато от истории и всего, что с ней связано, за уши не оттащишь. Скверный маленький однолюб.

— Ты не должна ради него жертвовать своим счастьем.

Ее карие глаза изучающе смотрели на меня: я успел заметить в них прежние искры огня.

— Думаю, вы с Розамунд найдете общий язык.

— Значит, она тебе говорит то же самое?

Джейн кивнула.

— Я согласна. Надо просто... правильно выбрать время.— Джейн взглянула на часы.— Кстати...

Была половина второго, но ни она, ни я не двинулись с места. Я смотрел в пол.

— Ты не сердишься, Джейн, что я настоял на этом разговоре?

— Я сержусь, что втянула тебя во все это.

— К сожалению, меня втянули слишком поздно.— Она молчала.— Сколько времени прошло. Мне не дает покоя странная мысль, что если бы мы не расстались, все было бы по-иному. Не знаю... но каким-то удивительным образом мы дополняли друг друга. Даже Нелл.— Джейн по-прежнему молчала, но уже без прежней враждебности.— С тех пор все покатилось вниз. Как ты и предсказывала.

— Все черно?

— Нет. Конечно нет. Но слишком уж много искусственного.

Мы снова замолчали, она, наконец, встала, поставила стул на прежнее место и проговорила, не поднимая головы:

— Ситуация банальна, Дэн. Даже несмотря на то, что случилось сегодня вечером.— Она взяла пепельницу, поставила ее на комод и продолжала, не оборачиваясь: — Ты приехал в очень плохое для меня время. И все же надеюсь, что мне удалось сохранить чувство юмора.— Она повернулась ко мне с улыбкой.— Просто я не способна доказать это сейчас.

— А я не забыл тебя в роли Лидии Лэнгвиш [1].

— Вспомнил!..— Она неловко пошла к двери.— Я сказала, что в больнице мы будем в десять.

— Тогда разбуди меня.

Она кивнула, постояла, возможно раздумывая, стоит ли на прощанье поцеловать меня в щеку — или дружески обнять? — и решила, что не стоит.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Дверь за ней закрылась. Через мгновение Дэн уже стоял перед зеркалом, которое висело над комодом. Выглядел он очень скверно, чувствовал себя не лучше. Через пять минут он выключил свет и лег в постель, но сон не шел. И все же он ощущал облегчение, которое человек испытывает после тяжелого, но успешного рабочего дня, когда тело уже расслабилось, а мозг еще не может остановиться. В нем словно бы проснулись прежний интерес к жизни, ирония, тяга к тайне провидения. Ему следовало бы горевать об Энтони или, по крайней мере, испытывать чувство вины, но даже сама мысль о горе и вине доставляла ему удовольствие. Он казался себе значительным и интересным — если не собственными достоинствами, то, по крайней мере, случайными поворотами своей судьбы. Он никогда, во всяком случае ни разу после разрыва

[1] Героиня комедии Р. Б. Шеридана «Соперники».

с Нелл, не пытался усложнить свою и без того достаточно сложную жизнь, но сейчас более не жалел о приезде в Оксфорд, а следовательно, и о новой встрече с прошлым. Значит, чего-то в себе он ранее не замечал.

Подобно всем анализирующим свое дело писателям, Дэн связывал успех в литературной работе с нарушением общепринятых правил; а точнее, с соблюдением равновесия между ожидаемым, то есть подчиняющимся законам ремесла, и неожиданным, которое-то и составляет основную социальную функцию искусства. Свое нынешнее metier [1] он порицал, в частности, за то, что оно вынуждает соблюдать сложившиеся правила в ущерб творческой новизне и что даже малейшее отступление от его священных канонов требует воистину героических усилий. Экспериментатором, литературным авангардистом он не был, но в то же время он никогда не стал бы писателем, если бы обычная жизнь вполне удовлетворяла его глубинные психологические наклонности. И теперь Дэн чувствовал, что сама жизнь подтверждает его точку зрения: ломает законы, на которые он, может, и не покусился бы, если бы придумал подобную ситуацию; совершает чудеса если не с самой причинностью, то с временным совпадением или несовпадением результатов причинных связей. Это было похоже на нарушение устойчивой статистической вероятности, счастливое освобождение из трясины, на ободряющее послание из глубин реальности в выдуманный мир искусства.

Он вспомнил Дженни, подумал, как далека она от него и, к счастью, от всего символического и архитипичного в этой мальчишеской спальне. Англия. Оксфорд с его усложненностью... средний класс и средний возраст... Он заснул.

Мистер Specula Speculans похрапывает сейчас в той комнате: так это, должно быть, выглядит со стороны. Но даже самые незначительные авторы диалогов и изобретатели чужих судеб, как бы неумелы и нечувствительны к человеческим страданиям они ни были, не могут существовать без таких умонастроений. Они живут не своей жизнью, а чужой; ездят не магистральными дорогами фактов, а бродяжничают по диким просторам гипотез, сквозь многочисленные варианты прошлого и будущего, которыми чревато любое настоящее. Только один из них был или будет реальным, но для таких людей этот-то вариант менее всего и важен. Я создаю, следовательно, я существую; все остальное есть сон, хотя конкретный и свершившийся. Может быть, от своих зеркал Дэн всегда ожидал не собственного изображения, а пути в зазеркалье. Такой тип сознания удовлетворяется только тем, что единственно может, как мы привыкли думать, удовлетворить бога — бесконечностью настоящего, то есть своей потенциальностью, а не осуществлением. В идеальном мире нет места писателям, этим вампирам, спящим со счастливой улыбкой, пока философы выбрасываются из окон, женщины и мужчины непереносимо страдают, дети голодают, а сам мир гибнет от своей жадности и глупости. Но дело обстоит еще хуже. Если Дэн действительно улыбался в ту ночь во сне, то именно потому, что его подсознание, кажется, поверило в идеальный мир, где нет места никому другому.

Паутина

Около девяти утра меня разбудил голос Жизели. Звонила «моя дочь из Лондона». Когда я спустился в гостиную, Джейн, одетая в домашний халат, передала мне телефонную трубку, прикрыв ее ладонью.

— Я уже сказала ей...

— Спасибо.

Я взял трубку, Джейн ушла вниз.

— Папа! Как это *ужасно* для тебя.

[1] Ремесло, профессия (*франц.*).

— Не столько для меня, сколько...
— Как она?..
— Держится.
— Я не поверила, когда она мне сказала.
— Понимаю.— Я очень кратко и не раскрывая самых существенных обстоятельств пересказал ей нашу встречу с Энтони, на которой он вел себя совершенно нормально, видимо, давно задумал наложить на себя руки.
— Так странно. Как будто ждал твоего приезда.
— Мне кажется, что в каком-то смысле ждал, Каро.— Я запнулся, впервые ясно осознав, насколько трудно будет объяснить — а точнее, скрыть — то, что произошло.— Повидаться со мной, похоже, было последним, что он запланировал на этом свете. Но не думай, что это был акт отчаяния. По-моему, тут больше от желания избавиться от страданий. Обрести покой, если угодно.
Она на мгновение задумалась.
— Тетя Джейн считает, что ты молодец.
— Едва ли.
— Не скромничай.
— Мы наконец объяснились.
— Я рада.— Она помолчала.— Наконец-то.— Потом: — Хотя бы что-то удалось.
— Не сыпь соль на раны.
— И не думала.
— А у тебя как дела?
Она ответила не сразу.
— Вчера вечером снова ходила смотреть квартиру. Теперь мне кажется, будто я тебя бросаю.
— А вот и нет. Снимай, не думай.
— На самом деле я уже договорилась. Я еще могу подумать до завтра. Но...
— Никаких «но». Они просят деньги?
— Лишь за месяц вперед.— Она помолчала.— Но звоню я совсем по другому поводу... тебе только что пришла телеграмма.
— Ты ее распечатала?
— Распечатала.
Последовавшее молчание все мне объяснило.
— От Дженни?
— Хочешь, прочитаю?
— Пожалуйста.
Телеграмма, должно быть, лежала у нее перед глазами.
— В ней говорится: «Тибу Чина»— я верно прочитала? — «скучает по тебе но теперь у нее есть я точка позвоню сегодня вечером твоя Дженни».— Каро добавила от себя: — Ничего не понятно.
— Все понятно.
— Кто эта Тибу Чина?
— Это одно слово. Тибучина. Кустарник, растущий около моего коттеджа. Дженни переехала ко мне. Вот и все.
— Я подумала, это что-то китайское.
— Бразильское. Как-нибудь я отведу тебя в Ботанический сад и ты сама увидишь.
Она прошептала:
— Сколько же в твоей жизни женщин и растений!
— По-настоящему всего одна. И ее имя начинается с буквы «К».
— Не может быть!
— Ты сегодня вечером будешь дома?
— Если ты хочешь.
— А вдруг ты занята...
— Ты вне конкуренции.
— Я приеду сегодня днем. Давай поужинаем где-нибудь вдвоем?

Она снова задумалась.

— А ты пойдешь со мной посмотреть квартиру?

— Конечно. Обязательно посмотрим.

— Не груби маме. Она этого не выносит.

— Постараюсь.

— И не забудь о своем обещании. Пока ничего не говори ей, пожалуйста.

Теперь задумался я.

— Но ты ведь уже рассказала Джейн?

— Хотелось с кем-то поделиться.

— Я не могу настаивать, Каро. Но твоя мать может смертельно обидеться, если...

— С вами обоими одновременно я не справлюсь.

Время для споров было неподходящее.

— Хорошо. Не беспокойся.

— И передай тете Джейн соболезнования, которые я не сумела выразить.

— Она все понимает.

На той стороне провода раздался звук поцелуя и трубку повесили.

Через четверть часа, побрившись и приведя себя в порядок, я сидел на кухне. Туман на улице постепенно рассеивался, кое-где уже угадывалось голубое небо. Погода, кажется, противилась трауру... Большая, обшитая сосновыми досками кухня; все кухонные принадлежности находятся в дальнем ее конце, на переднем плане круглый стол: Джейн сидит, француженка готовит кофе. На столе несколько распечатанных писем, «Таймс» и «Гардиан»; «Морнинг стар»[1] не видно.

— Каро боится, что не сумела выразить свои соболезнования.

— Отчего же?! Она была очень добра. Хочешь яичницу с ветчиной?

— Только кофе.

Джейн, похоже, уже позвонила своей дочери во Флоренцию и связалась со школой в Девоне, а затем и с самим Полем. Энн вылетает домой первым рейсом. Поль, которому не сказали, каким образом умер его отец, принял известие сравнительно спокойно. А теперь Джейн составляла список тех, кому еще предстояло позвонить. Волосы ее распущены, выглядит она лучше, чем накануне; кажется, что ночь она спала нормально. Возможно, все объясняется присутствием французской гостьи, при которой она обязана держать себя в руках. Кухня по сравнению с театральной прихожей и весьма помпезной гостиной выглядит достаточно по-домашнему — более по-дачному, по-деревенски.

— Мне нравится ваш дом. Вчера вечером не успел сказать тебе об этом.

— Ты бы видел дом Жизель в Эксе.

Джейн снова заняла себя обыденными мелочами; как и полагается англичанке, говорила о чем угодно, только не о том, что ее тревожило больше всего, тем самым, как мне казалось, опровергая все психологические законы искусства... во всяком случае, моего («На ее убитом горем лице отразились все ужасы прошлой ночи»). Семья Жизель живет в прекрасном hôtel восемнадцатого века, ее отец преподает в университете Экса. У девочки хорошие музыкальные способности, она почти профессионально играет на скрипке... Действительность — в виде темно-серых брюк, которые я успел разглядеть, проследив за взглядом Джейн, метнувшимся к входной калитке,— вскоре снова напомнила о себе.

— О боже. Кажется, вороны слетаются.

— Его духовник? — Она прикрыла веки и кивнула.— Хочешь, я поговорю с ним?

— Если ты можешь. Я просто...

— О чем речь?! Я скажу, что ты еще не одета.

Я встал. Звякнул звонок парадной двери.

---

[1] Газета Компартии Великобритании.

— Только спроси, можно ли его похоронить по христианскому обряду. Или же его пригвоздят к земле осиновым колом на ближайшем перекрестке.

Я улыбнулся и уже приготовился идти к парадной двери, но она встала, подошла ко мне и заговорила тихо, словно скрывая от Жизель какую-то непристойность.

— Дэн, одна важная подробность вчерашнего вечера. Мне сказали, что его нашли с распятием в руках. Не забудь сообщить об этом Его Святейшеству.

Я смотрел на нее, теряясь в догадках, почему она не сказала мне об этом раньше. Но тут снова раздался звонок. Я притронулся к ее руке и пошел открывать дверь.

Священник оказался молодым человеком, который говорил с едва заметным шотландским акцентом; судя по всему, он знал, как относится к нему хозяйка дома. Он выразил свои официальные соболезнования — он все понимает; что вы, что вы, миссис Мэллори сейчас, разумеется, не до гостей... Я бы не пустил его дальше порога, если бы не вопрос, который я должен был ему задать.

Мы сели в гостиной, и я рассказал ему об Энтони и распятии: если тот и потерял веру в свое мужество, то уж никак не в свою церковь. Священник склонил голову и прошептал:

— Бедняга.

— Это не помешает его погребению согласно?..

— О нет. Мы... уже давно прошли эту стадию.— Он нервно улыбнулся.— Мне даже не потребуется получать разрешение. Уверяю вас, здесь не будет никаких трудностей.— Он кратко изложил мне современные взгляды католиков на эту проблему.— Затем спросил: — Если я вас правильно понял, суд подтвердит версию самоубийства?

— С того балкона по неосторожности не упадешь.

— Да, конечно. Я понимаю. Весьма сожалею.

Я рассказал ему, как провел тот последний час с Энтони, насколько он, как мне казалось, примирился со своей судьбой, какой неожиданностью оказалось для меня случившееся, но оправдывать поступок Энтони в глазах этого достаточно скучного молодого шотландца было в общем-то нелепо. Пастырь духовный чувствовал себя настолько не в своей тарелке, так старался никого не обидеть, так бессознательно тяготился своей миссией, короче говоря, был настолько далек не только по вероисповеданию, но и по характеру от Джона Нокса [1], что, возможно, нуждался в утешении более, чем оставшаяся на кухне вдова.

Наконец он ушел, предварительно напустив нового туману соболезнований. Он будет рад, если миссис Мэллори найдет время позвонить ему и поговорить о погребальной мессе, а сам он всегда к ее услугам... Чего-чего, а обрядов в этом мире больше чем достаточно.

Когда я вернулся на кухню, Джейн чистила картошку; выслушав мой рассказ об отце Бьюкенене, она пожала плечами, словно его примерное поведение ее разочаровало, но тем не менее поблагодарила меня за услугу. Она ушла одеваться, а я поднялся в гостиную и стал просматривать газеты, хотя читать я толком не мог, ибо из прихожей послышался ее голос. Она говорила по телефону быстро, кратко, четко. *О, Джон, я решила, что тебе лучше от меня самой узнать о смерти Энтони... Сьюзен, вчера вечером Энтони наложил на себя руки...* и так далее. Мне казалось, что говорит она слишком уж отрешенно. Эти краткие сообщения, видимо, вызывали вполне понятные соболезнования и предложения о помощи, которые она отклоняла вежливо, но решительно. Интересно, не жалеет ли она об откровенности, которую позволила себе со мной накануне.

---

[1] Джон Нокс (1505?—1572) — основатель шотландской пресвитерианской церкви, непримиримый противник королевы-католички Марии Стюарт.

Через несколько минут мы поехали в больницу. Под плащом на ней была темно-красная блузка и твидовая юбка; Электра, как и небо, не признавала траура. Туман рассеялся, открыв небесную синеву.

Все было по-английски чинно. Врач, лечивший Энтони, приехал раньше нас — он уже выполнил все формальности. Руководство больницы и медсестра, ухаживавшая за Энтони, тоже были на месте. Мы подтвердили, что к персоналу претензий нет... Меня вежливо расспросили о настроении Энтони в тот вечер, и я признался, что трагический исход поразил и озадачил меня не менее, чем остальных. Потом разговор перешел на судебное разбирательство и выбор подходящей адвокатской конторы. Нам передали картонную коробку с его личными вещами, радиоприемник и репродукцию картины Мантеньи.

Джейн ничем не выдавала своего внутреннего напряжения, пока мы не вернулись в машину.

— Если бы здесь был аэропорт, я попросила бы тебя отвезти меня туда и посадить на самолет, улетающий на край света.

Отражение в ветровом стекле говорило со мной сухо и холодно. Примерно такого высказывания я ждал по дороге в больницу, увы, доверие предыдущего вечера не вернуть. Рядом с машиной «скорой помощи» мужчина в форме говорил с медсестрой из Вест-Индии. Улыбка обнажала ее превосходные белые зубы.

— Скоро все кончится.

— Да.— Она включила зажигание, и мы тронулись с места.— Я надеюсь, они поверят нам на слово.

— Нисколько в этом не сомневаюсь.

— Не понимаю, зачем тебе быть у коронера.

— Таковы правила. И, кроме того, теперь у меня в Оксфорде есть друг.

— Тоже мне друг!

— Я рад, что вчерашний разговор состоялся.

— Надеюсь, я разрушила не все твои иллюзии.

— Ты вообще ничего не разрушила. Разве что стену между нами.

Она улыбнулась.

— Ты вызвал у меня ностальгию по Америке.

— Чем же это?

— Я вспомнила, как возвратилась в Англию после войны. Каким непонятным все казалось. Как будто все говорили каким-то шифром.— Она вздохнула.— А я была единственной, кто говорит en clair [1].

— Мне знакомо это чувство.— Я искоса взглянул на нее.— Кстати, об Америке.

— Я послала ему телеграмму. Первым делом.

— Он прилетит?

— Я попросила его не делать этого. Пока.— Потом добавила: — Ему надо закончить свои исследования. К тому же расходы на дорогу. Глупо.

Она остановила машину у магазинчика, чтобы сделать покупки, о которых забыла попросить Жизель. Рядом я заметил небольшое кафе и предложил выпить по чашке кофе — я хотел поговорить с ней без спешки и, как выяснилось позднее, она тоже. Как только мы сели за столик и сделали заказ, свое предложение я высказал без околичностей:

— А почему бы тебе, Джейн, не погостить у меня в Торнкуме? Это совсем недалеко от Дартингтона.

Она смущенно улыбнулась и опустила глаза.

— Вообще-то прошлой весной мы с Полем проезжали мимо. Каро показала на карте, где он находится.— Она прошептала: — Непростительное любопытство. Место действительно очень красивое.

---

[1] Открыто *(франц.)*.

— Тогда никаких отговорок я не принимаю. И неважно, буду я там или нет. Старики, которых я нанял, всегда будут рады оказать тебе подобающие услуги.

— Бен и Фиби?

— Каро и это тебе сказала?

— Звучит, как Филемон и Бавкида [1].

— Если бы только Бен не напивался до потери сознания каждую субботу. А его жена не пристрастилась к пахучим удобрениям.

— Что ж, было бы неплохо побывать там.

— И обязательно возьми с собой Поля.

— Ему наверняка понравится. Хотя не обещаю, что по нему это заметишь.

— Мне это знакомо. Такой же была и Каро, когда ей было столько, сколько сейчас Полю. Пока у нее не открылись глаза на Нелл.

— Я знаю, она любит Торнкум.

— Но почти не ездит туда.

Помешивая свой кофе, Джейн неожиданно посмотрела мне в глаза:

— У меня очень доверительные отношения с Каро, Дэн.

— Я знаю. И благодарен тебе за это.

— Кажется, с моей стороны было бы тактичнее притвориться, будто я ничего не знаю о Барни Диллоне.

— Глупости.

— Я чувствую, что ты обиделся.

— Только потому, что ты этим не возмущаешься.

Она отвернулась, подыскивая слова.

— Я считаю, что ей надо было убежать от Нелл. От Комптона и всего остального. И она не могла сделать это с твоей помощью... не обидев свою мать.

— Понятно.

— Я хочу сказать, что у молодых ее склада немного путей стать такими, какими им хочется быть. Я догадываюсь, что ты думаешь о Барни Диллоне, но ведь дело-то не в нем. Этот урок она должна выучить без посторонней помощи. Извини, я должна была сказать тебе все это еще вчера, когда мы ужинали.— Она помолчала в нерешительности, но все же продолжила: — Настоящий же роман в последние два года у нее был с тобой. И это отнюдь не предположение.

— Тем больше моя вина.

— Для нее это путь к свободе.

— Хороша свобода...

— Но у нее ведь почти нет возможностей для маневра. Она живет в окружении взрослых, с которыми не может не считаться и которых ужасно боится обидеть. Кроме того, не забывай об Эндрю. Тут все развивалось вопреки традиционной схеме. Чем сложнее становились ее отношения с Нелл, тем больше ей помогал Эндрю. И стал союзником.

— Я догадывался. И благодарен ему.

— Как ты понимаешь, это создавало новые конфликты. Она наивно, но трогательно поведала мне об этом во время нашей последней встречи. Если бы вы все, сказала она, верили в одно и то же.

— Бедное дитя.

— Ты не обижаешься, что я говорю с тобой об этом?

— Конечно нет. Хотел бы я знать, насколько подробно ей докладывали о моей жизни в Калифорнии.

— Мы с ней об этом почти не говорили. Да я и не понимаю, почему бы ей этим интересоваться.

Я уставился в стол.

— Я гадко себя веду, Джейн. По отношению к Дженни. Пожалуй, именно такой я хотел бы видеть свою дочь. Дженни грамотна, начитанна, умна...— Я пожал плечами.

---

[1] В греческой мифологии благочестивая супружеская чета.

— И тоже находит тебя интереснее своих сверстников?

— Все, сдаюсь. Видимо, Каро выбрала гуру по своему вкусу, вот и все.

— Разве можно винить ее за то, что ей нравится его популярность? Он сейчас вполне прилично смотрится. Во всех смыслах.— Она покачала головой, заметив мой скептический взгляд.— Да, согласна. Прислужник системы. Но, возможно, именно такой урок ей и нужен.

— А Нелл мы скажем об этом?

— Я предложила сегодня утром, чтобы она положилась в этом на тебя.

— Не положилась. Мне в очередной раз велено держать язык за зубами.

Она улыбнулась:

— Тогда пусть сама разбирается.

— Теперь я вижу, что бог послал ей паршивого отца и прекрасную тетку.

Она посмотрела в окно.

— Два года назад, вскоре после поступления Роз на Би-би-си, я примчалась в Лондон и сделала то, что приличная мать делать не должна — бросилась, рыдая, в объятия дочери и призналась во всем. Она вела себя превосходно и оказалась намного взрослее, чем я в ее возрасте.— Джейн повертела в руках пустую чашку и выложила мораль: — Думаю, мы много теряем, прячась за своим возрастом.

— Значит, она знает о?.. Ты, кстати, не сказала мне, как его зовут.

— Питер. Да, знает. Она спокойно приняла мое душераздирающее признание. Даже сказала, что если бы я не была старой дурой, то уже давно завела бы себе любовника.

Джейн рассказывала мне о Розамунд всю обратную дорогу, и как только мы въехали во двор и поставили машину рядом с маленьким голубым «рено», которого раньше я не замечал, появилась и она сама — уже много лет я видел ее время от времени только на случайно доходивших до меня фотографиях. Розамунд была выше своей матери, носила длинные волосы; долговязая, с большим ртом, некрасивая, она привлекала своей обезоруживающей прямотой. Чертами лица она больше была в отца, чем в мать. Две женщины прильнули друг к другу, потом Розамунд повернулась ко мне и протянула руку. Я заставил ее подставить мне щеку для поцелуя. Она сказала: «Я очень рада, что вы вовремя приехали»,— и по всему было видно, что она не лукавила.

Очень скоро обнаружилось, что Розамунд незаменима в доме. Полю достаточно сесть на поезд, она сама встретит его в Ридинге. Начались телефонные звонки, на самые важные отвечала Джейн. Меня посадили со стаканом виски на кухне, две девушки взялись готовить завтрак. Судя по запахам, на завтрак готовились фазаны, от которых я отказался вчера вечером. Розамунд говорила больше о себе, чем об Энтони — о своей жизни в Лондоне, о работе на Би-би-си. Затем во двор над нашими головами въехал серый «ягуар». В окне промелькнули ноги Нелл и Эндрю. Джейн открыла им дверь, несколько минут все трое были наверху.

Когда они наконец спустились на кухню, Нелл после символического поцелуя в щеку пожала мою руку с теплотой, совсем не свойственной нашим отношениям в последние годы. Потом мы обменялись рукопожатием с Эндрю и я ощутил на себе его изучающий и чуть насмешливый взгляд. На нем был темно-серый костюм и старый университетский галстук; только обветренное лицо выдавало в нем сельского жителя. Он стал носить бакенбарды и уже заметно полысел; я узнал знакомую прядь пшеничных волос, сетчатый узор красных прожилок под припухлыми веками, эти пытливые, чуть навыкате глаза... типичное английское породистое лицо — замес из черт саксонского крестьянина и викинга; от

викингов шла дерзкая необычность, а от саксов — глубинное спокойствие и довольство. Как и в истории, сакс приручил викинга. Эндрю стал подшучивать над Розамунд.

— Все еще спишь с этим умником, как его зовут, черт возьми, вылетело из головы?

— А тебе-то что?

Нелл закричала через всю комнату:

— Не обращай внимания на его изысканные остроты, Роз.

Я поймал на себе оценивающий взгляд Джейн. Тут снова наверху зазвонил телефон.

Эндрю был мне интересен: насколько же хороши такие люди в подобных ситуациях — с их манерами, умением владеть собой и окружающими. Хотя он единственный облачился в траур, похоронного в его поведении было совсем немного. Эндрю охладил и открыл шампанское, сумел тактично сказать об удовольствии снова видеть всех вместе, вставил пару слов о хорошей погоде. Я впервые видел его среди родственников Нелл и вскоре избавился от застарелого ощущения мезальянса. Он, конечно, никогда не был тем ленивым дураком, которым выставлял себя в студенческие годы, и его тогдашний образ жизни был смешон везде, кроме его ближайшего богатого окружения (у них еще были свежи в памяти воспоминания отцов о временах Ивлина Во [1]). И невесту себе он присматривал с бóльшим тщанием, чем кто-либо из нас догадывался. Видимо, он строго пересмотрел все традиции и обряды с точки зрения их пригодности и оставил для себя только самое необходимое: жить как помещик, работать как фермер, думать как свободный человек... и делать вид, что ты всего лишь аристократ. И это у него получалось. В его женитьбе на женщине более низкого происхождения тоже был определенный смысл: он нуждался и в ее более свободном и терпимом мире, и в своем титуле, а также в той роли, которую этот титул позволял ему играть.

Пока в кухне накрывали на стол, он, Нелл и я пошли прогуляться по саду. Разговор принял более серьезный характер. Нелл, как всегда, проявляла любопытство и подозрительность. Почему, почему, почему, что сказал мне Энтони, что я сам думаю... Все эти вопросы я старательно обходил. С Эндрю наедине я мог позволить себе хоть какую-то откровенность, но в присутствии Нелл моей единственной защитой было молчание. К счастью, при Эндрю она не могла рыться в нашем далеком прошлом. Потом мы обсудили дела Джейн и разговор стал немного откровеннее. Да, я с ней говорил и понял, что в их семейной жизни были проблемы... взять хотя бы католичество. Да, конечно, она сказала мне о том, что ты называешь «глупостью» — о своем намерении вступить в коммунистическую партию.

— Это чисто эмоциональное,— сказала Нелл.— Просто идиотизм какой-то. Теперь, после смерти Энтони, все образуется. Ей нужна была отдушина. Я пыталась как-то поговорить с ней. Но в последние месяцы она и слушать ни о чем не хотела.— Нелл немного помолчала.— По крайней мере половину всей этой ерунды о женском освобождении она позаимствовала у Роз.

Я улыбнулся:

— Ясно, что не у тебя.

— Дорогой мой, я уже привыкла к тому, что всем на меня наплевать. Пока я работаю за шесть служанок, няню и камердинера его светлости. Если кто и нуждается в освобождении, так это я. Хватит ухмыляться, Эндрю.

Для своего возраста она выглядела еще вполне привлекательно, но что-то в ней — одновременно и беззащитное и бесчувственное — лишь

---

[1] Ивлин Во (1903—1966) — выдающийся английский писатель; под временами И. Во подразумеваются 20-е годы XX века, в которых развивается действие многих его романов.

усугубилось. Если ее сестра Джейн разучилась играть светские роли, то Нелл, пожалуй, сделала в этой области исключительные успехи.

Эндрю сказал:

— Ей надо снова замуж.

Нелл скорчила гримасу.

— Какая же ты старая деревенская свинья!

— Это никак не опровергает мою точку зрения, дорогая.

— Но, дорогой, Джейн *сама* ее опровергает. Она слишком привыкла мучиться.

Я вставил:

— Тогда Эндрю, видимо, прав.

— Ради бога. Я не против. Если честно, Дэн... только между нами, любая нормальная женщина ушла бы от Энтони много лет назад.— Мне захотелось напомнить ей, как в свое время она ставила их якобы образцовую семью в пример нашей, но Нелл продолжала: — Ты знаешь, было время, когда она часто приезжала к нам и я прекрасно знала, что у них творится, но... впрочем, все это уже в прошлом. Тут ничего не поделаешь.— Нелл оглядела стены близлежащих домов и заметила с горечью: — Во всем виноват этот страшный город. Она никак не может перерасти его. А ты что думаешь?

— Три последних месяца я провел в Калифорнии, Нелл. После царства грез Оксфорд мне кажется достаточно цивилизованным местом.

— Ты надолго сюда?

— Как получится.

— Эндрю и я... мы думаем, что, может, ты приедешь к нам в Комптон вместе с Каро... например, на выходные.— Она выпучила глаза, что у нее всегда являлось признаком невероятной искренности, и пробормотала: — Если, конечно, тебя не смущает наша скромная сельская жизнь. Милости просим.

— С удовольствием.

Эндрю сказал:

— Замечательно.— Потом спросил: — Ты играешь во что-нибудь, Дэн?

— Только в кости, да и то плохо.

— Прекрасно. Тогда я отыщу старую доску для трик-трака.

— О, Эндрю. Ради бога.— Подняв брови, Нелл сказала мне: — В последний раз я осталась должна ему восемьсот тысяч фунтов.

— Это, пожалуй, превышает мои возможности.

Эндрю незаметно подмигнул мне:

— На самом деле мы играем на пенни.

Нелл спросила, что нового у Каро. Она, конечно, знала, что Каро работает у Барни, и мы обсудили все «за» и «против»; как верный раб системы, Нелл одобряла эту работу. Нет сомнения, что популярность Барни Диллона вносила какой-то дополнительный штрих в общую картину ее общественного положения. Я сказал им о новой квартире и заметил, как в Нелл борются два чувства: тайная радость, что дочь меня бросила, и беспокойство за Каро, которая становится совершенно самостоятельной. По ее мнению, она «сглупила», бросив Ричарда. Когда я сказал, что Каро заслуживает большего, чем молодой смазливый болван, то увидел согласие только в глазах Эндрю. Разумеется, она спросила, нет ли теперь «кого-нибудь» еще — Каро ведь так привязчива. Я разыграл полное неведение. Постараюсь, дескать, узнать. В этот момент нас пригласили к столу.

Завтрак, прежде всего благодаря Эндрю, оказался гораздо приятнее, чем я ожидал; кроме того, к моему удивлению, они — возможно, неосознанно — использовали мой приезд как повод для торжества. Все втайне испытывали облегчение, что с Энтони все позади, старательно избегая упоминания его имени или трагического шага. Я был своего рода блудным сыном, которого они снова принимали в лоно семьи; трапеза наша более напоминала братскую вечерю, чем поминки. Я же вскоре

убедился, что мне не хватало их всех больше, чем я когда-либо имел смелость признаться самому себе: не хватало их добродушного вышучивания, нехитрых новостей о родных и детях, их скрытых намеков и обид — утерянной мною семьи в прямом и переносном смысле. Я слишком привык к общению один на один, даже с Каро; к творческим, коммерческим или сексуальным правилам поведения — к чему угодно, но только не к этой свободной теплой паутине клана.

Около трех Розамунд собралась ехать в Ридинг встречать своего брата, мне было по пути с ней до вокзала. За завтраком мне напомнили, что я ее крестный отец, и не успела она тронуть машину с места, как я тут же сказал:

— У тебя, насколько я понял, потрясающие отношения с матерью.

— Значит, она уже все тебе рассказала?

— Да.

— Последние годы ей было очень нелегко.

— Я так и понял.

— Она, по-твоему, сильно изменилась?

— По-моему, нет.

Я спросил, что она думает о планах своей матери совершить невероятный скачок влево — если не строго назад. Как это ни удивительно, Розамунд, похоже, вполне разделяла точку зрения Нелл, хотя выказала гораздо больше понимания и искреннего сочувствия.

— Я думаю, что с ее стороны это прежде всего борьба за выживание. Глупо, что она никогда не работала. Дело совсем не в женской эмансипации, а в ее характере. Я даже делаю вид, что моя работа не так уж мне и нравится. Она, конечно, рада за меня, но ведь и обидно: в свое время она сама должна была сделать то же самое. И она это знает.— Помолчав, Розамунд продолжала: — Я раньше винила во всем отца. Но есть в ней что-то такое, чего я совершенно не понимаю. Мы действительно говорим о многом, но в конце концов я всегда натыкаюсь на стену. Она начинает прятаться за банальности, оправдывать себя. Слишком пристальный взгляд в прошлое пугает ее.

— Она в этом не одинока.

— Человеку трудно угодить. Когда-нибудь я буду проклинать себя за то, что не завела сразу детей, а пошла работать.

— Успокаивай себя, что поступаешь так, как считаешь нужным.

— А ты разве не так поступал?

— Мне обязательно отвечать на этот вопрос?

Она улыбнулась, потом сбросила скорость и остановилась, чтобы пропустить через дорогу маленьких школьниц. Вопрос ее прозвучал совершенно неожиданно:

— Ты знаешь, почему он это сделал?

Я ответил не сразу.

— Думаю, что это был акт милосердия. По крайней мере, по замыслу.

— Только в последние два или три года я поняла, что они совершенно не подходили друг другу.

— Сомневаюсь, Роз, чтобы совершенно не подходящие друг другу люди смогли бы так долго прожить вместе.

— Если бы не мы...

Розамунд тронула машину с места. Под «мы» она имела в виду детей.

— Они действительно установили для себя очень высокие мерки. А по ним жить всегда нелегко.

— Никогда не понимала, почему они так жестоко обошлись с тобой. Каждый день я вижу куда более коварные удары в спину.— После мгновенного колебания она спросила уже другим тоном: — А забытым крестницам разрешают задавать личные вопросы?

Я внутренне сжался.

— Конечно.

— В той пьесе была хоть *капля* правды?

— Такой мне виделась ситуация в то время. Трое против одного.

— Я имела в виду, было ли что-то между моим отцом и Нелл?

Нас быстро затягивало в опасный водоворот.

— Ничего не было. Злобная выдумка с начала и до конца.

Несколько секунд она молчала.

— Так странно. Все эти годы даже твое имя упоминать было нельзя. Я ожидала увидеть рога и раздвоенное копыто.

— Когда-то я действительно носил этот наряд.

Она усмехнулась, хотя, скорее всего, поняла, что на честный ответ я не решился. Чтобы уйти от опасного места, я круто переменил тему.

— Ты довольна, что она снова собирается выйти замуж?

Розамунд бросила на меня испытующий взгляд.

— Она *действительно* рассказала тебе все.

— Да, мы говорили почти всю ночь.

Она свернула к вокзалу.

— Он... очень симпатичный человек. Жизнерадостный. Я всей душой за. Даже мой отец, как это ни странно, был бы не против. Когда я виделась с отцом в последний раз— в воскресенье,— он все время говорил об этом.

— О том, чтобы она снова вышла замуж?

— Не совсем. О том, что ей нужна новая жизнь.— Потом добавила: — Я сейчас почти жалею, что не сказала ему.— Она снова посмотрела на меня.— А ты когда-нибудь понимал своих родителей?

— Я знал только отца.

— Прости, я забыла.

— Я только сейчас. начинаю понимать его и то смутно.

— Наверное, понимать родителей невыносимо скучно.

— Думаю, что это относится ко всей жизни.

Она улыбнулась; эта счастливая девушка, нашедшая себя в работе, была согласна со мной.

Слышимость была плохой. Сомневаться в том, что они на разных континентах, не приходилось. Милдред и Эйб к ней очень добры, «вполне заслуживают твоих восторженных похвал». Она думала, что временная разлука будет ей даже «приятна», но, к сожалению, так не получается — ей совершенно необходимо пилить кого-нибудь. Он выслушал все это, а также и другие ее мелкие новости. И только потом сообщил ей свою.

— О, *Дэн.* Как это *ужасно* для тебя. Вчера вечером?

— Да.

— Но *почему?*

Дэн снова пустился в уклончивые объяснения; и на сей раз — с молодой женщиной, которая знала его намного лучше, чем две другие, с кем он уже беседовал в тот день. Как и несколько часов назад с Каро, ее матерью и отчимом, он не столько хитрил и изворачивался, сколько пытался выиграть время и теоретизировал.

— Заставить тебя проделать весь этот немыслимый путь, а затем... Дэн, ты чего-то не договариваешь.

— Да нет. Впрочем, действительно не договариваю.

— Так продолжай.

— Я тебе все расскажу. Но не сейчас. Видишь ли... тут выплыло одно старое печальное событие.

— Ты однажды сказал, что любую историю можно изложить в пяти строчках.

— Это не история, Дженни. Я потом расскажу. Обещаю.

— Знаю я твои обещания.

— Но вот как я скучаю по тебе— не знаешь.

— Ты умеешь подсластить пилюлю.

— Увы, это правда.

— Учти, от меня не так просто отделаться.
— Я и сам это знаю.
— Так хочется увидеть твое лицо.
— Обычное усталое лицо.
— Наверное, сейчас у вас очень поздно?
— Половина третьего утра.
— О боже. Бедняга.

Она спросила о Каро. Он ответил, что с ней все в порядке, решив, уже про себя, рассказать правду при встрече. Потом начались расспросы о Джейн, Нелл, о том, как все изменились за годы долгой разлуки.

— Надеюсь, что ты испытываешь к ним хотя бы этнографический интерес.

— Еще какой. Встретили меня мило и даже тепло.

Помолчав, она сказала:

— Эй, а я пытаюсь выполнить обещание.
— Какое обещание?
— О нас. Я-таки принялась записывать.

Он уже успел забыть ее выдумку о Саймоне Вульфе.

— Неужели серьезно?
— Может, я тебе это и не пошлю.
— Слушай, нельзя же понимать меня так буквально.

— А мне нравится. Может, я еще и сама роман напишу. Кстати, не понимаю, почему люди такой шум по этому поводу устраивают. Просто берешь и записываешь то, что помнишь. Что чувствуешь. И все получается.

— Все?

— Почти все. Не думаю, что на твоей отвратительной желтой бумаге писалось что-нибудь более приличное.

— Кто-то у меня дождется— я ее отшлепаю.
— Ничего не имею против. В любое время.

Через минуту разговор закончился.

Дэн подошел к окну и залюбовался лондонской ночью. Вдруг его взгляд упал на противоположный тротуар. У дверей магазинчиков стояли урны, коробки и пластиковые мешки со всевозможным барахлом и отбросами — в эту ночь, очевидно, вывозили мусор. Над одной из коробок склонился ночной бродяга; он копался в ней размеренно и тщательно, словно покупатель на аукционной распродаже. Рядом стояла старая детская коляска. Дэн взял из ящика стола бинокль, выключил свет, вернулся к окну и навел резкость. На бродяге была черная шляпа с оторванной лентой, плащ, подвязанный веревкой, и резиновые боты. Шляпа мешала разглядеть его лицо; но это, несомненно, был старый человек. Из большой картонной коробки он выудил три или четыре проволочные вешалки, внимательно оглядел каждую из них и, не найдя изъянов, опустил в коляску. Было в нем что-то скрыто-комичное и профессионально-удовлетворенное, будто он был рад, что город спит, улица пустынна и никто не мешает ему заниматься рутинным для этого времени делом; и одновременно — что-то викторианское, анахроничное, почти вневременное. Старик был и реален и — в свете уличных фонарей на пустой ночной сцене — театрален. Снова Беккет, и опять в ожидании Годо [1].

Дэн ощутил какую-то странную симпатию к старику, испытал чуть ли не потребность спуститься и поговорить с ним, сыграть роль современного Мэйхью[2], спросить, как он живет, что чувствует, о чем думает,— и, чем черт не шутит, может, и пригласить его к себе на чашку кофе. Дело тут было не в благотворительности или любопытстве, а в желании возвратить реальность существованию, которое в тот день изобиловало

[1] Намек на пьесу С. Беккета «В ожидании Годо».

[2] Генри Мэйхью (1812—1887) — лондонский драматург и журналист, прославившийся серией очерков об обездоленных.

вежливой ложью, притворными улыбками и мещанскими ужимками. Дэн чувствовал себя не одиноким волком, а добропорядочным и законопослушным героем из романов Ч. П. Сноу [1]. На улицу его тянула реальность одиночества, и на мгновение Дэн позавидовал бродячей жизни — так механическая канарейка могла бы завидовать настоящей птице: одна поет за окнами квартиры, а другая ждет в молчаливом бессилии, чтобы ее завели снова.

Несмотря на то, что он только что слышал голос Дженни, несмотря на спящую в соседней комнате Каро, несмотря на все примирения того дня и опутавшую его паутину женских умов и душ, Дэн чувствовал себя обойденным и обездоленным; неудовлетворенность его относилась не к достаточно банальному противопоставлению явленной ему истинной бедности и привилегированного комфорта, а к тому, что прозревалось сквозь это... что Беккет прозрел за двусмысленными символами и «вызывающим романтическим пессимизмом» — одиночеству каждого как основе человеческой сущности. Я есть то, что я есть. Существование самодостаточно. Дэну почудилось, что темная фигура, копошащаяся внизу,— его истинное утерянное «я», нечто, независимо живущее на ночной улице его сознания, куда не пригласишь на беседу или чашку чая.

И вдруг его снова словно вернули в театр. На тротуаре, расположенном прямо под Дэном, появилась еще одна фигура. Перейдя улицу, к бродяге подошел полицейский. Старик обернулся. Констебль заглянул в коляску и заговорил с бродягой. Дэн в нерешительности ожидал появления нового Бамбла [2]. Бродяга говорил долго, видимо, отвечал на вопросы. Потом, отодвинув какой-то сверток в коляске, показал констеблю то, что находилось под ним, и они, похоже, принялись обсуждать увиденное. Бродяга даже приподнял ненадолго этот предмет, и Дэн успел разглядеть его: старые настенные часы, отвергнутое время.

Затем Дэн заметил, что полицейский потянулся к своему верхнему карману, и его охватило желание сыграть роль настоящего deus ex machina [3] — открыть окно и крикнуть полицейскому, что нелепо штрафовать безобидного старика. Но полицейский вынул из кармана не книжку квитанций, а пачку сигарет, которую и протянул бродяге, а тот, кивнув, взял сигарету, осторожно спрятал ее в карман плаща и притронулся к своей черной шляпе. Полицейский ушел.

И нашему герою, что стоит наверху, за своим окном, остается лишь улыбнуться — так должен себя чувствовать проштрафившийся бог, если изъян в мироздании исправлен силой, которую он забыл учредить.

---

[1] Чарлз Перси Сноу (1905—1983) — английский писатель, ученый-физик и общественный деятель.

[2] Церковный сторож из романа Ч. Диккенса «Оливер Твист».

[3] Бог из машины (лат.).

(Окончание следует)

Из классики XX века

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

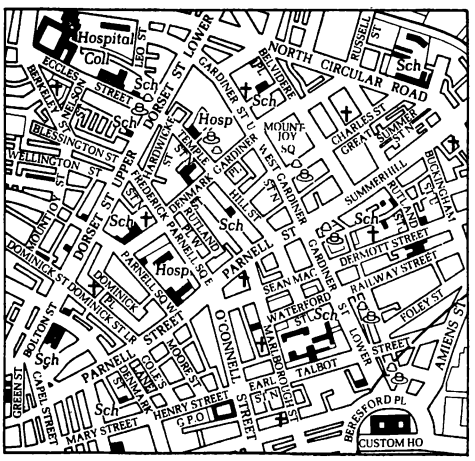
Улисс

РОМАН

Перевод с английского
В. ХИНКИСА и С. ХОРУЖЕГО

Джеймс Джойс. Рисунок Огастеса Джона.

17



Какими параллельными курсами следовали Блум и Стивен на обратном пути?

Тронувшись совместно, нормальным прогулочным шагом, с Бересфорд-плейс, они проследовали по Нижней и Средней Гардинер-стрит и по Маунтджой-сквер, в указанном порядке, на запад; затем, замедленным шагом, оба забирая влево, по ошибке через Гардинерс-плейс до самого угла Темпл-стрит; затем, замедленным шагом, с остановками, забирая вправо, по Темпл-стрит на север до Хардвик-плейс. Продвигаясь, весьма несхожие, неспешным прогулочным шагом, оба пересекли круглую площадь перед церковью Св. Георгия по диаметру, поскольку хорда всякого круга короче той дуги, которая на нее опирается.

Какие темы обсуждались дуумвиратом во время странствия?

Музыка, литература, Ирландия, Дублин, Париж, дружба, женщины, проституция, стол, влияние газового освещения или же света ламп накаливания и дуговых на рост близлежащих парагелиотропических деревьев, установленные муниципалитетом мусорные урны на улицах, римско-католическая церковь, безбрачие духовенства, ирландская нация, учебные заведения иезуитов, различные профессии, изучение медицины, минувший день, коварное влияние предсубботы, обморок Стивена.

Обнаружил ли Блум общие сближающие факторы в их обоюдных сходных и несходных реакциях на окружающее?

Продолжение. Начало см. в № 1—10.

Оба не были глухи к художественным впечатлениям, предпочитая музыкальные пластическим или живописным. Оба предпочитали континентальный уклад жизни островному и проживание по сю сторону Атлантики — проживанию по ту сторону. Оба, получив раннюю домашнюю закалку и унаследовав дерзкую склонность к инакомыслию и противостоянию, отвергали многие общепринятые религиозные, национальные, социальные и нравственные доктрины. Оба признавали попеременно стимулирующее и отупляющее влияние магнетического притяжения полов.

Расходились ли они во взглядах на какие-либо предметы?

Стивен открыто не соглашался с мнением Блума относительно важности диетического и гражданского самоусовершенствования, Блум же не соглашался молчаливо с мнением Стивена относительно вечного утверждения человеческого духа в литературе. Блум внутренне поддерживал поправку Стивена, согласно которой было анахронизмом относить дату обращения ирландского народа из веры друидов в христианство, каковое совершил Патрик сын Кальпорна, сына Потита, сына Одисса, посланный папою Целестином Первым в году 432, в царствование Лири, приблизительно к 260 году и царствованию Кормака Мак-Арта * (+263 н. э.), задохнувшегося в Слетти от неправильного проглатывания пищи и погребенного в Росснари. Обморок, который Блум объяснял желудочным истощением и действием некоторых химических соединений с различной мерой подмешанности и различным градусом алкогольной крепости, усиленным за счет умственного напряжения и быстрых круговращательных движений в расслабляющей обстановке, Стивен приписывал вторичному появлению утренней тучки (наблюдавшейся обоими из двух разных пунктов, Сэндикоува и Дублина), величиною сначала не больше женской ладони *.

Имелся ли такой предмет, на который их взгляды были одинаковы и отрицательны?

Влияние газового, а равно электрического освещения на рост близлежащих парагелиотропических деревьев.

Обсуждал ли Блум в прошлом подобные темы во время ночных прогулок?

В 1884 году с Оуэном Голдбергом и Сесилом Тернбуллом ночью на городских магистралях между Лонгвуд авеню и Леонардовым углом, между Леонардовым углом и Синг-стрит и между Синг-стрит и Блумфилд авеню. В 1885 году с Перси Эпджоном по вечерам, прислонясь к стене между виллой Гибралтар и Блумфилд-хаусом в Крамлине, баронство Апперкросс. В 1886 году спорадически со случайными знакомыми и возможными покупателями, на крыльце у дверей, в передних, в вагонах третьего класса пригородных железнодорожных линий. В 1888 году зачастую с майором Брайеном Твиди и его дочерью мисс Мэрион Твиди, совместно или же по отдельности, на веранде дома Мэтью Диллона в Раундтауне. Единожды в 1892 и единожды в 1893 году, с Джулиусом (Иудой) Мастянским, и в том и в другом случае— в гостиной его (Блума) дома на Западной Ломбард-стрит.

Какие мысли возникли у Блума в связи с бессистемной цепочкой дат, 1884, 1885, 1886, 1888, 1892, 1893, 1904, до их прибытия к месту назначения?

Ему подумалось, что прогрессивное расширение сферы индивидуального развития и опыта регрессивно сопровождалось сужением противоположной области межиндивидуальных отношений.

Каким именно образом?

От предсуществования к существованию он пришел ко многим и был воспринят; существуя, он был со всяким как всякий со всяким; исшед из существования в несуществование, он станет для всех никем, не воспринимаемым.

Какое действие выполнил Блум по их прибытии к месту назначения?

На ступеньках четвертого в ряду равноразличных нечетных номеров, номера 7 по Экклс-стрит, он машинально погрузил руку в задний карман брюк, чтобы достать ключ.

Находился ли там последний?

Он находился в означенном кармане тех брюк, которые он носил накануне.

Почему это вызвало у него двойную досаду?

Потому что он позабыл и потому что он вспомнил, как дважды напоминал себе не забыть.

Какие возможности открывались перед нашей, умышленно (соответственно) и по оплошности лишенною ключей парой?

Входить или не входить. Стучать или не стучать.

Решение Блума?

Тактический маневр. Утвердив ноги на карликовой стене, он взобрался на ограду, надвинул плотнее шляпу на голову и, ухватившись в двух точках за нижнее сочленение поперечин и столбиков, постепенно свесил свое тело во дворик, на всю его длину в пять футов и девять с половиною дюймов, до расстояния в два фута и десять дюймов от замощенной почвы, после чего предоставил телу двигаться свободно в пространстве, отделившись от ограды и сжавшись в предвидении удара при падении.

Упал ли он?

В соответствии с известным весом своего тела, равным одиннадцати стонам и четырем фунтам в английской системе мер, как то было удостоверено градуированным приспособлением для самостоятельного периодического взвешивания в помещении аптекаря и фармацевта Фрэнсиса Фредмена, Северная Фредерик-стрит, 19, в минувший праздник Вознесения, а именно двенадцатого мая високосного тысяча девятьсот четвертого года по христианскому летосчислению (по еврейскому летосчислению пять тысяч шестьсот шестьдесят четвертого, по мусульманскому летосчислению тысяча триста двадцать второго), золотое число 5, эпакта 13, солнечный цикл 9, воскресные литеры СВ, римский индикт 2, юлианский период 6617, MCMIV.

Поднялся ли он невредимым после падения?

Достигнув вновь положения устойчивого равновесия, он поднялся невредимым, хотя и испытал сотрясение при падении, поднял щеколду наружной двери, приложив усилие к ее свободно движущейся пластине и рычаг первого рода к ее точке опоры, с задержкою проник в кухню через примыкающую полуподвальную кладовку, воспламенил трением спичку «Люцифер», открыл поворотом вентиля горючий газ, зажег сильное пламя, каковое убавил, регулируя, до спокойного горения, и зажег, наконец, портативную свечу.

Какую прерывную последовательность образов воспринял в это время Стивен?

Прислонившись к ограде, он воспринял через прозрачные стекла кухни образы человека, регулирующего газовое пламя в 14 свечей, человека, зажигающего свечу в одну свечу, человека, снимающего поочеред-

но оба своих башмака, и человека, покидающего кухню, держа горящую свечу.

Появился ли этот человек в другом месте?

По истечении четырех минут мерцание его свечи стало различимо сквозь полупрозрачное полукруглое веерообразное оконце над входной дверью. Входная дверь замедленно повернулась на своих петлях. В открывшемся пространстве прохода человек появился вновь, без шляпы и со свечой.

Повиновался ли Стивен его знаку?

Да, он бесшумно вошел, помог затворить дверь и взять ее на цепочку, после чего бесшумно проследовал за спиной человека, его обтянутыми тканью ступнями и горящей свечой через прихожую, мимо луча света из-под левой двери и с осторожностью вниз, по заворачивающей вбок лестнице более чем из пяти ступеней, на кухню блумова дома.

Что делал Блум?

Он погасил свечу, с силой направив поток выдыхаемого воздуха на ее пламя, придвинул к очагу два сосновых стула с ложевидными сиденьями, один для Стивена, спинкой к окну во двор, другой, в случае надобности, для себя, опустился на одно колено, разложил на решетке очага погребальный костер из перекрещенных смолистых щепок, обрывков разноцветной бумаги и неправильных многоугольников лучшего угля Эбрем по двадцати одному шиллингу за тонну, со складов фирмы «Флауэр и Макдональд», д'Ольер-стрит, 14, поджег бумагу в трех местах, где она высовывалась, одной горящей спичкою «Люцифер», тем самым высвобождая потенциальную энергию, заключенную в топливе, благодаря данной его элементам углерода и водорода возможности входить в свободное соединение с кислородом воздуха.

О каких аналогичных видениях думал Стивен?

О других людях, которые в иное время и в иных местах *, став на одно колено или на оба, разжигали для него огонь, о брате Майкле * в больничке колледжа Общества Иисусова в Клонгоуз Вуд, Саллинс, графство Килдер; о своем отце, Саймоне Дедале, в голой необставленной комнате их первого жилища в Дублине, Фицгиббон-стрит, дом тринадцать; о своей крестной, мисс Кейт Моркан, в доме ее умирающей сестры, мисс Джулии Моркан * Ашерс Айленд, 15; о своей тетке Саре, жене Ричи (Ричарда) Гулдинга, на кухне их наемной квартиры в доме 62 по Клэнбрасл-стрит; о своей матери Мэри, жене Саймона Дедала, на кухне дома номер двенадцать по Северной Ричмонд-стрит *, утром в день праздника Святого Франциска Ксаверия * в 1898 году; об отце Батте *, декане, в физическом кабинете Университетского Колледжа, Северная Стивенс Грин, 16, о своей сестре Дилли (Делии) в доме их отца в Кабре.

Что увидел Стивен, подняв свой взгляд на высоту одного ярда от очага, в направлении противоположной стены?

Пониже идущих в ряд пяти дверных колокольчиков на пружинках криволинейную, протянутую наискосок между двумя крюками в нише возле каминного стояка, веревку, на которой висели четыре носовых платка небольшого квадратного формата, сложенных и незакрепленных, последовательно примыкающими прямоугольниками, а также пару серых женских чулок с фильдеперсовыми пяткой и верхом, в обычном положении, схваченных тремя вертикальными деревянными прищепками, две по бокам и одна в точке соприкосновения.

Что увидел Блум на плите?

На правой (меньшей) полке для подогревания пищи — синюю эмалированную кастрюлю, на левой (большей) — черный железный чайник.

Что сделал Блум на плите?

Он переставил кастрюлю на левую полку, взял железный чайник и понес к раковине с намерением пустить струю воды, повернув кран, дабы она могла течь.

Потекла ли она?

Да. Из водохранилища Раундвуд в графстве Уиклоу емкостью 2400 миллионов галлонов, просачиваясь через подземный акведук в одну и в две трубы, с фильтрами, построенный с проектной стоимостью оборудования 5 ф. с. за погонный ярд и проходящий через Даргл, Рэтдаун, долину Даунса и Коллоухилл в водохранилище площадью 26 акров в Стиллоргене, на расстоянии 22 английских миль, а оттуда через систему вспомогательных отстойников, с перепадом высоты 250 футов, к черте города у моста Юстейс и Верхней Лисон-стрит, хотя вследствие продолжительной летней засухи и ежедневного потребления объемом в 12 $^{1}/_{2}$ миллиона галлонов уровень воды упал ниже порога водосливной плотины, по каковой причине окружной инспектор и инженер водопроводной сети мистер Спенсер Хэрти, М. И.[1], по указанию управления водопровода воспретил использование городской воды для любых целей, помимо домашнего потребления (предвидя, что возникнет необходимость прибегнуть к непригодной для питья воде Большого и Королевского каналов, как в 1893 году), в особенности в связи с тем, что Богадельня Южного Дублина, вопреки лимиту в 15 галлонов в день на одного неимущего, каковой лимит замерялся шестидюймовым водомером, уличена была в еженощном излитии лишних 20.000 галлонов, посредством показаний водомера, по заявлению юрисконсульта муниципалитета мистера Игнатия Райса, поверенного, и, тем самым, в действиях, наносящих ущерб другой части населения, здоровым и платежеспособным налогоплательщикам.

Что в воде восхищало Блума, водолюба, водочерпия, водоноса, когда он возвращался к плите?

Ее универсальность; ее демократическое равенство и верность своей природе в стремлении к собственному уровню; обширность ее океанов на карте в проекции Меркатора; ее непромеренная глубина в Зундамской впадине Тихого океана, превышающая 8.000 морских саженей; неутомимая подвижность ее волн и поверхностных частиц, навещающих поочередно все уголки ее берегов; независимость ее частей; изменчивость состояний моря; ее гидростатическая неподвижность во время штиля; ее гидрокинетическое взбухание в приливы и в половодье; ее тихость после разрушительных бурь; ее стерильность в полярных льдах Арктики и Антарктики; ее значение для климата и торговли; ее преобладание над сушей на земном шаре в отношении 3 к 1; ее неоспоримое господство на множестве квадратных лиг во всей области ниже субэкваториального тропика Козерога; мультисекулярная стабильность ее изначального бассейна; ее палево-бурое ложе; ее способность растворять и содержать в растворе все растворимые вещества, включая миллионы тонн самых драгоценных металлов; неумолимое размывание ею полуостровов и островов; неуклонное порождение ею гомотетических островов, полуостровов и оседающих мысов; ее аллювиальные отложения; ее вес, объем, плотность; невозмутимость ее в лагунах и высокогорных каровых озерах; градации ее цветов в тропическом, умеренном и холодном поясах; сети ее транспортных разветвлений в материковых замыкаемых озерами потоках, сливающихся, текущих в океан реках с их

[1] Муниципальный инженер.

притоками и трансокеанских течениях, в Гольфстриме к северу и югу от экватора; ее буйная сила в цунами, тайфунах, артезианских колодцах, извержениях, дождях, водоворотах, паводках, разливах, донных волнах, водоразделах, водопусках, гейзерах, водопадах, омутах, мальштремах, наводнениях, потопах, ливнях; ее огромная землеобъемлющая агоризонтальная кривизна; потаенность ее родников и скрытая влажность, обнаруживаемая водоискательными или гигрометрическими приборами и имеющая своими примерами колодец поблизости от дырки в стене у Эштаунских ворот, насыщение воздуха, дистилляцию росы; простота ее состава, две части водорода на одну часть кислорода; ее целебные свойства; ее подъемная сила в водах Мертвого моря; ее упорная всепроникающая способность в ручейках, оврагах, неисправных плотинах, щелях корабельных корпусов; ее пригодность очищать, утолять жажду, гасить огонь, питать растительность; ее совершенство в качестве парадигмы и первообраза; ее превращения в пар, туман, тучи, дождь, иней, снег, град; ее сила в мощных гидрантах; разнообразие ее форм в озерах, бухтах, заливах, проливах, излучинах, рукавах, губах, лагунах, атоллах, архипелагах, фиордах, эстуариях и распивочных; ее твердость в ледниках, айсбергах, дрейфующих льдах; ее послушная готовность приводить в действие водяные мельницы, турбины, генераторы, электростанции, машины мастерских по отбеливанию, дублению и трепанию; ее полезность в каналах и реках, если те судоходны, в плавучих и ремонтных доках; ее потенции, кроющиеся в покорении приливов и отливов, а также потоков с большими перепадами высоты; ее подводная фауна и флора (анакустические и фотофобные), численно, если не буквально, сравнимые со всем множеством обитателей земного шара; ее вездесущность, коль скоро она составляет 90 % человеческого организма; тлетворность ее испарений в гнилых топях, болотах, воде от увядших цветов и застойных прудах при ущербной луне.

Зачем, поставив чайник, наполненный до половины, на разгоревшийся уголь, он снова вернулся к продолжающей течь струйке?

Чтобы вымыть руки куском лимонного мыла Бэррингтона, частично уже б/у и с прилипшей к нему бумагой (купленным тринадцать часов назад за четыре пенса и еще не оплаченным), в свежей, холодной, изменчивой, неизменной воде и осушить их, лицо и руки, длинным суровым полотенцем с красной каймой, перекинутым через вращающуюся деревянную палку.

Какую причину выдвинул Стивен, чтобы отклонить предложение Блума?

Что он гидрофоб, не переносит соприкосновения с холодной водой, будь то частичного при окунании или всецелого при погружении (последний раз он принимал ванну в октябре месяце минувшего года), питает неприязнь к похожим на воду веществам, каковы стекло и хрусталь, и не доверяет водной стихии в речах и мыслях.

Что помешало Блуму обратиться к Стивену с советом относительно гигиены и профилактики, а также с аргументацией в пользу предварительного смачивания головы и сокращения мышц при быстром обрызгивании лица и шеи, грудной клетки и эпигастральной области в случае речного или морского купания, поскольку из всех частей человеческого организма наиболее чувствительны к холоду затылок, желудок и стопы или ступни ног?

Несовместимость водной стихии с капризной оригинальностью гения.

От каких еще назидательных советов он воздержался аналогичным образом?

От диетических: касательно содержания белков и тепловых калорий в беконе, треске и масле, отсутствия первых в последнем из перечисленного и обилия последних в первом из перечисленного.

Какие из качеств гостя казались хозяину доминирующими?

Уверенность в себе, равные и противоположные силы саморасточения и самососредоточения.

Какой сопутствующий феномен возымел место в сосуде с жидкостью под действием пламени?

Феномен кипения. Раздуваемое непрерывным потоком направленной вверх тяги между кухней и каминной трубой, горение сообщилось от кучек растопочного топлива полиэдральным массам битуминозного угля, содержащего в спрессованной минеральной форме слои окаменевшего лиственного покрова доисторических лесов, растительное существование каковых, в свою очередь, обусловливалось солнцем, первичным источником тепла (лучистого), передаваемого вездесущим светоносным теплопроводным эфиром. Тепло (конвектированное), род движения, развивающийся при подобном сгорании, постоянно и в растущем количестве доставлялось от своего источника к жидкости в сосуде, будучи излучаемо через неровную нечищенную темную поверхность металлического железа, частично же отражаемо, частично поглощаемо и частично передаваемо, постепенно повышая температуру воды от нормальной до точки кипения, причем повышение температуры возможно выразить как результат затраты 72 тепловых единиц, потребных для нагревания 1 фунта воды от 50° до 212° по Фаренгейту.

Что возвестило о достижении указанного повышения температуры?

Двойное серповидное извержение водяных паров из-под крышки чайника с обеих сторон одновременно.

Для какой личной цели Блум мог использовать воду, доведенную вышеуказанным образом до кипения?

Для того, чтобы побриться.

Каковы преимущества ночного бритья?

Более мягкий волос бороды; более мягкий помазок, если он умышленно был оставлен от бритья до бритья в застывшей пене; более мягкая кожа, если неожиданно встретить знакомых женского пола в необычное время, в уединенном месте; спокойные размышления о течении дня; ощущение большей чистоты при пробуждении после более освежающего сна, тогда как утренний шум, предчувствия и помехи, громыхание бидона молочника, двойной стук почтальона, газета, прочитанная и перечитанная при намыливании и перенамыливании того же места и вдруг испуг и мысль про то искал он что хотя спустя решил пустяк могут спровоцировать убыстрение выбривания и порез на каковой пластырь для порезов по размеру отрезав смочи слюной приложи правильной стороной — коли вышла уж незадача.

Почему отсутствие света беспокоило его меньше, нежели наличие шума?

Ввиду надежного чувства осязания в его твердой полной мужской женской пассивной активной руке.

Какой способностью обладала она (его рука), но при каком, однако, противодействующем влиянии?

Способностью хирургического оперирования, притом, однако, что ему претило проливать человеческую кровь, даже и тогда, когда цель оправдывала средства, и он предпочитал, в естественном их порядке, гелиотерапию, психофизиотерапию и остеопатическую хирургию.

Что находилось на виду на нижней, средней и верхней полках кухонного шкафа, который открыл Блум?

На нижней полке пять вертикальных мелких тарелок, шесть горизонтальных блюдец, на коих покоились перевернутые чашки, чашка с приспособлением для усов, неперевернутая, с блюдцем Дерби-Корона, четыре белые с золотым ободком рюмки для яиц и открытый замшевый кошелек, где виднелись монеты, большею частью медь, и баночка с ароматизированными (фиалкой) конфетками. На средней полке выщербленная рюмка для яйца, содержащая перец, бочоночек со столовой солью, четыре слипшиеся черные маслины в промасленной бумаге, пустая коробка от паштета Сливи, овальная плетеная корзинка, устланная гофрированной бумагой и содержащая одну грушу сорта Джерси, полупустая бутылка лечебного белого портвейна фирмы «Вильям Гилби и Ко», полузавернутая в кораллово-розовую бумажную салфетку, пачка растворимого какао Эппса, пять унций высокосортного чая от Энн Линч по два шиллинга за фунт, в помятой фольге, цилиндрическая жестянка с лучшим кристаллизованным кусковым сахаром, две луковицы, одна крупней, испанского лука, целая, другая поменьше, лука ирландского, с поверхностью, увеличенной за счет рассечения надвое, и оттого более пахучая, молочник со сливками с Ирландской Образцовой Молочной Фермы, коричневый глиняный кувшин, содержащий четверть пинты с четвертью разбавленного и прокисшего молока, превратившегося под действием тепла в воду, кисловатую сыворотку и полусбившийся творог, каковое количество, будучи сложено с вычтенным для завтраков мистера Блума и миссис Флеминг, составляло одну английскую пинту, суммарный изначально доставленный объем, два зубка чеснока, полпенни и небольшая тарелка со свежим еще ломтиком антрекота. На верхней же полке батарея (пустых) банок для варенья, разных размеров и разного происхождения.

Что привлекло его внимание, лежащее на салфетке, покрывающей шкаф?

Четыре многоугольных фрагмента двух порванных красных билетиков тотализатора с номерами 8 87, 88 6.

Какие воспоминания временно омрачили его чело?

Воспоминания о совпадениях (бывает правда вымысла чудней), предвещавших результат скачки с гандикапом на Золотой Кубок, официальный и окончательный результат которой он прочитал в «Ивнинг телеграф» (вечерний розовый выпуск), в «Приюте извозчика» у Баттского моста.

Где были получены им предыдущие указания на этот результат, ожидаемый или уже возымевший место?

В заведении Барни Кирнана с патентом, Малая Бритн-стрит, 8, 9 и 10; в заведении Дэвида Берна с патентом, Дьюк-стрит, 14; на Нижней О'Коннелл-стрит, у дверей Грэма Лемона, когда угрюмый молодой человек сунул в руки ему рекламу (в дальнейшем выброшенную), сообщавшую об Илии, восстановителе Сионского храма; на Линкольн-плейс, у выхода из аптеки Ф. У. Свени и Ко (с огр. отв.), когда, когда Фредерик М. (Бэнтам) Лайонс поспешно попросил, перелистал и вернул, в указанном порядке действий, последний номер «Фрименс джорнэл энд нэшнл пресс», который он собирался выбросить (в дальнейшем выброшенный), он двинулся дальше, к восточного стиля зданию Турецких и Парных Бань, Ленстер-стрит, 11, сияя отсветами боговдохновения на лице, неся в руках тайну скачек, выбитую на языке пророчеств.

Какие смягчающие соображения умеряли его досаду?

Трудности истолкования, поскольку значение всякого события проявляется вслед за его свершением столь же по-разному, как электриче-

ский разряд проявляется при акустической регистрации, а также точного сопоставления действительного убытка в случае ложного истолкования с полною суммой возможных убытков за счет упущенного в случае верного истолкования.

Его душевное состояние?

Он не рисковал, не надеялся, не испытал разочарования, он был доволен.

Чем он был доволен?

Тем, что не понес реальных убытков. Тем, что доставил реальный выигрыш другим. Свет языкам *.

Как Блум готовил трапезу для язычника?

Он насыпал в две чашки по две полные ложки, в общей сложности четыре, растворимого какао Эппса и далее следовал имевшейся на пачке инструкции, добавив в каждую чашку, после достаточного настаивания, предписанные ингредиенты для растворения, предписанным же образом и в предписанном количестве.

Какие сверхдолжные знаки особенного гостеприимства оказал гостю хозяин?

Жертвуя своим правом симпозиарха на чашку из имитации фарфора Дерби-Корона с приспособлением для усов, подаренную ему единственной его дочерью Миллисент (Милли), он воспользовался взамен такою же чашкой, какую дал гостю, и, в виде редкого исключения, предоставил гостю, а также, хотя и в меньшей мере, себе, густые сливки, обыкновенно сберегаемые для завтрака его жены Мэрион (Молли).

Отметил ли гость эти знаки гостеприимства и оценил ли их?

Он их принял с серьезностью, когда хозяин с шутливостью привлек к ним его внимание, и таковым манером, в шутейносерьезном молчаньи причащались они массовой продукции Эппса, живительного какао.

Имелись ли такие знаки гостеприимства, которые он задумал, но временно отложил, приберегая их для другого лица и для себя самого на будущее, в завершение начатого дела?

Починка прорехи длиной $1^1/_2$ дюйма на правом боку пиджака гостя. Вручение в презент гостю одного из четырех дамских носовых платков, когда будет — ежели будет — удостоверена презентабельность последнего.

Кто пил быстрее?

Блум, имея начальное преимущество в десять секунд и делая с вогнутой поверхности ложки, по ручке которой непрерывно распространялся поток тепла, три глотка на один своего партнера, шесть на его два, девять на три.

Какой работою мозга сопровождались эти повторяющиеся действия?

Заключив из наблюдения, но ошибочно, что его молчаливый сотоварищ предался мысленно сочинительству, он раздумывал о той сладости, какую таит в себе литература поучительная, не в пример развлекательной, и какую он испытал самолично, не единожды прибегая к писаниям Вильяма Шекспира ради решенья трудных вопросов, встающих в жизни, либо в воображении.

Находил ли он их решение?

Невзирая на усердное чтение и перечитывание, при содействии толкового словаря, некоторых классических мест, он выносил из текста

лишь частичную убежденность, и ответы не охватывали всех пунктов.

Какими строками заключалось его первое стихотворение, сочиненное им, потенциальным поэтом, в 11 лет, в 1877 году, на конкурс с тремя премиями, в сумме 10 ш, 5 ш и 2 ш 6 п, объявленный еженедельником «Трилистник»?

Я с надеждой буду ждать,
Что стихи возьмут в печать,
Ведь они плоды моих усердных дум.
А под ними в уголку,
Отступив одну строку,
Пусть подпишут: ваш слуга Леопольд Блум.

Обнаружил ли он четыре разделяющие силы между собою и своим временным гостем?

Имя, возраст, национальность, вероисповедание.

Какие анаграммы составлял он в молодости из своего имени?

Леопольд Блум
Еллоплодмульб
Молльдопелуб
Боллопемудь
Моуль Лоб, деп.

Какой акростих на уменьшительную форму своего имени послал он (кинетический поэт)* мисс Мэрион (Молли) Твиди ко дню 14 февраля 1888 года?

Поэты вечно распевали
О томной грусти и печали.
Лишь я стремлюсь в иные дали
(В)
Достичь, где мы б не унывали
И вместе счастие познали.

Что помешало ему закончить сочинение злободневной песенки (на музыку Р. Г. Джонстона) о минувших событиях, намекавших на современные, под названием «Если бы Брайен Борью вернулся и поглядел на наш старый Дублин», которую заказал ему Майкл Ганн, арендатор театра «Гэйети», Южная Кинг-стрит, 46, 47, 48, 49, для включения ее в шестую сцену, алмазная долина, второй постановки (30 января 1893 года) большой ежегодной рождественской феерии «Синбад мореход» (впервые поставлена Р. Шелтоном 26 декабря 1892 года, автор текста Гринлиф Уитьер *, декорации Джорджа А. Джексона и Сесила Хикса, костюмы миссис и мисс Уилан под личным наблюдением миссис Майкл Ганн, постановка танцев — Джесси Нуар, клоунады — Томаса Отто), с исполнением первой солисткой Нелли Буверист?

Во-первых, колебания между событиями общеимперских и местных масштабов, как то: грядущий алмазный юбилей королевы Виктории (год рождения 1820, восшествия 1837) и грянувшее открытие нового городского рыбного рынка; во-вторых, сознание оппозиции со стороны радикальных кругов по вопросам визитов, соответственно, Их Королевских Высочеств герцога и герцогини Йорк (реальных) и Его Величества Короля Брайена Борью (вымышленного); в-третьих, конфликт между профессиональной этикой и профессиональным соперничеством в связи с недавним сооружением Большого мюзик-холла на Берг-куэй и театра «Ройял» на Хокинс-стрит; в-четвертых, отвлекающие моменты, а именно: теплое чувство к не-интеллектуальной, не-политической, не-злободневной мордашке Нелли Буверист и вожделение, разжигаемое мимолетным зрелищем не-интеллектуальных, не-политических, не-злободневных предметов белого нижнего белья Нелли Буверист, когда те (предметы белья) были на ней (Нелли Буверист); в-пятых, трудности с подбором подходящей музыки и юмористических намеков из «Собра-

ния шуток на все случаи жизни» (1000 страниц, и каждая — заряд смеха); в-шестых, гомофонические и какофонические рифмы, связанные с именами нового лорда-мэра Дэниэла Таллона, нового главного шерифа Томаса Пайла и нового главного прокурора Данбара Планкета Бартона.

В каком соотношении находились их возрасты?

16 лет назад, в 1888 году, когда возраст Блума равнялся теперешнему возрасту Стивена, Стивену было 6 лет. Через 16 лет, в 1920 году, когда возраст Стивена будет равняться теперешнему возрасту Блума, Блуму будет 54 года. В 1936 году, когда Блуму будет 70, а Стивену 54, их возрасты, первоначально бывшие в отношении 16 к 0, будут относиться как $17^1/_2$ к $13^1/_2$, пропорция будет возрастать, а неравенство уменьшаться по мере прибавления произвольного числа будущих лет, ибо, если бы пропорция, имевшая место в 1883 году, сохранялась неизменной, допуская, что это возможно, то в 1904, когда Стивену было 22, Блуму было бы 374 года, а в 1920, когда Стивену было бы 38, как сейчас Блуму, Блуму было бы 646, тогда как в 1952, когда Стивен достиг бы максимального послепотопного возраста в 70 лет, Блум, прожив 1190 лет и родившись в 714 году, превзошел бы на 221 год максимальный допотопный возраст, Мафусаилов, 969 лет *, а если бы Стивен также продолжал жить до достижения этого возраста в 3072 году н. э., то Блум к этому времени был бы обязан прожить 83.300 лет и родиться в 81.396 году до Р. Х.

Какие события могли бы аннулировать эти расчеты?

Прекращение существования обоих или одного из них, переход к новой эре либо календарю, уничтожение мира и вытекающая отсюда гибель человеческого рода, неизбежные, но непредсказуемые.

Сколько предыдущих встреч служили доказательством предсуществования их знакомства?

Две. Первая — в сиреневом саду дома Мэтью Диллона, вилла Медина, Киммедж-роуд, Раундтаун, в 1887 году, в присутствии матери Стивена, Стивену тогда было 5 лет, и он упрямился подать ручку. Вторая — в кофейне отеля «Бреслин» в одно дождливое воскресенье января 1892 года, в присутствии отца Стивена и двоюродного деда Стивена, когда Стивен стал на 5 лет старше.

Принял ли тогда Блум приглашение к обеду, с которым к нему обратился сын, а вслед за ним и отец?

Будучи весьма благодарен, с благодарной признательностью, с искренней и признательной благодарностью, признательно и с благодарной искренностью сожалея, он отказался.

Обнаружилось ли в разговоре об этих воспоминаниях некое третье связующее звено между ними?

Миссис Риордан (Данте), вдова с собственным капиталом *, проживала в доме родителей Стивена с 1 сентября 1888 по 29 декабря 1891 года, а в годы 1892, 1893 и 1894 она же проживала в гостинице «Городской герб», Праша-стрит, 54, владелица миссис Элизабет О'Дауд, где в течение части 1893 и части 1894 года была постоянной осведомительницей Блума, жившего в этой же гостинице и служившего в тот период клерком у Джозефа Каффа, Смитфилд, 5, с обязанностями надзора за торговыми сделками на расположенном рядом Дублинском скотном рынке по Северной окружной.

Совершал ли он для нее какие-либо особые дела милосердия?

Иногда, теплыми летними вечерами, он возил ее, немощную вдову с собственным, хотя и скромным капиталом, в ее инвалидном кресле-коляске, медленно вращающем колесами, до угла Северной окружной,

напротив конторы мистера Гэвина Лоу, где она оставалась некое время, глядя через его однолинзовый полевой бинокль на неопознаваемых граждан в трамваях, на дорожных велосипедах с тугими пневматическими шинами, извозчиках, тандемах, в собственных и наемных ландо, догкартах, двуколках, запряженных пони, и на линейках, следующих из города в Феникс-парк и обратно.

Почему он тогда был способен переносить эти бдения с большей невозмутимостью?

Потому что в свои молодые годы он часто сиживал, следя сквозь выпуклую округлость многоцветного витража зрелище бесконечных перемен на проезжей улице снаружи, двухколесные и четырехколесные средства передвижения, двуногих и четвероногих пешеходов, скользящих быстро, медленно, мерно, вкруг и вкруг и вкруг круглого-круглого обода отвесного шара.

Какие заметно несхожие воспоминания остались у каждого о ней, уж восемь лет как покойной?

У старшего — ее карты и фишки для игры в безик, ее скайтерьер, ее предполагаемое богатство, приступы рассеянности и начинающаяся катаральная глухота; у более молодого — ее лампадка с рапсовым маслом перед статуей Непорочного Зачатия, султаны зеленых и каштановых перьев в честь Чарльза Стюарта Парнелла и Майкла Дэвитта, салфетки из шелковой бумаги.

Не оставалось ли у него каких-либо средств к омоложению, которое казалось еще желаннее от этих воспоминаний, поведанных младшему товарищу?

Домашние упражнения, которые он делал время от времени, а потом забросил, и которые Юджин Сэндоу в «Физической силе и как можно ее развить» рекомендовал специально для мужчин-коммерсантов с сидячим родом занятий; их следовало выполнять перед зеркалом в полной сосредоточенности, так, чтобы в работе участвовали различные группы мышц и постепенно достигалась приятная крепость, еще более приятная расслабленность и наиприятнейшее возрождение юношеской ловкости.

Принадлежала ли в ранние годы к его качествам незаурядная ловкость в чем-либо?

Хотя поднятие штанги превосходило его силы, а полный оборот на турнике его храбрость, но все же, будучи в старших классах, он мог блеснуть образцовым и продолжительным выполнением угла на параллельных брусьях благодаря необычайно развитому брюшному прессу.

Делал ли кто-либо из них открытые намеки на их национальные различия?

Ни один.

Каковы были, если свести их к простейшей обоюдной форме, мысли Блума относительно мыслей Стивена о Блуме и относительно мыслей Стивена относительно мыслей Блума о Стивене?

Он думал что он думал что он еврей и он знал что он знал что он знал что он не был им.

Каковы были, если снять умолчания, их родословные?

Блум, единственный рожденный мужского пола транссущный наследник Рудольфа Вирага (впоследствии Рудольфа Блума) из Сомбатхея, Вены, Будапешта, Милана, Лондона и Дублина и Эллен Хиггинс, второй дочери Джулиуса Хиггинса (урожденного Кароя) и Фанни Хиггинс (урожденной Хегарти). Стивен, старший из выживших, мужского

пола единосущный наследник Саймона Дедала из Корка и Дублина и Мэри, дочери Ричарда и Кристины Гулдинг (урожденной Грир).

Были ли Блум и Стивен крещены, и где, и кем, клириком или мирянином?

Блум (трижды) преподобным мистером Гилмером Джонстоном, М. И., единолично, в протестантской церкви Святого Николая за Городом, в Куме; Джеймсом О'Коннором, Филипом Гиллиганом и Джеймсом Фицпатриком, совместно, под водопроводной колонкой в деревне Свордс, и преподобным Чарльзом Мэлоном, викарием, в церкви Трех Святителей, Рэтгар. Стивен (единожды) преподобным Чарльзом Мэлоном, викарием, единолично, в церкви Трех Святителей, Рэтгар.

Находили ли они сходство в полученном ими образовании?

Если поставить Стивена на место Блума, то Стум последовательно закончил бы школу старушки и среднюю школу. Если поставить Блума на место Стивена, то Бливен последовательно закончил бы приготовительный, младший, средний и старший школьные классы, прошел бы вступительный экзамен, первый курс и второй курс гуманитарного отделения и получил степень бакалавра искусств от королевского университета.

Почему Блум воздержался от заявления, что он прошел университет жизни?

Из-за своей колеблющейся неуверенности в том, не говорил ли он уже раньше этого Стивену или же Стивен ему.

Какие два темперамента они индивидуально представляли?

Научный. Художественный.

Какие доказательства привлек Блум, доказывая, что его склонности направлены скорей к прикладной, нежели к чистой науке?

Некоторые возможные изобретения, кои он замысливал в состоянии недвижной пресыщенности, простершись горизонтально и навзничь в интересах пищеварительного процесса и черпая вдохновение в сознании важности изобретений, ныне привычных, однако некогда революционных, как то: воздухоплавательный парашют, зеркальный телескоп, спиральный штопор, английская булавка, сифон для минеральной воды, шлюз канала с воротом и затвором, всасывающий насос.

Предназначались ли эти изобретения, главным образом, для проекта усовершенствованного детского сада?

Да, делая устарелыми пугачи, надувные пузыри для плавания, азартные игры, рогатки. В числе их были астрономические калейдоскопы, показывающие двенадцать созвездий Зодиака, от Овна до Рыб, миниатюрные механические планетарии, арифметические желатиновые конфетки, геометрическое, в дополнение к зоологическому, печенье, мячи-глобусы, куклы в костюмах разных эпох.

Что еще вдохновляло его в этих замыслах?

Финансовый успех, которого добились Эфраим Маркс и Чарльз Э. Джеймс, первый со своей однопенсовой ярмаркой на Южной Джорджстрит, 42, а второй со своей $6^1/_2$-пенсовой лавкой, большой распродажей модных товаров и выставкой восковых фигур на Генри-стрит, 30, плата за вход 2 п, дети 1 п; а также огромные непочатые возможности современного искусства рекламы, если ее сжать в трехбуквенные моноидейные символы, с максимальной заметностью по вертикали (предвещающей), максимальной удобочитаемостью по горизонтали (расшифровывающей) и магнетической способностью насильно приковывать внимание, дабы заинтересовать, убедить, заставить решиться.

Например?

К. П. Кайноу 11 ш брюки.

Дом ключей. Алессандро Дж. Ключчи.

А как не следует?

Взгляните на эту длинную свечу. Подсчитайте, когда она сгорит, и вы получите бесплатно пару наших прекрасных ботинок из натуральной кожи, с гарантией блеска в одну свечу. Адрес: Барклай и Кук, Талбот-стрит, 18.

Бациллобой (порошок от насекомых).

Чудоблеск (сапожная вакса).

Многодел (складной перочинный ножик с двумя лезвиями, штопором, пилкой для ногтей и стержнем для прочистки трубки).

А как ни за что нельзя?

Как живется в доме без паштетов Сливи?

Тоскливо.

А с ними жизнь словно рай.

Производство Джорджа Сливи, Дублин, Мерчент-куэй, 23, расфасовано в банки по 4 унц. и помещено советником Джозефом П. Наннетти, Ч. П., Ротонда-уорд, Хардвик-стрит, 19, непосредственно под некрологами и годовщинами смерти. На этикетке фамилия Сливи. Слива и горшок с мясом — зарегистрированная марка. Остерегайтесь подделок. Слива. Висла. Вали. Сливай.

Какой пример он решил привести, чтобы подвести Стивена вывести, что оригинальность, позволяя произвести эффект, к успеху, однако, может и не вести?

Свой собственный, продуманный, но отвергнутый проект иллюминированного рекламного фургона, влекомого вьючным животным, где сидели бы две девушки, элегантно одетые, нечто пишущие.

Какая навеянная сцена представилась тогда Стивену?

Одинокая гостиница на перевале в горах. Осень. Сумерки. Пылает камин. В темном углу сидит молодой человек. Входит молодая женщина. Она взволнована. Одинока. Она садится. Подходит к окну. Стоит. Садится. Сумерки. Она задумывается. Она принимается писать на листе с маркой одинокой гостиницы. Задумывается. Пишет. Вздыхает. Стук копыт и колес. Она поспешно выходит. Он появляется из своего темного угла. Схватывает одинокий листок. Подносит к огню. Он читает. Одинокий.

Что?

Буквами косыми, прямыми, с обратным наклоном: Отель «Куинз», Отель «Куинз», Отель «Куинз». Отель «Ку...

Какая навеянная сцена припомнилась тогда Блуму?

Отель «Куинз», Эннис, графство Клэр, где Рудольф Блум (Рудольф Вираг) скончался вечером 27 июня 1886 года, точный час неизвестен, вследствие чрезмерной дозы волчьего корня (аконита), принятого в форме антиневралгической мази, составленной из двух частей аконитовой мази на одну часть хлороформовой мази (купленной им 27 июня 1886 года в 10 часов 20 минут утра в аптеке Френсиса Деннехи, Эннис, Черч-стрит, 17), после, хотя и не вследствие, покупки днем 27 июня 1886 года, в 3 часа 15 минут пополудни, нового и весьма щегольского соломенного канотье (после, хотя и не вследствие, покупки указанного яда в указанное время и в указанном месте), в магазине одежды Джеймса Коллена, Эннис, Мэйн-стрит, 4.

Отнес ли он эту омонимию за счет осведомленности, или совпадения, или интуиции?

Совпадения.

Обрисовал ли он сцену словесно, дабы гость мог увидеть?

Он предпочел видеть лицо гостя и слушать его слова, благодаря чему потенциальный рассказ был осуществлен и кинетический темперамент получил разрядку.

Усмотрел ли он только лишнее совпадение во второй сцене, которая была рассказана ему и названа рассказчиком «Вид на Палестину с горы Фасги или Притча о сливах»?

Она, вкупе с предыдущею сценой и другими, которые не были рассказаны, однако подразумевались существующими, и вкупе также с сочинениями на разные темы или поучительные пословицы (напр. «Мой любимый герой» * или «На час опоздаешь — за год не наверстаешь» *), написанными за время ученья, как ему казалось, заключала в себе, в сочетании с личным фактором, верный залог финансового, общественного, личного и сексуального успеха, будь то в составе особого сборника текстов (стопроцентного достоинства) на избранные педагогические темы для учеников приготовительных и младших классов, или же в напечатанном виде, следуя прецедентам Филипа Бьюфоя, или Доктора Дика *, или «Этюдов в голубом» Хеблона *, в каком-либо издании с надежным спросом и платежным балансом, или будучи излагаема устно в качестве интеллектуальной стимуляции сочувственных слушателей, способных без лишних слов оценить удачный рассказ и уверенно предрекающих успех и удачу, в пору все удлиняющихся ночей, следующих за летним солнцестоянием, каковое последует уже через три дня, а именно во вторник, 21 июня (Св. Алоизий Гонзага), восход солнца 3.33 утра, заход 8.29 пополудни.

Какая домашняя проблема нередко заботила его столь же сильно, как —если не больше чем — любая другая?

Чем нам занимать наших жен.

Какие гипотетические и оригинальные решения у него возникали?

Салонные игры (домино, уголки, блошки, бирюльки, бильбоке, дурачок, девятка, безик, очко, пьяница, шашки, шахматы или триктрак); вышивание, штопка или вязание для содействуемого властями общества «Голому рубашка»; музыкальные дуэты, мандолина и гитара, фортепьяно и флейта, гитара и фортепьяно; переписка юридических бумаг или надписывание конвертов; дважды в неделю посещение увеселительных заведений; коммерческая деятельность в качестве хозяйки-владелицы магазина, скромного молочного или элегантного табачного, где она мило командует и ей умильно покорствуют; тайное удовлетворение эротической возбужденности в мужских борделях, подлежащих медицинской инспекции и надзору властей; светские визиты по регулярному неплотному расписанию, не застрахованному от случайностей, и под регулярным плотным присмотром на всякий случай к близживущим знакомым дамам с безукоризненной репутацией и их ответные визиты; вечерние образовательные курсы с особой заботой о легкости и приятности образования.

Какие примеры недостаточного умственного развития его жены склоняли его в пользу последнего (девятого) из решений?

В минуты праздности она не раз марала листок бумаги значками и закорючками, уверяя, что это греческие, ирландские и еврейские буквы. Она без конца, через разные промежутки времени, спрашивала, как правильно писать вторую из прописных букв в названии города в Америке, Нью-Йорк. Она плохо разбиралась в сложностях внутренней политики и в соотношении сил во внешней политике. Складывая цифры

счетов, она часто прибегала к помощи пальцев. Завершив лаконические эпистолярные композиции, она забывала орудия каллиграфии в энкаустическом красителе, подверженными коррозийному воздействию сернокислой закиси железа, зеленого купороса и чернильного ореха. Непривычные многосложные слова иностранного происхождения она толковала по звучанию или по мнимому сходству, или и так и этак: метемпсихоз (метим псу хвост), алиас[2] (лжец, упоминаемый в Священном Писании)*.

Чем уравновешивались во мнимом равновесии ее ума эти и подобные им изъяны ее суждений о людях, местах и предметах?

Наблюдаемой мнимой параллельностью всех перпендикулярных плеч всех уравновешивающих устройств, удостоверяемой из конструкции. Противовесом ее тонкого суждения об одном человеке, удостоверяемого из опыта.

Как он пытался излечить это состояние относительного невежества?

Многоразлично. Оставляя на видном месте определенную книгу, раскрытую на определенной странице; давая объяснения намеками, предполагающими в ней скрытые познания; открыто высмеивая в ее присутствии невежественные промахи кого-либо из отсутствующих.

Какой успех имели его попытки прямых поучений?

Она улавливала не полностью, а частично, с интересом внимала, с удивлением постигала, повторяла с прилежанием, вспоминала с трудом, с легкостью забывала, повторно вспоминала с опаской, повторно повторяла с ошибкой.

Какой метод оказался более эффективным?

Окольное внушение, задевающее личную заинтересованность.

Пример?

Ей не нравилось с зонтиком в дождь, ему нравилось, когда женщина с зонтиком, ей не нравилось в новой шляпке под дождь, ему нравилось, когда женщина в новой шляпке, он покупает новую шляпку в дождь, она выходит в новой шляпке под зонтиком.

Принимая аналогию, скрытую в притче его гостя, какие он указал примеры послепленных великих?

Троих искателей чистой истины, Моисея Египетского, Моисея Маймонида, автора «Море Небуким» («Вожатый заблудших»*) и Моисея Мендельсона, столь великих, что от Моисея (Египетского) до Моисея (Мендельсона) не было равных Моисею (Маймониду).

Какое утверждение высказал, с оговоркой, Блум по поводу четвертого искателя чистой истины, прозываемого Аристотелем и упомянутого, с позволения, Стивеном?

Что упомянутый искатель был учеником некоего раввина-философа *, чье имя не установлено.

Были ли упомянуты другие анапокрифические прославленные сыны закона и дети избранного и отвергнутого племени?

Феликс Бартольди Мендельсон (композитор), Барух Спиноза (философ), Мендоза* (боксер), Фердинанд Лассаль* (реформатор и дуэлянт).

Какие стихотворные фрагменты на древнееврейском и древнеирландском языках были с модуляциями голоса и с переводом текста продекламированы гостем хозяину и хозяином гостю?

[2] Иначе называемый *(лат.)*.

Стивеном: suil, suil, suil arun, suil go siocair agus suil go cuin (иди, иди, иди путем своим, иди уверенно, иди спокойно).

Блумом: кифелох, харимон ракатейх м'баад л'заматейх (как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими)[3].

Как проводилось начертательное сравнение звуковых символов обоих языков, в дополнение к устному сравнению?

Путем рядоположения. На предпоследней чистой странице книги низких литературных достоинств под титлом «Прелести греха» (каковую извлек Блум, манипулируя ею так, чтобы верхняя обложка пришла в соприкосновение с плоскостью стола), с помощью карандаша (предоставленного Стивеном), Стивен написал ирландские буквы, отвечающие звукам и, э, дэ, эм, простому и измененному, а Блум, в свою очередь, написал еврейские буквы гимел, алеф, далет и (не имея в распоряжении мем) в качестве замены коф, объяснив их арифметические значения как порядковых и количественных числительных, а именно: 3, 1, 4 и 100.

Были ли познания обоих в каждом из этих языков, мертвом и возрождаемом, теоретическими или практическими?

Теоретическими, будучи ограничены синтаксисом и некоторыми случайными грамматическими правилами и практически не включая словарный запас.

Какие точки соприкосновения имелись между этими языками и между народами, на них говорившими?

Наличие гуттуральных звуков, диакритических придыханий, вставных и служебных букв в обоих языках; их древность, поскольку оба преподавались через 242 года после потопа на земле Сеннаар, в семинарии, основанной Фением Фарсахом, потомком Ноя, прародителя Израиля, и предком Хебера и Херемона, прародителей Ирландии *; их археологическая, генеалогическая, агиографическая, экзегетическая, гомилетическая, топономастическая, историческая и религиозная литературы, в том числе писания раввинов и ирландских анахоретов, Тора, Талмуд (Мишна и Гемара), Массор *, Пятикнижие, Книга Бурой Коровы *, Книга Баллимот, Венец Хоута *, Книга Келлса *; их рассеяние, преследование, выживание и возрождение; вытеснение их синагогальных и церковных обрядов в гетто (аббатство Святой Марии) и в мирской дом (харчевня Адама и Евы *); запрет их национального платья в уголовных кодексах * и в указах об одежде евреев; восстановление царства Давидова в Ханаане * и возможность политической автономии или передачи власти в Ирландии.

Какой гимн частично спел Блум в предвосхищении этого совокупного, этнически несводимого свершения?

Колод балейвав пнима
Нефеш, иегуди, хомийя[4].

Почему пение было прервано после этого первого двустишия?

Вследствие несовершенства мнемотехники.

Чем исполнитель возместил это несовершенство?

Вольным пересказом общего содержания.

В исследовании какого предмета соединились их обоюдные размышления?

---

[3] Книга Песни Песней Соломона, 4, 3.

[4] В заветной глубине сердца
Бурна и могуча душа Иудеи (*древнеевр.*—начальные строки сионистского гимна «Надежда»).

Неуклонного упрощения, прослеживаемого от египетских эпиграфических иероглифов до греческого и латинского алфавитов и до предвосхищения современной стенографии и телеграфного кода в клинописи (семитской) и в квинтофигурном палочковом письме огам (кельтском).

Исполнил ли гость просьбу хозяина?

Вдвойне, начертав свою подпись ирландскими и латинскими буквами.

Каковы были слуховые впечатления Стивена?

В проникновенном древнем мужественном незнакомом напеве ему слышалось воплощение прошлого.

Каковы были зрительные впечатления Блума?

В живой юной мужественной знакомой фигуре ему виделся лик грядущего.

Каковы были квазиодновременные у Стивена и у Блума осмысленные квазиощущения скрытых личностей?

У Стивена — зрительное: традиционный облик ипостаси, описанный Иоанном Дамаскиным *, Лентулом Романом * и Епифанием Кипрским * как лейкодермический, сесквипедальный *, с винноцветными волосами *.

У Блума — слуховое: традиционный призвук экстаза катастрофы.

Какие будущие карьеры были возможны для Блума в прошлом, и по чьим образцам?

В церкви, католической, англиканской или же диссидентской: образцы — высокопреподобный Джон Конми, О. И., преподобный О'Сетр, доктор богословия, ректор колледжа Тринити, доктор Александр Дж. Доуи. В суде, английском или ирландском: образцы — Сеймур Буш, королевский адвокат, Руфус Айзекс *, королевский адвокат. На сцене, современной либо шекспировской: образцы — Чарльз Уиндем *, блестящий комик, Осмонд Тирл (ум. 1901), исполнитель шекспировских ролей.

Уговаривал ли хозяин гостя исполнить со всеми вокальными модуляциями странную балладу на близкую тему?

Ободряя, они де в уединенном месте и никто их не слышит, приободрившись, коль скоро горячие напитки, вода плюс сахар плюс сливки плюс какао, по осаждении нерастворимого компонента указанной механической смеси, были потреблены внутрь.

Исполните первую (мажорную) часть баллады.

Однажды малыш Гарри Хьюз с друзьями
В мяч поиграть решил.
И первый мяч малыша Гарри Хьюза
К евреям в сад угодил.
И мяч второй малыша Гарри Хьюза
Евреям окна разбил.

Как сын Рудольфа воспринял эту первую часть?

Без всяких смешанных чувств. Еврей, он с удовольствием слушал, улыбаясь и поглядывая на целехонькое окно кухни.

Исполните вторую (минорную) часть баллады.

И вышла из дома еврейка-дочь,
Зеленый наряд на ней.
Поди-ка сюда, мой славный малыш,
Входи в наш дом поскорей.

Нет-нет, я к вам не хочу идти.
Мне дом без друзей не мил,
И если узнает учитель наш,
Он как бы меня не побил.

Но тут за ручку она его
Хватает, что было сил.
И в дальний покой влечет за собой.
Хоть он отпустить молил.

И там она вынимает нож
И режет его ножом.
И больше уж в мяч ему не играть,
Он спит непробудным сном.

Как отец Миллисент воспринял эту вторую часть?

Со смешанным чувством. Он слушал, не улыбаясь, и с удивлением видел еврейку-дочь в зеленом наряде.

Изложите сжато комментарии Стивена.

Одна средь всех, наименьшая из всех, такова обреченная жертва. Однажды по оплошности, дважды умышленно он искушает свою судьбу. Судьба является, когда он покинут, и искушает его, колеблющегося, и, как виденье юности и надежды, завладевает им без борьбы, покорным. Она приводит его в чужое жилище, в приют тайного иноверца, и там неумолимо предает на заклание, безропотного.

Отчего хозяин (обреченная жертва) был печален?

Он хотел, чтобы рассказ о содеянном был бы поведан о содеянном не им и поведан не им.

Отчего хозяин (колеблющийся, покорный) был неподвижен?

В соответствии с законом сохранения энергии.

Отчего хозяин (тайный иноверец) был молчалив?

Он взвешивал всевозможные доводы за и против ритуальных убийств: подстрекательства иерархии, суеверие черни, распространение слухов в непрерывных долях правдивости, зависть к богатству, влияние мести, спорадические явления атавистической преступности, смягчающие обстоятельства фанатизма, гипнотического внушения и лунатизма.

Имелось ли среди этих умственных или физических расстройств хотя бы одно (если да, то какое), от коего он был не вполне свободен?

От гипнотического внушения: однажды, проснувшись, он не узнал квартиры, в которой спал; не однажды, проснувшись, он обнаруживал себя на некое время неспособным двигаться или произносить звуки. От лунатизма: однажды во сне тело его поднялось, стало на четвереньки и поползло в направлении остывшего очага, где, достигнув цели, свернулось, в холоде, в ночном одеянии, и продолжало спать.

Случались ли эти или подобные феномены у кого-либо из членов его семьи?

Дважды, на Холлс-стрит и на Онтарио-террас, его дочь Миллисент (Милли) в возрасте, соответственно, 6 и 8 лет, вскрикивала во сне от ужаса и на расспросы двух фигур в ночном одеянии отвечала лишь отсутствующим и немым взором.

Какие еще воспоминания остались у него о ее раннем детстве?

15 июня 1889 года. Капризная новорожденная вопит, наливаясь кровью, стремясь уменьшить прилив крови. Девочка, перекрещенная в Мурзилку, сует пастилку в свою копилку; считает его пуговки как монетки лаз ва тли; кукла, которую она выбросила, мальчик в матроске; белокурая от двух темноволосых, в родне были белокурые, в давние времена, изнасилование, герр гауптман Хайнау, австрийская армия, в недавние, галлюцинация, лейтенант Малви, британский военный флот.

Какие присутствовали эндемические особенности?

Текст баллады в романе сопровождается нотами, которые в журнальном издании нами выпущены.

Наоборот, строение назальной и фронтальной областей отвечало прямой линии наследственности, которая, хотя и прерываемая, проявлялась в отдельных звеньях вплоть до самых отдаленных звеньев.

Какие воспоминания остались у него о ее отрочестве?

Она забросила в дальний угол свой обруч и скакалку. На Дьюкслоун, когда ее упрашивал английский турист, она отказалась позволить ему сфотографировать ее и взять карточку на память (не мотивируя отказа). На Южной окружной, будучи в компании Эльзы Портер, когда за ними увязался какой-то жуткий субъект, она дошла до половины Стеймер-стрит и круто повернула обратно (не объясняя причин). Накануне 15-ой годовщины своего рождения она прислала письмо из Моллингара, графство Уэстмит, кратко намекая на какого-то тамошнего студента (не сообщая курса и факультета).

Огорчило ли его это первое разъединение, предвещавшее второе?

Слабее, чем он рисовал себе, сильнее, чем он надеялся.

Какое еще исчезновение, сходное, хотя и отличное, было замечено им в тот же период?

Временное исчезновение его кошки.

В чем сходство и в чем отличие?

Сходство в наличии тайной цели, а именно, поисков нового самца (студента из Моллингара) или же целебной травы (валерианы). Отличие в несходстве возможных возвращений, а именно, к обитателям или к месту обитания.

Были ли их отличия сходны в других аспектах?

В пассивности, в экономности, в силе привычек, в неожиданности.

Подтверждение?

В том, что она, наклонившись и подхватив свои белокурые волосы, предоставляла ему завязать бант на затылке (ср. с кошкой, выгибающей спину). Далее, на спокойной глади озера в Стивенс-грин, меж перевернутых отражений деревьев, ее непоясняемый плевок, описывающий концентрические круги водяных колец, своим постоянным присутствием указывал местонахождение сонной и неподвижной рыбы (ср. с кошкой, подстерегающей мышь). Опять-таки, чтобы запомнить дату, участников, исход и последствия какой-нибудь знаменитой батальной операции, она теребила прядки своих волос (ср. с кошкой, моющей ухо). Наконец, ей, глупышке, приснилось, как будто у нее бессловесный и незапомнившийся разговор с лошадью по имени Джозеф, которой (которому) она предложила полный стакан лимонада и он был будто бы принят ей (им) (ср. с кошкой, дремлющей у камина). Итак, в пассивности, в экономности, в силе привычек и в неожиданности их отличия были сходны.

Каким образом он употребил подарки (1) сову, (2) часы, преподнесенные в напутствие брачного союза, на то, чтобы заинтересовать ее и наставить?

В качестве наглядных пособий для объяснения: 1) природы и повадок яйцекладущих животных, возможности полета по воздуху, некоторых особенностей зрения, древнего обычая мумификации; 2) принципа маятника, воплощенного в гире, зубчатой передаче и регуляторе, перевода на язык личного и общественного регламента различных позиций, в направлении по часовой стрелке, подвижных указателей на неподвижном диске, точности ежечасного возвращения того момента в каждом часу, когда указатели короткий и длинный имеют одинаковый угол наклона, а именно, ежечасно на $5\,{}^{5}/_{11}$ минуты позднее, нежели в предыдущем часу, в арифметической прогрессии.

В чем выражался ее ответный отклик?

Она запоминала: в день его 27-летия она подарила ему чашку с приспособлением для усов из имитации фарфора Дерби-Корона. Она соображала: в начале каждого квартала, когда либо если он делал не для нее разные покупки, она проявляла заботу о его нуждах, угадывая его желания. Она восхищалась: когда он объяснял ей различные феномены природы, она всегда заявляла, что мечтает получить частицу его познаний, только не постепенно, а сразу, хотя бы половину, четверть, тысячную.

Какое предложение сделал ноктамбулическому Стивену диамбулический Блум, отец сомнамбулической Милли?

Посвятить промежуточные часы между четвергом (в собственном смысле) и пятницей (в нормальном смысле) отдыху в импровизированном дортуаре в помещении непосредственно над кухней и непосредственно смежном с помещением для сна хозяина и хозяйки.

Какие разнообразные преимущества проистекали или могли бы проистекать от пролонгации подобной импровизации?

Для гостя: надежный кров и уединение для занятий. Для хозяина: омоложение интеллекта, заместительное удовлетворение. Для хозяйки: спад одержимости, достижение правильного итальянского произношения.

Почему эти несколько случайных нитей между гостем и хозяйкой могли бы отнюдь не помешать постоянной возможности примирительного союза между малышом и дочкой еврея, равно как и эта возможность могла бы не помешать им?

Потому что путь к дочери ведет через мать, а путь к матери через дочь.

На какой случайный многосложный вопрос хозяина гость отвечал односложным отрицанием?

Знал ли он покойную миссис Эмили Синико, погибшую во время железнодорожного крушения на станции Сидни Пэрейд, 14 октября 1903 года *.

От какого зародившегося сопричастного замечания не случайно воздержался хозяин?

От замечания с объяснением своего отсутствия на церемонии погребения миссис Мэри Дедал (урожденной Гулдинг), 26 июня 1903 года, в канун годовщины смерти Рудольфа Блума (урожденного Вирага).

Было ли принято предложение убежища?

Немедленно, необъяснимо, дружественно и благодарно оно было отклонено.

Какие финансовые операции состоялись между хозяином и гостем?

Первый вернул последнему, без процентов, сумму в один фунт и семь шиллингов (1 ф 7 ш 0 п), ранее выданную последним первому.

Какие встречные предложения были поочередно выдвинуты, приняты, видоизменены, отклонены, выражены в иной форме, вновь приняты, официально утверждены и снова подтверждены?

Начать, согласно предварительной договоренности, курс обучения итальянскому языку, по месту жительства обучаемой. Начать курс обучения искусству вокала, по месту жительства обучающей. Начать цикл статических, демистатических и перипатетических интеллектуальных диалогов, по месту жительства обоих собеседников (если оба собеседника имеют жительство в одном месте), в «Корабле» (гостиница с трак-

тиром, владельцы У. и Э. Коннери), Нижняя Эбби-стрит, 6, в Ирландской национальной библиотеке, Килдер-стрит, 10, Центральном родильном доме, Холлс-стрит, 29, 30 и 31, в городском саду, поблизости от культового сооружения, на скрещении двух или более городских магистралей, в средней точке отрезка, проведенного между местами их жительства (если оба собеседника имеют жительство в различных местах).

Что делало для Блума проблематичной реализацию этих взаимно самоисключающих предложений?

Непоправимость прошлого: однажды на представлении цирка Альберта Хенглера в Ротонде на Ратленд-сквер, Дублин, предприимчивый пестрый клоун в поисках своих отцовских корней забрался с арены в публику, туда, где сидел одиночка Блум, и объявил во всеуслышание, к восторгу зрителей, что он (Блум) его (клоуна) родной папаша. Непредвидимость будущего: однажды летом 1898 года он (Блум) пометил флорин (2 ш) тремя насечками по его рифленому ребру и отдал в счет суммы, причитавшейся и возмещенной Дж. и Т. Дэви, домашним поставщикам бакалейных товаров, Чарлмонт Мэлл, 1, Грэнд Кэнел, на предмет циркуляции в водах общественных финансов и в видах возможного, кружного или прямого, возвращения.

Был ли клоун сыном Блума?

Нет.

Вернулась ли монета к Блуму?

Ни разу.

Почему новое разочарование вызвало бы у него еще большую подавленность?

Потому что в переломный момент человеческого бытия он жаждал исправить многие обстоятельства общественной жизни, следствия неравенства, алчности и розни между народами.

Он верил, стало быть, что человеческая жизнь, при устранении этих обстоятельств, была бы способна к бесконечному улучшению?

Оставались еще, как неотъемлемая часть человеческого целого, обстоятельства родовые, определяемые законами природы, кои отличны от человеческих: необходимость разрушения ради добычи пропитания; мучительный характер граничных актов индивидуального существования, агоний рождения и смерти; периодические менструации у самок приматов и (в частности) человека, происходящие в течение всего времени от достижения половой зрелости и до менопаузы; неизбежные жертвы на море, в шахтах, на фабриках; отдельные крайне мучительные болезни и связанные с ними хирургические операции; врожденное слабоумие, наследственная преступность, опустошительные эпидемии; катастрофические катаклизмы, вселяющие вечный ужас в сознание человека; сейсмические потрясения с эпицентрами в густонаселенных районах; и наконец, сам жизненный рост, процесс конвульсивных метаморфоз от младенчества через зрелость к распаду.

Почему он прекратил размышления на эту тему?

Потому что заменить нежелательные феномены, заслуживающие устранения, другими феноменами, более желательными, было задачей для высшего интеллекта.

Разделял ли Стивен его безнадежное настроение?

Он утверждал собственную значимость как сознающего и рассуждающего животного, путем силлогизмов продвигающегося от известного к неизвестному, и как сознающего и рассуждающего реагента между

микро и макрокосмом, неизбежно воздвигнутыми над неопределенностью пустоты.

Воспринял ли Блум это утверждение?
Не словесно. По сути.

Что его утешало в неполноте его восприятия?

То, что он, как гражданин многоопытный, хотя и лишенный ключа, энергично продвинулся от неизвестного к известному через неопределенность пустоты.

В каком порядке следования и с каким сопроводительным церемониалом совершен был исход из дома рабства в пустыню обитания?

Зажженную Свечу в Подсвечнике
нес
БЛУМ.
Шляпу Диакона на Трости ясеневой
нес
СТИВЕН.

При распевании secreto[5] какого памятного псалма?

113-го, modus peregrinus: In exitu Israel de Egypto: domus Jacob de populo barbaro[6].

Что сделал каждый из них у врат выхождения?

Блум поставил подсвечник на пол. Стивен надел шляпу на голову.

Для какого создания служили врата выхождения вратами вхождения?

Для кошки.

Какое зрелище представилось им, когда они, впереди хозяин, а следом гость, явились в безмолвии, двоякотемные, из тьмы тропинки на задах дома в полумрак сада?

Звезд небодрево, усеяно влажными ночной бирюзы плодами.

С какими медитациями проводил Блум демонстрацию разнообразных созвездий своему спутнику?

С медитациями об эволюции все возрастающего масштаба: о луне, незримой в начале лунного месяца, когда она близка к перигею; о несгущенном млечном пути, бесконечном, решетовидном, мерцающем и видимом при дневном свете для наблюдателя, помещенного в нижнем конце цилиндрической вертикальной шахты глубиной 5.000 футов и направлением от поверхности к центру земли; о Сириусе (альфе Большого Пса) на расстоянии 10 световых лет (57.000.000.000.000 миль) и по объему в 900 раз больше нашей планеты; об Арктуре; о предварении равноденствий; об Орионе с его поясом, шестерным солнцем тэта и туманностью, способной вместить 100 наших солнечных систем; о гаснущих и нарождающихся, новых звездах, таких как Нова 1901 года; о нашей системе, увлекаемой к созвездию Геркулеса; о параллаксе или параллактическом смещении так называемых неподвижных звезд, в действительности пребывающих в постоянном движении от безмерно удаленных прошедших эпох к бесконечно удаленным будущим, в сравненьи с коими отпущенный человеку срок, дней лет наших — семьдесят лет, был мизерным неразличимым отрезком.

---

[5] Тайно *(лат.)*.

[6] По образу чужеземцев: когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного *(лат.)*.

Были ли у него медитации обратного рода, об инволюции все убывающего масштаба?

О геологических эпохах, запечатленных слоями земной коры; о мириадах крохотных энтомологических органических существ, обнаруживаемых в пустотах земли, под сдвинутыми камнями, в ульях и курганах, о микроорганизмах, микробах, бактериях, бациллах, сперматозоидах; о неисчислимых триллионах биллионов миллионов неосязаемых молекул, удерживаемых силами межмолекулярного сцепления в единой булавочной головке; о целой вселенной человеческой сыворотки с ее созвездиями красных и белых телец, которые сами суть целые вселенные пустого пространства с созвездиями иных тел, где каждое, по преемству, своя вселенная из делимых составляющих тел, из коих каждое вновь делимо на составляющие, опять-таки делимые, так что делимое и делитель все делятся и делятся, не достигая окончательного раздела, покуда, если достаточно продолжить процесс, нигде и никогда ничего достигаться не будет.

Почему он не довел эти вычисления до более точного результата?

Потому что некоторое время назад, в 1886 году, занимаясь исследованиями квадратуры круга, он узнал о существовании числа, вычисленного с относительной степенью точности до такой величины и со столькими знаками, к примеру, 9-ой степени 9-ой степени 9, что, по получении результата, потребовалось бы 33 тома мелкой печати, по 1000 страниц в каждом, несметное множество дестей и стоп индийской бумаги, чтобы там поместилась вся эта сага цифр, единиц, десятков, сотен, тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, миллионов, десятков миллионов, сотен миллионов, биллионов, причем ядро туманности каждого знака в каждом ряду таит потенциальную возможность возведения в любую степень любой из его степеней, до наивысшего кинетического развития.

Полагал ли он более легкой проблему заселения планет и их спутников какой-либо расой, определенным видом, и возможности общественного и нравственного искупления этой расы неким искупителем?

Здесь он видел трудность иного порядка. Зная, что человеческий организм, в нормальных условиях способный выносить атмосферное давление в 19 тонн, при поднятии на значительную высоту в земной атмосфере с приближением к демаркационной линии между тропосферой и стратосферой начинает страдать, в арифметической прогрессии по интенсивности, от носового кровотечения, головокружений и затрудненности дыхания, он, ставя указанную проблему, высказал в качестве рабочей гипотезы, невозможность которой доказать невозможно, что раса с лучшею адаптируемостью и с иным анатомическим строением своих существ могла бы неким особым образом существовать и в марсианских, меркурианских, венерианских, юпитерианских, нептунианских или уранианских достаточных и эквивалентных условиях, хотя человечество в своем апогее, состоящее из существ, сотворенных в разных формах с конечными различиями, а в итоге подобных друг другу и всему целому, наверняка, осталось бы и там, как и тут, неизменно и неискоренимо привязанным к суете, суете сует и всяческой суете.

А проблема возможности искупления?

Меньшая посылка доказана большей.

Какие различные особенности созвездий были последовательно рассмотрены?

Различные цвета, свидетельствующие о различных стадиях жизни (белый, желтый, красный, темно-красный, багровый); их степени яркости; их величины, доступные глазу вплоть до 7-ой включительно; их положения; звезда возницы; Вальсингамов путь; Давидова колесница; опоясывающие кольца Сатурна; сгущение спиральных туманностей в солнца;

взаимозависимые обращения двойных солнц; независимые одновременные открытия Галилео, Симона Мариуса, Пьяцци, Леверье, Гершеля, Галле; систематизации, каковые пытались установить Боде и Кеплер относительно кубов расстояний и квадратов периодов; почти бесконечная сжимаемость волосатых комет и их протяженных эллиптических уходящих и приходящих орбит, от перигелия до афелия; звездное происхождение метеоритов; ливийские наводнения на Марсе около времени рождения младшего из звездочетов; ежегодные метеоритные дожди около даты праздника Св. Лаврентия (мученика, 10 августа); ежемесячное явление, известное как молодая луна со старой на руках; предполагаемое влияние тел небесных на человеческие; явление звезды (1-ой величины) чрезвычайной яркости, затмившей и ночь и день (вспыхнувшего нового солнца, порожденного столкновением и слиянием, влекущим раскаливание, двух погасших экс-солнц) около времени рождения Вильяма Шекспира, над дельтой разлегшегося, никогда не заходящего созвездия Кассиопеи, и звезды (2-ой величины) аналогичного происхождения, но меньшей яркости, которая явилась и исчезла в созвездии Северной Короны около времени рождения Леопольда Блума, и других звезд (предположительно) аналогичного происхождения, которые (реально или предположительно) явились и исчезли в созвездии Андромеды около времени рождения Стивена Дедала, и в созвездии Возничего через несколько лет после рождения и смерти Рудольфа Блума-младшего, и в других созвездиях прежде или после рождения или смерти иных людей; сопутствующие феномены затмений, лунных и солнечных, от закрытия диска светила до нового его появления, затихание ветра, умолкание крылатых тварей, появление ночных и сумеречных животных, исчезание теней, неисчезание адского огня, чернота вод земных, бледность на людских лицах.

Его (Блума) логический вывод, когда он взвесил вопрос и учел возможность ошибки?

Что это не было ни небодревом, ни небогротом, ни небозверем, ни небочеловеком. Что была то — Утопия, ибо нет никакого способа достичь от известного к неизвестному; бесконечность, которую с равным успехом можно полагать и конечною посредством предполагаемого рядоположения одного или более тел одинаковой, равно как и различной величины; подвижность иллюзорных форм, ставших неподвижными в пространстве и вновь подвижными в воздухе; прошлое, которое, возможно, перестало существовать как настоящее много прежде, чем его возможные зрители вступили в свое настоящее существование.

Был ли он более убежден в эстетической ценности зрелища?

Несомненно, благодаря многочисленным примерам поэтов, которые в пылком бреду привязанности или горьком унынии отвергнутости взывали к жару благосклонных созвездий или ко хладу спутника их планеты.

Он, стало быть, числил среди предметов своей веры теорию астрологических влияний на подлунные бедствия?

Как ему представлялось, и доказательство и опровержение ее возможны в одинаковой мере, и в одинаковой же мере выбор названий на ее селенографической карте может приписываться чуткому прозрению либо ошибочной аналогии: озеро снов, море дождей, залив росы, океан плодородия.

Какие особые сближения, казалось ему, существуют между луною и женщиной?

Ее древность, предшествующая череде земных поколений и ее переживающая; ее ночное владычество; ее зависимость как спутницы; ее отраженный свет; ее постоянство во всех ее фазах, восход и заход

в назначенные часы, прибывание и убывание; нарочитая неизменность ее выражения; неопределенность ее ответов на вопросы, не подсказывающие ответа; власть ее над приливами и отливами вод; ее способность влюблять, укрощать, наделять красотою, сводить с ума, толкать на преступления и пособничать в них; безмятежная непроницаемость ее облика; невыносимость ее самодовлеющей, деспотичной, неумолимой и блистательной близости; ее знамения, предвещающие и затишья и бури; призывность ее света, ее движения и присутствия; грозные предостережения ее кратеров, ее безводных морей, ее безмолвия; роскошный блеск ее, когда она зрима, и ее притягательность, когда она остается незримою.

Какой зримый и светоносный знак привлек внимание Блума, который привлек таковое Стивена?

На третьем этаже (с задней стороны) его (Блума) дома свет керосиновой лампы с колпаком-абажуром, падающий на экран шторы, приобретенной у Фрэнка О'Хары, изготовление ставней, жалюзи, карнизов для занавесей, Онджайр-стрит, 16.

Как он разъяснил тайну незримой притягательной особы, его жены Мэрион (Молли) Блум, о которой свидетельствовал сияющий зримый знак, лампа?

Путем описания; путем прямых и косвенных словесных намеков и утверждений; со сдерживаемой нежностью и обожанием; с затрудненностью; с проникновенностью.

Оба вслед за тем оставались в молчании?

В молчании, созерцая друг друга в паре телесных зеркал предстоящих друг другу ихегонеего парных лиц.

Оставались ли они в неопределенной бездеятельности?

По предложению Стивена, при одобрении Блума, оба они, сначала Стивен, а затем Блум, в полумраке помочились, причем бока их соприкасались, органы мочеиспускания были сделаны взаимно незримыми путем ручного кругоохватывания, а взгляды, сначала Блума, а затем Стивена, устремлены к светящейся и полусветящейся тени на экране.

Сходным ли образом?

Траектории их сначала последовательных, а затем одновременных струй не были сходны: у Блума длиннее и ровнее, в незавершенной форме раздвоенной предпоследней буквы латинского алфавита, как у того, кто в последнем классе (1880) мог достигать наибольшей высоты по сравнению с объединенными силами всех конкурентов из школы в 210 учащихся; у Стивена выше и с присвистом, как у того, кто в последние часы истекшего дня еще более увеличил чувствительное давление в пузыре за счет мочегонных средств.

Какие различные проблемы представились каждому из них в связи с незримым слышимым параллельным органом другого?

Блуму: проблемы возбудимости, набухания, твердения, чувствительности, величины, гигиеничности, волосатости.

Стивену: проблема священной целостности Иисуса обрезанного (1 января, праздник, когда предписано быть у мессы и воздерживаться от работы услужения, за вычетом непременной) и проблема того, подобает ли божественной крайней плоти, плотскому обручальному кольцу святой римско-католической апостольской церкви, хранимому в Калькате, обычное почитание или же четвертая степень поклонения, воздаваемая, по их отделении, таким божественным произрастаниям, как ногти и волосы.

Какое небесное знамение наблюдали оба одновременно?

Звезду, с большою видимой скоростью промелькнувшую по небосводу от Веги в созвездии Лиры, повыше зенита и вблизи группы звезд Волосы Вероники, в направлении зодиакального знака Льва.

Каким образом центростремительный остающийся предоставил выход центробежному уходящему?

Введением стержня буграстого мужского ключа в скважину шаткого женского замка обратив ключ в рычаг, повернув ключ справа налево, удалив язычок замка из пробоя, потянув внутрь рывками старую сошедшую с петель дверь и открыв отверстие для беспрепятственного выхождения и вхождения.

Как они простились друг с другом при расставании?

Стоя перпендикулярно у одной и той же двери, по разные стороны от порога, причем линии их прощальноприветных рук сходились в произвольной точке и под произвольным углом, меньшим нежели сумма двух прямых.

Какие звуки сопровождали соединение их касательных и разъединение их (соответственно) центробежной и центростремительной рук?

Звуки колоколов, отбивавших ночные часы на колокольне церкви Святого Георгия.

Что слышалось каждому из них в отголосках этих звуков?

Стивену:

Liliata rutilantium. Turma circumdet.
Iubilantium te virginum. Chorus excipiat.

Блуму:

Эй — гей, эй — гей,
Эй — гей, эй — гей.

Где находились лица из того общества, которое вместе с Блумом по зову этих колоколов совершило сегодня путь из Сэндимаунта на юге в Гласневин на севере?

Мартин Каннингем (в постели), Джек Пауэр (в постели), Саймон Дедал (в постели), Нед Лэмберт (в постели), Том Кернан (в постели), Джо Хайнс (в постели), Джон Генри Ментон (в постели), Бернард Корриган (в постели), Пэтси Дигнам (в постели), Падди Дигнам (в могиле).

Что услышал Блум, оставшись один?

Двойное эхо удаляющихся шагов по небеснорожденной земле. Двойные отзвуки еврейской арфы в гулком переулке.

Что почувствовал Блум, оставшись один?

Хлад межзвездных пространств, тысячи градусов ниже точки замерзания или абсолютного нуля по Фаренгейту, Цельсию или Реомюру; первые предвестия приближающейся зари.

О чем напоминали ему звон, и рукопожатие, и шаги, и дрожь одиночества?

О товарищах, почивших от разных причин и в разных местах: Перси Эпджон (убит в бою при Моддер-Ривер), Филип Гиллиган (чахотка, в больнице на Джервис-стрит), Мэтью Ф. Кейн (утонул в Дублинском заливе), Филип Мойсел (пиемия, на Хейтсбери-стрит), Майкл Харт (чахотка, в больнице Богоматери Скорбящей), Падди Дигнам (апоплексический удар, в Сэндимаунте).

Какие ожидания каких феноменов побуждали его остаться?

Угасания трех последних звезд, начала утренней зари и явления нового солнечного диска.

Бывал ли он прежде зрителем этих феноменов?

Однажды в 1887 году после затянувшейся игры в шарады в Кимедже у Люка Дойла, он терпеливо ожидал пришествия феномена дня, сидя на стене сада и устремив взор в направлении на Мицрах, восток.

Запомнились ли ему первые предшествующие феномены?

Движенье воздуха, утренние петухи в отдалении, церковные колокола с разных сторон, вокализы пернатых, одинокие шаги раннего путника, зримое распространение света незримого светила, первый золотой краешек воскресающего солнца, различимый над самым горизонтом.

Остался ли он?

С глубоким вздохом он повернул домой, снова пересек сад, снова вошел в коридор, снова затворил дверь. С кратким выдохом он снова взял свечу, снова поднялся по лестнице, снова приблизился к дверям залы на втором этаже и снова вошел.

Что неожиданно задержало его вхождение?

Правая височная доля полой сферы его черепной коробки пришла в соприкосновение с углом из твердого дерева и через краткую, но ощутимую долю секунды, вследствие передачи и регистрации предшествующих ощущений, болезненное ощущение локализовалось.

Опишите перемены, происшедшие в расположении предметов мебели.

Диван с обивкою вишневого плюша был перемещен от стены напротив дверей к камину, возле туго свернутого британского флага (перемена, которую он много раз собирался осуществить); столик с майоликовой столешницей в синюю и белую клетку был поставлен напротив дверей, на место, освобожденное диваном вишневого плюша; ореховый буфет (выступающий угол которого на миг задержал его вхождение) был передвинут с прежнего места у дверей на более почетную, однако и более угрожающую позицию перед дверью; два кресла, стоявшие справа и слева от камина, были передвинуты на место, первоначально занимаемое столиком с майоликовой столешницей в синюю и белую клетку.

Опишите их.

Одно: приземистое мягкое кресло с широкими подлокотниками, выставленными вперед, и спинкою, скошенною назад, которое, будучи резко отодвинуто при вставании, завернуло неправильной формы полоску кромки прямоугольного ковра и обнаруживало в центре обтянутого поместительного сиденья заметную обесцвеченность, постепенно убывающую к периферии. Другое: легкое кресло из глянцевитого тростника, косолапое, выгнутое, стоящее прямо напротив первого; каркас его, от верха до сиденья и от сиденья до ножек, покрыт был темно-коричневым лаком, сиденье же выделялось своим ярко-белым плетеным кругом.

Какой смысл читался в двух этих креслах?

Смысл положения вещей, подобия, символики, косвенной улики, свидетельства суперменства.

Что занимало место, первоначально занимаемое буфетом?

Пианино (Кэдби) с открытой клавиатурой, закрытый гроб его нес на себе пару длинных желтых дамских перчаток и зеленую пепельницу, заключавшую четыре обгорелые спички, недокуренную сигарету и два обесцвеченных окурка сигарет. Пюпитр же его нес на себе ноты «Ста-

рой сладкой песни любви» в тональности соль мажор для голоса с фортепиано (слова Дж. К. Бингема, музыка Дж. Л. Моллоя, репертуар мадам Антуанетты Стерлинг), раскрытые на последней странице с указаниями ad libitum, forte, педаль, animato, задержка педали, ritirando [7], финал.

С какими чувствами Блум обводил взглядом эти предметы?

С напряжением, поднимая свечу; с болью, ощущая на правом виске шишку от ушиба; со вниманием, вглядываясь в темное, большое, пассивное и в легкое, яркое, активное; с озабоченностью, наклоняясь и поправляя завернувшуюся кромку ковра; с усмешкой, вспоминая шкалу цветов доктора Мэйлахи Маллигана с неким оттенком зеленого; с удовольствием, повторяя слова и предшествующее действие и воспринимая по разным каналам внутренних ощущений последующее и сопутствующее приятное теплое распространение постепенного обесцвечивания.

Его дальнейшие действия?

Из открытой шкатулки на столике с майоликовой столешницей он извлек черный миниатюрный конус высотой в один дюйм, поставил его круглым основанием на небольшую металлическую тарелочку, поставил свечу в правый угол каминной полки, добыл из жилетного кармана сложенный лист (иллюстрированного) проспекта с заголовком Агендат Нетаим, развернул лист, бегло скользнул по нему глазами, свернул в тонкую трубочку, зажег ее от свечи и поднес зажженной к вершине конуса, доведя последний до стадии багрового свечения, после чего поместил трубочку на основание подсвечника, расположив несгоревшую ее часть так, чтобы обеспечить полное сгорание.

Что воспоследовало за данною операцией?

Усеченная коническая вершина с кратером миниатюрного вулкана извергла вертикальные змеистые струйки дыма, благоухающего восточными ароматическими курениями.

Какие гомотетические предметы, помимо подсвечника, имелись на каминной полке?

Часы из коннемарского мрамора с прожилками, остановившиеся в 4 часа 46 минут утра 21 марта 1896 года, свадебный подарок Мэтью Диллона; карликовое деревце с инеем на ветвях, под прозрачным колпаком, свадебный подарок Люка и Кэролайн Дойл; чучело совы, свадебный подарок олдермена Джона Хупера.

Какой обмен взглядами произошел между тремя этими предметами и Блумом?

В зеркале трюмо с позолоченною оправой неприкрашенный тыл карликового деревца смотрел на прямую спину чучела совы. Перед зеркалом свадебный подарок олдермена Джона Хупера ясным меланхоличным мудрым блестящим недвижным и сочувственным взглядом смотрел на Блума, меж тем как Блум туманным спокойным глубоким недвижным и сочувственным взглядом смотрел на свадебный подарок Люка и Кэролайн Дойл.

Какое сложное и асимметричное отражение в зеркале привлекло затем его внимание?

Отражение одинокого (самосоотносительно) изменчивого (иносоотносительно) мужчины.

Почему одинокого (самосоотносительно)?

[7] По желанию, сильно... оживленно... извлекая (вм. ritardando — постепенно замедляя).

Никаких сестер и братьев. он совсем один,
Но отец того мужчины — его деда сын.

Почему изменчивого (иносоотносительно)?

От младенчества до зрелости он был похож на свою родительницу. От зрелости до старости он все более становился похож на своего родителя.

Какое последнее зрительное впечатление сообщилось ему посредством зеркала?

Оптическое отражение некоторого числа беспорядочно расположенных книг, перевернутых, идущих не по алфавиту, поблескивающих буквами заглавий на двух полках напротив зеркала.

Составьте каталог этих книг.

«Дублинский Адрес-Календарь Тома», 1886.

Дэнис Флоренс Маккарти *, «Поэтические произведения» (заложена медным буковым листом на с. 5).

Шекспир, «Сочинения» (бордовый сафьян с золотым тиснением).

«Полезные вычислительные таблицы» (коричневый переплет).

«Тайная история двора Карла II» (красный переплет с тиснением).

«Справочник для детей» (синий переплет).

«Красоты Килларни» (в суперобложке).

Вильям О'Брайен, Ч. П., «В дни нашей юности» * (зеленый, слегка выцветший переплет, заложена конвертом на с. 217).

«Избранные мысли Спинозы» (каштановая кожа).

Сэр Роберт Болл, «История неба» (синий переплет).

Эллис, «Три путешествия на Мадагаскар» (коричневый переплет, заглавие стерлось).

А. Конан-Дойль, «Письма Старка Мунро», из фонда Дублинской городской публичной библиотеки, Кейпл-стрит, 106, выдана 21 мая (канун Троицы) 1904, срок возврата 4 июня 1904, просрочена на 13 дней (черный переплет с белым цифробуквенным ярлычком).

«Путешествия в Китай», некоего «Путешественника» (обернута в темную бумагу, заглавие красными чернилами).

«Философия талмуда» (брошюра).

Локхарт, «Жизнь Наполеона» (без переплета, с примечаниями на полях, преуменьшающими победы и преувеличивающими поражения главного героя).

Густав Фрейтаг, «Soll und Haben» *[8] (черный картон, готический шрифт, заложена рекламкой сигарет на с. 24).

Хозьер, «История русско-турецкой войны» (коричневый переплет, 2 тома, с ярлычком Гарнизонной библиотеки, Губернаторская площадь, Гибралтар, на обороте обложки).

Вильям Оллингем, «Лоуренс Блумфилд в Ирландии» * (второе издание, зеленый переплет с рисунком из золотых трилистников, фамилия прежнего владельца с правой стороны форзаца выскоблена).

«Учебник астрономии» (обложка коричневой кожи оторвана, 5 листов иллюстраций, печать старинным корпусом, авторские примечания нонпарелью, указания на полях петитом, заголовки малым цицеро).

«Неизвестная жизнь Христа» (черный картон).

«По следам солнца» (желтый переплет, титульный лист отсутствует, заглавие вверху каждой страницы).

Юджин Сэндоу, «Физическая сила и как можно ее развить» (красный переплет).

«Краткое, но ясное изложение основ геометрии», сочиненное по-французски Ф. Игнат. Пардисом и на английский переложенное

[8] «Приход и расход» (*нем.*).

Джоном Харрисом, доктором богословия. Лондон, отпечатано в словолитне Бишопсхед, попечением Р. Нэплока, MDCCXI, с посвящением его досточтимому другу Чарльзу Коксу, эсквайру, члену парламента от града Саутворк, и с надписью от руки на титульном листе, свидетельствующей, что книга сия есть имение Майкла Галлахера, датированной маия 10 дня 1822 года и выражающей надежду, что в случае утери или пропажи книги всякий, нашедший оную, не замедлит ее доставить Галлахеру Майклу, плотнику, Дьюфери Гейт, Эннискорти, графство Уиклоу, прекраснейшее место на свете.

Какие размышления занимали его в процессе обратного переворачивания перевернутых книг?

Необходимость порядка, все на месте и для всего свое место; недостаточно бережное отношение женщин к литературе; неуместность яблока, втиснутого в бокал, и зонтика, сунутого в ночной горшок; ненадежность сокрытия какого-либо тайного документа за или под книгой или между ее страницами.

Какой из томов был самым объемистым?

«История русско-турецкой войны» Хозьера.

Что находилось во втором томе указанного сочинения, наряду с прочими сведениями?

Название решающей битвы (забытое), которую часто вспоминал решительный офицер, майор Брайен Купер Твиди (не забытый).

Почему, во-первых и во-вторых, он не обратился к указанному сочинению?

Во-первых, ради упражнения в мнемотехнике; во-вторых, потому что, после периода амнезии, усевшись за большой стол и собираясь обратиться к указанному сочинению, он с помощью мнемотехники восстановил название той военной операции, Плевна.

Что несло ему утешение в его сидячем положении?

Непорочность, нагота, поза, безмятежность, юность, грация, пол, участие статуэтки, стоявшей в центре стола, изображения Нарцисса, купленного на аукционе П. А. Рена, Бэйчлорз-уок, 9.

Что несло ему раздражение в его сидячем положении?

Стесняющее давление воротничка (размера 17) и жилета (о пяти пуговицах), двух предметов одежды, излишних в костюме зрелого мужчины и неспособных к упругому растяжению при изменениях массы.

Каким путем его раздражение было смягчено?

Он снял с шеи воротничок, вместе с черным галстуком и отстегивающейся запонкой, и положил на стол слева. Последовательно, в обратном направлении, он расстегнул жилет, брюки, сорочку и нижнюю рубаху вдоль срединной линии курчавящейся неравномерной поросли черных волос расходящейся треугольником от тазовой области поверх окружности живота с пупковой впадиной вдоль срединной линии утолщений и до пересечения шестых грудных ребер и далее в обе стороны под прямым углом с завершением кругами описанными вокруг двух равноотстоящих точек, справа и слева, на оконечностях грудных бугров. Последовательно он отъединил подтяжки брюк от каждой из шести, за вычетом одной, подтяжечных пуговиц, расположенных парами, из коих одна пара была неполной.

Какие непроизвольные действия последовали затем?

Он ущемил между двумя пальцами плоть примыкающую к рубцу

в левой субреберной области ниже диафрагмы возникшему вследствие укуса нанесенного пчелой за 2 недели и 3 дня до описываемого (23 мая 1904 года). Машинально и не ощущая зуда, он почесал правой рукой ряд точек и поверхностей своей эпидермы, частично обнаженной, полностью подвергнутой омовению. Он погрузил левую руку в левый нижний карман жилета и извлек, и вернул на место серебряную монету (1 шиллинг), помещенную туда (предположительно) при событии (17 октября 1903 года) погребения миссис Эмили Синико, Сидни Пэрейд.

Составьте роспись бюджета за 16 июня.

Дебет	ф.	шилл.	пенс.	Кредит	ф.	шилл.	пенс.
1 Почка свиная	0	0	3	Наличные	0	4	9
1 Экземпляр «Фрименс джорнэл»	0	0	1	Комиссионные, получ. от «Фрименс джорнэл»	1	7	6
1 Баня и чаевые	0	1	6	Заем (от Стивена Дедала)	1	7	0
Проезд в трамвае	0	0	1				
1 В память Патрика Дигнама	0	5	0				
2 Пирожка сладких	0	0	1				
1 Завтрак	0	0	7				
1 Плата за продление книги	0	1	0				
1 Пачка почтовой бумаги и конверты	0	0	2				
1 Обед и чаевые	0	2	0				
1 Почтовый перевод и марка	0	2	8				
Проезд в трамвае	0	0	1				
1 Ножка свиная	0	0	4				
1 Ножка баранья	0	0	3				
1 Плитка шоколада фирмы «Фрай»	0	1	0				
1 Хлебец на соде	0	0	4				
1 Кофе и булочка	0	0	4				
Заем (Стивену Дедалу)	1	7	0				
Сальдо	0	16	6				
	2	19	3		2	19	3

Продолжался ли процесс разоблачения далее?

Ощущая легкий, но настойчивый зуд в подошвах, он вытянул ногу в сторону и обозрел морщины, выпуклости и впуклости, образовавшиеся под давлением ноги при неоднократных пеших передвижениях по многим различным направлениям, после чего, нагнувшись, развязал шнурки, расшнуровал оба ботинка и по очереди снял их вторично, отлепил несколько промокший правый носок, в одноименной части которого ноготь большого пальца вновь проделал отверстие, поднял правую ногу и, отстегнув лиловую эластичную подвязку, стянул правый носок, поместил разутую ногу на край сиденья своего кресла, ухватил и плавным движением отщепил выдающуюся часть ногтя большого пальца, поднес отщепленную частицу к носу и вдохнул запах живой плоти, после чего удовлетворенно отбросил отщепленный ногтевой фрагмент.

Почему удовлетворенно?

Потому что вдыхаемый запах соответствовал другим запахам, вдыхавшимся от других ногтевых фрагментов, кои ухватывались и отщеплялись юным Блумом, учеником начальной школы миссис Эллис, еженощно и терпеливо, в процессе краткого коленопреклонения и чтения молитвы на сон грядущим и честолюбивых мечтаний.

В каком последнем и окончательном из таковых мечтаний слились ныне все они, и одновременные, и сменявшие друг друга?

Не унаследовать по праву первородства, или по разделу между братьями, или по привилегии младшего в роде, равно как и не иметь в бессрочном владении ни обширное поместье солидной площади в акрах, рудах и перчах, то есть установленных английских земельных мерах (оцененное в 42 ф. годового налога), с пастбищами на торфяниках, окружающих баронскую усадьбу с будкой привратника и парадной аллеей, ни, точно так же, домик в сплошном ряду других или половину виллы, какие называют Rus in Urbe[9] или Qui si Sana[10], но приобрести в полную собственность путем частной покупки двухэтажный жилой дом-бунгало под камышовой кровлей, лицом на юг, с водруженными наверху флюгером и заземленным громоотводом, с верандой, увитой паразитирующими растениями (плющом или диким виноградом), оливково-зеленой входной дверью с начищенною медной отделкою, словно у элегантной кареты, фасадом, оштукатуренным под мрамор, с золоченным рельефом по карнизам и по фронтону, стоящий, желательно, на живописной возвышенности, с приятным видом с балкона, обведенного каменною балюстрадой, на близлежащие пастбища, бесстадные и стадозапретные, с 5 или 6 акрами приусадебной земли и на таком расстоянии от большой дороги, чтобы свет его окон виднелся бы по вечерам сквозь и поверх живой изгороди из ровно подстриженных грабов, отстоящий в данной точке не менее чем на 1 английскую милю от черты столичного города и расположенный не более чем в 15 минутах ходьбы от трамвайной либо железнодорожной линии (напр., на Дандрам, южное направление, или на Саттон, северное, ибо обе местности, по отзывам, были на опыте найдены подобными земным полюсам в отношении благоприятности климата для страдающих чахоточным заболеванием), право наследственной передачи гарантируется, аренда на 999 лет, владение же должно иметь 1 залу с эркером (2 стрельчатые арки) и с устройством для измерения температуры, 1 гостиную, 4 спальни, 2 комнаты для прислуги, кухню с кафельными стенами, с закрытой плитой и судомойней, холл, заключающий встроенные бельевые шкафы, секцию книжных полок мореного дуба и на ней «Британскую энциклопедию» и «Толковый словарь нового столетия», скрещенное, вышедшее из употребления, восточное и средневековое оружие, обеденный гонг, алебастровый светильник, подвесной вазон, эбонитовый автоматический телефонный аппарат и близ него справочник, ручной работы оксминстерский кремовый ковер с клетчатым бордюром, столик для игры в мушку, на одной ноге и с когтистыми лапами, камин с массивной медной решеткой, каминные часы-хронометр из позолоченной бронзы (точнейшее совпадение хода с соборным колоколом), барометр с гигрометром, уютные оттоманки и угловые диваны алого плюша, с тугими пружинами и серединой, в которой тонешь, японскую ширму о трех створках и плевательницы (в стиле солидных клубов, добротной кожи винного цвета, блеск легко восстанавливается с помощью уксуса и льняного масла), пирамидально-призматическую центральную люстру, изогнутый деревянный шест с попугаем, приученным садиться на палец (лексикон подвергнут цензуре), тисненые обои по 10 ш за рулон, с поперечным узором из карминовых гирлянд и с бордюром поверху, лестницу, три марша под прямыми углами, полированного светлого дуба, ступени и подступени, стойки, балясины и перила, с идущими вверх панелями, навощенными камфарным воском; ванную комнату с горячей и холодной водой, с ванной и душем; ватерклозет на антресолях, снабженный матовым овальным, без переплета, оконцем, откидным сиденьем, светильником-бра, бронзовою рукоятью и цепью, подлокотниками, подставкой для ног и художественной олеографией на внутренней стороне дверей; то же, обычный; людские помещения с отдельным санитарным и гигиеническим обзаведением для кухарки, горничной и младшей прислуги (жало-

[9] Деревня в Городе *(лат.)*.
[10] Здесь Исцеляются *(итал.)* — популярное название курортных лечебниц.

ванье повышается автоматическими двухгодичными надбавками на 2 ф.; сверх того, страховой полис, ежегодные наградные (1 ф.) и пенсия (по 65-летней системе) после 30 лет службы), буфетные, кладовые, ледник, надворные службы, погреба угольный, дровяной, винный (с отборными игристыми и неигристыми марками) для почетных гостей, буде они приглашены к обеду (в вечерних туалетах), газ же (одноокись углерода) мыслился проведенным повсеместно.

Что еще привлекательного могло бы находиться на территории?

В качестве дополнения, площадки для игр в теннис и в мяч, аллея кустарников, застекленная оранжерея с тропическими пальмами, оборудованная по последнему слову ботаники, грот с фонтаном, пчельник, содержимый на гуманных началах, овальные партеры на прямоугольных газонах, засаженные эксцентричными эллипсами алых и желтых тюльпанов, синих гиацинтов, крокусов, примул, турецкой гвоздики, душистого горошка, ландышей (луковицы от сэра Джеймса У. Маккея, фирма с огр. отв., оптовая и розничная торговля семенами и луковицами, поставки минеральных удобрений, консультации по уходу за растениями, Верхняя Сэквилл-стрит, 23), фруктовый сад, огород и виноградник, защищенные от незаконных вторжений каменною стеклоутыканною оградой, сарай с висячим замком для различного заприходованного инвентаря.

Как то?

Верши для ловли угрей, садки для омаров, удочки, топор, безмен, точило, трамбовка, сноповязалка, сеноворошилка, складная лестница, 10-зубые грабли, деревянные башмаки, борона, вилы, садовые ножницы, банка с краской, кисть, мотыга и прочее.

Какие усовершенствования могли бы быть внедрены в дальнейшем?

Крольчатник и птичник, голубятня, ботаническая теплица, 2 гамака (для дамы и кавалера), солнечные часы, укрывшиеся под сенью сирени или золотого дождя, японский колокольчик с экзотическим и мелодическим звучанием, укрепленный на левой тумбе ворот, объемистая кадка для дождевой воды, газонная косилка с боковым выбросом и ящиком для травы, установка для полива гидравлическим рукавом.

Какие средства сообщения были желательны?

Для поездок в город — поезд или трамвай с частыми рейсами, от соответствующей промежуточной или конечной станции. Для поездок по сельской местности — велосипеды, дорожный грузовой велосипед без цепи, со свободным ходом, с параллельным прицепом для поклажи, либо гужевой транспорт, ослик в плетеной двуколке или нарядный фаэтон, запряженный крепкой, работящей массивнокопытной лошадкой (чалый мерин, 14 ладоней).

Какое название могла бы носить эта резиденция, построенная либо ожидающая постройки?

Блум-коттедж. Вилла Сент-Леопольд. Флауэрвилль.

Мог ли Блум из дома 7 по Экклс-стрит представить себе Блума из Флауэрвилля?

В свободном костюме из чистой шерсти, в твидовой кепке от Харриса, цена 8 и 6, и практичных садовых сапогах с эластичными растяжками, с лейкой в руке, сажающим аллею молодых елочек, опрыскивающим, обрезающим, подвязывающим, сеющим кормовые травы, везущим тачку с травами сорными, на закате дня, средь запахов свежескошенного сена, чрезмерно не утруждая себя, удобряя почву, умудряясь умом, продвигаясь к долголетию.

Какая программа умственных занятий была в то же время возможна?

Моментальная фотография, сравнительное изучение религий, фольклор, относящийся к различным суевериям и эротическим обычаям, созерцание небесных созвездий.

Какие не столь углубленные занятия?

На воздухе: работа в саду и в поле, велосипедные прогулки по ровным укатанным дорогам, восхождение на холмы умеренной высоты, плавание в уединенных проточных водах и безопасные катанья по реке в надежной лодке-плоскодонке или в рыбацком челноке со стоп-анкером, на участках, где нет стремнин и порогов (период летней спячки), предзакатные моционы и верховые променады с обозрением пустынных пейзажей и, по контрасту с последними, приветливых дымков торфа, сгорающего в очагах пейзан (период спячки зимней). В домашней обстановке: обсуждение, в тепле и уюте, нерешенных проблем истории и криминалистики; чтение экзотических эротических шедевров в изданиях без купюр; плотничанье с ящиком инструментов, заключающим молоток, шило, гвозди, шурупы, дюбели, бурав, сверла, рубанок и отвертку.

Мог ли он сделаться джентльменом-фермером, производящим зерно и товарный скот?

Не исключено, имея одну-две молочные коровы, стог сена с горных лугов и необходимый сельскохозяйственный арсенал, как, скажем, маслобойку, репорезку и т. п.

Каковы были бы его гражданские обязанности и общественный статус в кругу сельских семейств и поместного дворянства?

В порядке последовательного восхождения по ступеням иерархической лестницы, обязанности садовника, земледельца, огородника, скотовода, и, в зените карьеры, окружного или мирового судьи, с родовыми щитом и гербом и подобающим девизом (Semper paratus[11]), занесенного должным образом в книгу герольдмейстера ольстерского (Блум, Леопольд П., Ч. П., тайн. сов., кав. орд. Св. Патрика, д-р права (honoris causa[12]), Блумвилль, Дандрам) и упоминаемого в придворной и светской хронике (мистер Леопольд Блум с супругой отбыли из Кингстауна в Англию).

Какую линию действий он намечал для себя в таковой должности?

Линию, среднюю между чрезмерною снисходительностью и излишнею строгостью: отправление в разнородном обществе из всевозможных классов, без конца меняющемся в отношении размеров социального неравенства, беспристрастного, однородного, неоспоримого правосудия, смягчаемого самым широким либерализмом, однако скрупулезного до предела в случаях конфискации имущества, движимого и недвижимого, в пользу короны. Лояльные к законным высшим властям страны, движимые врожденной любовью к прямоте, его цели включали бы строгое поддержание общественного порядка, устранение многих злоупотреблений, хотя и не всех сразу (поскольку любые реформы и меры экономии, служа лишь предварительными решениями, должны вытекать, как производные, из решения окончательного), блюдение буквы закона (обычного права, торгового права и законов парламентских) противу всех умышляющих в сообществе и всех правонарушителей, действующих вопреки местным правилам и установлениям, всех воскресителей (путем браконьерства и мелких хищений дров) оставленного за давностью сервитута, всех велеречивых подстрекателей международных гонений, всех разжигателей международной вражды, всех низких возмутителей домаш-

[11] Всегда готов *(лат.)*.

[12] В уважение заслуг *(лат.)*.

ней безоблачности, всех злостных разрушителей домашней супружественности.

Докажите, что он любил прямоту с ранней юности.

В 1880 году, будучи в средней школе, он поведал юному Перси Эпджону о своем неверии в догматы Ирландской (протестантской) церкви (в которую отец его, Рудольф Вираг (в последующем Рудольф Блум), обращен был из иудаистской конфессии в 1865 году Обществом по распространению христианства среди евреев), позднее оставленной им ради перехода в католичество, в период, а равно для целей своей женитьбы в 1888 году. В 1882 году, в пору своей юношеской дружбы с Дэниэлом Мегрейном и Фрэнсисом Уэйдом (оборвавшейся вследствие преждевременной эмиграции первого), он отстаивал во время их ночных прогулок политическую теорию колониальной (в частности, канадской) экспансии и эволюционные теории Чарльза Дарвина, изложенные в «Происхождении человека» и «Происхождении видов». В 1885 году он публично высказывался в поддержку коллективной и национальной экономической программы, которую выдвигали Джеймс Финтан Лейлор, Джон Фишер Мерри, Джон Митчел, Дж. Ф. К. О'Брайен и другие, а также аграрной политики Майкла Дэвитта, конституционной агитации Чарльза Стюарта Парнелла (Ч. П. от города Корк), программы мира, реформ и мер экономии Вильяма Юарта Гладстона (Ч. П. от Мидлоутиэна, Сев. Британия) и, выражая свои политические убеждения, вскарабкался в надежное укрытие, образуемое разветвлениями кроны дерева на Нортамберленд-роуд, дабы наблюдать вступление (2 февраля 1888 года) в столицу торжественного факельного шествия двадцати тысяч факельщиков, разделенных на 120 ремесленных корпораций и эскортирующих, с двумя тысячами горящих факелов, маркиза Рипонского и (почтенного) Джона Морли.

Сколько и как предполагал он платить за свою загородную резиденцию?

В соответствии с проспектом Усердного Иностранного Акклиматизированного Национализированного Дружески Государством Субсидированного Строительного Общества (учрежденного в 1874 году), не более 60 ф. в год, что составляло $^1/_6$ обеспеченного дохода, получаемого от надежнейших ценных бумаг, или же 5 простых процентов от капитала 1200 ф. (продажная стоимость при покупке с рассрочкой на 20 лет), из коего $^1/_3$ подлежит выплате при совершении купчей, а остающаяся сумма, именно, 800 ф. плюс $2^1/_2\%$ от них же, в виде ежегодной ренты подлежит выплате поквартально, равными годовыми взносами, вплоть до ликвидации путем погашения всей суммы займа, предоставленного на срок 20 лет для целей покупки, что в совокупности давало арендную плату в 64 ф., включая ренту землевладельца, бумагам же на право владения надлежало храниться у арендатора или арендаторов, с пунктом, оговаривающим вынужденную продажу, лишение права выкупа закладной и взаимную компенсацию в случае продолжительной просрочки установленных выплат, при отсутствии каковых препятствий владение переходит в полную собственность занимающего съемщика по истечении обусловленного периода.

Какие быстрые, но ненадежные способы обогащения могли бы облегчить незамедлительную покупку?

Личный беспроволочный телеграф, который передал бы посредством тире и точек результат национального конноспортивного гандикапа (простого или с препятствиями) на 1 или более миль и сотен футов, выигранного аутсайдером при ставках 50 к 1 в Аскоте в 3 часа 8 минут пополудни (по Гринвичу), так, чтобы известие могло быть получено и учтено делающим ставку в Дублине в 2 часа 59 минут (по Дансинку). Неожиданная находка предмета большой денежной стоимости (драго-

ценного камня, редчайшей почтовой марки, наклеенной или ненаклеенной (7-шиллинговая лиловая, без зубцов, Гамбург, 1866; 4-пенсовая розовая, на синей бумаге, с зубцами, Великобритания, 1855; однофранковая темносерая, служебная, пробитая, с диагональной надпечаткой, Люксембург, 1878), старинного династического кольца, уникальной реликвии) в необычайном месте либо необычайным путем: в воздухе (выронил парящий орел), в огне (среди обуглившихся остатков уничтоженного пожаром строения), в море (среди выброшенных при крушении, плавающих или затонувших предметов, на покинутом судне), на земле (в желудке съедобной дичи). Дарственная испанского узника на некое древнее сокровище, в ценностях или монетах или слитках, доверенное платежеспособной банковской корпорации 100 лет тому назад из пяти сложных процентов, полной стоимостью 5.000.000 ф. ст. (пять миллионов фунтов стерлингов). Контракт с неосмотрительным контрагентом на поставку 32 партий некоего товара на условиях оплаты наличными по доставке за каждую доставку при начальной плате $^1/_4$ пенса и с последующим возрастанием в геометрической прогрессии со знаменателем 2 ($^1/_4$ п., $^1/_2$ п., 1 п., 2 п., 4 п., 8 п., 1 ш. 4 п., 2 ш. 8 п., всего 32 члена). Продуманный план, основанный на изучении законов вероятности, как сорвать банк в Монте-Карло. Решение многовековой проблемы квадратуры круга, правительственная премия 1.000.000 фунтов стерлингов.

Возможно ли было приобретение крупного состояния через промышленные каналы?

Освоение дунамов обширных аридных земель, предлагаемое в проспекте Агендат Нетаим, Берлин W.15, Бляйбтройштрассе, путем разбивки апельсиновых плантаций, дынных бахчей и лесонасаждений. Утилизация использованной бумаги, шкурок грызунов, кишащих в сточных канавах, и человеческих экскрементов, обладающих химическими свойствами, ввиду огромных запасов первой, огромного множества вторых и колоссальных масс третьих, учитывая, что каждая нормальная человеческая особь средней активности и аппетита производит ежегодно, за вычетом жидких веществ, суммарный вес 80 фунтов (при смешанном животно-растительном рационе), что следует умножить на 4.386.035, полную численность населения Ирландии по данным переписи 1901 года.

Имелись ли проекты более широкого размаха?

Проект, ожидавший написания и подачи членам портового управления, каковой предусматривал эксплуатацию белого угля (гидравлической энергии), получаемого гидроэлектрической станцией в высшей точке прилива на Дублинской отмели, или у водопадов Пулафука и Пауэрскорт, или в бассейнах главнейших рек, с планируемым экономичным производством 500.000 квч электроэнергии. Проект окружить дамбами полуостровную дельту Норс Булл в Доллимаунте и соорудить на ее пространстве, ныне используемом для игры в гольф и упражнений в стрельбе, асфальтированную эспланаду с казино, магазинами, тирами, гостиницами, пансионами, читальнями и местами для смешанного купания. Проект использования собачьих и козлиных упряжек для доставки молока по утрам. Проект развития ирландского туризма в Дублине и окрестностях на малых бензинодвижимых судах, курсирующих по речному фарватеру между мостом Айленд и Рингсендом, экскурсионных автомобилях, пригородных поездах и прогулочных пароходах для прибрежной навигации (10 ш. с человека в день, включая стоимость путеводителя (на трех языках)). Проект возобновления пассажирских и грузовых перевозок по водным путям Ирландии после надлежащей расчистки их русл. Проект прокладки трамвайной линии от Скотного Рынка (Северная окружная и Праша-стрит) к набережным (Восточная Стена и Нижняя Шериф-стрит), параллельно Соединительной железно-

дорожной линии, проходящей (смыкаясь с Большой Южной и Западной линиями) между скотопригонным двором, узловым разъездом Лиффи и вокзалом Большой Среднезападной дороги, Северная Стена, 43—45, неподалеку от вокзалов или дублинских отделений Большой Центральной дороги, Среднеанглийской железнодорожной компании, Дублинской пакетботной компании, Ланкаширско-йоркширской железнодорожной компании, Пакетботной компании Дублина и Глазго, Пакетботной компании Глазго, Дублина и Лондондерри (линия Лэйрда), Англо-ирландской пакетботной компании, Пароходного общества Дублин—Моркэм, Лондонской и Северо-западной железнодорожной компании, складов управления Дублинского порта и доков, перевалочных складов Полгрейва, Мэрфи и Ко, контор судовладельцев и судовых агентов средиземноморских, испанских, португальских, французских, бельгийских и голландских пароходных линий, а также конторы Ливерпульского страхового объединения, причем стоимость подвижного состава, приобретаемого для перевозок скота, и дополнительных перевозок, осуществляемых Дублинской объединенной трамвайной компанией, с огр. отв., должна оплачиваться скотовладельцами.

Из каковых посылок естественным и необходимым заключением явилось бы заключение контракта на некоторые из подобных проектов?

При обеспечении, равноценном искомой сумме, содействии, в форме дарственного акта с документом о передаче при жизни дарителя, либо по завещанию после безболезненной кончины дарителя, крупнейших финансистов (Блюм-Паша, Ротшильд, Гуггенхайм, Хирш, Монтефиоре, Морган, Рокфеллер), обладающих шестизначными состояниями, накопленными в итоге успешной деятельности, и соединении капитала с известным везением, дело было бы в шляпе.

Что сделало бы его, в конечном итоге, независимым от этих магнатов?

Независимое открытие золотой жилы с неиссякаемыми запасами.

По какой причине он размышлял над проектами, столь трудными для осуществления?

Одна из его аксиом заключалась в том, что перед отходом ко сну подобные размышления, или автоматическое отнесение к себе затронувшего чем-либо рассказа, или мирные воспоминания о былом, войдя в постоянную привычку, снимают усталость и обеспечивают здоровый отдых и обновление жизнеспособности.

Его основания?

Как физик, он постиг, что из 70 лет полной человеческой жизни по меньшей мере $^2/_7$, то есть 20 лет, проходят во сне. Как философ, он знал, что к концу любого отпущенного срока жизни у любого человека успевает осуществиться лишь бесконечно малая доля его желаний. Как физиолог, он верил в искусственное сглаживание вредоносных факторов, действующих преимущественно в период сна.

Чего он боялся?

Возможности совершить во сне убийство или самоубийство вследствие помрачения рассудка, этой несоизмеримой категориальной способности, помещающейся в мозговых извилинах.

Каковы обычно бывали его последние размышления?

О некой единственной и уникальной рекламе, невиданной новинке рекламного дела, поражающей изумлением прохожих, очищенной от всего стороннего, сведенной лишь к самому броскому и простому, целиком обозримой с одного взгляда и сообразной с темами современной жизни.

Что находилось в первом ящике, который он отомкнул?

Тетрадь с прописями Вира Фостера, собственность Милли (Миллисент) Блум, где на отдельных страницах имелись схематические рисунки с подписью «Папулька», изображавшие огромную шарообразную голову в профиль, с 5-ю торчащими волосками и 2-мя глазами, тулово в фас с 3-мя большими пуговицами и одной треугольной ногой; две пожелтевшие фотографии королевы английской Александры * и Мод Брэнском, актрисы и знаменитой красавицы; рождественская открытка с художественным изображением паразитического растения, подписью «Мицпа», датою «Рождество 1892», именами отправителей, «от мистера + миссис М. Комерфорд» и стишком: «Пусть пошлет вам Новый Год Только радость без забот»; частично оплывшая палочка красного сургуча, полученная в складском отделении фирмы Хили, с огр. отв., Дэймстрит, 89, 90 и 91; коробка с оставшейся частью одного гросса позолоченных перьев № 10, полученного в том же отделении той же фирмы; старые песочные часы, которые перекатывались и содержали песок, который пересыпался; запечатанное пророчество (никогда не распечатывавшееся), написанное Леопольдом Блумом в 1886 году и трактующее о последствиях вступления в силу (никогда не вступившего в силу) билля Вильяма Юарта Гладстона 1886 года о гомруле *; лотерейный билет № 2004 с благотворительного базара Сент-Кевина, цена 6 п., 100 выигрышей; детское послание с указанием места, малое дэ дублин, и нижеследующим текстом: большое пэ Папулька запятая большое ка Как ты там знак вопроса большое я Я живу хорошо точка абзац подпись с завитушками большое эм Милли без точки в конце; брошь-камея, собственность Элен Блум (урожденной Хиггинс), ныне покойной; украшенная камеей булавка для галстука, собственность Рудольфа Блума (урожденного Вирага), ныне покойного; 3 письма, напечатанных на машинке, адресат Генри Флауэр, почтовое отделение Уэстленд-роу, до востребования, отправитель Марта Клиффорд, почтовое отделение Долфинс-барн, до востребования; имя и адрес отправителя трех писем, транслитерированные в обращенную алфавитную бустрофедонную точечную квадрилинейную криптограмму (с удаленными гласными) Т.ОМ./ЫО.КК.УФ/Ы.УК.СН/Ю.ОС; вырезка из английского еженедельника «Современное общество» с заметкой о телесных наказаниях в женских школах; розовая ленточка, которой обвито было пасхальное яйцо в 1899 году; два частично развернутых резиновых презерватива с резервными мешочками, выписанные почтой по адресу Лондон, Запад-Центр, почтовое отделение Чаринг-Кросс, ящик 32; 1 пачка с 1 дюжиной кремовых конвертов, убавившейся на 3, и бледнолинованной почтовой бумагой с водяными знаками; несколько разных австро-венгерских монет; 2 билета Венгерской королевской лотереи с Привилегией от властей; лупа с несильным увеличением; 2 эротические открытки, изображающие: а) оральный половой акт между обнаженной сеньоритой (вид сзади, позиция сверху) и обнаженным тореро (вид спереди, позиция снизу); б) насильственный анальный половой акт между монахом (полностью одет, глаза долу) и монахиней (одета частично, глаза горе), выписанные почтой по адресу Лондон, Запад-Центр, почтовое отделение Чаринг-Кросс, ящик 32; газетная вырезка с рецептом подновления старых коричневых ботинок; почтовая марка за один пенс, лиловая, царствования королевы Виктории; таблица обмеров Леопольда Блума, выполненная до, в период и после двух месяцев регулярных упражнений с эспандером системы Сэндоу-Уайтли (для мужчин 15 ш., для спортсменов 20 ш.), а именно, грудь 28 дюймов и $29^1/_2$ дюйма, бицепс 9 дюймов и 10 дюймов, предплечье $8^1/_2$ дюйма и 9 дюймов, бедро 10 дюймов и 12 дюймов, икра 11 дюймов и 12 дюймов; 1 проспект «Чудотворца», лучшего в мире средства от прямокишечных расстройств, присланный от «Чудотворца», Лондон, Восток-Центр, Ковентри-Хаус, Саут-плейс, на имя миссис Леопольд Блум (ошибочно) и в сопровожде-

нии краткого текста, начинающегося (ошибочно) словами: «Дорогая сударыня».

Процитируйте дословно, в каких выражениях проспект рекламировал достоинства чудодейственного средства.

Он исцеляет и успокаивает ваш сон, если вы страдаете испусканием ветров, содействует природе самым радикальным образом, обеспечивая мгновенное облегчение при выходе газов, гарантируя чистоту органов и свободу естественных отправлений, первый же взнос в 7 ш. 6 п. делает из вас нового человека и наполняет вашу жизнь смыслом. Дамы в особенности находят «Чудотворец» полезным, с приятным удивлением отмечая его изумительное действие, подобное живительному глотку ключевой воды в знойный летний день. Рекомендуйте вашим друзьям как женского, так и мужского пола. Количества достаточно на всю жизнь. Вводите закругленным концом. Ваш «Чудотворец».

Имелись ли там отзывы?

Во множестве. Духовной особы, офицера британского военно-морского флота, известного литератора, бизнесмена, сестры милосердия, светской дамы, матери пятерых детей, беззаботного нищего.

Приведите заключение заключительного свидетельства беззаботного нищего.

Как жаль, что наше правительство не догадалось снабдить наших ребят «Чудотворцем» во время Южно-Африканской кампании! Какое это принесло бы им облегчение!

Какой предмет присоединил Блум к этой коллекции предметов?

4-ое письмо, напечатанное на машинке и полученное Генри Флауэром (если Г. Ф.=Л. Б.) от Марты Клиффорд (найдите М. К.).

Какой приятною мыслью сопровождалось данное действие?

Мыслью о том, что, помимо указанного письма, его магнетическая наружность, фигура и обхождение в течение минувшего дня были благосклонно восприняты одной замужнею дамой (миссис Джозефиной Брин, урожденной Джози Пауэлл), одной медицинской сестрой, мисс Каллан (имя неизвестно) и одной девицей, Гертрудой (Герти, фамилия неизвестна).

Какая возможность подсказывалась этим?

Возможность не в самом ближайшем будущем проявить свое очарование и мужскую силу после расточительной трапезы на частной квартире, в обществе изысканной куртизанки с роскошным телом, умеренною таксой и богатыми навыками, притом благородного происхождения.

Что находилось во втором ящике?

Документы: свидетельство о рождении Леопольда Паулы Блума; смешанный страховой полис на 500 ф. от Страхового общества шотландских вдов в пользу Миллисент (Милли) Блум, вступающий в силу по достижении ею 25 лет в качестве процентной бумаги достоинством 430 ф., 462 ф. 10 ш. 0 п. и 500 ф., по достижении 60 лет или в случае кончины, по достижении 65 лет или в случае кончины, и при кончине, соответственно, или, по выбору, в качестве процентной бумаги (полностью оплаченной) достоинством 299 ф. 10 ш. 0 п. и с выплатой наличными 133 ф. 10 ш. 0 п.; чековая книжка Ольстерского банка, выданная отделением в Колледж Грин и содержащая запись текущего счета за полугодие, истекающее 31 декабря 1903 года, баланс в пользу вкладчика: 18 ф. 14 ш. 6 п. (восемнадцать фунтов четырнадцать шиллингов шесть пенсов) чистого дохода; свидетельство о владении канадскими 4 %-ными

(именными) ценными бумагами (не облагаемыми гербовым сбором) на сумму 900 ф.; квитанция Комитета католического кладбища (Гласневин) на купленный участок для погребения; вырезка из местной газеты по поводу перемены фамилии путем одностороннего акта.

Приведите текст последнего объявления.

Я, Рудольф Вираг, проживающий ныне по адресу Дублин, Клэнбрасл-стрит, 52, ранее же проживавший в Сомбатхее, Королевство Венгрия, настоящим оповещаю о том, что я принял решение и намерен отныне и впредь, всюду и постоянно носить имя Рудольф Блум.

Какие еще предметы, относящиеся к Рудольфу Блуму (урожденному Вирагу), находились во втором ящике?

Мутный дагерротип Рудольфа Вирага и его отца Леопольда Вирага, снятый в 1852 году в портретной студии их (соответственно) кузена и племянника Штефана Вирага из Сешфехервара, Венгрия. Старинная книга, Хаггада, в которой парою очков с выпуклыми стеклами в роговой оправе заложено место о благодарении в ритуальных молитвах праздника Пессах (Пасхи); фотоснимок отеля «Куинз» в Эннисе, владелец Рудольф Блум; конверт с надписью «Моему дорогому сыну Леопольду».

Какие оборванные фразы воскресали при чтении этих четырех необорванных слов?

Завтра неделя с тех пор, как я получил... бесполезно, Леопольд, быть... с твоей дорогой матерью... больше невозможно вынести... к ней... для меня все кончено... будь добрым к Атосу, Леопольд... милый мой сын... всегда... обо мне... das Herz... Gott... dein...[13].

Какие воспоминания о человеческом существе, страдающем прогрессирующей меланхолией, воскресали у Блума при виде этих предметов?

Старый вдовец с нечесаными волосами, в постели, с покрытою головой, постоянно вздыхает; дряхлая собака, Атос; аконит, который он применял, увеличивая дозы по гранам и скрупулам, чтобы унять приступы невралгии; смертный облик семидесятилетнего старца, который покончил с собой, приняв яд.

Почему Блум испытывал угрызения совести?

Потому что, будучи незрел и нетерпелив, он относился без уважения к некоторым обычаям и верованиям.

Как то?

Запрет употреблять мясо и молоко за одной трапезой, еженедельные прения путано отвлеченных, неистово приземленных, расчетливых соэксединоверцев экссоотечественников; обрезание младенцев мужского пола; сверхъестественный характер иудейского Писания; непроизносимость тетраграмматона; священность субботы.

Какими казались ему сейчас эти обычаи и верования?

Не более разумными, нежели казались тогда, не менее разумными, нежели прочие обычаи и верования казались сейчас.

Каким было его первое воспоминание о Рудольфе Блуме (ныне покойном)?

Рудольф Блум (ныне покойный) повествует своему сыну Леопольду (шестилетнему), в ретроспективном упорядочении, о передвижениях между Дублином, Лондоном, Флоренцией, Миланом, Веной, Будапеш-

[13] Сердце... Бог... твой... *(нем.)*.

том, Сомбатхеем и о жительстве в перечисленных пунктах, выражая удовлетворение (дед его лично видел Марию Терезию, императрицу австрийскую и королеву венгерскую), давая коммерческие наставления (береги пенсы, а фунты уж сами сберегутся). По ходу повествования Леопольд Блум (шестилетний) постоянно справлялся с географической (политической) картой Европы и выдвигал идеи об открытии сети коммерческих предприятий в различных упомянутых центрах.

Стерло ли время, с равным успехом, но разным образом, память об этих передвижениях у повествователя и слушателя?

У повествователя с течением лет и благодаря употреблению наркотических средств; у слушателя же с течением лет и благодаря отвлекающему воздействию побочных впечатлений.

Какие идиосинкразии повествователя были производными следствиями амнезии?

Иногда он питался, не сняв предварительно головного убора. Иногда он жадно глотал крыжовенный кисель со сливками прямо с тарелки, наклоняя ее. Иногда он удалял остатки пищи со своих губ посредством старого конверта или иного подручного обрывка бумаги.

Какие два проявления сенильности были наиболее частыми?

Подслеповатое пересчитыванье монеток пальцем, отрыжка по насыщении.

Какие предметы несли ему частичное утешение в этих воспоминаниях?

Страховой полис, чековая книжка, свидетельство о владении облигациями.

Сведите Блума, путем перекрестного умножения превратностей судьбы, от коих его защищали эти три залога, а также путем исключения всех положительных ценностей, к пренебрежимо малой отрицательной иррациональной ирреальной величине.

Последовательно, в порядке нисхождения к илотии: Бедность: удел уличного торговца поддельными драгоценностями, взыскателя злостных и оспариваемых долгов, сборщика налога на бедных и прочих местных налогов. Прозябание: удел злостного банкрота с жалкими остатками имущества, выплачивающего по $^1/_4$ п. за фунт, человека-сандвича, раздатчика проспектиков и рекламок, ночного бродяги, лгуна-доносчика, матроса-калеки, слепого юноши, престарелого полицейского прихвостня, незваного гостя, лизоблюда, льстивого прихлебателя, городского посмешища, сидящего на скамье в парке под старым дырявым зонтиком. Нищета: удел жильца дома для престарелых (при Королевской Больнице) в Килмаинхеме, жильца пансиона Симпсона для недостаточных, но почтенных джентльменов с полной инвалидностью из-за подагры или потери зрения. Надир падения: дряхлый заживший полупомешанный паралитик, лишенный гражданских обязанностей и прав, содержимый за общественный счет.

С какими привходящими унижениями?

Холодное безразличие любезных некогда дам, презрение энергичных мужчин, принятие кусков хлеба, отводимые в сторону взгляды встречных знакомых, лай незаконных незарегистрированных бродячих псов, детская бомбардировка разлагающимися фруктово-овощными снарядами малой или ничтожной или менее чем ничтожной стоимости.

Что могло бы предотвратить подобную ситуацию?

Смерть (перемена состояния); отъезд (перемена места).

Что предпочтительнее?

Последнее, согласно линии наименьшего сопротивления.

Какие соображения делали отъезд не совсем нежелательным?

Постоянное сообитание препятствует взаимной терпимости к личным недостаткам. Все глубже укореняется привычка к самостоятельным тратам. Необходимость противодействовать беспрерывной прикованности прерывностью эфемерных пребываний.

Какие соображения делали отъезд не иррациональным?

Заинтересованные стороны, соединясь, плодились и размножались, после чего, произведя потомство и воспитав его вплоть до зрелости, стороны, если бы не разъединились, были бы вынуждены соединиться вновь, дабы плодиться и размножаться, что нелепо, и путем воссоединения снова образовать изначальную чету соединяющихся сторон, что невозможно.

Какие соображения делали отъезд желательным?

Привлекательность ряда местностей в Ирландии и за границей, представленных на обычных географических картах посредством полихромного изображения, либо на специальных топографических картах посредством штриховки и цифровых обозначений.

В Ирландии?

Мохерские скалы, дикие горы Коннемары с их буйными ветрами, озеро Лох-Ней с затонувшим окаменелым городом, Проспект Гигантов, форт Кэмден и форт Карлайл, Золотая Долина Типперэри, острова Аран *, пастбища Мита Королевского, вяз святой Бригитты в Килдере *, верфи «Куинз Айленд» в Белфасте, Прыжок Лосося, озера Килларни.

За границей?

Цейлон (с плантациями, откуда поставляется чай Томасу Кернану, агенту фирмы «Пулбрук, Робертсон и Ко», Лондон, Восток-Центр, Минсинг-лейн, 2 и Дублин, Дэйм-стрит, 5), Иерусалим, град священный (с мечетью Омара и Дамасскими воротами, пределом стремлений), Гибралтарский пролив (единственное и несравненное место, родина Мэрион Твиди). Парфенон (где находятся статуи обнаженных греческих богинь), биржа на Уолл-стрит (контролирующая мировые финансы), Пласа де Торос в Ла Линеа, Испания (где О'Хара из Камеронских горцев заколол быка), Ниагара (по которой ни один смертный не спустится безнаказанно), страна эскимосов (что едят мыло), запретная область Тибет (откуда ни один не возвращался), Неаполитанский залив (увидеть и умереть), Мертвое море.

Чем будучи направляем, повинуясь каким светилам?

На море, держа на полночь, по Полярной звезде, находимой ночью в точке пересечения прямой от беты к альфе Большой Медведицы, продолженной и разделенной внешним образом в омеге, и гипотенузы прямоугольного треугольника, образуемого полученною прямой альфа — омега и прямой альфа — дельта Большой Медведицы. На суше, держа на полдень, по бисферической луне, выглядывающей переменными неполными фазами сквозь тыльную щель неполностью беспросветной юбки рассеянной корпулентной прогуливающейся матроны, днем же по столпу облачному.

Какое объявление возвестило бы об исчезновении отбывшего?

Вознаграждение 5 ф., потерялся, украден или сбежал с места жительства, Экклс-стрит, 7, мужчина около сорока лет, отзывается на имя Блум, Леопольд (Польди), роста 5 футов $9^1/_2$ дюйма, телосложения полного, смуглолицый, возможно, отпустил бороду, был в черном ко-

стюме, когда его видели в последний раз. Вышеуказанная сумма будет выплачена за любые сведения, дающие возможность его найти.

Какие всеобщие двучленные наименования подобали бы ему, как сущему и несущему?

Носимые любым или неведомые никому. Всякий или Никто *.

Каковы почести ему?

Почет и дары чужеземцев, друзей Всякого. Бессмертная нимфа, прекрасная, суженая Никого.

И отбывший — нигде, никогда и никак не явился бы снова?

Вечно скитался б он, принуждаем одним собою, до крайних пределов своей кометной орбиты, за неподвижные звезды, солнца изменчивые, и зримые лишь телескопу планеты, и разные разности космоса, до крайних границ пространства, из земли в землю переходя, между народов, среди событий. Но где-то, едва различимо, он услыхал бы и, словно того не желая, нудимый велением солнца, последовал зову вернуться. Вслед же за тем, исчезнув из созвездия Северной Короны, он неким образом явился бы вновь возрожденным, над дельтой созвездия Кассиопеи и после неисчислимых эонов странствий вернулся неузнанным мстителем, вершителем правосудия над злодеями, сумрачным крестоносцем, спящим, восставшим от сна и обладающим финансовыми ресурсами, превосходящими (гипотетически) сокровища Ротшильда и серебряного короля.

Что сделало бы подобное возвращение иррациональным?

Огорчительное равенство между исходом и возвращением во времени через обратимое пространство и исходом и возвращением в пространстве через необратимое время.

Какая игра сил, порождая инерцию, влекла нежелательность отъезда?

Поздний час, влекущий медлительность, ночная тьма, влекущая незримость, неизведанность дорог, влекущая риск; нужда в отдыхе, отвлекающая от движения; близость занятой постели, отвлекающая от исканий; предчувствие тепла (человеческого), умеряемого прохладой (простынь), отвлекающей от желания и влекущей желанность; статуэтка Нарцисса, звук без эха, желаемое желание.

Какими преимуществами обладала занятая постель, в сравнении с незанятою?

Устранение ночного одиночества, качественное превосходство человеческого (зрелая женщина) согревания над нечеловеческим (бутылка с горячей водой), стимуляция утреннего контакта, сокращение необходимой утюжки, если брюки будут аккуратно сложены и размещены в длину между матрацами пружинным (полосатым) и войлочным (бежевым клетчатым).

Какие поочередно следовавшие причины, осознанные, прежде чем подняться, накопившейся усталости мысленно перебрал Блум, прежде чем подняться?

Приготовление завтрака (жертва всесожжения); переполнение кишечника и продуманное испражнение (святая святых); баня (обряд Иоанна)*; погребение (обряд Самуила)*; реклама для Алессандро Ключчи (Урим и Туммим[14]), легкий завтрак (обряд Мелхиседека)*; посещение музея и национальной библиотеки (святые места); поиски книги на Бедфорд-роу, Мерчентс-арч, Веллингтон-куэй (Симхат Тора) *;

[14] Свет... Совершенство (*древнеевр.*— Исход, 28, 30).

музыка в отеле «Ормонд» (Шира Ширим [15]); конфликт со свирепым троглодитом в заведении Барни Кирнана (всесожжение); бесплодный период времени, включая поездку в кэбе, посещение дома скорби, уход (пустыня); эротический эффект женского эксгибиционизма (обряд Онана)*; затянувшиеся роды миссис Майны Пьюрфой (возношение); посещение веселого дома миссис Беллы Коэн, Нижняя Тайрон-стрит, 82, с последующей стычкой и с толпой сброда на Бивер-стрит (Армагеддон)*; ночные странствия в ночлежку «Приют извозчика» у Баттского моста, и затем из ночлежки (искупление).

Какую самовозникшую загадку бессознательно задал себе Блум собираясь подняться и идти, в заключение, дабы не оказаться бессильным прийти к заключению?

Причина резкого, краткого, непредвиденно услышанного, одиноко прозвучавшего громкого треска, изданного бесчувственною материей деревянного столика с напряженными жилами.

Какую самозапутанную загадку сознательно задал себе, однако не разрешил Блум, поднявшись, передвигаясь и собирая многочисленные, многоцветные и многообразные предметы одежды?

Кто был Макинтош?

Какую самоочевидную загадку, над которою он, с переменным постоянством, умствовал 30 лет, неожиданно и безмолвно разрешил Блум сейчас, установив естественную темноту путем гашения искусственного света?

Моисей где мудрый был, когда свечку погасил?

Какие несовершенства в совершенном дне безмолвно, последовательно перечислил Блум, передвигаясь со свежесобранным грузом свежесовлеченных предметов мужского носильного снаряжения?

Временную неудачу своих планов получить согласие на повтор рекламы; добыть толику чая у Томаса Кернана (агента фирмы «Пулбрук, Робинсон и Ко», Дублин, Дэйм-стрит, 5, и Лондон, Восток-Центр, Минсинг-лейн, 2); выяснить наличие или отсутствие тыльного прямокишечного отверстия у женских божеств эллинского пантеона; получить доступ (бесплатный или за плату) на представление «Лии» с миссис Бэндмен Палмер в театре «Гэйети», Южная Кинг-стрит, 46, 47, 48 и 49.

Какой образ лица отсутствующего припомнил Блум, безмолвно остановясь?

Лицо ее отца, покойного майора Брайена Купера Твиди, из Дублинских Королевских Стрелков, из Гибралтара и Реховота, Долфинс-барн.

Какие повторяющиеся образы его же были возможны гипотетически?

Удаляющиеся, с вокзала Большой северной дороги на Эмьенс-стрит, с постоянным и равномерным ускорением вдоль параллельных путей, сходящихся в бесконечности, будучи продолжены; вдоль параллельных путей, идущих из бесконечности с постоянным и равномерным замедлением на вокзал Большой северной дороги, Эмьенс-стрит, возвращающиеся.

Какие разнообразные личные принадлежности дамского носильного снаряжения были им зафиксированы?

Пара новых, черных, не имеющих запаха, дамских полушелковых чулок, пара новых сиреневых подвязок, пара дамских панталон из

---

[15] Песнь Песней (*древнеевр.*).

индийского муслина, весьма большого размера и просторного кроя, благоухающих жасмином, опопонаксом и турецкими сигаретами «Мьюретти», снабженных длинной блестящей стальной английской булавкой и сложенных криволинейно; батистовый бюстгальтер с тонкой кружевной отделкой, сборчатая нижняя юбка из голубого муара, каковые предметы располагались в беспорядке поверх прямоугольного сундука с четырьмя планками, наугольниками, разноцветными наклейками и инициалами, выведенными белым на передней стенке: Б. К. Т. (Брайен Купер Твиди).

Какие безличные предметы были им зафиксированы?

Стульчак с одной надтреснутой ножкой, сверху целиком покрытый квадратной кретоновой салфеткою в яблоках, на которой покоилась соломенная черная дамская шляпа. Набор в оранжевую полоску, приобретенный у Генри Прайса, фарфор, галантерея, плетеные изделия и скобяные товары, Мур-стрит, 21, 22, 23, предметы коего располагались в беспорядке на умывальнике и на полу, включая в себя таз, мыльницу и подносик для зубных щеток (на умывальнике, вместе), кувшин и ночной сосуд (на полу, раздельно).

Действия Блума?

Он разложил предметы одежды на стуле, снял с себя остающиеся предметы одежды, извлек из-под валика в головах постели сложенную длинную белую ночную сорочку, продел голову и руки в соответствующие отверстия ночной сорочки, перенес подушку от изголовья в ноги постели и, надлежаще подготовив постельное белье, проник в постель.

Как?

С осмотрительностью: как и всякий раз, проникая в некое обиталище (собственное или чужое); с озабоченностью: зная, что змеиные спирали пружин матраца стары, а висячая сетка со змеиными кольцами и бронзовые шары расшатаны и дребезжат при натяжении и давлении; остерегаясь: словно вступая в логово, в гадючье гнездо или в ловушку похоти; избегая резких движений: не потревожить; благоговея: на ложе зачатия и рождения, свершения брака и разрушения брака, на ложе сна и смерти.

Что встречали его конечности, будучи постепенно распрямляемы?

Новые чистые простыни, дополнительные запахи, присутствие человеческого тела, женского, ее, отпечаток человеческого тела, мужского, не своего, какие-то соринки, какие-то разогревшиеся паштетные крошки, которые он удалил.

Если бы он улыбнулся, то чему он улыбнулся бы?

Мысли о том, что каждый, кто проникает, думает, что он проник первым, тогда как он всего лишь последний член в ряду предшествующих, пусть даже первый в ряду последующих, и каждый воображает, будто он первый, последний и один-единственный, тогда как он не первый, не последний и не один-единственный в ряду, что начинается в бесконечности и продолжается в бесконечность.

Каков был ряд предшествующих?

Допуская, что Малви был первым членом в этом ряду, Пенроуз, Бартель д'Арси, профессор Гудвин, Джулиус Мастянский, Джон Генри Ментон, отец Бернард Корриган, фермер на конной выставке Дублинского Королевского Общества, Чудила О'Рейли, Мэтью Диллон, Вэлентайн Блейк Диллон (лорд-мэр Дублина), Кристофер Каллинан, Ленехан, итальянец-шарманщик, незнакомец в театре «Гэйети», Бенджамин Доллард, Саймон Дедал, Эндрю (Сикун) Берк, Джозеф Кафф, Уиздом

Хили, олдермен Джон Хупер, доктор Фрэнсис Брэди, отец Себастьян с горы Аргус, чистильщик обуви у Главного почтамта, Хью Э. (Буян) Бойлан, и так каждый, и так далее, до непоследнего члена.

Каковы были его мысли по поводу последнего члена в этом ряду и недавнего посетителя постели?

Мысли о его силе (нахал), телосложении (расклейщик афиш), коммерческих талантах (прохвост), впечатлительности (форсун).

Почему для наблюдателя к силе, телосложению и коммерческим талантам добавлялась впечатлительность?

Потому что у предшествующих членов того же ряда он все чаще наблюдал то же вожделение, вспыхивающее и транслируемое сначала с волнением, потом с пониманием, потом с желанием и наконец, с утомленностью, с переменными симптомами обоеполого предчувствия и сочувствия.

Какие враждующие чувства наложили свой отпечаток на его дальнейшие размышления?

Зависть, ревность, отрешенность, невозмутимость.

Зависть?

К телесно-духовному мужскому организму, оптимально приспособленному для верхнележащей позиции энергического человеческого соития и для энергических движений поршня в цилиндре, необходимых для полного удовлетворения постоянной, хотя и не обостренной похоти, обитающей в телесно-духовном женском организме, пассивном, но не бесчувственном.

Ревность?

Потому что зрелая натура, непостоянная в своем свободном состоянии, бывала попеременно агентом и реагентом притяжения. Потому что притяжение между агентами и реагентами непрестанно менялось, в обратной пропорции нарастания и убывания, с непрестанным круговым растяжением и радиальным введением. Потому что контролируемое созерцание пульсаций притяжения производило, при желании, пульсацию наслаждения.

Отрешенность?

В силу: а) знакомства, завязавшегося в сентябре 1903 года в ателье Джорджа Мизайеса, закройщика и портного, Иден-куэй, 5; б) гостеприимства, оказанного и отплаченного, обоюдного и возобновляемого; в) сравнительной молодости, подверженной порывам честолюбия и великодушия, альтруизма к коллегам и эгоизма в любви; г) внерасового влечения, внутрирасовых запретов, сверхрасовой прерогативы; д) ожидаемого музыкального турне по провинции, с общими текущими расходами и дележом чистой прибыли.

Невозмутимость?

Как столь же естественный, как всякий и любой естественный акт природы, выраженный либо познанный, совершенный в природе сотворенной природными тварями в соответствии с его, ее и их сотворенными природами, несходно-сходными. Как менее губительный, нежели катастрофическая гибель нашей планеты вследствие столкновения с погасшим солнцем. Как менее предосудительный, нежели воровство, грабеж на большой дороге, жестокое обращение с детьми и животными, обманное получение денег, подлог, растрата, расхищение казны, злоупотребление общественным доверием, симулянтство, нанесение увечья, растление малолетних, клевета, шантаж, оскорбление суда, поджог, предатель-

ство, уголовщина, бунт на борту в открытом море, нарушение права собственности, кража со взломом, побег из тюрьмы, противоестественные извращения, дезертирство из действующей армии, лжесвидетельство, браконьерство, ростовщичество, шпионаж в пользу врагов короны, самозванство, бандитский налет, непредумышленное убийство, умышленное и обдуманное убийство. Как не более аномальный, нежели все другие параллельные процессы адаптации к меняющимся условиям существования, ведущие к взаимному равновесию между телесным организмом и его окружающей средой, нежели еда, питье, развившиеся привычки, простительные слабости, серьезные заболевания. Как более чем неизбежное — непоправимое.

Почему более отрешенности, чем ревности, и менее зависти, чем невозмутимости?

От поругания (супружества) и поругания (прелюбодейства) родилось и могло родиться только поругание (соития), и однако супружеский оскорбитель супружески оскорбленной не подвергался поруганию со стороны прелюбодейного оскорбителя прелюбодейно оскорбленной.

Каким быть мщению, если быть?

Убийство — никогда, ибо зла не поправишь злом. Дуэль на пистолетах или на шпагах — также нет. Развод — не в данный момент. Уличить путем механическим (постель с секретом) или индивидуального свидетельства (спрятанный очевидец) — нет, покамест. Иск за ущерб, путем юридического воздействия или же симуляции нападения, с демонстрацией телесных повреждений (самопричиненных) — не исключено. Отступное за неогласку, путем морального воздействия,— возможно. В случае малейшего потворства привлечь конкуренцию (материальную, в виде успешно соперничающего рекламного агентства; моральную, в лице счастливого соперника в интимной области), опорочивание, настраивание, унижение, разлучение, защищающее разлученную от разлученного, защищающее разлучителя от обоих.

Какими соображениями он, как сознательный противник пустоты неопределенности, оправдывал свои чувства?

Предопределенная хрупкость брачных уз; предполагаемая недоступность вещи в себе; несообразность и диспропорция между неотступным напряжением, когда нечто предстоит сделать, и коротким облегчением, когда нечто сделано; ошибочность мнений о слабости женщины и силе мужчины; изменчивость этических кодексов; естественный грамматический переход посредством не затрагивающей смысла инверсии, некоего предложения в аористе (по составу, подлежащее мужского рода, односложный звукоподражательный непереходный глагол и прямое дополнение женского рода) из действительного залога в страдательный (по составу, подлежащее женского рода, вспомогательный глагол и квазиодносложное звукоподражательное причастие прошедшего времени с косвенным дополнением мужского рода); непрерывающееся произведение осеменителей путем порождения; бесплодность и триумфа, и протеста, и воздаяния; бессмысленность превозносимой добродетели; летаргия несознающей материи; апатия звезд.

В какой финальной удовлетворенности сошлись наконец эти враждующие мысли и чувства, будучи сведены к своим простейшим формам?

Удовлетворенности вездесущием, и в западном и в восточном полушариях, во всех обитаемых землях, равно на материках и на островах, исследованных и не исследованных (страна полночного солнца, блаженные острова, Эллады Острова, земля обетованная), пухлых фронталь-

ных и тыльных женских полушарий, благоухающих млеком и медом, источающих жизнелюбивое и животворящее тепло, напоминающих вечные семейства закругленных кривых, не волнуемых переменами настроений или противоречивостью выражений, выражающих лишь полновесную зрелость немой и неизменной животности.

Зримые знаки пред-удовлетворенности?

Частичная эрекция; пробудившаяся симпатия; постепенное поднятие; осторожное открытие; безмолвное созерцание.

Затем?

Он поцеловал смуглые круглые душистые шелковистые выпуклости ее крупа, и оба смуглые и наглые полушария, и их тенистую и пушистую ложбинку, смутным и долгим волнующим сочнобеззвучным лобзаньем.

Зримые знаки пост-удовлетворенности?

Безмолвное созерцание; осторожное прикрытие; постепенное опускание; пробудившаяся антипатия; спадающая эрекция.

Что последовало за этим безмолвным действием?

Сонное окликание, менее сонное опознание, прогрессирующее возбуждение, катехизическое опрашивание.

Какие изменения внес повествователь в свои ответы при этом опрашивании?

Отрицательные: он не счел нужным упоминать о тайной переписке между Мартой Клиффорд и Генри Флауэром, о публичной ссоре внутри и поблизости от лицензионного заведения Барни Кирнана и Ко, с огр. отв., Малая Бритн-стрит, 8, 9 и 10, об эротических импульсах и последствиях оных, порожденных эксгибиционистическим актом Гертруды (Герти), с неизвестной фамилией. Положительные: он нашел нужным упомянуть о выступлении миссис Бэндмен Палмер в «Лии», в театре «Гэйети», Южная Кинг-стрит, 46, 47, 48, 49, о приглашении на ужин в отель Винна (Мэрфи), Нижняя Эбби-стрит, 35, 36 и 37, о книге с греховной порнографической тенденцией, под названием «Прелести греха», анонимной (автор — из светского общества), о временном шоке, вызванном неверным движением во время послетрапезных гимнастических упражнений, жертвою коего (вскоре вполне оправившейся) оказался Стивен Дедал, преподаватель и литератор, старший из оставшихся сыновей Саймона Дедала, без определенного места жительства, и о воздухоплавательном достижении, коего он (повествователь) добился в присутствии свидетеля, упомянутого преподавателя и литератора, с четкой оперативностью и гимнастической ловкостью.

Было ли повествование в остальном свободно от изменений?

Целиком и полностью.

Какое лицо или событие выступало в повествовании на первый план?

Стивен Дедал, преподаватель и литератор.

Какие ограничения активности и ущемления супружеских прав, касающиеся их лично, сознавали слушательница и повествователь в процессе повествования, прерывавшегося и делавшегося все лаконичнее?

Слушательница — ограничения ее детородной активности, поскольку празднование брака состоялось через 1 календарный месяц после 18-й годовщины ее рождения (8 сентября 1870 года), то есть 8 октября, и его вкушение того же числа, с последующим рождением отпрыска женского пола 15 июня 1889 года и с начинательным вкушением 10 сен-

тября того же года, а полное плотское сношение, с извержением семени в естественный женский орган, в последний раз совершилось за 5 недель, то есть 27 ноября 1893 года, до рождения 29 декабря 1893 года второго отпрыска (он же — первый и единственный мужского пола), скончавшегося 9 января 1894 года, в возрасте 11 дней, так что был налицо период в 10 лет, 5 месяцев и 18 дней, на протяжении которого плотское сношение оставалось неполным, без извержения семени в естественный женский орган. Повествователь — ограничения его активности, умственной и физической, поскольку полного умственного сношения между ним и слушательницей не совершалось с момента наступления зрелости, указываемого месячными кровотечениями, отпрыска женского пола повествователя и слушательницы, 15 сентября 1903 года, так что был налицо период в 9 месяцев и 1 день, на протяжении которого, вследствие предустановленного естественного взаимопонимания (в непонимании) между созревшими женщинами (слушательницею и отпрыском), полная физическая свобода действий была ограничена.

Каким образом?

Различными и многократными женскими расспросами по поводу мужских маршрутов, куда, в какое место, в котором часу, на сколько, с какими целями, в случае временных отлучек, планируемых или состоявшихся.

Что зримо витало над незримыми мыслями слушательницы и повествователя?

Отброшенное вверх отражение лампы и абажура, нерегулярный ряд концентрических кругов с различными градациями света и тени.

В каких направлениях лежали слушательница и повествователь?

Слушательница: восток — юго-восток; Повествователь: запад — юго-запад; на 53-й параллели северной широты и 6-ом меридиане западной долготы; под углом 45° к земному экватору.

В каком состоянии, покоя или движения?

Покоя по отношению к самим себе и друг другу. Движения, будучи увлекаемы на запад *, вместе и по отдельности, вперед и назад, соответственно, собственным и непрерывным движением земли по вечно меняющимся путям в вечно неизменном пространстве.

В каком положении?

Слушательница: полулежа на боку, левом, левая рука под головой, правая нога вытянута по прямой и покоится на левой ноге, согнутой, в позе Матери-Геи, исполнившаяся и возлегшая, груженная семенем. Повествователь: лежа на боку, левом, правая и левая ноги согнуты, большой и указательный пальцы правой руки на переносьи, в позе, которую запечатлел некогда снимок, сделанный Перси Эпджоном, усталое дитя-муж, мужедитя в утробе.

В утробе? Усталый?

Он отдыхает. Он странствовал.

И с ним?

Синбад-Мореход и Минбад-Скороход и Тинбад-Тихоход и Пинбад-Пешеход и Винбад-Вездеход и Линбад-Луноход и Финбад-Виноход и Ринбад-Ракоход и Кинбад-Коновод и Бинбад-Шутоход и Шинбад-Чудоход и Зинбад-Обормот и Чинбад-Сумасброд и Динбад-Дремоход и Хинбад-Храпоход.

Когда?

На пути к темной постели было квадратное круглое Синбад-Мореход птицы рух гагары яйцо в ночи постели всех гагар птиц рух Темнобада-Солнцевосхода.

Куда?

● *

(Окончание следует)

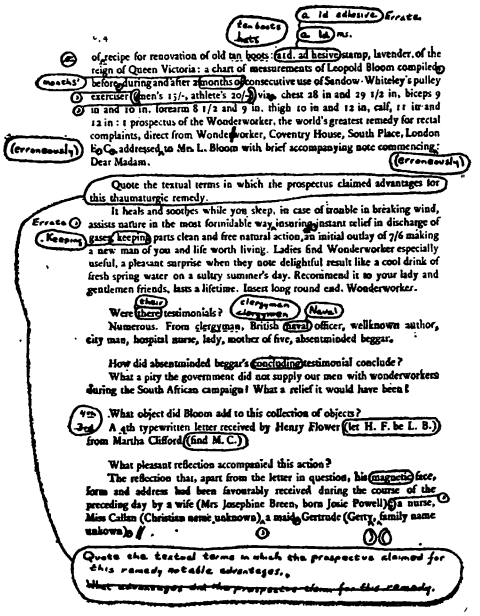
Комментарии

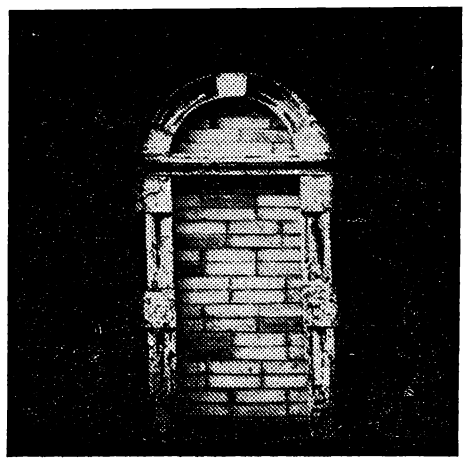
XVII. Итака

Возможно, читатель удивится, узнав, что это самый любимый эпизод Джойса во всем романе: ведь текст являет собой бесконечный перечень предметов, событий, имен. Так и кажется, что это инвентаризация всего попавшего в поле внимания Блума, который возвращается со Стивеном на свою Итаку — Экклс-стрит, 7. Как и его «литературный родственник», Блум пришел ночью, никем не узнанный, проник в дом тайно, не через дверь — у него, как и у Одиссея, не было ключа.

Технику, использованную в эпизоде, Джойс определил как «объективный катехизис». В соответствии с канонами катехизиса текст выдержан в форме вопросов и ответов. Объективность достигается за счет абсолютной — во всяком случае внешне — эмоциональной неокрашенности повествования. Хочется напомнить, что «Итака» — это второй эпизод в третьей части романа. По замыслу Джойса, он должен корреспондировать эпизоду «Нестор» в первой части.

Страница машинописного текста «Итаки» с правкой Джойса.





Заложенная дверь на Экклс-стрит, 7.

Если читатель помнит, то и там в повествовании важную роль играли вопросы, которые, однако, отнюдь не бесстрастно-объективно, а, напротив, весьма эмоционально задавал своим ученикам Стивен, а потом Стивену — мистер Дизи. В «Итаке» возникает впечатление, что автор «помешался» на информации. Ведь даже самое простое, самое банальное действие влечет за собой многословное, подробное, утомительное объяснение — например, Блум открывает кухонный кран, и за этим следует рассказ об устройстве дублинского водопровода и о воде вообще.

Почему же Джойсу был так дорог этот эпизод? Возможно, потому что именно здесь он показал, как Слово может завладеть материалом жизни. А поскольку материал Джойса — вся жизнь, высокая и низкая, сегодняшняя и прошлая, политическая, религиозная, культурная, внутренняя, то этот безбрежный материал фиксируется, инвентаризуется, аннотируется, жадно собирается автором. Джойс как-то полушутливо-полусерьезно заметил: «Представьте себе на минуту, что Елена Троянская с милостивого разрешения Афродиты явилась нам, смертным, во плоти и крови. Конечно, всякий захочет узнать секрет ее красоты. Художник станет измерять ее нос, считать число ресниц на глазах...» Иными словами, художник начнет поверять гармонию алгеброй.

Вот и Джойс «мерит» жизнь, четырежды переписывая «Итаку», думает, как организовать этот огромный, рассыпающийся,

сверкающий всеми красками материал. И решает — с помощью техники катехизиса, ну, а если отвлечься от религиозной терминологии, в которую так любит играть Джойс, то, в сущности, с помощью техники монтажа. Монтаж предельно, безжалостно обнажает принцип «как это делается», не стесняется даже «считать число ресниц на глазах Елены Троянской».

Наверное, именно по этим самым причинам роман «Улисс» и эпизод «Итака», в частности, так занимали Сергея Эйзенштейна, который оставил интереснейшие наблюдения о стиле Джойса, более того — сделал полную раскадровку «Дублинцев» и начал работать над сценарием «Улисса». Надо сказать, что и Джойс, редко о ком из мастеров отзывавшийся положительно, а уж тем более с восторгом, на вопрос, почему он, полуслепой, после очередной мучительной глазной операции, сидя вплотную к экрану, смотрел «Броненосец „Потемкин"» Эйзенштейна, кратко, но весомо ответил: «Меня занимает его принцип — монтаж».

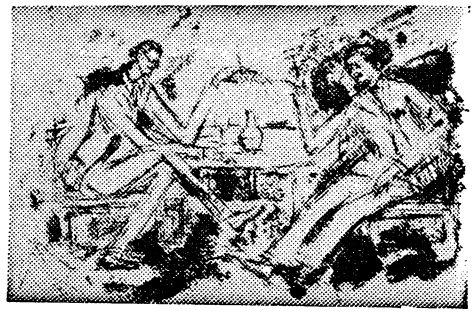
Итак, Итака — то есть возвращение домой. Скиталец, странник, путешественник вернулся, приведя с собой своего сына, обретенного Телемака. Что-то бормоча себе под нос, устало вспоминая события минувшего дня, в которые вклиниваются обрывки песен, разговоров, цитаты, Блум и Стивен Дедал медленно бредут по городу. Время — 1 час ночи, уже настало 17 июня. 1904 г. Но все равно — это еще «Блумсдей», «одиссея» еще не закончилась, не исчерпала своих мифологических потенций. Хотя встреча отца и сына уже произошла, не произошло еще духовного слияния: возраст, мудрость, доброта Блума еще не оплодотворили холодную ученость, рационализм, схоластический интеллект Стивена. Только после общей трапезы он уйдет в ночь, в новый день — но уйдет уже другим и по-другому начнет читать книгу жизни.

По замыслу Джойса, «Итака» должна символически представлять даже не отдельный орган человеческого тела, а целый скелет. Кости — события дня. И наконец, снова настойчиво в этом эпизоде, который символически представляет науку, возникает образ зеркала, а вместе с этим образом снова настойчиво звучит вопрос, содержащийся практически во всех эпизодах «Улисса» — как передать жизнь?

Кормак Мак-Арт — по преданию, именно этот ирландский король принял христианство, чем навлек на себя гнев жрецов-друидов, которые «сделали» так, чтобы во время трапезы Мак-Арт подавился костью. Считается, что само христианство в Ирландию принес св. Патрик.

...появлению утренней тучки ...величиною сначала не больше женской ладони — ср. Третья книга Царств, 18, 42—44: «...Илия взошел на верх Кармила... В седьмой раз тот сказал: вот, небольшое облако поднимается от моря, величиною в ладонь человеческую».

О других людях, которые в иное время и в иных местах... — Стивен вспоминает *брата Майкла,* который фигурирует в первой главе романа «Портрет художника в юности», и сцену со своим отцом Саймоном Дедалом



Джойс беседует с Фрэнком Бадженом. Рисунок Фрэнка Баджена.

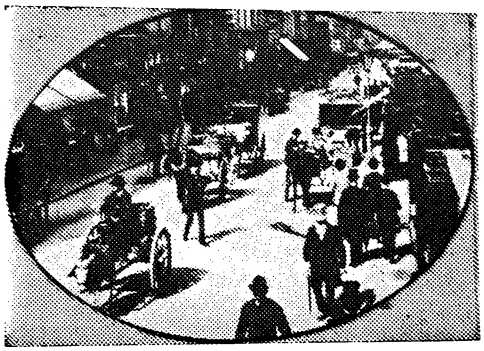
из второй главы названного романа. *Сестры Моркан* — действующие лица «Мертвых», центрального рассказа сборника «Дублинцы». *Дом номер двенадцать по Северной Ричмонд-стрит* — место действия рассказа «Аравия» из «Дублинцев». *Св. Франциск Ксаверий (1506—1552)* — испанский иезуит, видный миссионер, много лет проведший в Индии и на Ближнем Востоке, святой, высоко почитаемый в католической Ирландии. *Отец Батт* — также один из персонажей «Портрета художника» (см. гл. V).

Свет языкам — см. Книга пророка Исаии, 49, 6: «И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля; но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли».

...кинетический поэт... — в «Портрете художника в юности» Стивен в одной из теоретических дискуссий, посвященных природе искусства (см. гл. V), делит все эмоции на два вида — кинетические и статические. С его точки зрения, статика, покой — основа классического, совершенного искусства. Себя Стивен почитает поэтом статическим.

...автор текста Гринлиф Уитьер... — на самом деле текст был написан Гринлифом Уизерсом, а не американским поэтом Джо-

Лестница в спальню в доме на Экклс-стрит, 7.



Дублин. Центр города. Полдень.

ном Гринлифом Уитьером (1807—1892), который известен как автор пасторально-сентиментальных стихотворений.

...допотопный возраст, Мафусаилов, 969 лет... — считается, что до всемирного потопа возраст людей исчислялся сотнями лет (см., например, Книга Бытия, 5, 27: «Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет; и он умер»).

Миссис Риордан (Данте), вдова с собственным капиталом... — после ссоры, случившейся на Рождество 1891 г. из-за разного отношения к Парнеллу (Саймон Дедал считал его великим человеком, миссис Риордан — развратником; см. «Портрет художника в юности», гл. I), миссис Риордан была вынуждена покинуть дом Дедалов.

«Мой любимый герой» — так называлось эссе, которое написал сам Джойс в пору обучения в иезуитском колледже Бельведер.

«На час опоздаешь — за год не наверстаешь» — строка из поэмы Эдварда Янга (1683—1765) «Ночные думы» (1742).

Доктор Дик — псевдоним дублинского автора, который писал тексты для рождественских представлений. Настоящее его имя неизвестно.

Хеблон — псевдоним дублинского адвоката Джозефа О'Коннора (1878—?). В своем сочинении «Этюды в голубом» (1903) он предпринял попытку описать жизнь дублинских трущоб.

...алиас (лжец, упоминаемый в Священном Писании) — латинское слово «алиас» по звучанию напоминает Молли имя «Анания». Это лжец, прогневавший Петра См Деяния святых Апостолов, 5, 1—2: «Некоторый же муж, именем Анания, с женой своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены. с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов».

«Вожатый заблудших» — толкование библейских текстов, которое было завершено около 1190 г. Это сочинение считается самой важной работой Моисея Маймонида. Здесь он предпринял попытку примирить аристотелевский рационализм с мистицизмом иудаизма, что в дальнейшем привело к жестоким спорам ортодоксальных и либеральных сторонников иудаизма.

...был учеником некоего раввина-философа... — по одной из версий, точнее, даже легенд, которые, однако, как показало изучение вопроса, беспочвенны, Аристотель был учеником Моисея Маймонида.

Дэниэл Мендоза (1763—1836) — знаменитый английский боксер, по происхождению еврей; современники называли его «звездой Израиля».

Фердинанд Лассаль (1825—1864) — немецкий социалист, реформатор, по происхождению еврей. Погиб на дуэли, защищая честь своей возлюбленной. Его романтическая история описана Джорджем Мередитом в романе «Трагические комедианты» (1880).

...оба преподавались... прародителей Ирландии... — эта легенда была записана ирландским историком преподобным Джеффри Китингом (ок. 1570— ок. 1644), который в своей «Истории Ирландии» (ок. 1629) собрал множество ирландских преданий. По его мнению, первыми посетили Ирландию три дочери Каина.

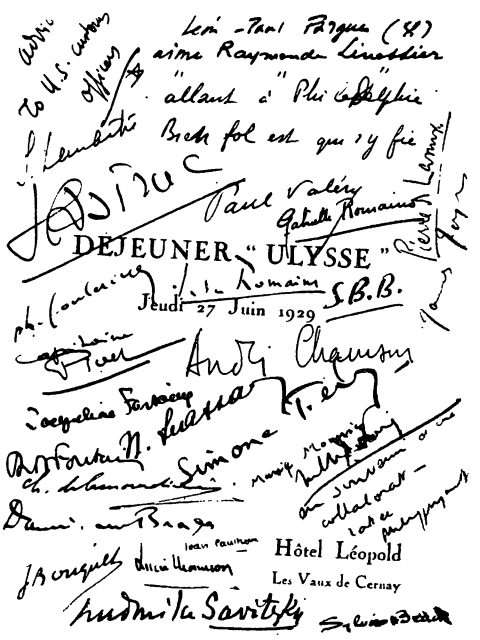
Массор — книга, содержащая толкования еврейской Библии. Создана между VI—IX вв.

Книга Бурой Коровы — самый старый памятник ирландской литературы. Был создан монахом Мэйлмури Мак-Келлехером (? — 1106). От этого памятника сохранилось только 134 страницы.

Венец Хоута — иллюминированный латинский текст, относящийся к VIII—IX вв. Ныне хранится в библиотеке колледжа «Тринити» в Дублине. Некоторые ученые сравнивают эту книгу со знаменитой *Книгой Келлса* — уникальным иллюминированным текстом четырех Евангелий

Харчевня Адама и Евы — несмотря на жестокое преследование католиков англичанами в Ирландии, францисканцы в XVI — XVII вв. создали «подпольную» церковь в Дублине в подвалах харчевни Адама и Евы. В память об этих временах францисканская церковь в Дублине и сейчас в народе называется церковью Адама и Евы,

Приглашение на обед в честь «Улисса» (июнь 1929 г.).



хотя ее официальное название — церковь св. Франциска Ассизского.

...запрет их национального платья в уголовных кодексах... — по Лимерикскому договору 1691 г., евреям было запрещено носить национальную одежду, с другой стороны, власти требовали, чтобы на своей одежде они носили знаки, указывающие на их национальность.

...восстановление царства Давидова в Ханаане... — земля Ханаанова — земля, дарованная Богом Аврааму. В XIX в. антисемитские тенденции весьма усилились. Появление брошюры Теодора Херзла «Еврейское государство: попытка разрешения еврейского вопроса» (1896) привлекло к этой проблеме внимание общественности. Стали раздаваться голоса в пользу создания еврейского государства под протекторатом великих держав.

Иоанн Дамоскúн (ок. 675 — ум. до 753) — греческий теолог, блистательный оратор и проповедник. Он немало размышлял над человеческой и божественной ипостасями Христа. Оставил описание внешности Христа: «Высокий... бледнолицый, с загорелой кожей, светловолосый...»

Лентул Роман — фигура мифическая; по преданиям, был прокуратором Иудеи до Понтия Пилата. По одной из легенд, написал письмо в сенат, в котором дал следующее описание внешности Христа: «Высокий человек с *винноцветными волосами*».

Епифаний Кипрский, или *Св. Епифаний Монах (ок. 315—403)* — один из отцов Церкви. Его представления о физическом облике Христа совпадали с суждениями Иоанна Дамаскина. Надо заметить, что слова *лейкодермический, сесквипедальный* не встречаются ни у одного из упоминаемых авторов. Эти прилагательные — изобретение Стивена Дедала.

Руфус Айзекс, маркиз Рединг (1860—1935) — известный английский адвокат, по происхождению еврей.

Чарльз Уиндем (1837—1919) — один из самых известных актеров XIX в. Однако известность ему принесли и его поразительные организаторские способности.

Эмили Синико — героиня рассказа Джойса «Несчастный случай» из сборника «Дублинцы». Миссис Синико не пережила предательства в любви. Причиной смерти было не железнодорожное крушение, а самоубийство.

Дэнис Флоренс Маккарти (1817—1882) — ирландский поэт, ученый, переводчик.

Роман *«В дни нашей юности» (1890)* Уильям О'Брайен написал в тюрьме. Действие происходит в графстве Корк накануне восстания фениев в 1860 г.

Густав Фрейтаг (1816—1895) — немецкий романист, чьи произведения были широко популярны в XIX в. Его роман «Приход и расход» (1855) рассказывает о последствиях индустриальной революции для бюргеров в Германии. В романе ощутимы антисемитские настроения.

Уильям Оллингем (1824—1889) — ирландский поэт, соратник прерафаэлитов. В поэме «Лоуренс Блумфилд в Ирландии» описывается сельская Ирландия последней трети XIX в.

...королевы английской Александры... — речь идет о дочери датского короля Кристиана IX Александре, которая вышла замуж за принца Альберта Эдварда в 1863 г.

...никогда не вступившего в силу билля Вильяма Юарта Гладстона 1886 года о гомруле — имеется в виду борьба Парнелла с Гладстоном за изменение текста билля о гомруле.

Острова Аран находятся вблизи западного побережья Ирландии. Жители говорят на гэльском языке. Ирландские националисты конца XIX— начала XX в. внимательно и пристрастно изучали быт, нравы, язык жителей Аранских островов.

...вяз святой Бригитты в Килдере... — под этим вязом находилась келья святой Бригитты, очень почитаемой в Ирландии. Позже здесь возник небольшой монастырь. Правда, в исторических документах говорится не о вязе, а о дубе.

Всякий или Никто — ср. с пьесой-моралите «Всякий» (ок. 1485), в которой герой символически представляет все человечество.

...баня (обряд Иоанна)... — имеется в виду обряд крещения, который совершил в реке Иордан Иоанн Предтеча.

...обряд Самуила... — ср. Первая книга Царств, 28, 3: «И умер Самуил, и оплакивали его все Израильтяне, и погребли его в Раме, в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны».

...легкий завтрак (обряд Мелхиседека)... — Мелхиседек в Ветхом Завете — тип идеального священнослужителя (см. Книга Бытия, 14, 18: «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего»).

Симхат Тора — «Да здравствует закон» (древнеевр.). В последний день праздника кущей происходит ритуальное чтение Пятикнижия.

...обряд Онана... — ср. Книга Бытия, 38, 8—10: «И сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Онан знал, что семя будет не ему; и потому, когда входил к жене брата своего, изливал (семя) на землю, чтобы не дать семени брату своему».

Армагеддон — ср. Откровение св. Иоанна Богослова, 16. Здесь Армагеддон — место, где произойдет «последняя битва» и второе пришествие Христа.

...будучи увлекаемы на запад... — на западе у древних ирландцев находилась страна мертвых. Быть «увлекаемым на запад» — приближаться к смерти.

● — этот странный знак — отнюдь не точка в неоконченной одиссее героев «Улисса». Этот знак, по замыслу Джойса, должен был вызывать в памяти читателя слова из XXIII песни поэмы Гомера, когда сладкий сон сошел на Одиссея, «сон ...чарователь тревог, успокоитель сладкий».

Е. ГЕНИЕВА

ГЕОРГ ТРАКЛЬ

Перевод с немецкого и вступление С. АВЕРИНЦЕВА

Странные стихи, звучащие в замедленном темпе, без повышений и понижений голоса, ровно и тихо. С завораживающей настойчивостью повторяются одни и те же слова. Очень часты цветовые эпитеты: голубой, черный, пурпурный, чуть реже — красный, еще реже — белый и прочие. Но это не передача чувственно-воспринимаемой многоцветности зримого мира; скорее вспоминаешь употребление цвета в геральдике или в окраске литургических одеяний. Каждый цвет — шифр, имеющий строго определенное, хотя и не легко формулируемое значение (голубой — потустороннее спокойствие, холодная чистота влаги; черный — угроза; пурпурный — опьянение и живая теплота; красный — жар и грех и т. п.). Мороз — черен, хотя снежный ландшафт бел. Инфернальный волк, вступивший в схватку с ангелом, красен. Вода — всегда голубая. Если бы речь шла о другом подходе к слову, мы с неодобрением отметили бы изобилие готовых красивостей из позднеромантического словаря. Но у Тракля такие «поэтизмы» в принципе меняют функцию: ничего расплывчатого, необязательного, вводимого «для настроения» — лексика организована в жесткую систему шифров. Слова раскладываются, как предметы священнодействия или орудия гадания — медлительными, преувеличенно точными движениями руки. Все те же слова, неутомимо вступающие в новые и новые сочетания.

Из слов возникают сгущенные, статичные образы.

Сначала кажется, что перед нами элегическая поэзия природы и одиночества, сладостно-унылого безмолвия (вспомним семантику эпитета «унылый» в стихах нашего Жуковского). Звучит нота, казалось бы отзвучавшая еще в пору предромантической чувствительности. И впрямь, современные исследования выявляют связь Тракля с забытым наследием немецкого сентиментализма конца XVIII в., с поэзией «Гёттингенской рощи» (эта связь — в структуре развеществляющего эпитета, обращенного, как мы только что видели на «цветовых» примерах, через голову пластического воображения непосредственно к эмоции, но также и в элементах типично сентименталистского ландшафта, подвергнутых у Тракля модернизирующей переработке, однако вполне опознаваемых). Но нет — дело не так просто. Мотивы невинности, то ли младенческой, то ли монашеской, то ли райской, нагнетаются так, чтобы испугать нас своей чрезмерностью. Так мог бы вспоминать свое знание о небесах падший ангел, растравляя свою муку. Мы чуем срыв — еще до того, как он обнаруживает себя в словах.

И срыв обнаруживает себя. Словесные эмблемы смерти и зла, тления и растления являются в невыносимом соседстве с самым сердцем «голубого» траклевского Рая, усугубленные контрастом. На таких контрастах издавна играли романтики; но тут — не до игры. Вспомнишь не элегиков XVIII столетия, да и не Новалиса с его «голубым цветком»,— а самого значительного из испорченных мальчиков и падших ангелов в европейской поэзии: Рембо. Как и он, Тракль — «проклятый поэт», певец беды и вины, отчаяния, недуга и гибели.

Но в поэзии Тракля всегда присутствует и третье — совесть, не позволяющая забыть об утраченной гармонии, воля к искуплению, к очищению, хотя бы самой страшной ценой. Сразу скажем, что с христианством Тракля дело обстоит не так просто. Вновь и вновь появляющаяся в его стихах барочная католическая образность, которая была просто неизбежной для поэта, родившегося в Зальцбурге, заставляет, однако, вспомнить, что по рождению Тракль принадлежал к протестантскому меньшинству; значит, никогда, даже в детские годы, его восприятие католического храма и обряда не могло быть непосредственным, бытовым, не осложненным дистанцией.

И церковность — тоже Рай, из которого его изгнали еще до его рождения. При желании можно находить протестантские черты в присущем ему представлении о своей роковой предопределенности к погибели, о вине, коренящейся в самых истоках личного бытия («Горе, вопль роженицы»). Так или иначе, однако, сам поэт достаточно убежденно, хотя с романтической расплывчатостью понятий, считал себя внеконфессиональным христианином; характерно, что идеалом христианства был для него Достоевский. Но и более «языческие» мотивы его поэзии — все эти отроки, блаженствующие в единении с природой и одновременно словно предназначенные для какого-то древнего жертвоприношения,— означают нечто большее, чем декадентскую мечту; в них выражена, как некогда у Гёльдерлина (у которого — тогда только что открытого — Тракль, конечно, учился не только технике верлибра), высокая философско-антропологическая утопия, строгая и серьезная тоска по «золотому человеческому образу».

Человек, написавший эти стихи, прожил недолгую жизнь. Тяжелым, странным взглядом смотрят на нас с фотографий его глаза. Это был отрок и юноша, какого никто не захочет в сыновья: из тех, что с самого начала словно бы все понимают, все знают, но не умеют сделать главное — адаптироваться к жизни. Над ним тяготело сознание страшного, проклятого греха, относящегося к детским годам: его привязанность к сестре Грете, яркой, артистической натуре, у которой мальчик, чувствовавший себя непонятым, искал понимания, перед которой преклонялся, приобрела чувственную окраску. Вместе с сестрой они практиковали употребление наркотиков. Всю жизнь Траклем владела навязчивая мысль — наказать себя, быть собственным палачом. «Я не смею уклоняться от Ада»,— сказал он в необычно для него доверительном разговоре с друзьями в январе 1914 года, когда жить ему оставалось несколько месяцев. С христианской точки зрения ему недоставало не чувства раскаяния (и уж конечно не мистической одаренности) — а добродетели надежды.

Его путь вел его от переживания собственной вины и беды к переживанию вины и беды всего гибнущего старого мира. Символична его смерть: он проработал несколько месяцев военным санитаром на галицийском фронте, насмотрелся на мучения раненых и умирающих — и не вынес этого опыта, заплатив за него безумием и в тяжело омраченном состоянии покончив с собой. Перед этим он написал несколько пророческих стихотворений об одичании Европы, о прорыве варварства. «Волки с воем врываются в двери».

Философ Мартин Хайдеггер писал:

«Многозначное звучание поэзии Тракля идет от собранности, то есть от созвучия, которое само по себе всегда остается по ту сторону высказываемого. Многозначность этой поэтической речи — не приблизительность, но строгость, и она принадлежит не тому, кто нечто разрешил себе, но тому, кто от всего отрешил себя, предавшись заботе о «праведном взирании».

Из сборника «Стихотворения», 1913 г.

Рождение

Горы — изломы, черное, снег.
Красной охоты вьется путь.
О, мшистые взоры зверя.

Материнский покой; под черной елью
Разверзаются дремные руки,
Когда явит себя хладеющий месяц.

О, человека рожденье. Плещут в ночи
По камням голубые струи,
Воздыхая, падший ангел видит свой облик.

Пробуждается бледное в дреме кельи.
Как две луны,
Мерцают очи на каменном лике старухи.

Горе, вопль роженицы. Черным крылом
Детских висков касается ночь,
Снег, что с пурпурных небес никнет неслышно.

Отроку Элису

Элис, когда из чернеющей рощи покличет дрозд,
Это погибель твоя.
Твои губы испили прохладу голубых родниковых струй.

Не страшись, пусть чело истекает кровью:
Сказкой извечной
И темной разгадкой птичьих кружений.

Но ты отступаешь мирною поступью в ночь,
Что пурпурных гроздий полна,
И дрогнул милый очерк руки в синеве.

Там Купина глаголет,
Где твои лунные очи.
О, как давно умер ты, Элис.

Твоя плоть гиацинту подобна,
И в чашечку тихо монах восковые персты опускает.
Наше безмолвие — сумрак пещеры,

Откуда порой выступает смиренный зверь
И тихо смежает тяжкие веки.
На твои виски каплют черные росы,

Последнее золото звезд падучих.

Из сборника «Себастьян во сне», 1915 г.

Просветление

Когда вечереет,
Уходит тихо лик голубой.
Малая пташка поет в тамаринде.

Мирный монах
Умершие руки слагает.
Белый ангел нисходит к Марии.

Ночному венку
Из фиалок, и злаков, и роз пурпурных
Подобен год созерцателя.

У ног твоих
Усопших отверзаются гробы,
Когда ты никнешь челом в мерцанье ладоней.

Тихо живет
У губ твоих месяц осенний,
Пьян маковым соком темной песни.

Голубые цветы,
Тихо звените вы в морщинистом камне.

*Карл Краус**

Белый первосвященник истины,
Кристальный голос, что веет льдистым дыханием Бога,
Маг во гневе,
Чьи голубые латы звенят под пламенной ризой.

Покой и безмолвие

Пастухи зарыли солнце в нагом лесу.
Поднял рыбарь
Волосяною сетью месяц из стынущих вод.

В голубом кристалле
Обитает бледный жилец, приклонивший щеку к звездам;
Или он никнет главою в пурпурную дрему.

Но вновь окликает черное птичье круженье
Созерцателя, тайна цветов голубых,
Мысль безмолвия кличет забвенное, свет отсиявший.

Вновь поникает чело ко сну, в лунные скалы;
Как сияющий отрок,
Явилась сестра в ночи, в черном истлении.

Зимняя ночь

Выпал снег. В полуночный час, хмелея пурпурным вином, ты покидаешь темную область людей, красное пламя их очага. О, помрачение ночи!

Черный мороз. Земля жестка, и у воздуха горек вкус. Звезды твои сочетались в недобрые руны.

Каменным шагом ты стучишь о дорожный вал, и круглятся глаза, как у солдата, что идет на черный окоп. Аванти!

Месяц и первый снег!

Это красный волк, кого борет ангел. Твои ноги скользят и скрипят, как лед голубой, и улыбка гордыни мукой окаменила лицо, и лоб побледнел пред усладою стужи;

или он никнет тихо над дремой сторожа, что простерт на земле в сторожке своей деревянной.

Стужа и дым. Белая ткань звездной рубахи опалила плечи, Божьи птицы расклевали железное сердце.

О, каменистый холм. Тихо плавится плоть, холодная и забвенная, переплавляясь в серебряный снег.

Черен сон. Ухо прилежно следит пути созвездий во льду.

В час пробуждения колокола звонят в деревне.

Через врата востока грядет в серебре заалевший день.

---

* Карл Краус (1874—1936) — видный австрийский писатель и критик, яростный сатирик, ведший неистовую войну против прессы всех направлений, против распада языка и мысли. Принимал участие в судьбе Тракля, печатал в своем журнале «Die Fackel» его стихи. *(Прим. перев.)*

Вечером

Еще желта трава, черна и сера ветвь,
Но зазеленеет лес, когда мимо проходишь ты,
Отрок, что оком огромным солнце пьет.
О, блаженство в испуганном вскрике птицы.

От гор приходит струя, холодна и чиста,
Поет в зеленой засаде; и та же песнь,
Когда ты, хмелея, голени движешь. Дикое странствие

В голубизнах; и дух, что выйдет из чащи,
из горьких трав,
Се, твой образ. Неистовый! Любовь никнет к женскому,
К водам голубым. Чистота и молчание!

Почка хранит потаенную зелень. Под мраком
Освяти наши лбы росистой вечерней ветвью.
Шаг и печаль согласно поют в пурпурном солнце.

Старость

Духовнее светятся дикие
Розы подле ограды;
О, безмолвствующая душа!

В холодной листве утеху
Пьет кристальное солнце;
О, мирная чистота!

Спелые гроздья подносит в дар
Истонченной рукою старец:
О, взор любви!

Новалис

В темной земле почил святой чужанин.
Бог удалил вопль от кротких его уст,
Когда во цвете своем поник он.
Голубым цветком
Живет его песнь в ночном дому печалей.

Жалоба

Сон и смерть — их орлиные крылья
Всю ночь у этой главы шумели:
Золотой человеческий образ
Поглотила холодная глубь
Вечности. О скалы смерти
Разбилась пурпурная плоть.

И подъемлется темный голос
Над пучиной:
Сестра мятежных уныний,
Гляди, как тонет пугливый челн
Под звездами,
Пред лицом безглагольной ночи.

На востоке

Диким орга́нам зимних бурь
Подобна племен темная ярость.
Битвы пурпурный вал,
Оголенные звезды.

Разбитой бровью, серебристой рукой
Умирающих солдат приветствует ночь.
В тени осенних дубов
Воздыхают обличия павших.

На город тернистая пустошь идет.
С пурпурных ступеней гонит месяц
Толпу испуганных жен.
Волки с воем врываются в двери.

■

ИНГМАР БЕРГМАН

LATERNA MAGICA

Перевод со шведского А. А. АФИНОГЕНОВОЙ

Весной 1939 года я отправился к Паулине Бруниус, возглавлявшей тогда Драматен, и попросил принять меня в театр на любую работу, лишь бы мне позволили находиться там и учиться мастерству. Фру Бруниус, изящная, красивая дама с бледным лицом, ярко-голубыми, чуть навыкате глазами и хорошо поставленным голосом, за три минуты объяснила, что с *огромным* удовольствием возьмет меня, как только я закончу учебу. Она рассуждала об образовании как о наилучшем пути к овладению театральным искусством, особенно для того, кто замахнулся на профессию режиссера. Увидев мое искреннее отчаяние, она похлопала меня по руке и сказала: «Мы будем вас иметь в виду, господин Бергман». Через четыре минуты я стоял на улице с разбитыми мечтами. Надежды, которые я возлагал на свою встречу с фру Бруниус, были беспредельны.

Только много времени спустя я узнал, что отец связался с фру Директором — он был с ней знаком по служебным делам — и высказал свои пожелания относительно моей учебы. Может, это было и к лучшему.

От безысходности я обратился в Оперу, изъявив желание работать кем угодно — бесплатно. Директором недавно был назначен Харальд Андре́ — высокий усатый человек с красным, обветренным лицом и белоснежными волосами. Сквозь узенькие щелки прищуренных глаз он наблюдал, как я дрожу от страха, а потом что-то благожелательно пробормотал, я не расслышал что. Неожиданно я оказался принятым на должность ассистента режиссера. Согласно какому-то постановлению середины прошлого века мне полагалось вознаграждение в сумме 94 риксдалеров в год.

Харальд Андре́ был выдающимся режиссером и умелым руководителем. Оркестром дирижировали Лео Блех, Нильс Гревиллиус и Исай Добровейн. Театр располагал постоянной, высококвалифицированной труппой, довольно приличным хором, ужасающим балетом, целой армией рабочих сцены и администрацией в духе Кафки. Репертуар — обширный и разнообразный, от «Миньон» до «Кольца нибелунга». Немногочисленная публика отличалась верностью и консерватизмом, ценила своих любимцев и не пропускала ни одного спектакля.

Центром вселенной была сценическая контора, где распоряжался маленький человечек, похожий на доктора Мабузе [1],— он всегда был на месте.

Сцена — просторная, но сложная для работы, пол спускался под уклон к рампе, кулисы отсутствовали, зато имелось четыре трюма и громадные колосники.

Автором внушительного количества декораций был Турольф Янссон. Они представляли собой величественную театральную живопись старой школы: незабываемая живая береза посреди емтландского ландшафта Арнъёта, жуткий лес с порожистой речкой и пастбищенскими постройками для стриндберговской «Невесты-девственницы» и весенний пейзаж для состязания «мейстерзингеров». Вдохновение и знание. Задники и боковины. Акустически выигрышные, хорошо выполненные декорации, которые легко менять и хранить.

Контраст этой слегка ветхой красоте составлял исполненный юмора экспрессионизм немецкого толка Йон-Анда [2]: «Кармен», «Сказки Гофмана», «Отелло».

Осветительная аппаратура — непостижимый антиквариат 1908 года — находилась в руках благородного старика, которого величали Пожарных дел мастером, и его сына, немногословного юнца средних лет. Работали они в узком, напоминавшем коридор помещении слева от сцены и наблюдать за происходящим практически не могли.

В балетном зале, грязном помещении с отвратительной вентиляцией, где гуляли сквозняки, пол имел такой же уклон, что и на сцене. Артистические уборные, расположенные на уровне сцены, были просторны, снабжены окнами, но чем выше, тем неприглядней они становились, санитарные условия ограничены до крайности.

[1] Доктор Мабузе — герой фильмов знаменитого немецкого режиссера Ф. Ланга «Доктор Мабузе — игрок» (1922, в советском прокате — «Позолоченная гниль»), «Завещание доктора Мабузе» (1933), «Тысяча глаз доктора Мабузе» (1960), бандит-безумец, одержимый манией величия.

[2] Йон Йон-Анд (1889—1941) — шведский художник, с 1927 г. главный художник-декоратор Королевской оперы. Считается одним из зачинателей кубизма в Швеции. Известен новаторскими работами в области театральной живописи.

* Окончание. Начало в № 9, 10.

Солидная рабочая сила строила, разбирала, грузила, транспортировала, разгружала декорации. Вообще все это сплошная мистика. Современные электронные изыски с автоматическим управлением работают хуже, чем неуклюжие механизмы 30-х годов.

У этой мистики есть только одно объяснение: на сцене день и ночь работала постоянная, несколько престарелая, немного спившаяся армия решительных индивидуальностей, понимающих завсегдатаев. У них была ответственность. Они умели работать, они знали свое дело. Возможно, они работали посменно, не знаю. Мне-то, конечно, казалось, что за канаты держатся одни и те же старики, и днем и вечером, год за годом. Трезвость, может, и подвергалась испытанию во время длиннющих пассажей Вагнера и обстоятельного умирания Изольды, но детали декорации появлялись и исчезали на нужный такт, задник поднимался и опускался с нужной скоростью, занавес взлетал и падал с той утонченной артистичностью, которую не заменит никакой мотор с градуированными скоростями. Плыл по морю Летучий Голландец, серебрился в лунном свете Нил, Самсон рушил храм, скользила по венецианским каналам гондола Баркаролы, летали феи, весенняя буря крушила стены дома Хундинга, за шестнадцать тактов до конца действия давая дорогу брату и сестре, запятнанным кровосмесительной связью.

Изредка случались и осечки. Играли «Лоэнгрина» с Эйнаром Бейроном и Бритой Херцберг в главных ролях. Я находился в осветительской, чтобы следить за световыми моментами в соответствии с режиссерскими указаниями в партитуре. Все шло по программе вплоть до финала. Лоэнгрин пропел свое «Сказание о Граале». Хор на узком, вдающемся в реку мысу звонкими голосами сообщает, что приближается лебедь, впряженный в роскошную раковину, он заберет героя-блондина. Эльза в белом одеянии разбита горем. (Я тайно сгорал от любви к Брите Херцберг.) Лебедь — великолепное творение, созданное совместным вдохновением Турольфа Янссона и начальника производственного цеха,— скользил, плыл, изгибал изящную шею и мог даже шевелить крыльями.

За несколько метров до берега лебедь с раковиной вдруг за что-то зацепился. Он дергал и рвался, но не двигался с места. Раковина застряла, сошла с рельс. Лебедь продолжал выгибать длинную шею и подрагивать крыльями, словно катастрофа, постигшая экипаж, его нисколько не волновала. У Вагнера есть указание, что птица на определенный такт ныряет и вместо нее появляется младший брат Эльзы, заколдованный злым Ортрудом. Освобожденный от чар, он бросается в объятия умирающей сестры. Нырнуть лебедь, поскольку он застрял, не мог, но брат Эльзы все же появился. И тут среди обслуживающей братии первого трюма началась паника. А где же, черт возьми, лебедь? Поспешили мы с парнем, надо его опять спустить вниз.

Брат Эльзы исчез, не успев отойти от люка. Теперь они сильно запаздывали по партитуре, юношу еще раз доставили наверх, он, не удержав равновесия, споткнулся об Эльзу, находившуюся в полуобморочном состоянии. По Вагнеру, с колосников спускается голубь, который с помощью золотой нити швартует раковину. После того как Лоэнгрин под элегическое прощальное пение хора займет свое место в раковине, голубю полагается отбуксировать ее в левую кулису. Но так как сейчас лебедь не трогался с места, а раковина села на мель, Лоэнгрин с отчаяния схватился за золотой шнур и покинул сцену под все больше придушенные прощальные звуки хора. Лебедь изогнул свою красивую шею и помахал крыльями. Эльза в полном изнеможении сотрясалась в объятиях брата. Медленно, медленно опустился занавес.

Не одну неделю я бродил по театру, словно невидимка. Никто не обращал на меня внимания. Я пытался осторожно завязать разговор, но от меня пренебрежительно отмахивались. Вечерами я сидел в углу сценической конторы. Это была большая комната с низким потолком и арочным окном до пола. Звонили телефоны, приходили и уходили люди, принимали и давали указания, время от времени в дверях появлялась «звезда». Я вставал и здоровался, на меня бросали рассеянный взгляд, звонок возвещал окончание антракта, гасились сигареты, и все занимали свои места.

Как-то доктор Мабузе, взяв меня за воротник, проговорил: «Некоторым не нравится, что ты сидишь тут в антрактах, иди в проход за сценой». Глотая слезы унижения, я спрятался за дверью балетного зала, где и был обнаружен красивой танцовщицей с итальянской фамилией, неожиданно включившей свет в зале. «Уж больно ты интересуешься балетом. Нам не нравится, что ты смотришь, как мы работаем»,— сказала она.

Так я проболтался два-три месяца в этой ничейной стране безнадежности, после чего меня отправили к Рагнару Хюльтén-Каваллиусу, который трудился над постановкой «Фауста» Гуно. Этого длинного, худого человека с чересчур благородными чертами лица прозвали Фьяметтой.

Для меня Рагнар, несмотря ни на что, был фигурой. Я знал, что он сделал много фильмов, написал множество сценариев и поставил бесчисленное количество опер. Видел, как он работает на сцене с певцами и хористами. Хриплый, чуть шепелявый голос, голова выдвинута вперед, плечи вздернуты, длинные пальцы подрагивают. Знающий, темпераментный и старомодный. Со «звездами» он был мягок, любезен, шутлив, с остальными — саркастичен, язвителен, бесцеремонен. С узких губ никогда не сходила улыбка — был ли он приветлив или зол.

Очень скоро разглядев мою полнейшую некомпетентность, он разжаловал меня в мальчики на побегушках, с которым обращались хуже некуда. Иногда он щипал меня за щеку, чаще же всего я бывал благодарной жертвой его сарказма. Несмотря на презрение и страх, я многое почерпнул из его тщательно, до мелочей, продуманных указаний. Вместе с гениальным художником Драматена Свеном Эриком Скаво-

ниусом он методично создавал пронизанный настроением спектакль из старой популярной оперы Гуно.

Великолепный певец-бас Леон Бьёркер, не умевший читать нот, сказал мне однажды: «Почему это вы так надменны? «Задница», что ли?» Я глядел на него во все глаза, ничего не соображая,— надменен? А Бьёркер продолжал: «В этом театре принято здороваться друг с другом, мы с вами встречаемся ежедневно, а вы ни разу не соизволили поздороваться. Вы и *вправду* «задница»?» Я ничего не мог ответить, ибо не понимал, о чем он говорит, не подозревая о пущенной кем-то сплетне: новая «задница» Фьяметты.

Фьяметта бывал нагл, ироничен, мог обидеть, но никогда не приставал. В общем-то, он мне даже нравился, я восхищался его преданностью и неисчерпаемым упорством — жеманный, злобный, ожесточившийся пожилой господин посредственных способностей, которому в юности предсказывали блестящее будущее.

Как-то после репетиции мы остались в зале вдвоем — я отмечал мизансцены в партитуре, он, грустный и печальный, сидел, опершись о мой стол. «Господин Бергман,— сказал он тихо, с мольбой,— что мне делать? Ердис упрямится, настаивает на косах. Это же смешно. Ведь у нее же голова словно водянкой раздута!» Он умолк, покачиваясь на стуле: «Странную вы выбрали métier [3], господин Бергман. В старости она может привести к большому разочарованию».

Исай Добровейн должен был ставить «Хованщину» Мусоргского и сам же дирижировать. С ним прибыли его собственные ассистенты. Вокруг вился рой помощников. Я воспользовался возможностью тайком следить за его работой — впечатление было ошеломляющее.

Добровейн был по происхождению русским евреем из Москвы, с огромным послужным списком и, по слухам, с тяжелым характером. Мы же увидели импозантного вежливого человека небольшого роста, с красивым лицом и седыми висками, которые ему очень шли. Выходя на сцену или становясь за дирижерский пульт, он преображался. Перед нами был выдающийся европеец, решительно и невзирая на лица поднимавший художественный уровень театра. Это вызывало — по очереди — просто удивление (что? разве можно такое говорить? Я такой же человек, как он!), сдерживаемое бешенство (я ему когда-нибудь врежу!), покорность (он, конечно, дьявол, но Дьявол с большой буквы!) и, наконец, полное обожание (потрясающе! Подобного ни мы, ни театр еще не переживали!).

С тихой радостью я наблюдал, как этот небольшой человечек гонял Бьёркера по сцене — не один, не два раза, а тридцать. Наша великая певица-альт, прелестная черноволосая Гертруда Польсон-Веттергрен, влюбившись без памяти, пела как никогда раньше. Эйнару Бейрону ежедневно доставались оскорбления — по делу. Медленно, но верно решительные меры делали свое дело, и из злобного провинциального премьера рождался — нет, не певец (чудеса тоже не беспредельны), но хороший актер. Быстро разобравшись, что хор хоть и превосходен, но плохо обучен, Добровейн начал работать с ним — любовно и с величайшим тщанием. Лучшие свои часы он проводил с хором.

Мне удалось пару раз поговорить с Добровейном, и хотя мой пиетет и языковой барьер сильно затрудняли общение, кое-что все-таки я понял. Он сказал, что боится «Волшебной флейты» — как ее сценического воплощения, так и музыкального. Жаловался на глубокомысленные, перегруженные декорации художников: сцена, на которой состоялось самое первое представление, не могла быть большой, представьте себе только Тамино и три двери — ведь музыка указывает количество шагов от двери до двери, сцены меняли просто и быстро, только задники и кулисы, без пауз на возведение новых декораций. «Волшебная флейта» родилась в интимном деревянном театрике с самым элементарным оборудованием и фантастической акустикой. Хор поет пианиссимо за сценой: «Pamina lebt noch» [4]. Добровейн мечтал о *молодых* певцах, *молодых* виртуозах. Большие арии — медальонная ария, ария до минор, колоратуры Королевы Ночи — обычно исполнялись чересчур замшелыми «шишками». Молодой огонь, молодая страсть, молодая резвость — иначе получится нелепо, совсем нелепо.

В фильме «Час волка» я попытался изобразить сцену, затронувшую меня глубже всего: Тамино — один у дворца. Темно, он охвачен сомнением и отчаянием, кричит: «О темная ночь! Когда ты исчезнешь? Когда обрету я свет в этой мгле?» Хор отвечает пианиссимо из храма: «Скоро, скоро или никогда!» Тамино: «Скоро? Скоро? Или никогда. О вы, таинственные создания, дайте мне ответ — жива ли еще Памина?» Хор отвечает издалека: «Памина, Памина еще жива!»

В этих двенадцати тактах содержатся два вопроса — у последней черты жизни — и два ответа. Когда Моцарт писал оперу, он был уже болен, его коснулось дыхание смерти. В миг нетерпеливого отчаяния он восклицает: «О темная ночь! Когда ты исчезнешь? Когда обрету я свет в этой мгле?» Хор отвечает двусмысленно: «Скоро, скоро или никогда». Смертельно больной Моцарт посылает вопрос в темноту. Из этой темноты он сам отвечает на свой вопрос — *или получает ответ?*

Теперь второй вопрос: «Жива ли еще Памина?» Музыка превращает незамысловатые слова в вопрос вопросов: жива ли Любовь? Существует ли Любовь? Ответ нерешителен, но дает надежду благодаря странному делению имени: «Па-*ми*-на еще жива!» Здесь речь уже идет не об имени привлекательной женщины, это слово — символ любви: Па-*ми*-на еще жива! Любовь есть. В человеческом мире существует любовь!

В «Часе волка» камера панорамирует на демонов, получивших благодаря власти му-

[3] Профессия *(франц.)*.

[4] Памина еще жива *(нем.)*.

зыки несколько мгновений отдыха, и останавливается на лице Лив Ульман. Двойное объяснение в любви, нежное, но безнадежное.

Спустя несколько лет я предложил Шведскому радио поставить «Волшебную флейту». Предложение было воспринято с сомнением и растерянностью. Если бы не властное вмешательство и энтузиазм тогдашнего заведующего музыкальной редакцией Магнуса Энхёрнинга, фильм никогда бы не появился на свет.

За свою профессиональную жизнь я сделал очень немного музыкально-драматических постановок. По весьма досадной причине: моя любовь к музыке практически безответная. Я страдаю полнейшей неспособностью запомнить или воспроизвести мелодию. Узнаю мгновенно, но с трудом вспоминаю откуда и не могу ни напеть ее, ни просвистеть. Для меня выучить более или менее наизусть музыкальное произведение — точно гору свернуть. День за днем сижу я с магнитофоном и партитурой — иногда эта неспособность парализует меня, иногда кажется нелепой.

В этой ожесточенной борьбе есть, быть может, один положительный момент — я вынужден до бесконечности просиживать над произведением и потому успеваю основательно вслушаться в каждый такт, каждый удар пульса, каждый миг.

Мое творение рождается из музыки. Я не способен идти другим путем, мешает этот мой физический недостаток.

Кэби Ларетеи любила театр, я любил музыку. Своим браком мы взаимно разрушили эту наивную и спонтанно-эмоциональную любовь. На одном концерте я повернулся к Кэби, преисполненный счастья сопереживания, она скептически взглянула на меня: «Неужели тебе *это действительно* понравилось?» В театре происходила та же чертовщина — ей нравилось, мне нет, или наоборот.

Теперь, став просто хорошими друзьями, мы вернулись к своим дилетантским оценкам. Однако не буду отрицать, что за годы жизни с Кэби я приобрел немалые познания в области музыки.

Особенно неизгладимое впечатление произвела на меня учительница Кэби (у всех музыкантов есть учительницы) — своей педагогической гениальностью и удивительной судьбой.

* * *

Андреа Корелли происходила из состоятельной аристократической туринской семьи, воспитывалась, по обычаю того времени, в монастырском пансионе и, получив основательное классическое и языковое образование, поступила в Римскую музыкальную академию, где считалась многообещающей пианисткой. Андреа была привязана к семье, глубоко религиозна и жила под надежной защитой условностей итальянской крупной буржуазии.

Красивая, веселая, несколько мечтательная девушка, жадная до интеллектуальной пищи, была окружена поклонниками и воздыхателями — не только из-за своей привлекательности, но еще и потому, что была «хорошей партией». В Академии давал уроки скрипач-виртуоз средних лет из Берлина Йонатан Фоглер — чуточку в возрасте, слегка вяловатый человек с седыми висками и огромными черными, сильно косящими глазами. Его игра и демонические чары разбудили страсти.

Андреа, аккомпанировавшая ему на нескольких концертах, влюбилась по уши, порвала с семьей и Академией, вышла замуж за скрипача и стала сопровождать его в кругосветных турне. Позднее Фоглер организовал струнный квартет, получивший мировую известность. Андреа тоже выступала — когда исполнялись фортепьянные квинтеты. Родилась дочь — ее отдали на воспитание сначала родственникам, а потом в интернат.

Вскоре Андреа обнаружила, что Фоглер ей изменяет. Его аппетит на женщин самого разного сорта оказался непомерным. Низенький, косящий господин с круглым животиком, слабым сердцем и одышкой, гениальный музыкант, был по-гаргантюански падок на всяческие жизненные удовольствия. Андреа бросила его, он поклялся покончить с собой, она вернулась, и все пошло по-старому.

Она поняла, что любит его без оглядки, и, отбросив всякие условности, стала не только администратором и менеджером квартета, но и твердо, с юмором принялась наводить порядок в амурных похождениях мужа. Подружилась с любовницами, регулируя движение, словно некий стрелочник Эроса, сделалась верным другом и советчиком мужа. Врать он не перестал, ибо был не способен говорить правду, но ему больше не надо было камуфлировать свое распутство. Решительной рукой, выказывая большой организаторский талант, Андреа вела корабль с музыкантами по бесконечному морю гастролей — и дома и за границей.

Каждое довоенное лето их приглашали в замок неподалеку от Штутгарта, расположенный в изумительном по красоте местечке с великолепными видами на горы и реку. Владелица замка, несколько эксцентричная старуха Матильда фон Меркенс, была вдовой промышленного магната. Время не пощадило ни замок, ни его хозяйку.

Тем не менее она продолжала год за годом собирать у себя самых выдающихся музыкантов Европы: Казальса, Рубинштейна, Фишера, Крейслера, Фуртвенглера, Менухина, Фоглера. И каждое лето они откликались на приглашение, ели за ее ценившимся всеми столом, пили прекрасные вина, спали с собственными и чужими женами и создавали великую музыку.

Андреа сохранила талант грубовато-соленого итальянского искусства рассказа, приправленного задорным смехом. Ее умопомрачительные, жуткие, скабрезные, смешные истории взывали к созданию кинофильма, и я решил — с согласия Андреа — сделать из всего этого комедию.

К несчастью, я неправильно расставил акценты — мне стало это ясно слишком поздно, когда фильм был уже непоправимо завершен.

Как-то навещая нас с Кэби в Юрсхольме, Андреа привезла с собой фотографии,

запечатлевшие события одного лета в замке Матильды фон Меркенс. Одна из этих фотографий заставила меня взвыть от горя. На ней представлено общество, собравшееся на террасе, очевидно, после обильной трапезы. Пышная зелень захлестнула балюстраду и каменную лестницу, взорвала изнутри мозаику, вскарабкалась на статуи и лепнину. В расставленных там и сям на потрескавшемся полу террасы рваных плетеных креслах отдыхает горстка музыкальных гениев Европы. Потные, слегка заросшие, они курят сигареты. Кто-то так бурно веселится, что его изображение смазалось — это Альфред Корто. Жак Тибо, наклонившись вперед, хочет что-то сказать, шляпа сдвинута на нос. Эдвин Фишер опирается животом на балюстраду. У Матильды фон Меркенс в одной руке чашка кофе, в другой — сигарета. Фоглер сидит с закрытыми глазами, жилет застегнут наглухо. Фуртвенглер, заметив фотоаппарат, успевает растянуть губы в демонической улыбке. В высоких окнах мелькают какие-то женские лица — старческие, раздутые, желчные. Немного в стороне стоит молодая, изысканно одетая и причесанная женщина, ее красота носит восточный характер. Это — Андреа Фоглер-Корелли. Она держит за руку пятилетнюю дочь.

Со стены частично обвалилась штукатурка, в одной оконной раме вместо стекла вставлена фанерка, у купидона отлетела голова. Снимок излучает ощущение вкусного обеда, потной жары, распутства и тихого запустения. Отрыгавшись, облегчившись, подкрепившись послеобеденным кофе и чем-нибудь покрепче, эти господа соберутся, наверное, в огромной, пропахшей плесенью гостиной Матильды фон Меркенс. Там они творят музыку. Там они безгрешны, как ангелы.

Мне было мучительно стыдно за свою поверхностную, надуманную комедию. Полезно, но неприятно. Слишком много было у меня дел, я недавно возглавил Драматен, находился в преддверии первого театрального сезона, был не в силах целиком посвятить себя фильму и пошел наипростейшим путем. Больше всего мне хотелось отказаться от задуманного, но я дал обещание. Контракты были подписаны, все подготовлено до мелочей. Да и сценарий получился веселым, все были довольны.

Порой требуется гораздо больше мужества, чтобы нажать на тормоза, чем запустить ракету. Мне такого мужества не хватило, и я слишком поздно понял, какого рода фильм должен был бы сделать.

Наказание не заставило себя ждать. Фильм потерпел скучное фиаско — зрительское и финансовое [5].

Началась война. Квартет Фоглера продолжал разъезжать по свету. Страна перешла на военное положение, закрылись театры и концертные залы. Но квартет наряду с немногими другими театральными и музыкальными ансамблями получил специальное разрешение на продолжение гастролей.

Осенью Андреа с музыкантами оказались в Восточной Пруссии, недалеко от Кёнигсберга. Они жили в маленькой курортной гостинице на берегу моря и давали концерты в близлежащих городках.

Однажды вечером Андреа гуляла одна по берегу. Солнце погружалось в огненную дымку, море было неподвижно. Вдалеке слышались артиллерийские залпы. Вдруг Андреа остановилась, потрясенная сразу двумя сильнейшими ощущениями — она поняла, что беременна и что у нее есть ангел-хранитель.

Спустя несколько дней города вокруг Кёнигсберга были заняты русскими войсками. Андреа, ее дочь, мужа и всех музыкантов согнали на сборный пункт. Специальное разрешение на гастроли показалось подозрительным. Их заперли в подвале. Через окошки под самым потолком виднелся кусок асфальтированного школьного двора. У музыкантов отобрали инструменты. Йонатану Фоглеру приказали раздеться догола, после чего его вместе с другими заключенными повели во двор на расстрел. По какой-то нерешительности начальства они простояли у стены несколько часов. А затем получили приказ возвращаться в подвал. На следующий день повторилась та же процедура.

Охрана насиловала заключенных женщин. Андреа, чтобы не пугать дочь, добровольно предоставила себя в распоряжение мужчин. По ее подсчетам, ее изнасиловали двадцать три или двадцать четыре раза.

Вскоре в город прибыли русские элитные соединения, была образована комендатура, нескольких русских солдат расстреляли для устрашения: Красная Армия не грабит нищих и не насилует беззащитных.

Подвал из тюрьмы переделали в жилье. Фоглеру вернули одежду. У него началось нервное расстройство, он лежал и трясся в углу, но вел себя тихо. Андреа с музыкантами отправлялись на поиски еды.

Во время одной из таких вылазок она встретила директора местного театра и нескольких актеров. Они решили вместе обратиться к коменданту с предложением возродить в какой-нибудь форме театрально-музыкальную жизнь. Полковник, которому Андреа, говорившая по-русски, изложила этот план, высказал определенный интерес. По какой-то необъяснимой организационной прихоти музыкантам отдали обратно их инструменты — целыми и невредимыми.

Вскоре Андреа и директор театра объявили о проведении званого вечера-концерта в большом зале Ратуши. Верхний этаж здания сгорел, а главный зал практически не пострадал. В восемь часов помещение заполнили местные жители, беженцы и русские завоеватели. Исполнялись произведения Баха, Шуберта и Брамса. Директор театра с остатками труппы показал сцены из «Фауста». Концерт продолжался долго, пока проливной дождь, беспрепятственно проникавший сквозь поврежденные потолочные перекрытия, не положил конец празднеству. Концерт повторили, успех был колоссальный, входной платой служили кусок угля, яйцо, пакетик масла или что-нибудь еще из предметов первой необходимости. Андреа занималась организационной стороной дела и заставляла мужа

[5] Имеется в виду фильм «Не говоря уже обо всех этих женщинах».

и музыкантов проводить регулярные репетиции.

После войны Йонатан Фоглер бросил жену и получил профессуру в какой-то немецкой академии. Белая как лунь голова, лицо — будто присыпано мелом, черные глаза как горящие угольки, смешной выпяченный животик, систематические сердечные приступы — и три постоянные любовницы.

Андреа, обосновавшись в Штутгарте, стала давать уроки игры на фортепьяно. К Кэби Ларетеи, своей преданной ученице, она относилась с лишенной сентиментальности нежностью и железной твердостью.

У Кэби были серьезные проблемы. Она сумела сделать карьеру благодаря щедрой музыкальной одаренности, внутреннему огню и темпераменту в сочетании с красотой и обаянием. Трудность заключалась в том, что это изысканное сооружение покоилось на шатком фундаменте: ей недоставало стабильной техники. За сверкающим фасадом уверенности в своих силах скрывалась опасная неуверенность. В зависимости от бесчисленных обстоятельств ее концерты бывали либо блистательными, либо ужасающими.

Кэби Ларетеи обратилась к Андреа Фоглер-Корелли, чтобы та подвела солидное основание под прекрасное здание. Задача оказалась изматывающей, требующей терпения и растянулась на многие годы, но за это время между двумя женщинами окрепла настоящая искренняя дружба.

Мне иногда дозволялось присутствовать на уроках, где в ход шли те же жесткие педагогические приемы, что и у Торстена Хаммарéна. Музыкальная фраза разбивалась на составные части, которые отрабатывали часами, педантично следя за каждым пальцем, и, когда наступало время, собирали в единое целое.

Андреа нравились крупные руки Кэби, ее желание и музыкальная одаренность, но она жаловалась на лень своей ученицы и была безжалостна, как сенокосилка. Кэби взбрыкивала, но подчинялась. Основательная аналитическая работа затрагивала в основном технические проблемы, но по ходу дела все больше превращалась в душевное общение.

Пальцы, кисть, локоть, плечо, спина, посадка, постановка руки, не жульничай, если не знаешь, не спеши, остановись и подумай, этот такт поможет тебе справиться с целой фразой, вот видишь, здесь переведи дух, почему ты все время задерживаешь дыхание, милая, осталось всего полчаса, потерпи, скоро получишь свой чай, если второй сустав пальца не слушается, значит что-то не в порядке здесь (украшенный кольцом указательный палец утыкается между лопаток ученицы). Теперь сыграй фа-диез двадцать раз, нет, тридцать, но *думай, что делаешь!* Сперва указательным, потом средним, откуда этот удар, вот именно: сила идет из живота, не жульничай, помни о посадке. Нет таких инструментов — и не будет,— чтобы передать весь тот динамизм, который Бетховен воображал себе в своем беззвучном мире. Видишь, как сейчас красиво звучит, у тебя в душе так много красоты, надо научиться показывать ее. Идем дальше, здесь намек на то, что настигнет нас через двадцать девять тактов, это почти незаметно, но важно. У Бетховена не существует проходных моментов, он говорит трогательно, возмущенно, печально, весело, с болью, но никогда не бормочет, не бормочи, *ни в коем случае не опускайся до среднего уровня!* Ты должна знать, чего хочешь, даже если ты не права. Смысл и взаимосвязь, понятно? Но это не значит, что нужно все акцентировать, акцент и значение — две разные вещи. Теперь идем дальше, потерпи, тренируйся в терпении, когда хочется все бросить, подключи особую батарею, она удвоит твои усилия. В искусстве нет ничего хуже больной совести. Остановись здесь. До. Мой друг Горовиц каждое утро после завтрака подходил к роялю и брал несколько до-мажорных аккордов. Говорил, что это прочищает уши.

Я слушал Андреа и думал о театре, о себе, об актерах. О нашей небрежности, о нашем невежестве. О проклятой массовой продукции, производимой нами за деньги.

В нашей культурной глухомани были, конечно, выдающиеся актеры, лишенные элементарных технических навыков. Полностью полагаясь на свое неоспоримое обаяние, они выходили на сцену и завязывали своего рода эротические отношения со зрителями. Если же этих отношений не возникало, они терялись, забывали текст (который никогда как следует не учили), впадали в рассеянность, бормотали невнятицу — кошмар для партнеров и суфлера. Это были гениальные любители на час, порой они демонстрировали ослепительное вдохновение целый вечер, а в промежутках — серость разных оттенков, стимуляторы, наркотики, алкоголь.

Великий Ёста Экман — хороший тому пример. Ни опыт, ни волшебное обаяние, ни гениальность ему не помогли. Его провалы особенно заметны в фильмах. Кинокамера разоблачает блеф, пустоту, неуверенность, отсутствие мужского начала.

Премьеры были наверняка великолепными. А пятый спектакль или пятнадцатый? Я видел его Гамлета в самый обычный четверг. Это было домашнее упражнение в высокомерии и необъяснимом кривлянии на фоне усердного диалога с приходившим во все большее возбуждение суфлером.

Несколько лет подряд мы с Кэби снимали дачу в шхерах на северной оконечности острова Урнё. Громоздкий патрицианский каменный дом стоял на мысу, откуда открывался вид на залив Юнгфрюфьёрден и подступы к Даларё. Мыс был отрезан от остальной части острова дремучим, труднопроходимым лесом, наступавшим на дом и уже вторгшимся на клубничные и картофельные грядки. Там царил влажный полумрак, в сумраке светились одичавшие орхидеи, бесились ядовитые комары.

В этой довольно-таки экзотической обстановке мы проводили лето: Кэби, ее мать, домработница-немка Рози и я. Кэби была беременна и страдала не опасным, но чрезвычайно мучительным недомоганием, которое поражает нервные окончания ног и выражается в щекочущих ощущениях в коле-

нях и пальцах, так что приходится беспрерывно двигать ногами. Хуже всего бывает ночами, бессонница гарантирована.

Кэби, охотно жалующаяся на различные мелочи, терпеливо переносила страдания с помощью толстых русских романов. Нескончаемо бродила она по спящему дому, иногда на ходу ненадолго засыпала, а очнувшись, обнаруживала, что делала вещи, о которых не имела ни малейшего понятия.

Как-то ночью я вскочил с постели, разбуженный грохотом и криком ужаса. Кэби лежала распростертая на полу — заснув на ходу, свалилась с лестницы. Отделалась она испугом и небольшими царапинами.

Для меня же дело обернулось гораздо хуже. От испытанного шока механизм сна разладился полностью. Бессонница, плохой сон стали хроническими. Я сплю обычно четыре-пять часов, это еще куда ни шло. Нередко меня словно по спирали выталкивает из глубокого забытья непреодолимая сила, интересно, где она скрывается? Что это — неясное чувство вины или неутолимая потребность держать под контролем действительность? Не знаю, да и, в общем-то, это безразлично. Самое главное — пережить ночь с помощью книг, музыки, печенья и минеральной воды. Тяжелее всего — «час волка», между тремя и пятью. В это время слетаются демоны: досада, тоска, страх, отвращение, бешенство. Пытаться задавить их бесполезно — становится еще хуже. Когда глаза устают от чтения, наступает очередь музыки. Закрыв глаза, я сосредоточенно слушаю, давая демонам полную свободу действия: вперед, я знаю вас, ваши повадки, беснуйтесь, пока не устанете, я не стану сопротивляться. Демоны беснуются вовсю, потом вдруг испускают дух, становятся смешными и исчезают, а я засыпаю на пару часов.

Даниэль Себастьян родился с помощью кесарева сечения 7 сентября 1962 года. Кэби и Андреа Фоглер неутомимо работали до последнего часа. Вечером, когда Кэби заснула после семи месяцев мучений, Андреа достала с полки партитуру «Волшебной флейты». Я рассказал ей о своей мечте поставить оперу, и она раскрыла ноты на хорале стражей в горящих шлемах, отметив то удивительное обстоятельство, что католик Моцарт выбрал хорал в духе Баха для раскрытия своей мысли и мысли Шиканедера. Показав на ноты, она сказала: «Это, наверное, и есть киль корабля. Управлять «Волшебной флейтой» очень трудно. А без киля и вовсе не возможно. Баховский хорал — киль».

Мы пролистали партитуру назад и наткнулись на веселый побег Папагено и Памины от Моностатоса. «Посмотри-ка сюда,— сказала Андреа.— Вот еще одна мысль, как будто в скобках: любовь как высшее благо жизни. Любовь как внутренний смысл всего живого».

Корни любой постановки уходят глубоко в века и грезы. Охотно верю, что они покоятся в особом уголке души. Лежат себе там уютно и зреют, словно роскошные сыры. Некоторые неохотно — или довольно охотно и часто — выходят наружу, другие не показываются вовсе, не видя надобности участвовать в беспрерывном производстве.

Запас лежащих под спудом идей и быстрых взлетов вдохновения начинает истощаться. Это не внушает мне ни чувства горечи, ни чувства потери.

* * *

Я сделал несколько сомнительных по качеству фильмов, но тем не менее заработал на них кое-какие деньги. После грандиозно задуманного, но неудавшегося проекта, где мне и Лив Ульман предназначались главные роли, а декорациями должны были служить причудливые камни Форё, я находился в жалком состоянии. Один из протагонистов сбежал, я остался на сцене. Поставил неплохой спектакль по «Игре снов», влюбился во влюбленность молоденькой актрисы, ужаснулся механике повторяемости, удалился на свой остров и в длительном приступе меланхолии написал фильм «Шепоты и крик».

Снял все свои сбережения, уговорил четырех исполнителей главных ролей внести будущие гонорары на правах пайщиков и занял полмиллиона у Киноинститута. Это немедленно вызвало негодование многих деятелей кино, которые жаловались, что Бергман вырывает кусок хлеба изо рта бедных шведских коллег — он, дескать, мог бы достать деньги за границей. Но такой возможности не было. После целого ряда не слишком удачных фильмов никто не хотел меня финансировать — ни дома, ни за рубежом. Это было вполне в порядке вещей. Мне всегда импонировала откровенная жестокость международного мира кино, избавляющая от сомнений в собственной рыночной стоимости. Моя тогда равнялась нулю. Пишущая братия во второй раз за мою жизнь начала говорить о конце моей карьеры. Как ни странно, замалчивание или высказываемое равнодушие никак на меня не повлияло.

Мы снимали фильм с настроением бодрой уверенности. Для съемок выбрали запущенное поместье недалеко от Мариефреда. Заросший в меру парк, красивые комнаты в ужасающем состоянии — мы могли делать с ними что захотим. Восемь недель мы жили и работали в этой усадьбе.

Временами я тоскую по кино — завершенному этапу моей жизни. Чувство естественное и скоропроходящее. Особенно не хватает мне Свена Нюквиста. Может быть, потому, что мы оба безраздельно захвачены проблематикой света. Мягкого, опасного, мечтательного, живого, мертвого, ясного, туманного, горячего, резкого, холодного, внезапного, мрачного, весеннего, льющегося, изливающегося, прямого, косого, чувственного, покоряющего, ограниченного, ядовитого, успокаивающего, светлого света. Свет.

Завершение «Шепотов и крика» заняло немало времени. Озвучивание и лабораторные пробы затянулись, требовали денег. Не дожидаясь конца, мы начали съемки «Сцен из супружеской жизни». Делали его главным образом для развлечения. Где-то в середине съемок позвонил мой адвокат и заявил, что денег хватит еще на месяц. Я продал скандинавские права телевидению и спас наш шестичасовой фильм, находившийся на волоске от гибели.

Найти американского прокатчика для

«Шепотов и крика» оказалось весьма сложно. Мой агент Пол Кохнер, немолодой опытный негоциант, старался впустую Один известный прокатчик после просмотра повернулся к Кохнеру и заорал: «I will charge you for this damned screening!»[6] В конце концов маленькая прокатная фирма, специализировавшаяся на фильмах ужасов и легкой порнографии, сжалилась над нами. В респектабельном нью-йоркском кинотеатре возникла пауза — не вышел вовремя фильм Висконти. И за два дня до Рождества там устроили премьеру «Шепотов и крика».

Мы с Ингрид поженились в ноябре и переехали в дом на Карлаплан, по красоте не уступавший слоеной тянучке. Он был построен на том самом месте, где когда-то стоял Красный Дом, в котором жил Стриндберг с Харриет Боссе. В первую же ночь я проснулся от негромких звуков рояля, проникавших через перекрытия. Играли «Исчезновение» Шумана, одну из любимейших вещей Стриндберга. Быть может, дружеский привет?

Мы готовились к Рождеству, испытывая слабое беспокойство за будущее. Кэби любила повторять, что на деньги ей плевать, но они хорошо успокаивают нервы. Мне было чуточку грустно из-за того, что деятельности «Синематографа» пришел, по всей видимости, конец.

За день до Сочельника позвонил Пол Кохнер. Каким-то странным голосом он пробормотал: «It is a rave, Ingmar. It is a rave!»[7]. Я не знал, что значит «rave» и не сразу осознал полный успех. Десять дней спустя фильм был куплен большинством стран, еще имеющих кинотеатры.

«Синематограф» перебрался в просторное помещение, где мы оборудовали великолепный, оснащенный по последнему слову техники просмотровый зал и офис, ставший уютным местом встреч и центром неторопливо расширяющейся деятельности. Я занялся — в качестве продюсера — производством фильмов с другими режиссерами.

Не думаю, чтобы я был хорошим продюсером, так как, стараясь не оказывать чрезмерного давления, я тем самым вел себя нечестно, подбадривая больше, чем нужно, и занижая требования. Не раз мне приходил на память продюсерский гений Лоренса Мармстедта: его твердость, бесцеремонность, искренность и воля к борьбе в сочетании с тактом, пониманием и чувствительностью Если б у нас имелся хоть один продюсер, обладающий способностями Мармстедта, нашим самым выдающимся кинорежиссерам — Яну Труэллю. Вильготу Шёману, Каю Поллаку, Рою Андерссону, Май Сеттерлинг, Марианн Арне, Челю Греде, Бу Видербергу — не пришлось бы влачить столь жалкое существование. Длительные бесплодные периоды неуверенности и зыбкости, переоценка собственной значимости и отвергнутые заявки Внезапно — пара-другая миллионов, молчание, равнодушие, трусливая реклама. А при провале или осечке — серенькая улыбочка Ну что мы говорили?

Удачный брак, добрые друзья, хорошо налаженная, пользующаяся уважением фирма. Ласковый ветер обвевал мои чуть оттопыренные уши, сладость жизни ощущалась сильнее чем когда бы то ни было. «Сцены из супружеской жизни» принесли успех, равно как и «Волшебная флейта».

Чтобы хоть раз в жизни приобщиться к славе, мы с Ингрид поехали в Голливуд. Официально я был приглашен руководить семинаром в Киношколе Лос-Анджелеса. Исключительно удобно — внешне вполне безупречный повод, втайне — непривычное, чуть ли не запретное наслаждение.

Пребывание в Америке превзошло все ожидания: ядовито-желтое небо над Лос-Анджелесом, официальный обед с режиссерами и актерами, неописуемый ужин во дворце Дино Де Лаурентиса, откуда открывался вид на город и Тихий океан; его жена Сильвана Мангано, идеальная красавица 50-х годов, превратившаяся в ходячий скелет с тщательно накрашенным черепом и беспокойными, обиженными глазами, хорошенькая пятнадцатилетняя дочь, ни на шаг не отходящая от отца, ужасная еда, маслянистая, равнодушная приветливость.

Еще один ужин в другой вечер: мой агент Пол Кохнер, ветеран Голливуда, пригласил несколько престарелых режиссеров — Уильяма Уайлера, Билли Уайлдера, Уильяма Уэлмана. Задушевное настроение, раскованность. Говорили о четкой, неподражаемой драматургии американских фильмов. Уильям Уэлман рассказал, как он в начале 20-х годов овладевал профессией, снимая двухчастевки. Прежде всего следовало возможно быстрее расставить акценты. На экране — пыльная улица у дверей салуна. На крыльце сидит маленький песик. Из двери выходит герой, гладит песика, вскакивает на лошадь, уезжает. Выходит из той же двери негодяй, пинает собаку, вскакивает на лошадь, уезжает. Драма может начинаться. Зритель за минуту уже распределил все симпатии и антипатии.

Незадолго до этого я прочитал приведшую меня в восхищение книгу Артура Янова «Первичный крик», произведение весьма спорное и воинственное. В нем пропагандируется психотерапия, предусматривающая активное участие пациентов и сравнительно пассивную роль врача. Теории автора отличались свежестью и смелостью. Изложение — четкое, захватывающее. Я загорелся идеей и приступил к созданию четырехсерийного телевизионного фильма, положив в основу главные мысли Янова. Поскольку клиника находилась в Лос-Анджелесе, я попросил Пола Кохнера устроить мне встречу с автором. Артур Янов пришел в офис Кохнера вместе с прелестной подругой. Это был стройный, почти хрупкий человек с вьющимися, подернутыми сединой волосами и привлекательным еврейским лицом. Мы мгновенно нашли общий язык и, преисполненные взаимного любопытства, не испытывая ни малейшего смущения, не обращая внимания на условности, сразу же перешли к главному

Много лет назад меня навестили в Киногородке Джером Роббинс и его ослепительной красоты спутница восточного происхождения. Ощущение было сходное: естественный контакт, легкое, но обжигающее при-

[6] Я на вас в суд подам за этот проклятый фильм! *(англ.)*

[7] Здесь: это грандиозно! *(англ.)*

косновение, грусть при расставании, бурные заверения о скорой встрече.

Но ничего из этого не вышло, да и никогда ничего не выходит. Крестьянская, бергмановская стеснительность, робость перед неконтролируемыми чувствами: лучше уйти в сторону, промолчать, избежать. Жизнь и так штука рискованная, я говорю «спасибо» и осторожно пячусь назад, любопытство сменяется боязнью, лучше уж серые будни. Они поддаются контролю и режиссуре.

«Лицом к лицу» задумывался как фильм о снах и действительности. Сны становятся явью, реальностью, реальность растворяется, превращаясь в грезу, сон. Всего лишь два-три раза удавалось мне беспрепятственно парить между сном и реальностью. «Персона», «Вечер шутов», «Молчание», «Шепоты и крик». На этот раз задача оказалась сложнее. Вдохновение, требовавшееся для осуществления замысла, подвело меня. В чередовании снов видна искусственность, действительность расползлась по швам. Есть несколько прочно сделанных сцен, и Лив Ульман боролась как львица. Фильм не развалился только благодаря ее силе и таланту. Но даже она не смогла спасти кульминацию, первичный крик — плод увлеченного, но небрежного прочтения. Сквозь тонкую ткань скалилась художественная безысходность.

Начало смеркаться, но я не замечал мрака

Итальянское телевидение вознамерилось сделать фильм о жизни Христа. Проект финансировался крупными магнатами. В Швецию прибыла делегация из пяти человек, чтобы передать заказ. В ответ я написал подробное либретто о последних сорока восьми часах жизни Спасителя. В отдельных эпизодах рассказывалось о ком-нибудь из главных действующих лиц драмы: Пилате и его жене, отрекшемся Петре, матери Иисуса Марии, Марии Магдалине, Солдате, который сплел терновый венец, Симоне из Кирен, который нес крест, Предателе Иуде. У каждого был свой эпизод, в котором столкновение со страстями Господними безвозвратно уничтожало их мир и изменяло их жизнь. Я сообщил, что собираюсь снимать ленту на Форё. Крепостная стена Висбю должна была стать стеной вокруг Иерусалима. Море у подножия скал — Галилейским морем. На каменистом холме Лангхаммарена будет воздвигнут крест.

Итальянцы прочитали, подумали и мрачно отказались. Заплатив мне кругленькую сумму, они передали работу Франко Дзеффирелли Получилась красивая книжка с картинками о жизни и смерти Христа, настоящая библия для бедных.

Начало смеркаться, но я не замечал мрака.

Жизнь была приятной, наконец-то свободной от душераздирающих конфликтов. Я научился справляться с демонами. И смог осуществить то, о чем мечтал в детстве. К отреставрированному особняку в Дэмбе на Форё примыкал наполовину разрушенный скотный двор столетней давности. Мы его отстроили и использовали как примитивную студию для «Сцен из супружеской жизни». После окончания съемок студию переделали в просмотровую, изобретательно устроив монтажную на сеновале.

Завершив монтаж «Волшебной флейты», мы пригласили на премьеру кое-кого из участников фильма, нескольких жителей Форё и множество детей. Был август, полнолуние, над болотом Дэмба стлался туман. Холодным светом светились старинные постройки и мельница. В кустах сирени вздыхал домовой — Справедливый Судья.

В перерыве мы зажгли бенгальские огни и чокались шампанским и яблочным напитком «Поммак» за Дракона, за рваную варежку Рассказчика, за Папагено, у которого родилась дочь, и за счастливое окончание длившегося всю жизнь путешествия с «Волшебной флейтой» в багаже.

В старости потребность в развлечениях убывает. Я благодарен за все спокойные, бессобытийные дни и за не слишком бессонные ночи. Просмотровая на Форё доставляет мне неистощимое удовольствие. Благодаря дружескому расположению Синематеки Киноинститута я могу брать напрокат любые фильмы из их неисчерпаемого запаса. Удобное кресло, уютная комната, гаснет свет, на белой стене появляется первый прыгающий кадр. Тишина. Слабо жужжит проектор в хорошо изолированной проекционной. Тени движутся, поворачиваются ко мне лицом, призывая обратить внимание на их судьбу.

Прошло шестьдесят лет, а лихорадка все не отпускает.

* * *

В 1970 году Лоренс Оливье уговорил меня поставить «Гедду Габлер» на сцене лондонского Национального театра с Мэгги Смит в заглавной роли. Я упаковал чемодан и отправился в путь, ощущая сильнейшее внутреннее сопротивление и полный дурных предчувствий. Им предстояло оправдаться.

Комната в гостинице была мрачная и грязная, под окном бесновалось уличное движение: дом сотрясался, окна звенели, воняло сыростью и плесенью, справа от двери гудела батарея В ванной ползали крошечные блестящие червячки, вполне красивые, но явно не к месту. Торжественный ужин в мою честь с новоиспеченным лордом и актерами не удался: яванские блюда были несъедобными, один из актеров пришел пьяный уже к аперитиву, с ходу заявив, что Ибсен и Стриндберг — динозавры, которых невозможно играть и которые лишь доказывают крах буржуазного театра. Я поинтересовался, за каким дьяволом он тогда собирается участвовать в «Гедде Габлер», на что он ответил, что в Лондоне и так уже пять тысяч безработных актеров. Лорд улыбнулся, чуть скривившись, и заверил: наш друг — прекрасный артист, а на его революционную болтовню в подпитии не следует обращать внимания. Разошлись мы рано.

Национальный театр временно, пока возводилось новое здание на берегу реки, играл в двух снятых внаем помещениях. Репетиционный зал представлял собой сарай из бетона и рифленого железа, стоявший в

просторном дворе с вонючими мусорными баками. Когда солнце нагревало железо, жара становилась невыносимой, ибо окон там не было. Крыша покоилась на стальных опорах, расположенных на расстоянии пяти метров друг от друга. Мизансцены надо было выстраивать позади и впереди опор. В коротком коридорчике, разделявшем репетиционный зал и временный административный барак, имелось два вечно засоренных туалета, воняло мочой и тухлой рыбой.

Актеры были превосходны, некоторые просто великолепны. Их профессионализм и темпы даже меня напугали. Я сразу понял, что их методы работы отличаются от наших. К первой репетиции они уже выучили текст. Получив мизансцены, начали играть в быстром темпе. Я попросил их умерить пыл, они пытались, но это сбивало их с толку.

Руководитель театра[8] был болен раком, тем не менее каждое утро в девять часов он входил в административный барак, проводил за работой целый день и еще несколько раз в неделю исполнял роль Шейлока, иногда по два спектакля в день. Как-то в субботу я зашел к нему в тесную и неудобную артистическую после первого спектакля. Он сидел в нижнем белье, накинув на плечи рваный халат, смертельно бледный, в холодном поту. В тарелке плавали неаппетитные бутерброды. Он пил шампанское — один бокал, второй, третий. Потом пришел гример, костюмер помог ему одеть поношенное платье Шейлока, он вставил полагавшуюся по роли ослепительно белую челюсть и взял в руки котелок.

Я невольно подумал о наших молодых шведских актерах, жалующихся, что им приходится днем репетировать, а вечером играть. Или еще хуже: играть утренний спектакль и вечерний! Как это изматывает! Так опасно для артистизма! Так тяжело на следующий день! Какие катастрофические последствия для семейной жизни!

Я самовольно переехал в гостиницу «Савой», клянясь, что готов оплатить расходы. Тогда лорд предложил мне пожить в его квартире, где он иногда ночевал, на последнем этаже многоэтажного дома в одном из шикарных районов города, заверив, что мне никто не будет мешать. Сам он с женой Джоан Плоурайт жил в Брайтоне. Может быть, изредка он будет вынужден переночевать в квартире, но нам нечего смущаться друг друга. Я поблагодарил за заботу и перебрался на новое место жительства, где меня встретила домоправительница, похожая на Звонаря из «Собора Парижской богоматери» — ирландка, четыре фута ростом, передвигавшаяся боком. Вечерами она так громко читала молитвы, что я вначале решил, будто у нее в комнате есть громкоговоритель, по которому передают богослужение.

Квартира, на первый взгляд, элегантная, как выяснилось, заросла грязью. Дорогие диваны в пятнах, обои порваны. На потолках потеки забавных конфигураций. Везде пыль и грязь. Плохо вымытые чашки, на бокалах отпечатки губ, ковры превратились в лохмотья, панорамные окна изуродованы следами клея. И практически ежедневно я встречался с лордом за завтраком.

Для меня это было поучительно. Лоренс Оливье проводил за чашкой кофе семинар на тему «Шекспир». Мое восхищение не знало границ. Я спрашивал, он отвечал, не жалея времени. Иногда, позвонив по телефону и отказавшись от какого-то утреннего заседания, вновь усаживался за стол и наливал себе еще чашку кофе.

Редкостный обволакивающий голос рассказывал о жизни с Шекспиром, об открытиях, неудачах, озарениях, опыте. Постепенно, но с радостью начинал я понимать глубокую доверительность этих людей, их лишенное невротического привкуса практическое отношение к той природной мощи, которая могла бы их сокрушить или поработить. Они жили довольно свободно в рамках традиции: нежные, надменные, агрессивные, но ничем не связанные. Их театр — с коротким репетиционным периодом, жестким давлением извне, вынужденный бороться за зрителя — был театром непосредственным, безжалостным. Их связь с традицией — многомерной и анархической. Лоренс Оливье был носителем традиции и одновременно протестантом. Благодаря непрерывному общению с более молодыми коллегами и коллегами постарше, которые жили в таких же жестких, но дающих творческую свободу условиях, его отношение к этой все подавляющей силе непрерывно менялось: она становилась понятной, управляемой, хотя попрежнему таила в себе опасность, вызов, неожиданности.

Через какое-то время нашим встречам пришел конец. Лорд снял фильм по своему спектаклю «Три сестры». Мне показалось, что сделан он небрежно. Неудачно смонтирован, отвратительная операторская работа. Да еще и без крупных планов. Я попытался высказать все это в самых что ни на есть вежливых выражениях, превозносил спектакль и актерскую игру, особенно Джоан Плоурайт — бесподобную Машу. Но это не помогло. Лоренс Оливье внезапно стал невероятно официален, прежняя сердечность и солидарность сменились взаимными ссорами по мелочам.

На генеральную репетицию «Гедды Габлер» он опоздал на полчаса, не извинился, зато поделился саркастическими (но справедливыми) соображениями по поводу слабостей постановки.

В день премьеры я уехал из Лондона, который ненавидел всеми фибрами души. В Стокгольме был светлый майский вечер. Я стоял у опор моста Норрбру и смотрел на рыбаков в лодках, ловивших рыбу зелеными сачками. В Королевском саду играл духовой оркестр. Никогда прежде я не видел таких красивых женщин. Воздух прозрачен, легко дышится. Благоухает черемуха, от стремительно бегущей воды веет пронзительным холодом.

Чарли Чаплин приехал в Стокгольм делать рекламу своей недавно вышедшей пошведски автобиографии. Его издатель Ласе Бергстрём спросил, не хочу ли я встретиться с этим великим человеком в Гранд-Отеле. Я хотел. В десять утра мы постучали к нему в номер. Чаплин сам тут же распах-

[8] Имеется в виду Лоренс Оливье.

нул дверь. Он был в темном безупречно сшитом костюме, на лацкане пиджака горел бутон Почетного легиона. Хриплым, богатым полутонами голосом он вежливо поприветствовал нас. Из внутренних покоев появилась жена Уна и две юные, прелестные как газели дочки.

Мы сразу же заговорили о его книге. Я спросил, когда он впервые заметил, что вызывает смех, что люди смеются именно над ним. Кивнув, он с удовольствием приступил к рассказу. Он работал в «Кистоуне», в группе артистов, выступавших под именем «Keystone Cops» («Кистоунские полицейские»). Исполняли головоломные трюки перед неподвижной камерой, получалось вроде концертного номера на сцене. Однажды им надо было ловить преступника — здоровенного бородатого детину с вымазанным белилами лицом. Это было, если можно так выразиться, будничное задание. После бесконечной беготни и падений они к обеду поймали негодяя. Он сидел на полу, окруженный полицейскими, лупившими его по голове дубинками. Тут Чаплину пришла мысль не лупить беспрерывно, как было велено, а разнообразить сцену. Позаботившись о том, чтобы попасть в кадр, он начал долго и тщательно примериваться дубинкой, несколько раз замахивался, но в последний момент останавливался. Когда же после подобных тщательных приготовлений он все-таки нанес удар, то промахнулся и упал. Фильм незамедлительно показали в «Никель-Одеоне». Чаплин пошел посмотреть результат. Промах вызвал смех, публика впервые засмеялась трюкам Чарли Чаплина.

Грета Гарбо ненадолго приехала в Стокгольм, чтобы проконсультироваться у шведского врача. Одна знакомая позвонила мне и сообщила, что «кинозвезда» пожелала как-нибудь вечером посетить Киногородок. Она просила не организовывать ей пышного приема и интересовалась, не смогу ли я встретить ее и показать павильоны, в которых она когда-то работала.

Холодным вечером на исходе зимы в начале седьмого во двор Киногородка вкатил черный сверкающий лимузин. Я и мой помощник приветствовали гостей. После некоторого замешательства и несколько натянутого обмена репликами мы с Гретой Гарбо остались наедине в моем скромном кабинете. Помощник взял опеку над подругой, угощая ее коньяком и последними сплетнями.

Комната была тесной — письменный стол, стул и продавленный диван. Я сидел за столом, Грета Гарбо — на диване. Горела настольная лампа. «Это был кабинет Стиллера»,— сказала она сразу же, обводя комнату взглядом. Об этом я и понятия не имел и потому ответил, что здесь до меня сидел Густаф Муландер. «Да, да, это — комната Стиллера, я точно знаю». Мы поговорили как-то неопределенно о Стиллере и Шёстрёме, она рассказывала, что снималась у Стиллера в одном голливудском фильме. «Он тогда практически уже был на улице,— добавила она.— На улице и болен. Я ничего не знала. Он никогда не жаловался, а у меня были собственные заботы».

Наступило молчание.

Внезапно она сняла огромные солнечные очки и проговорила: «Вот так я теперь выгляжу, господин Бергман». На губах мелькнула ослепительная, насмешливая улыбка.

Трудно сказать, обладают ли великие мифы неослабевающей волшебной силой именно потому, что они мифы, или же их магия — это иллюзия, создаваемая нами, потребителями. В тот момент сомнений не существовало. В полумраке тесной комнатки ее красота была вечной. Если бы передо мной сидел ангел из какого-нибудь евангелия, я бы сказал, что красота витала вокруг нее. Одухотворяла чистые крупные черты лица, лоб, разрез глаз, благородно вылепленный подбородок, чувственные крылья носа. Заметив мою реакцию, оживившись и повеселев, она принялась рассказывать о работе над «Сагой о Йёсте Берлинге». Мы поднялись в Малую студию и осмотрели ее западный угол. Там до сих пор на полу было вздутие, оставшееся после пожара в Экебю. Гарбо называла имена техников и электриков — никого, кроме одного, уже не было на свете. Этого единственного Стиллер по какой-то необъяснимой причине как-то выгнал из студии. Пока продолжалась выволочка, тот стоял по стойке «смирно», потом круто повернулся и удалился. С тех пор нога его ни разу не ступала в помещения студии, он выполнял обязанности дворника и садовника. Встретив нравившегося ему режиссера, он вставал по стойке «смирно» и брал грабли на караул, а иногда пел несколько тактов из Королевского гимна. Тот же, кто был садовнику не по душе, рисковал обнаружить кучи листьев или снега перед своей машиной.

Грета Гарбо рассмеялась — чистым, сухим смехом. Она вспомнила, как он угощал ее печеньем с корицей домашней выпечки, а она не осмеливалась отказаться.

Мы бегло осмотрели территорию. Гарбо была одета в элегантный брючный костюм, движения энергичные, тело живое, притягательное. На крутой дорожке были скользкие места, и поэтому она взяла меня под руку. Когда мы вернулись в мой кабинет, она была весела и раскованна. В соседней комнате шумели мой помощник со своей гостьей.

«Альф Шёберг хотел сделать фильм со мной, мы с ним просидели целую летнюю ночь в машине в Юргордене, он говорил так убедительно, было не устоять. Я согласилась, а на следующее утро передумала и отказалась. Ужасно глупо. Вы тоже считаете, что я поступила глупо, господин Бергман?»

Она перегнулась через стол, и нижняя половина лица попала в круг света.

И тогда я увидел то, чего не видел раньше! У нее был некрасивый рот — бледная полоска в окружении поперечных морщин. Поразительно и возмутительно. Такая красота — а в центре этот режущий аккорд. Этот рот (и то, что он рассказывал) был не подвластен волшебству ни одного специалиста по пластическим операциям, ни одного гримера. Она мгновенно прочитала мои мысли и, поскучнев, замолчала. Через две-три минуты мы распрощались.

Я пристально вглядывался в облик Гарбо в последнем ее фильме. Ей тридцать шесть лет, лицо красиво, но напряжено, губам не хватает мягкости, взгляд по большей части рассеянный и грустный, несмотря на комедийность ситуаций. Может быть, зрители почувствовали нечто, о чем ей уже поведало зеркало.

Летом 1983 года я поставил «Дон Жуана» Мольера для фестиваля в Зальцбурге. Замысел возник во время медового месяца с руководителем Резиденцтеатер австрийцем Куртом Майзелем, которому предназначалась роль Сганареля. Подготовка заняла не меньше трех лет. Позднее Майзель вышвырнул меня из театра, но контракт с Зальцбургом оставался в силе. Я подобрал другого Сганареля — Хильмара Тате, вынужденного покинуть ГДР. Да и на остальные роли мне предоставили блестящих актеров во главе с Михаэлем Дегеном, игравшим постаревшего Дон Жуана.

Репетиции начались в Мюнхене, окончательную доводку спектакля мы сделали за четырнадцать дней в неприглядном и тесном Ховтеатер в Зальцбурге, обладавшем только одним преимуществом: прекрасно работавшими кондиционерами. А лето стояло жаркое, рекордно жаркое.

Я не верю в национальный характер, но австрийцы, по всей видимости, народ особенный, во всяком случае, те из них, кто взращен на фестивалях в городе Зальцбурге. Безграничная любезность в сочетании с бросающимися в глаза неэффективностью, заорганизованностью, лживостью, бюрократизмом и скользкой ленью.

Очень скоро администрация пришла к выводу, что моя постановка «Дон Жуана» для них — точно слон в посудной лавке. Улыбки стали холодней, но заметной прохлады в разгулявшейся жаре не приносили.

Меня пригласили посетить Герберта фон Караяна, готовившего во второй раз премьеру «Кавалера роз» в Большом фестивальном дворце, своем самом величественном творении.

Присланная Караяном машина доставила меня в его личный офис в глубине огромного здания. Он немножко опоздал, маленький стройный человек с непомерно большой головой. Полгода назад ему сделали тяжелую операцию на позвоночнике, и поэтому он волочил одну ногу, опираясь на своего помощника. Мы расположились в удобной дальней комнате, выдержанной в изысканно серых тонах, симпатично нейтральной, прохладной и элегантной. Ассистенты, секретари и помощники оставили нас вдвоем. Через полчаса начиналась репетиция «Кавалера роз» с оркестром и солистами.

Маэстро сразу взял быка за рога. Он хотел бы сделать телевизионный фильм-оперу по «Турандот» и просил меня быть режиссером — на меня выжидающе смотрели светлые, холодные глаза. (Вообще-то, «Турандот» представляется мне гадкой, громоздкой, извращенной мешаниной, этаким дитятей своего времени.) Но тут, загипнотизированный прозрачным взглядом, я услышал собственный голос, говоривший, что это — большая честь, что я всегда восхищался «Турандот», что музыка загадочна, но проникновенна и что для меня не может существовать более сильного стимула, чем возможность работать с Гербертом фон Караяном.

Производство фильма запланировали на весну 1989 года. Караян назвал имена «звезд» мировой оперы, предложил сценографа и студию. В основу фильма будет положена граммофонная запись, которую он намеревался сделать осенью 1987 года.

Все вдруг потеряло реальные очертания, единственной реальностью стала «Турандот». Я знал, что сидящему передо мной человеку семьдесят пять лет, мне самому на десять лет меньше. Когда дирижеру исполнится восемьдесят один, а режиссеру — семьдесят один, им предстоит вдохнуть жизнь в эту мумифицированную диковину. Смехотворности задуманного я не видел. Я был безнадежно зачарован.

Обсудив предварительные наметки, Маэстро заговорил о Штраусе и «Кавалере роз». Первый раз он дирижировал оперой в двадцатилетнем возрасте и, прожив с ней всю жизнь, постоянно находил в ней новизну и вызов. Внезапно он переменил тему: «Я видел вашу постановку «Игры снов». Вы режиссируете так, словно вы — музыкант, вы обладаете чувством ритма, музыкальностью, точным выбором тональности. Все это есть и в «Волшебной флейте». Местами она очаровательна, но мне не понравилась. В конце вы переставили несколько сцен. С Моцартом так обращаться нельзя, у него все — органично».

В дверь уже заглядывал помощник, напоминая, что подошло время репетиции. Караян отмахнулся — пусть подождут. В конце концов он с трудом встал и схватился за палку. Возникший из ниоткуда ассистент повел нас по выложенному камнем коридору в Фестивальный зал — чудовищное помещение, вмещающее тысячи зрителей. Медленно продвигаясь вперед, мы превращались в процессию, в королевскую процессию из ассистентов, помощников, оперных певцов обоего пола, лебезящих критиков, кланяющихся журналистов и подавленной дочери.

На сцене в полной готовности выстроились солисты на фоне ужасающих декораций 50-х годов («я велел до мелочей скопировать первоначальные декорации, сегодняшние сценографы — либо сумасшедшие, либо идиоты, либо и то и другое»). В оркестровой яме ожидали музыканты Венской филармонии. В зале сидели сотни функционеров и неопределенных граждан этой империи. Когда появилась худенькая, волочащая ногу фигурка, все встали и продолжали стоять, пока Маэстро не перенесли по мостику через оркестровую яму и не водрузили на место.

Немедленно началась работа. И нас захлестнуло волной опустошающей, омерзительной красоты.

* * *

Мое самовольное изгнание началось в 1976 году в Париже. Изрядно покружив по миру, я случайно оказался в Мюнхене. И так же случайно попал в Резиденцтеатер, баварский Драматен: три сцены, приблизительно равная по величине труппа, одинаковые государственные дотации, то же чис-

ло выпускаемых спектаклей. Там я сделал одиннадцать постановок, приобрел значительный опыт и натворил множество глупостей.

Само здание, вклинившееся между Оперой и Резиденцией и обращенное фасадом на площадь Макс-Йозефплатц, производит впечатление того, что баварцы называют «Schnaps-idee»[9], что соответствует действительности. Сваргаиенное вскоре после войны, оно — в отличие от роскошной Оперы — представляет собой самое уродливое сооружение в мире как снаружи, так и изнутри.

Зал вмещает чуть больше тысячи человек и, скорее всего, напоминает кинотеатр времен нацизма. Пол без наклона, поэтому видимость никудышная, кресла узкие, чересчур тесно сдвинутые и чудовищно неудобные. Человеку маленького роста сидеть удобнее, зато плохо видно, человеку повыше — нормальному шведу — лучше видно, зато он зажат как в тисках. Расстояние между залом и сценой ничтожно, где начинается сцена и кончается зал — или наоборот,— непонятно. Преобладающие цвета — мышиный и кирпичный, оживляемые напыщенным золотым орнаментом по боковинам ярусов. На потолке мигает жуткая неоновая люстра, на стенах — неоновые бра, издающие громкое жужжание. Изношенное машинное оборудование отключено, поскольку власти признали его «опасным для жизни». Административные помещения и артистические уборные тесны и противны человеческому естеству. В воздухе витает запах немецких моющих препаратов, наводящий на мысль о дезинфекции или солдатском борделе.

В Западной Германии много городских театров, но лучшие силы сконцентрированы в двух-трех: частично потому, что там лучше платят, частично потому, что не рискуешь быть повешенным втихомолку. Директора театров и критики обладают большой подвижностью — приезжают с разных концов страны разузнать, что у тебя происходит. Отведенные культуре страницы крупных газет, в отличие от тех же страниц в других странах, проявляют подлинный интерес к театру, явно считая, что посвященные ему материалы не следует запихивать в разделы видео и поп-музыки. Практически не обходится ни дня без подробного отчета о каком-нибудь театральном событии или статьи по ходу непрекращающейся бурной дискуссии о проблемах театра.

Штатных режиссеров и художников-декораторов почти не существует, что имеет свои плюсы. Актеры должны возобновлять контракт ежегодно и в любую минуту могут потерять место, только проработавших подряд пятнадцать лет нельзя уволить. Таким образом, налицо полнейшее отсутствие гарантированного существования, и здесь кроются как свои преимущества, так и свои недостатки. Преимущества очевидны и не нуждаются в комментариях. К недостаткам же относятся интриги, злоупотребление властью, агрессивность, подхалимаж, страх, невозможность пустить прочные корни. Если директор театра перебирается в другое место, он забирает с собой двадцать-тридцать человек, а другие (такое же количество людей) оказываются на улице. Подобная система принимается даже профсоюзами, а в ее правомерности и не попытаются усомниться.

Рабочий ритм напряженный. На Большой сцене ставят не меньше восьми спектаклей, на сцене Филиала — четыре, на Экспериментальной количество постановок варьируется. Играют ежедневно, без выходных, репетируют шесть раз в неделю, даже по вечерам. Позволяют себе иметь обширный репертуар, программа меняется ежедневно, около тридцати спектаклей держится в репертуаре по многу лет. Пользующийся успехом спектакль может идти свыше десяти лет.

Профессионализм — высшей пробы, как и знания, умение, способность без жалоб переносить неудачи, преследования и неуверенность в будущем.

Итак, трудятся они, как я уже сказал, не покладая рук, репетиционный период редко когда затягивается дольше чем на восемь — десять недель. Для психотерапевтических сеансов с режиссерами и актерами, практикующихся в странах с более мягкими условиями и с более восторженным отношением к самодеятельности, нет экономических возможностей. Поэтому вся деятельность жестко направлена на достижение нужного результата, хотя в то же время другого такого анархического, все подвергающего сомнению театра, как немецкий, не существует. Может быть, только еще польский.

Приехав в Мюнхен, я был уверен, что вполне хорошо владею немецким. Очень скоро мне пришлось убедиться в обратном.

Первый раз я столкнулся с этой проблемой на общей читке «Игры снов» Стриндберга. Сорок четыре великолепных актера и актрисы смотрели на меня с надеждой, если не сказать с доброжелательностью. А я потерпел полное фиаско: заикался, забывал слова, путался в артиклях и синтаксисе, краснел и думал, что, если переживу этот позор, справлюсь с чем угодно. «Жалко людей!» будет по-немецки: «Es ist Schade um die Menschen!» — это даже приблизительно не похоже на мягкое миролюбивое восклицание Стриндберга.

Первые годы были нелегкими. Чувствуя себя инвалидом, без рук и без ног, я впервые осознал, что нужное слово в нужный быстротечный момент было самым надежным инструментом в моей работе с актерами. Слово, не нарушающее рабочего ритма, не рассеивающее внимания актера, не мешающее мне самому слушать. Мгновенное, действенное слово, которое рождается интуитивно и попадает в точку. С гневом, горечью и нетерпением пришлось признать, что такое слово отказывалось появляться на свет из моего жалкого разговорного немецкого.

Через несколько лет я научился находить контакт с актерами, интуитивно понимавшими, что я хочу сказать. Мало-помалу нам удалось создать более или менее удовлетворительную сигнальную систему чувств и прикосновений. То, что, несмотря на подобное увечье, я сумел сделать в Мюнхене один из лучших моих спектаклей, целиком заслуга немецких актеров, их эмоциональной чут-

[9] Здесь: пьяный бред *(нем.)*.

кости, способности понимать с полуслова, их терпения, а отнюдь не того «воляпюка», на котором я говорил. В моем возрасте выучить язык невозможно, приходится довольствоваться остатками былых знаний и случайными успехами.

Театральная публика Мюнхена изумительна. Преданная, вовлеченная, не признающая сословных различий, она бывает настроена весьма критически и охотно выражает свое неудовольствие свистом и выкриками. Но самое интересное заключается в том, что эта публика все равно идет в театр, независимо от того, стерли ли спектакль в порошок или же превознесли до небес. Не стану утверждать, будто мюнхенцы не доверяют мнению критиков, выступающих на страницах газет,— наверняка их рецензии читают,— но при этом оставляют за собой право самим решить, нравится им постановка или нет.

Залы заполняются в среднем на девяносто процентов, принимают сердечно, если считают, что вечер удачен. Расходятся не спеша, чуть ли с неохотой, собираясь группками и обмениваясь впечатлениями. Понемногу народ растекается по ресторанам на Максимилианштрассе и маленьким кафе в близлежащих переулках. Вечер теплый, воздух насыщен влагой, где-то над горами погромыхивает гром, грохочут машины. Я, взволнованный и возбужденный, вдыхаю запахи еды, выхлопных газов и тяжелый аромат утонувшего в темноте парка, вслушиваюсь в тысячи и тысячи шагов, в звуки иностранной речи. И думаю: это определенно заграница.

Вдруг меня охватывает тоска по дому, по моим собственным зрителям, так благожелательно вызывающим актеров четыре раза, а потом стремительно разбегающимся из театра, точно там бушует пожар. Я спускаюсь на Нюбруплан, поземка кружит вокруг молчаливого, обляпанного грязью мраморного дворца — ветер прилетел из тундры по ту сторону моря,— какие-то панки в рванье криками изливают свое одиночество в белую пустынность.

В Мюнхене меня приняли с большой помпой. Раскрывайте объятия — Бергман бежит из «социалистического ада»[10] где-то там на севере и находит прибежище в демократической благоденствующей Баварии, нежно прижимаемый к широкой медвежьей груди Франца-Йозефа Штрауса.

На званом вечере в мою честь меня сфотографировали с ним — с Самим. Он настолько беззастенчиво использовал эту фотографию в проходившей предвыборной кампании, что я был вынужден попросить избавить меня от подобных почестей.

Приемы следовали один за другим. «Волшебная флейта» шла — под восторженный рев публики — в самом большом кинотеатре города. «Сцены из супружеской жизни» показали по телевидению — с последующим обсуждением и дискуссией. Гостеприимство и любопытство сметали все на своем пути. Я пытался всячески отвечать на эту доброжелательность, старался быть вежливым со всеми, слишком поздно уразумев, что баварское общество насквозь пропитано политикой, а барьеры между различными партиями и фракциями непреодолимы.

За короткое время мне удалось оскандалиться по всем направлениям.

С шумом и грохотом я ворвался в Резиденцтеатер, имея при себе принципы и идеи, выработанные за долгую профессиональную жизнь в достаточно защищенном уголке Земли. Я совершил фатальную глупость, пытаясь применить шведские модели в немецких условиях. И потому потратил немало времени и сил на демократизацию процесса принятия решений в театре.

Это было настоящим идиотизмом.

Я провел собрания труппы и сумел организовать актерский совет из пяти человек, наделенный функциями совещательного органа. Но вся эта затея буквально полетела к черту. В этой связи стоит, наверное, упомянуть, что в Национальном театре Баварии нет правления, он подчиняется непосредственно Баварскому министерству культуры, во главе которого стоит какой-то важный министр, играющий на органе,— получить у него аудиенцию труднее, чем у китайского императора.

Поборов терзания труппы и создав наконец этот совещательный орган, я осознал, какое чудовище произвел на свет. Копившаяся и бродившая годами ненависть выплеснулась наружу,. лизание задниц и страх достигли невероятных размеров. Ярким пламенем вспыхнула вражда между фракциями. Интриги и махинации, подобных которым в Швеции — ни по размаху, ни по качеству — никогда не видели даже в церковных кругах, стали будничным блюдом в самой что ни на есть дерьмовой забегаловке.

Нашему директору, выходцу из Вены, было за семьдесят. Блестящий актер, он, к сожалению, был женат на красивой, но значительно менее блестящей актрисе, отличавшейся взамен бешеным властолюбием, страстью к выступлению на сцене и интриганством. Директор со своей Клитемнестрой властвовали безраздельно, рука об руку пробившись сквозь унижения и величие немецкого театра.

Этот самый директор жил в обманчивом убеждении, будто он управляет театром с отеческой мудростью. Актерский совет безжалостно вывел его из этого заблуждения. Естественно, в его глазах я выглядел разрушителем любовных отношений между отцом и детьми. Он считал меня своим злейшим врагом, активно поддерживаемый женой, игравшей Ольгу в моем спектакле «Три сестры». Меня раздражала ее манера говорить утробным голосом — она, вероятно, думала, будто это придает ей сексапильности,— и я вполне серьезно посоветовал ей обратиться к педагогу по развитию речевой техники. Этого она мне не простила.

Разгоралась борьба между мной и моим шефом, труппа наблюдала, решая, на чью сторону встать. Наше оружие не блистало чистотой. Битва приняла трагический оттенок, отравленная тем фактом, что мы раньше

[10] Под «социалистическим адом» здесь, конечно, понимается Швеция, которую многие западные политики и экономисты рассматривали и рассматривают до сих пор как страну «социалистического толка», избравшую «третий путь развития», то есть смешанную экономику с большой долей государственных предприятий, хорошо развитую систему социального обеспечения и как итог — высокий жизненный уровень.

ше совершенно искренне любили и восхищались друг другом.

В результате всей это свары театр подвергся огромному и ненужному напряжению. В своем рвении сделать как лучше я забыл одно решающее обстоятельство: эти актеры были лишены какой бы то ни было формы гарантированного существования. Их трусость была понятна, их мужество — непостижимо.

В июне 1981 года меня с треском выгнали. Мои постановки исключили из репертуара, вход в театр был заказан. Происходило это под аккомпанемент обвинений и оскорблений, переданных в прессу и Министерство культуры. Не собираюсь утверждать, будто я чувствовал себя невинно обиженным. Будь я директором театра, я, вероятно, действовал бы так же, но попроворней.

Через шесть месяцев я вернулся. Прежний директор ушел. Его место занял новый — в ходе грязнейшей политической и газетной кампании, немыслимой в более открытом обществе, чем баварское.

Поучительно и чуточку волнующе для стороннего наблюдателя, кошмарно и унизительно для участников.

Прочие глупости: я прервал все контакты с мюнхенской прессой, о чем и пришлось не раз пожалеть.

Отказался общаться с могущественными и не очень могущественными властелинами критики. Это было довольно неумно, поскольку определенная сыгранность между жертвой и палачами составляет важный элемент правил обставленной строжайшими ритуалами баварской игры в возвышения и низвержения.

Мой друг Эрланд Юсефсон как-то сказал, что надо остерегаться слишком близкого знакомства с людьми, потому что тогда начинаешь их только любить. Так произошло по крайней мере со мной. Я привязался ко многим. Рвать связи было больно. По правде говоря, эти привязанности задержали мой отъезд не меньше чем на два года. Вот как иногда получается!

За всю свою жизнь не получал я такого количества разгромных рецензий, как за эти девять лет в Мюнхене. Спектакли, фильмы, интервью и другие выступления встречались презрением и брюзгливыми гнусностями, вызывавшими чуть ли не восхищение. Но были и исключения!

Несколько замечаний: первые мои постановки действительно были не особенно удачны. Неуверенные, скучно-традиционные. Это породило, естественно, полнейшее замешательство. Кроме того, я принципиально отказывался объяснять замысел своих спектаклей, что привело к еще большему раздражению.

Потом я стал работать лучше, иногда добивался и настоящих удач, но непоправимое уже произошло. Этот несносный скандинав, думающий, будто он что-то собой представляет, вызывал всеобщую досаду. И завизжала в ушах брань, а на премьере «Фрёкен Жюли» меня освистали — удивительно бодрящее переживание.

Режиссер обязан выходить на поклоны вместе с артистами, во всяком случае на премьере. В противном случае возникает раскол. Сначала выходят актеры, получая свою долю аплодисментов и криков «браво!». Затем выхожу я — и зал разражается оглушительным свистом и криками негодования. Что делать в таком случае? Ничего. Стоишь и глупо улыбаешься. Но мысль работает. Сейчас, Бергман, сейчас ты переживаешь нечто новое. Все-таки приятно, что люди могут так беснoваться. Не из-за чего. Из-за Гекубы.

Пол сцены заляпан чудовищными соплями. Бедный призрак Ибсена с трудом отдирает ноги от липкой гадости. Сопли символизируют, как ясно каждому, буржуазный декаданс. Под больничной койкой отец Гамлета тискает Призрака, конечно же голого. Плановый спектакль «Венецианский купец» завершается на плацу в близлежащем концентрационном лагере Дахау, публику везут туда в автобусах. По окончании Шейлок остается в одиночестве, одетый в лагерную форму, освещенный прожекторами. Вагнеровский «Летучий Голландец» начинается в просторной бидермайеровской гостиной, куда с грохотом, ломая стены, въезжает корабль. В «Гибели «Титаника» Энценсбергера посреди сцены установлен громадный аквариум, в котором плавает страшенный карп. По мере развития катастрофических событий актеры по одному присоединяются к карпу. В том же театре «Фрёкен Жюли» играют как трехчасовой фарс в стиле немого кино. У актеров лица вымазаны белилами, они непрерывно орут и жестикулируют словно ненормальные. И так далее. И так далее. Сперва немного удивляешься. Потом соображаешь, что это прекрасная немецкая традиция, упорная, живучая. Абсолютная свобода, постоянное сомнение во всем, приправленные профессиональным отчаянием.

Для варвара с севера, впитавшего с молоком матери верность слову, это чудовищно. Но забавно.

Публика беснуется от негодования или восторга, критики беснуются от негодования или восторга, у тебя же горит голова, земля уходит из-под ног: что же это я вижу, что же это я слышу, это я сошел с ума или...?

Постепенно созревает решение — надо же, черт возьми, определиться, все так делают и прекрасно себя чувствуют, даже если на следующий день меняют точку зрения и утверждают противное. Итак: бóльшая часть того, что обрушивается на мою голову с немецкой сцены,— никакая не абсолютная свобода, а абсолютный невроз.

Да и как иначе этим беднягам заставить зрителей и прежде всего критиков хоть бровью повести, что придумать? Молодому режиссеру поручается ответственное задание — поставить «Разбитый кувшин». Сам он его видел в семи различных постановках. Он знает, что зрители с детских лет посмотрели двадцать один вариант, а раздираемые зевотой критики — пятьдесят восемь. Значит, чтобы показать свое собственное лицо, надо набраться наглости.

Это — не свобода.

А посреди этого хаоса расцветают великие театральные переживания, гениальные интерпретации, смелые, взрывные находки.

Люди ходят в театр, сетуют или радуются. Или сетуют *и* радуются. Пресса не отстает. Без передышки разражаются театральные кризисы местного значения, скан-

дал следует за скандалом, насилуют критики, насилуют критиков, короче говоря — кромешный ад. Бесконечные кризисы, но подлинного кризиса, пожалуй, нет.

Рождаясь в пустынях Африки, горячий ветер проносится через Италию, взбирается на Альпы, отдавая им свою влагу, расплавленным металлом катится по высокогорью и обрушивается на Мюнхен. Утром может быть дождь пополам со снегом, два градуса мороза, днем, когда ты выползаешь из мрака театра на улицу,— температура перевалила за 20 градусов тепла, и воздух дрожит от прозрачного едкого жара. Альпийская гряда так близко, что, кажется, можно достать рукой. Люди и животные сходят слегка с ума, но, увы, не самым приятным образом. Увеличивается число дорожных происшествий, откладываются важные операции, растет кривая самоубийств, добродушные собаки кусаются, а кошки испускают молнии. Репетиции в театре больше, чем обычно, заряжены эмоциями. Город наэлектризован, меня же поражает бессонница и бешенство.

Ветер называется «фён», его справедливо боятся, вечерние газеты выходят с кричащими заголовками, мюнхенцы пьют пшеничное пиво из кружек, с сочной лимонной долькой на дне.

При воздушном налете зимой 1944 года центральную часть города с ее церквами, старинной застройкой и роскошным зданием Оперы сровняли с землей. Сразу же после войны было решено восстановить все в прежнем виде, так, как было до катастрофы. Оперу любовно восстановили до мельчайших деталей. Там по-прежнему есть двести мест, откуда ничего не видно, только слышно.

В этом примечательном здании раскаленным днем, когда дул фён, Карл Бём проводил генеральную репетицию «Фиделио». Я сидел в первом ряду, наискосок от дирижерского пульта, и мог следить за каждым движением и оттенком настроения престарелого маэстро. Слабо припоминаю, что постановка была убийственна, а сценография — тошнотворно современной, но это не важно. Карл Бём дирижировал своими избалованными, но виртуозными баварцами едва заметными движениями руки — как хор и солисты улавливали его указания, остается загадкой. Чуть мешковато сидя на стуле, он не поднимал рук, не вставал, ни разу не перевернул страницы партитуры.

Это нуднейшее,. неудачное оперное чудище вдруг превратилось в прозрачный источник наслаждения. До меня дошло, что я слышу «Фиделио» впервые, что, попросту говоря, никогда эту оперу не понимал, не постигал, не добирался до сути. Впечатление — глубочайшее, ошеломительное; внутренняя дрожь, эйфория, благодарность — целый набор неожиданных эмоций.

Выглядит все очень просто: ноты на месте, никаких особых трюков, никакого поражающего воображение, непривычного для слуха темпа. Интерпретация отличается тем, что немцы слегка иронически обозначают словом «Werktreu» [11]. А чудо все же происходит.

[11] Верность произведению *(нем.)*.

Давным-давно я видел мультипликацию Уолта Диснея о пингвине, мечтающем попасть в южные моря. В конце концов он отправляется в путь и попадает на пальмовый остров посреди теплой синей морской глади. Вешает на пальму фотографии Антарктиды и, тоскуя по дому, прилежно строит новый корабль, чтобы вернуться в родные края.

Я тоже как тот пингвин. Работая в Резиденцтеатер, я часто думал о Драматене, тосковал по дому, родному языку, друзьям, общению. И вот я дома — и тоскую по дерзким замыслам, дракам, кровавым баталиям и презирающим смерть артистам.

Человека в моем возрасте невозможное пришпоривает. Я вполне понимаю ибсеновского строителя Сольнеса, который лезет на церковный шпиль, несмотря на головокружение. Психоаналитики услужливо объясняют: тяга к невозможному, мол, связана с угасающей потенцией. А что еще может сказать психоаналитик?

Я же уверен, что мною движут другие мотивы. У неудачи бывает свежий терпкий привкус, препятствия пробуждают агрессивность, встряхивают цепенеющие творческие силы. Одолеть Эверест с северозападной стороны увлекательно. Прежде чем навсегда замолчать по биологическим причинам, хочу, чтобы мне противоречили, чтобы во мне сомневались, и не только я сам — этого мне и так хватает ежедневно. Хочу быть человеком, вызывающим досаду, раздражение, человеком, не укладывающимся в привычные рамки.

Невозможное слишком соблазнительно — мне ведь терять нечего. Но и выгод никаких, кроме разве что доброжелательной оценки в газетах. Оценки, которую читатели забудут через десять минут, а я — через десять дней.

Да и истинность нашей интерпретации привязана ко времени. Наши спектакли ушли во всепримиряющую мглу небытия, и только отдельные эпизоды величия или краха по-прежнему освещены мягким светом. А вот фильмы остаются, свидетельствуя о жестокой изменчивости художественной правды. Посреди размолотых в щебень модных течений возвышаются одинокие скальные камни.

В момент желчного прозрения я осознаю, что мой театр остался в 50-х годах, мои учителя — в 20-х. Прозрение делает меня бдительным и нетерпеливым. Необходимо отделить привычные понятия от важного опыта, разрушить устаревшие решения, не обязательно заменяя их новыми.

Еврипид, строитель-драматург, состарившись, жил в ссылке в Македонии. Писал «Вакханок». В исступлении клал кирпич на кирпич: противоречия сталкиваются с противоречиями, преклонение с богохульством, будни с ритуалом. Ему надоело читать мораль, он понимал, что игра с богами в конечном счете проиграна. Комментаторы говорят об усталости престарелого поэта. Наоборот. Массивная скульптурная группа Еврипида представляет людей, богов и весь мир в безжалостном и бессмысленном движении под пустынным небом.

«Вакханки» свидетельствуют о мужестве разбивать литейные формы.

* * *

Во вторник 27 декабря 1983 года Стокгольм погрузился во мрак. Мы репетировали «Короля Лира» в большом красивом зале на верхнем этаже Драматена — шестьдесят душ: актеры, статисты, помощники.

Сумасшедший король стоит посреди сцены в окружении всяческого сброда и утверждает, что жизнь — это арена для дураков. Гаснет свет, все смеются, поднимают жалюзи, подгоняемый ветром, оседает на окнах мокрый снег. Налитый свинцом дневной свет нерешительно проникает в репетиционный зал. По местному телефону кто-то сообщает, что театр, весь квартал, может, даже весь город погрузился в темноту.

Я предлагаю немного подождать, в большом городе перебои с электричеством не могут продолжаться долго. Мы рассаживаемся — кто на стулья, кто на пол,— тихо беседуем. Неисправимые курильщики выходят в фойе, но тут же возвращаются — там царит египетская тьма.

Идут минуты, сереет лишенный тени свет за окном, король стоит в сторонке, все еще одетый в широкую черную мантию и увенчанный растрепанным цветочным венком, когда-то, наверное, принадлежавшим Офелии, Анне или Сганарелю. Губы его шевелятся, рука отбивает такт, глаза закрыты. Глостер, сдвинув кровавую повязку с выколотых глаз, чуть заикаясь, уверяет, будто он мастерски готовит жареную салаку. Несколько хорошеньких статисток, собравшись в углу, слушают Олбани, выряженного в спортивный костюм, сапоги и при мече. Время от времени они благодарно смеются, правда приглушенно, поскольку в комнате — приглушенное, но не без приятности настроение.

Эдгар, наш уполномоченный по технике безопасности, настаивает на необходимости обнести площадку загородкой. Сняв очки, он с жаром что-то объясняет помрежу, тот записывает. Честнейший Кент вытянулся на полу во всю длину — начинается радикулит или еще какая-нибудь дрянь. Прелестная Корделия, найдя стеариновую свечу, отправляется через темный холл в уборную и покурить — две непреходящие назойливые потребности.

Прошло полчаса, метель усиливается, дальние углы зала утонули во мгле. В центре, сгрудившись вокруг пяти горящих свечей, поют мадригал дирижер и наш хор — музыкально одаренные мальчики и девочки с хорошими голосами.

Мы замолкаем и прислушиваемся: нежно льются голоса, гудит метель. Неработающее уличное освещение не может рассеять все быстрее исчезающий, неуверенный, умирающий дневной свет. Песня проникает в душу, лица почти неразличимы. Время остановилось, сейчас мы в глубине того мира, который существует постоянно, совсем рядом. Только и нужно что мадригал, метель и погасший город, чтобы оказаться в хорошо знакомом и все-таки кажущемся недоступным пространстве. В своей профессиональной жизни мы ежедневно играем со временем: растягиваем его, укорачиваем, уничтожаем. Это происходит естественно, мы не задумываемся над этим феноменом. Время — хрупкая, внешняя конструкция, и сейчас оно исчезло совсем.

«Король Лир» — целый континент. Мы снаряжаем экспедиции, которые с переменной ловкостью и успехом наносят на карту вересковую пустошь, реку, какие-то берега, гору, леса. Все страны снаряжают экспедиции, иногда мы встречаемся во время наших блужданий, с горечью убеждаясь, что вчерашнее озеро сегодня превратилось в гору. Чертим карты, комментируем, описываем — ничего не сходится. Опытный толкователь разъясняет четвертый акт. Должно быть так: король весел, сумасшествие — в пределах допустимого. Тот же интерпретатор седеет от бессилия перед вулканическим извержением второго акта. Начало его нелепо — лучше все превратить в игру, наполненную смехом и праздничным настроением. Королю взбрела в голову заманчивая, но опасная идея, ему самому смешно. А трагедия бродяжничества? Превращение? Кто обладает достаточной властью и физической выносливостью, чтобы отобразить крушение в его последней стадии? Сперва — порядок во всем; через секунду мир летит в тартарары — жизненная катастрофа.

Я знал, о чем идет речь, сам пережил подобную трагедию кожей души. Раны еще не затянулись. Как передать свой опыт так, чтобы мой король сумел взорвать созданную в тяжких муках оборону против беспорядка и унижения?

Но следует остерегаться и глубокомыслия. Надо играть быстро, открыто, понятно. У нас нет ни опыта, ни традиции, лишь плохое образование. Может ли желание заменить технику? Или же мы погибнем в трясине многословия? Мы, имеющие опыт работы лишь с прямым, твердо стоящим на ногах диалогом Стриндберга. Могут ли вообще нормально играющие актеры и актрисы выразить двойную боль Глостера, веселую ярость Кента, наигранное сумасшествие Эдгара, демоническую злобу Реганы?

Наша экспедиция преодолевает вересковую пустошь, жарко, течет пот. Внезапно солнце раскаленным камнем падает за горизонт, вокруг непроницаемая тьма, и мы понимаем, что оказались в трясине, под которой — бездна. Один день не похож на другой: *вот* — момент истины, твердый островок, *наконец-то* теперь — спокойствие и методичность. Отсюда дотуда — два метра семнадцать сантиметров, так и запишем. Но лучше проверить еще раз. Получается 14 тысяч метров.

Зритель, режиссер, актер, критик. Каждый видит своего короля Лира, расплывчато, иллюзорно воспринимаемого интуицией и чувством. Любая попытка описать словами бесплодна, но заманчива. Пожалуйста, давайте вместе поиграем в понятия. Кто-то, повернувшись на северо-запад, ворожит на солнце, кто-то, закрыв глаза и прижав подбородок к груди, бормочет, обратившись в южную сторону. Кто лучше всех опишет бетховенский струнный квартет си-бемоль мажор, опус 130, третья часть — andante con moto, ma non troppo? Можно почитать, можно послушать? Мне она нравится. Хотя и немножко однообразна. Но хороша! Макрокосмос, инверсия, контрапункт; структурна, диалектична, подражательна. Быстрее или медленнее? Быстрее *и* медленнее? Хотя, вообще-то, больше структурна. Я растрогался до слез, думая о том, что

он ведь, черт возьми, был глух. Описывать музыку — словно рассказывать сказку, ибо звуковые волны затрагивают чувства. Описывать же театр считается вполне возможным, ибо слово, как говорят, воспринимается разумом. Подумать только!

Ибсен со своими лжецами, землетрясения Стриндберга, неистовство Мольера, скользящее коварным александрийским стихом, континенты Шекспира. Подумать только! Сюда бы абсурдистов, злободневных, изобретательных: все предсказуемо, легко воспроизводимо, щекочуще-забавно — эдакие ловкие щелчки, полуфабрикаты для Нетерпеливых.

А сейчас, мой дорогой, мой милый друг, я возьму тебя за руку и осторожно встряхну, ты слышишь меня? Вот эти слова ты говоришь ежедневно по нескольку раз. Тебе следовало бы знать, что именно эти слова взывают к твоему опыту. Они оформились в муках или в сладострастии, с головокружительной быстротой или по крохам. Я трясу тебя за руку: ты сознаешь, я сознаю, я понимаю, ты понимаешь, миг триумфа, день прошел не напрасно, наши сомнительные жизни наконец-то приобрели смысл и окраску. Вялый разврат превратился в любовь. Подумать только! Ведь это подумать только!

* * *

Говорят, мне следует рассказать о друзьях. Но это невозможно, если только ты — не древний старик и твои друзья уже не покинули бренный мир. В любом другом случае приходится балансировать между бестактностью и утаиванием: успокойся, я дам тебе почитать написанное.

Один человек сочинил подробную исповедь. Естественно, дал почитать своей прежней любовнице. Та ушла в туалет, проблевалась, а потом потребовала вычеркнуть ее имя Автор подчинился, убрав одновременно все положительное и усилив отрицательное.

Дружба, как и любовь, предельно проницательна. Сущность дружбы — в открытости, страсти к правде. Увидеть лицо друга или услышать по телефону его голос и высказать самое мучительное, самое неотложное — это освобождение. Либо же друг сам признается в чем-то, о чем он даже подумать не осмеливался. Дружба нередко окрашивается чувственностью. Фигура друга, его лицо, глаза, губы, голос, движения, интонация запечатлены в твоем сознании — секретный код, открывающий твою душу навстречу доверию и сопричастности.

Любовные отношения сотрясаются взрывами конфликтов, это неизбежно, дружба же не так расточительна, у нее не так велика потребность в стычках и чистке. Изредка на нежных поверхностях контактов оседает песок, и это причиняет горе и трудности. Я думаю: обойдусь и без этого идиота! Но проходит какое-то время, и дает себя знать ощущение неблагополучия в самых разных областях, иногда явное, чаще — скрытое.

Я возобновляю общение, так больше продолжаться не может, надо беречь наше богатство. И мы разгребаем, расчищаем, восстанавливаем.

Результат неясный: лучше, хуже или как прежде. Не узнать. Дружба не зависима ни от клятв и уверений, ни от времени и пространства. Дружба не предъявляет никаких требований, кроме одного: искренности. Единственное, но нелегкое требование.

Один друг, занимавшийся активной публичной деятельностью, эмигрирует и поселяется на Ривьере. Снимает трехкомнатную квартиру и, сидя на балконе, плетет коврики. Его значительно более молодая подруга продолжает работать на родине, но на несколько месяцев в году приезжает навестить комфортабельный балкон. Друг замолкает, наша беседа пытается прорваться сквозь плотные заросли умолчаний, для поддержания общения надо затратить немало сил и времени. Его фразы становятся все загадочнее. Какого черта ты удрал на этот средиземноморский балкон? Ты же медленно и деликатно умираешь, хотя трупных пятен и не видно. Мы беседуем, соблюдая ритуал, я знаю, что его гнетет какая-то забота, которой он не хочет поделиться со мной. Спасибо большое, все замечательно, пальмы, правда, в снегу, зато цветут магнолии.

Я не могу признаться, что знаю, что его гнетет, не хочу обижать его упреком в недостатке искренности.

Кстати, мы почти ровесники — вполне возможно, именно так и начинается настоящая старость. Мы блуждаем по сумеречным залам и захламленным извивающимся коридорам, забираясь все глубже и глубже. Говорим друг с другом по испорченным местным телефонам и беспомощно спотыкаемся о трудноразличимые оговорки.

Мой друг-актер написал увлекательную радиопьесу, и я попросил разрешения поставить ее. Через несколько месяцев я спросил его, не согласится ли он сыграть Призрака и Первого актера в моем «Гамлете». После мучительного колебания он отказался. Я в гневе заявил, что в таком случае не буду ставить его радиопьесу. В меру потрясенный, он ответил, что не видит связи — столь очевидной для меня. Путем долгих объяснений мы, не поколебав исходных позиций, разобрались в этом недоразумении. Но дружба дала трещину.

Друг, успешно работающий на общественном и политическом поприще, панически боится любой формы агрессивности. Себя он в шутку называет «Besserwisser» [12], и не без оснований. Я охотно слушаю его лекции, ибо у него есть чему поучиться. Много лет назад он усердно наставлял меня по поводу моего шаткого положения на мировом кинорынке — ситуации, знакомой мне лучше, чем кому бы то ни было. Семь раз принимался он читать наставления, на восьмой я взорвался и посоветовал ему заткнуться и убираться к черту (правда, не в таких изысканных выражениях). Прошло немало времени, прежде чем наша дружба восстановилась.

Я, впрочем, не строю себе никаких иллюзий относительно собственного таланта к дружбе. Вообще-то, я друг преданный, но до крайности подозрительный. Если мне кажется, будто меня предали, не задумываясь, предаю сам; если мне кажется, будто

[12] Всезнайка, умник *(нем.)*.

со мной порвали, порываю сам — сомнительный, весьма бергмановский талант.

С друзьями-женщинами мне легче. Откровенность — само собой разумеется (так я себе внушаю); отсутствие требований — полнейшее (так я считаю); лояльность непоколебима (так мне кажется). Интуиция работает четко, чувства ничем не затемнены, соображениям престижа нет места. Возникающие конфликты разрешаются на основе взаимного доверия, не воспаляясь. Вместе мы протанцевали все мыслимые туры: страсть, нежность, вожделение, взбалмошность, предательство, гнев, комедии, отвращение, любовь, ложь, радость, рождения, грозы, лунный свет, мебель, хозяйство, ревность, широкие кровати, узкие кровати, внебрачные связи, нарушения границ, вера; сейчас будет еще: слезы, эротика, только эротика, катастрофы, триумфы, проблемы, оскорбления, драки, страх, тоска, яички, сперма, кровотечения, взрывы, трусы; сейчас будет еще — надо заканчивать, пока не кончилась пластинка: импотенция, распутство, ужас, близость смерти, черные ночи, бессонные ночи, белые ночи, музыка, завтраки, груди, губы, фотографии (повернись к камере, смотри на мою руку справа от рукописи), кожа, собака, ритуалы, жареная утка, китовый бифштекс, испорченные устрицы, надувательство и обман, изнасилования, красивые платья, украшения, прикосновения, поцелуи, плечи, бедра, чужие огни, улицы, города, соперники, соблазнители, волосы на расческе, длинные письма, объяснения, смех, старость, недуги, очки, руки, руки, руки, руки; все, ария заканчивается: тени, ласка, я помогу тебе, береговая линия, море — наступает тишина. На письменном столе тикают старые отцовские золотые часы с треснутым стеклом, без семи минут двенадцать.

Нет, не буду я писать о друзьях, это невозможно, и о моей жене Ингрид не буду писать.

Несколько лет назад я сочинил не слишком удачный сценарий под названием «Любовь без любовников», вылившийся в панораму жизни Западной Германии, окрашенную, по-моему, яростью бессильного пленника и наверняка несправедливую.

Из этой мертворожденной туши я вырезал бифштекс, который превратился в телевизионный фильм «Из жизни марионеток». Эта лента, не понравившаяся большинству, относится к моим лучшим кинопроизведениям — мнение, разделяемое немногими.

В потерпевшем крушение сценарии (рассчитанном на шесть часов игрового времени) был — в качестве противовеса невыносимой сумятице основной конструкции — парафраз истории Овидия о Филемоне и Бавкиде. Я поместил нетронутый алтарь Сказки в глубину разрушенной церкви.

Переодетый Бог бродит по земле, изучая свое творение. Прохладным весенним вечером он приходит на запущенную усадьбу на окраине деревни у моря, где живут старики — крестьянин с женой. Они угощают его ужином и оставляют ночевать. На следующее утро Бог отправляется дальше, предварительно попрóсив хозяев высказать одно желание — они пожелали не разлучаться и в смерти. Бог исполняет просьбу, превратив их в огромное дерево — приют для странников.

Мы с женой очень близки. Один думает, второй отвечает, или наоборот. У меня не хватает слов, чтобы описать наше сродство.

Но есть одна неразрешимая проблема: в один прекрасный день удар косы нас разлучит. Нет такого доброго бога, который смог бы превратить нас в дерево-приют. Я обладаю способностью вообразить себе большинство жизненных ситуаций — подключаю интуицию, фантазию, вызываю нужные эмоции, придающие картине краски и глубину.

Но инструмента, который помог бы мне представить миг разлуки, у меня нет. А так как я не могу или не хочу воображать себе другую жизнь, жизнь по ту сторону границы, перспектива вселяет в меня ужас. Из кого-то я превращусь в «ничто». И в этом «ничто» не будет даже воспоминания о сродстве.

* * *

Отец приехал в Воромс в отпуск в середине июля в плохом настроении. Он не находил себе места, совершал долгие пешие прогулки по лесам, ночевал в пастбищенских постройках и сараях.

Как-то в воскресенье ему предстояло читать проповедь в часовне Амсберг. Утро было словно налито свинцом, пропали и солнце и слепни. Над горными хребтами на юге стеной возвышались синие тучи.

Уже давно было решено, что я поеду с отцом. Меня посадили на передний багажник велосипеда, к заднему прикрепили пакет с едой и сумку с пасторским облачением. Я был бос, в коротких штанишках в синюю полоску и рубахе с отложным воротником из такой же ткани, на кисти руки — повязка: расчесал комариный укус, и образовался нарыв. На отце черные брюки со специальными велосипедными застежками, черные ботинки со шнурками, белая рубашка, белая шляпа и легкий летний пиджак. Все это мне известно по фотографии, которую я недавно видел. На заднем плане видна Гертруд, юная приятельница семьи. Она смотрит на отца влюбленным взглядом и лукаво улыбается. Я обожал Гертруд — как было бы хорошо, если бы она отправилась с нами,— хохотушка, она поднимала у отца настроение, они часто пели на два голоса. На заднем же плане — бабушка, она направляется в уборную. Брат сидит, склонившись, вероятно, над ненавистным заданием по математике, сестра еще спит, мне семь лет, скоро стукнет восемь. Снимок сделала мать, любившая фотографировать.

И вот мы отправились в путь — вниз по крутому лесному пригорку, окруженному соснами и муравейниками; пахло смолой и разогретым мхом. Черничные кусты усыпаны незрелыми ягодами. Мы миновали вывешенное для просушки постельное белье садовника. Несколькими неделями раньше брат со своими приятелями из Миссионерского особняка, наворовав клубники, размяли ягоды и разрисовали простыни фрау Тёрнквист неприличными фигурами. Подозрение пало на всех, но за отсутствием улик нас отпустили с миром, а сыновьям садовника задали трепку, хотя они не были виноваты. Я никак не мог решить, донести ли

на брата — основания для мести у меня были. Однажды, раскачивая перед моим носом жирного дождевого червя, он предложил: съешь, получишь пять эре. Я съел. Тогда брат сказал: если ты настолько глуп, чтобы есть дождевых червей, я никак не могу дать тебе пять эре.

Я вообще был доверчив и легко попадался на удочку. К тому же из-за полипов в носу ходил с полуоткрытым ртом. Так что выглядел дурачком.

Брат сказал: «Возьми бабушкин зонтик, раскрой его, я тебе помогу. Теперь прыгни с верхней веранды — и полетишь». Меня остановили в последнюю минуту, я заревел от злости — не потому, что меня обманули, а потому, что нельзя было летать на бабушкином зонтике.

Старая Лалла сказала: «Ты, Ингмар, родился в воскресенье, поэтому можешь видеть эльфов. Только не забудь держать перед собой две скрещенные веточки». Не знаю, верила ли Лалла сама в то, что говорила. Я же поверил слепо и потихоньку выскользнул на улицу. Эльфов я не увидел, зато увидел крошечного серого человечка с глянцевитым злобным лицом. Он держал за руку девочку, ростом с мой указательный палец. Я хотел поймать ее, но гном с дочкой убежали.

Когда мы жили на Виллагатан, во двор часто приходили играть уличные музыканты. Как-то явилось целое семейство. Войдя в столовую, отец произнес: «Мы продали Ингмара цыганам. За хорошие деньги». Я заорал от ужаса. Все рассмеялись, мать посадила меня к себе на колени и, обхватив руками мою голову, начала тихонько качать. Все удивлялись моей доверчивости: его так легко обмануть, никакого чувства юмора.

Мы уже доехали до пригорка у почты, мне пришлось слезть и идти пешком. Я был бос, поэтому шел по обочине, заросшей мягкой утоптанной травой. Мы поздоровались с почтмейстером, направлявшимся на станцию к поезду, идущему в Крюльбу. Мешок с почтой лежал на маленькой тележке. На лестнице сидел Лассе — долговязый парень с болтающимися руками. Увидев нас, он замотал головой и замычал. Я сдержанно поздоровался. Недавно Лассе научил меня песенке: «Петушок и курочка прыгали через веревочку, прыгал-прыгал петушок, уморилась курочка». Смысла я не понимал, но то, что это — не псалом, мне было ясно.

Когда мы преодолели пригорок, я опять залез на багажник. Отец велел мне поднять ноги. Годом раньше я попал правой ногой в спицы велосипеда дяди Эрнста, переломав мелкие косточки лодыжки. Отец поднажал на педали, и вскоре мы промчались мимо большого хутора Берглюнда, где мы, дети, брали молоко и собирали падалицу. Хрипло залаяла Долли, привязанная к стальной проволоке, натянутой между двумя соснами. За хутором стояли Дом привидений и Миссионерский особняк, заселенный многочисленными детьми Фрюкхольмов, пока родители проповедовали слово божье на африканских полях. В Миссионерском особняке царило радостное, исполненное любви христианство, без законов и принуждения. Дети ходили неумытые, босоногие. Пищу поглощали стоя, когда давал о себе знать голод. А Бенгт Фрюкхольм был обладателем волшебного театра, который он самостоятельно соорудил по указаниям семейного журнала «Аллерс Фамилье-журналь». Однако свою любимую песенку дети никогда не пели в стенах дома:

Я в Африке родился,
Король мне был отцом,
Резвился с крокодильчиком,
Совсем я был мальцом.
Тра-ляля-ля бом!
Из жирного миссионера сварили суп.

Теперь мы на хорошей скорости неслись по длинному пологому склону Сульбакки, дорога проходила рядом с рекой, пекло солнце, свистели, похрустывая, колеса, сверкала водная гладь. Над горной грядой попрежнему пучилась стена туч. Отец тихонько напевал. Вдали засвистел утренний поезд. Я с грустью подумал о собственных паровозиках: был бы сейчас дома, разложил бы железную дорогу на узенькой тропке, ведущей к погребу. Поездка с отцом всегда была рискованным предприятием. Никогда не знаешь, чем оно кончится. Иногда хорошего настроения хватало на целый день, иногда пастора настигали демоны, и он становился немногословным, замкнутым, раздражительным.

У переправы уже ожидали повозки с прихожанами, древний старик с грязнющей коровой и несколько мальчишек, направлявшихся к Юпчёрн купаться и ловить окуней.

Через реку натянуты стальные тросы, на них железные петли и подвижные ржавые колесики, с которыми соединен сам паром, управляемый вручную. Тяжелыми захватами из просмоленной древесины цепляются за тросы, перемещая таким образом плоскодонный корабль взад и вперед по темной бурлящей реке. Глухо бьются о борта парома топляки.

Отец тут же заговорил с женщинами в одной из повозок. Я уселся на дощатый пол на носу и опустил ноги в воду, ледяную даже сейчас, в разгар лета; вокруг ступней и лодыжек завертелись коричневые буруны.

С детства река присутствует в моих снах, всегда темная, бурлящая, как в Гродан у моста, бревна пахнут корой и смолой, они медленно кружатся в неудержимом потоке; из глубины угрожающе тянутся острые камни, видные сквозь зеркальную гладь. Сильно изрезанное речное русло между крутыми берегами, где нашли опору чахлые березки и ольха, вода, на мгновения вспыхивающая на солнце, чтобы потом погаснуть и сделаться еще чернее, непрерывное движение к излучине, глухой шум. Мы, бывало, ходили на реку купаться — по тропинке, отвесно сбегавшей со склона около Воромса, пересекавшей железнодорожную насыпь и проселок, берглюндовский луг и дальше вниз с пригорка, с нашей стороны довольно пологого. Там был пришвартован бревенчатый плот, с которого можно было нырять. Однажды я оказался под плотом и не мог всплыть. Нимало не испугавшись, я открыл глаза и увидел покачивающиеся водяные растения, испускаемые мною воздушные пузыри, солнечную иллюминацию, освещавшую коричневое пространство, маленьких уклеек, сновавших между камнями, осевшими в донном иле. Я не двигался, медленно исчезая. Потом ничего не помню, кроме

того, что лежу на плоту, меня рвет водой и слизью, а вокруг все возбужденно, перебивая друг друга, говорят.

Теперь же я сидел на краю парома, остужая горящие подошвы и искусанные комарами лодыжки. Внезапно кто-то хватает меня за плечи и отшвыривает назад, после чего дает сильную пощечину. Отец разъярен: «Знаешь ведь, что я запретил, не соображаешь? Тебя может утянуть вниз». Следует еще одна пощечина. Я не заплакал — только не здесь, перед всеми этими чужими людьми. Я не плакал, я сгорал от ненависти: чертов хулиган, вечно дерется, я убью его, никогда не прощу, вот вернемся домой, придумаю для него самую мучительную смерть, он будет умолять меня сжалиться, я услышу, как он кричит от ужаса.

Бились о борт бревна, журчала вода, я встал в стороне, но на виду. Отец помогал паромщику, усердно работая тяжелой деревянной клюкой. Он тоже был зол, я видел.

Мы причалили, вода залила доски настила, повозки съехали на берег, причал шатался и раскачивался. Отец прощался — он всегда легко завязывал разговор. Мальчики, собравшиеся на рыбалку, злорадно ухмыляясь, взяли удочки. Древний старик с грязной коровой поковылял вверх по откосу.

«Ну идем же, дурачина!» — сказал отец приветливо. Я, не двинувшись с места, нарочито отвернулся — от дружелюбного тона отца подмывало заплакать. Он подошел и шлепнул меня по спине: «Ты же понимаешь, я испугался, ведь ты мог бы утонуть, никто б и не заметил». Он еще раз шлепнул меня, взял велосипед и повел его по мокрому настилу. Паромщик уже впускал новых людей.

Отец протянул руку, моя ладошка утонула в его ладони. И гнев в ту же секунду улетучился. Он испугался, понятное дело. Если человек боится, он сердится, это я сообразил. Теперь он смягчился, переборщил и вот раскаивается.

Склон от паромной переправы круто забирал вверх, и я помогал вести велосипед. Наверху в лицо ударила стена жара, ветер вздымал вихри мелкого песка, не принося прохлады. Черные отцовские брюки и ботинки покрылись пылью.

Мы пришли на место, когда колокол прозвенел десять. На тенистом кладбище какие-то одетые в черное женщины поливали цветы на могилах. Воздух был пропитан ароматом свежескошенной травы и смолы. Под каменным сводом чуть прохладнее. Ризничий, звонивший в колокол, проводил отца в ризницу. В шкафу стояли таз и кувшин, отец, сняв рубашку, умылся, надел чистую рубашку, брыжи и ризу, а потом, присев за стол, на листке бумаги написал номера псалмов. Я отправился с ризничим, чтобы помочь ему развесить нужные цифры. Мы исполняли эту важную работу молча: одна неправильная цифра — и произойдет катастрофа.

Я знал: сейчас отца нужно оставить одного. Поэтому отправился на кладбище и принялся читать надписи на могильных камнях, особенно на тех, что были установлены на детских могилках. Над темной ветвистостью ясеней повис белый небесный свод. Неподвижный раскаленный воздух. Шмели. Комар. Мычит корова. Слипаются глаза. Вздремну. Сплю.

Готовясь к съемкам «Причастия», я на исходе зимы поехал осматривать церкви Упланда. Обычно, взяв ключ у пономаря, я заходил внутрь и проводил там по многу часов, наблюдая за блуждающим светом и думая, чем мне закончить фильм. Все было написано и выверено, кроме конца.

Как-то рано утром в воскресенье я позвонил отцу и спросил, не хотел бы он составить мне компанию. Мать лежала в больнице с первым инфарктом, и отец жил в полном уединении. С руками и ногами у него стало еще хуже, он передвигался с помощью палки и носил ортопедическую обувь, но благодаря самодисциплине и воле продолжал исполнять свои обязанности в дворцовом приходе. Ему было семьдесят пять лет.

Туманный день на исходе зимы, ярко белеет снег. Мы приехали заблаговременно в маленькую церквушку к северу от Упсалы. Там на тесных скамьях уже сидело четверо прихожан. В преддверии перешептывались ризничий со сторожем. У органа суетилась женщина-органист. Перезвон колоколов замер над равниной, а священника все не было. В небе и на земле воцарилась тишина. Отец нетерпеливо заерзал, что-то бормоча. Через какое-то время со скользкого пригорка послышался шум мотора, хлопнула дверь, и по проходу, тяжело отдуваясь, заспешил священник. Дойдя до алтаря, он повернулся и оглядел паству покрасневшими глазами. Он был худой, длинноволосый, ухоженная борода едва прикрывала безвольный подбородок. Он кашлял, размахивая руками точно лыжник, на затылке кучерявились волосы, лоб налился кровью. «Я болен. Температура около тридцати восьми, простуда,— проговорил священник, ища сочувствия в наших взглядах.— Я звонил настоятелю, он разрешил мне сократить богослужение. Поэтому запрестольной службы и причащения не будет. Мы споем псалом, я прочитаю проповедь — как сумею, потом споем еще один псалом и на этом закончим. Сейчас я пройду в ризницу и переоденусь». Он поклонился и в нерешительности замер, словно ожидая аплодисментов или по крайней мере знаков взаимопонимания. Не увидев никакой реакции, он исчез за тяжелой дверью.

Отец, возмущенный, начал приподниматься со скамьи. «Я обязан поговорить с этим типом. Пусти меня». Он выбрался в проход и, прихрамывая, направился в ризницу, где состоялся короткий, но сердитый разговор.

Появившийся вскоре ризничий, смущенно улыбаясь, объявил, что состоится и запрестольная служба, и причащение. Пастору поможет его старший коллега.

Органистка и немногочисленные прихожане запели первый псалом. В конце второго куплета торжественно вошел отец — в белой ризе и с палкой. Когда голоса смолкли, он повернулся к нам и своим спокойным, без напряжения голосом произнес: «Свят, свят, господь Саваоф! Вся земля полна славы его!»

Что до меня, то я обрел заключительную сцену для «Причастия» и правило, которо-

му следовал и собираюсь следовать всегда: *ты обязан, невзирая ни на что, совершить свое богослужение.* Это важно для паствы и еще важнее для тебя самого. Насколько это важно для Бога, выяснится потом. Но если нет другого бога, кроме твоей надежды, то это важно и для Бога.

Я хорошо выспался на скамейке под деревом. Прозвонили к началу службы, и я, неслышно ступая босыми ногами, пробрался в церковь. Жена настоятеля, взяв меня за руку, силой усадила рядом с собой недалеко от кафедры. Я бы предпочел устроиться рядом с органом, как бы за кулисами, но пасторша была на сносях, и пробраться мимо нее не было никакой возможности. Мне сразу же захотелось в уборную, было ясно, что мучение предстоит длительное. (Мессы и плохие спектакли тянутся дольше всего. Если вам кажется, будто жизнь бежит чересчур стремительно, пойдите в церковь или в театр. И время остановится, вам представится, будто испортились часы, оправдаются слова Стриндберга в «Буре»: «Жизнь коротка, но она может быть длинной, пока идет»).

Как все прихожане всех времен, я погрузился в созерцание алтарной живописи, утвари, распятия, витражей и фресок. Там были Иисус и разбойники, окровавленные, в корчах, Мария, склонившаяся к Иоанну («зри сына своего, зри мать свою»), Мария Магдалина, грешница (с кем она спала в последний раз?). Рыцарь играет в шахматы со Смертью. Смерть пилит Дерево жизни, на верхушке сидит, ломая руки, объятый ужасом бедняга. Смерть, размахивая косой точно знаменем, ведет танцующую процессию к Царству тьмы, танцует, растянувшись длинной цепью, паства, скользит по канату шут. Черти кипятят котлы, грешники бросаются вниз головой в огонь, Адам и Ева увидели свою наготу. Из-за запретного древа уставилось Божье око. Некоторые церкви напоминают аквариум, ни единого незаполненного места, повсюду живут и множатся люди, святые, пророки, ангелы, черти и демоны; и здесь и там лезут они через стены и своды. Действительность и воображение сплелись в прочный клубок — узри, грешник, содеянное тобой, узри, что ждет тебя за углом, узри тень за спиной!

Какое-то время я преподавал в театральной школе Мальмё. Нам предстоял показ, но мы не знали, что сыграть. Тогда я, вспомнив церковные росписи моего детства, за несколько вечеров написал коротенькую пьесу под названием «Роспись по дереву» с ролью для каждого студента. Самому видному, но, к сожалению, наименее одаренному юноше, который готовился к работе в оперетте, поручили роль рыцаря — того, которому сарацины отрезали язык и он стал нем.

«Роспись по дереву» в конце концов превратилась в «Седьмую печать» — неровный, но дорогой моему сердцу фильм, ибо делался он в наипримитивнейших условиях, зато с огромным жизнелюбием и желанием. В ночном лесу, где казнят Ведьму, за деревьями можно разглядеть окна многоэтажек Росунды. Процессия флагеллантов двигалась по участку, расчищавшемуся под строительство новой лаборатории. Эпизод танца Смерти под темными тучами снимался в бешеном темпе уже после того, как большинство артистов разошлось. Техников, электриков, одного гримера и двух дачников, совершенно не понимавших, что происходит, обрядили в костюмы приговоренных к смерти, установили «немую» камеру и успели заснять кадр до того, как разошлись тучи.

Я не осмеливался спать, когда проповедь читал отец. Он видел все. Однажды друг нашей семьи во время рождественской заутрени в часовне Софияхеммет задремал. Отец прервал проповедь и спокойно сказал: «Проснись, Эйнар. Сейчас будет кое-что для тебя». После чего заговорил о том, что последние станут первыми. Дядя Эйнар, холостяк, игравший на скрипке, был вторым архивариусом Министерства иностранных дел и мечтал стать первым.

После мессы настоятель пригласил на кофе. Там был и настоятелев сынок Оскар — жирный мальчишка моих лет с соломенными волосами. Нам подали сок и булочки. Оскар вызывал отвращение: на голове у него — из-за экземы — было надето что-то вроде капора из грязных, в розоватых пятнах бинтов, он непрерывно чесался и источал запах карболки. Нас отослали в детскую, которую Оскар переоборудовал в церковь — с алтарем, подсвечниками, распятием и цветной шелковой бумагой на окнах. В углу стоял комнатный орган. На стенах — картины на библейские сюжеты. Резко воняло карболкой и дохлыми мухами. Оскар спросил, что я предпочитаю: послушать проповедь или поиграть в похороны. В гардеробной был спрятан детский гробик. Я ответил, что не верю в Бога. Оскар, почесав голову, заявил, что существование Бога доказано научно: крупнейший в мире ученый, русский по фамилии Эйнштейн, разглядел божий лик в глубине своих математических формул. Я сказал, что сыт этими россказнями по горло. Началась перепалка. Оскар, который был сильнее, скрутил мне руку и потребовал, чтобы я признал существование Бога. Было больно и страшно, но я предпочел не звать на помощь. Он, наверное, сумасшедший. А желание идиотов надо выполнять, иначе неизвестно, что может случиться. И я быстренько признался в вере в Бога.

После этого признания мы мрачно разошлись по разным углам. Вскоре наступило время прощания и отъезда. Отец, упаковав пасторское облачение и брыжи, сдвинул на затылок шляпу и позволил мне взобраться на передний багажник. Настоятель с женой уговаривали переждать грозу — на пылающее солнце уже надвигалась тяжелая туча. В душной жаре чувствовалось приближение дождя. Отец с улыбкой поблагодарил — успеем. Да и немного влаги не помешает. Жена настоятеля прижала меня к пышной груди, от нее несло потом, своим выпирающим, тугим как барабан животом она едва не столкнула меня с велосипеда. Настоятель попрощался за руку, когда он говорил, из его толстогубого рта брызгами летела слюна. Оскар не показывался.

Наконец мы двинулись в путь. Отец молчал, но я чувствовал, что он испытывает об-

легчение. Напевая мелодию какого-то летнего псалма, он жал на педали, развив приличную скорость.

У развилки на Юпчёрн отец предложил окунуться. Мне идея понравилась, и мы свернули на тропинку, бежавшую через пустошь, где висел тяжелый кисловатый аромат папоротника и старого камыша.

Озеро, круглое как блюдце, считалось бездонным. Тропинка кончалась узенькой песчаной полоской, круто обрывавшейся в темную глубину воды. Мы разделись. Отец бросился в воду и поплыл, отфыркиваясь, на спине; я осторожно сделал несколько гребков и погрузился с головой под воду — там не было ни дна, ни водорослей, ничего.

Потом мы сидели на берегу и обсыхали в душной жаре, вокруг роилась мошкара. У отца были прямые плечи, высокая грудная клетка, сильные длинные ноги и внушительных размеров гениталии, почти лишенные растительности. На белой коже мускулистых рук рассыпано множество коричневых пятен. Я сидел у него между колен, словно Христос, висящий на кресте между колен Бога на старинном запрестольном изображении. Увидев на берегу неизвестный ему темно-фиолетовый цветок, отец распотрошил его, строя различные догадки насчет названия. О цветах и птицах он знал едва ли не все.

Голода мы не испытывали, ибо угощение в пасторском доме было обильным, но все же съели захваченные из дома бутерброды, разделив поровну бутылку лимонада.

День потемнел. Осы пикировали на бутерброды. Внезапно по глянцевитой воде пошли бесчисленные круги и тут же пропали.

Пора в путь, решили мы.

Когда отец овдовел, я часто навещал его, и мы вели дружеские беседы. Как-то я сидел у его домоправительницы, обсуждая какие-то практические вопросы. Вдруг из коридора послышались его медленные шаркающие шаги, в дверь постучали, он вошел в комнату, прищурившись от яркого света — вероятно, только что проснулся. С удивлением посмотрев на нас, он спросил: «А Карин еще не вернулась?» Но сразу же осознав свою болезненную промашку, смущенно улыбнулся — мать умерла четыре года назад, а он так опростоволосился, спросив про нее. Мы и рта не успели раскрыть, как он, протестующе взмахнув палкой, удалился обратно в свою комнату.

Запись в рабочем дневнике от 22 апреля 1970 года. Отец при смерти. В воскресенье навестил его в Софияхеммет. Он храпел. Эдит, находящаяся при нем и днем и ночью, разбудила его и вышла из палаты. Его лицо — лицо умирающего, но глаза ясные, на удивление выразительные. Он что-то прошептал, но разобрать, что он хотел сказать, было невозможно. Вероятно, легкое помутнение рассудка. Любопытно наблюдать, как меняется выражение его глаз: требовательное, вопрошающее, нетерпеливое, боязливое, ищущее контакт. Когда я собрался уходить, он вдруг взял меня за руку и что-то забормотал. Что-то читал. Я почти сразу догадался, что он читает благословение. Умирающий отец призывает благословение Божие на сына. Все произошло быстро и неожиданно.

25 апреля 1970 года. Отец еще жив. Точнее говоря, он без сознания, работает только сильное сердце. Эдит кажется, будто она общается с ним, когда держит его за руку. Она говорит, а он отвечает — рукой. Это необъяснимо, но трогательно. Они ведь ровесники и друзья с детства.

29 апреля 1970 года. Отец скончался. Умер в воскресенье двадцать минут пятого вечера, смерть была легкой. Мне трудно разобраться в том, что я почувствовал, увидев его лицо. Он был совершенно неузнаваем. Больше всего его лицо напоминало фотографии мертвецов из концлагерей. Это было лицо Смерти. Я думаю о нем из отчаянного далека, но с нежностью. Плохи нынче дела у Бергмана, несмотря на приветливый свет над морем. Сильнейшая тоска — хочу наконец ощутить прикосновение, получить помилование. Плохи нынче дела. Не то чтобы я плохо себя чувствовал — наоборот, но вот душа...

Выехав из березовой рощи на равнину с ее необозримыми полями, мы увидели над горами зарницы. Тяжелые капли упали в дорожную пыль, пробивая на ней борозды и узоры. «Вот так мы могли бы объехать вокруг земли, ты и я»,— сказал я. Отец засмеялся и отдал мне свою шляпу — на сохранение. Нам обоим было хорошо. У заброшенной деревни начинался подъем, и тут разыгралась буря с градом. За какую-нибудь минуту поднялся ветер, молнии одна за другой вспарывали черноту, раскаты грома слились в неумолчный гул. Тяжелые дождевые капли слипались в комки льда. Мы с отцом побежали к ближайшему заброшенному строению, оказавшемуся каретным сараем, где стояло несколько забытых повозок. Потолок протекал, но мы нашли защиту там, где когда-то был сеновал.

Сидя на мощной балке, мы смотрели в открытую дверь. На склоне росла могучая береза. В нее два раза попала молния, из ствола клубился дым, листва сворачивалась, словно корчилась в муках, землю сотрясали удары. Я прижался к отцовским коленям. От брюк пахло сыростью, лицо было мокро. Он вытерся рукавом, я сделал то же самое. «Боишься?» — спросил отец. «Нет, не боюсь»,— сказал я, но подумал, что, может, это Судный день, когда вострубили ангелы и упала в море звезда, имя которой Полынь. Вообще-то, я отрицал существование Бога, но в то, что Господь меня за это покарает, особенно не верил, потому что отец, который во время Страшного суда уж точно окажется среди праведников, постарается меня спрятать.

Порывы ветра стали мощнее, потянуло холодом, у меня зуб на зуб не попадал. Отец снял с себя пиджак и укутал меня; пиджак был влажный, но теплый от отцовского тепла. Порой ландшафт совсем исчезал за пеленой дождя. Град прекратился, но земля была усыпана круглыми ледяными мячиками. Перед сараем образовалось озеро, и вода устремилась под каменный фундамент. Серый, блуждающий свет наводил на мысль о сумерках, наступающих без захода солнца. Раскаты грома, по-прежнему

бесперебойные, ушли вдаль, стали глуше и потому не вызывали прежнего ужаса. Сплошная стена дождя разделилась на обильные струи.

Надо было уходить. Мы и так уже отсутствовали слишком долго, пропустили обед. Дорога местами превратилась в бурные ручьи, ехать на велосипеде было тяжело. Внезапно машина пошла юзом, я, успев подобрать ноги, скатился на лужайку, отец остался на дороге. Поднявшись, я увидел, что он лежит неподвижно, одна нога придавлена велосипедом, голова прижата к груди: ну вот, отец мертв.

В следующую секунду он повернул голову, спросил, не ушибся ли я, и рассмеялся своим веселым, добродушным смехом. Встал, поднял велосипед. На щеке кровоточила небольшая царапина, оба мы промокли, вымазались в грязи и глине. Дождь все еще не перестал. Мы пошли рядом, и отец время от времени словно бы облегченно смеялся.

Недалеко от переправы раскинулась обширная усадьба. Отец постучался в дом и попросил разрешения воспользоваться телефоном. Старик хозяин ответил, что линию повредило в грозу. Старушка угостила нас кофе. Она заставила меня раздеться и жестким полотенцем хорошенько растерла все тело. Потом достала панталоны, нижнюю сорочку из грубого полотна, ночную рубаху, вязаную кофту и толстые шерстяные носки. Сперва я наотрез отказался надевать на себя бабьи тряпки, но после строгого окрика отца вынужден был повиноваться. Отец одолжил у старика брюки и надел пасторский сюртук, а сверху нацепил старую кожаную безрукавку. Старик запряг бричку с откидным верхом. В Воромс мы прибыли уже в сумерках.

Как все хохотали над нашей экипировкой!

Тем же вечером брат с двумя приятелями-одногодками из Миссионерского особняка, вылетев из окна на волшебном ковре, совершили полет над дальними лесами. Заговорщики спали на матрацах, стащив их в тесную комнатушку перед детской. Мне было строжайше велено оставаться в постели и не шевелиться.

О том, чтобы принять участие в полете, и думать не приходилось, я был слишком мал. Да и неизвестно, выдержал бы ковер более трех воздухоплавателей. В полуоткрытую дверь я слышал перешептывания и сдавленный смех. Вдали погромыхивал гром, по крыше стучал дождь. Комната то и дело освещалась беззвучными вспышками молний.

И вот я отчетливо слышу, как в комнатке открывается окно. Волшебный ковер выброшен на крышу веранды, следом вылезли воздухоплаватели. От налетевшего порыва ветра затрещали стены, дождь припустил сильнее Я, больше уже не владея собой, ринулся в соседнюю комнату. Она была пуста, ковер исчез, окно распахнуто в ночь, полощется на ветру штора. При свете молнии я увидел брата, летящего над лесной опушкой на красном в клетку домотканом ковре вместе с Бенгтом и Стеном Фрюкхольмами.

На следующее утро они были усталыми и молчаливыми. Я попытался было заговорить о полете за семейным завтраком, но грозный взгляд брата заткнул мне рот.

* * *

Декабрьским воскресеньем я слушал в церкви Хедвиг Элеоноры «Рождественскую ораторию» Баха. Все утро — тихое, безветренное — шел снег. А сейчас выглянуло солнце.

Я сидел в левом приделе под самым сводом. Золотое солнечное сияние, отражаясь в окнах расположенного напротив церкви пасторского дома, рисовало узоры на внутренней стороне свода. Острыми клиньями разрезал воздух лившийся через купол свет. Зажегся ненадолго витраж сбоку от алтаря и погас — беззвучный взрыв туманно-красного, синего и золотисто-коричневого. Парил, утешая, хорал в сумеречном помещении: набожность Баха утишает муку нашего безверия. Беспокойный, дрожащий световой узор на стене перемещается вверх, сжимается, теряет силу, гаснет. Ре-мажорные трубы восторженно приветствуют Спасителя. Мягкий серо-голубой сумрак вдруг наполняет церковь покоем, вечным покоем.

Похолодало, уличное освещение еще не зажглось, поскрипывает под ногами снег, изо рта клубится пар. Морозы на адвент... Какая же будет зима? Тяжелая, наверно. В голове еще трепещут, словно красочные колышущиеся покровы, баховские хоралы, развеваются над порогом распахнутой двери — радость!

В каком-то вре́менном запале я пересекаю по-воскресному тихую Стургатан и вхожу в пасторский дом, где пахнет моющими порошками и святостью — точно как пятьдесят лет назад.

Огромная квартира погружена в тишину, кажется покинутой, по потолку гостиной движутся световые пятна от падающего снега, в комнате матери горит настольная лампа, столовая утопает в темноте. Кто-то быстро, чуть подавшись вперед, проходит по коридору. Слышатся приглушенные расстоянием женские голоса, мирно жужжит беседа, негромко позванивают о фарфор ложечки — в кухне пьют кофе.

Я снимаю пальто и ботинки и на цыпочках иду по скрипучему, навощенному полу столовой. Мать сидит у письменного стола, на носу очки еще не успевшие поседеть волосы в легком беспорядке. Склонившись над своим дневником, она что-то пишет тоненькой авторучкой. Ровный, стремительный почерк, микроскопические буковки. Левая рука покоится на столе: короткие сильные пальцы, тыльная сторона руки испещрена вздутыми голубыми венами, блестят массивные обручальные кольца и бриллиантовое кольцо между ними. Кожица вокруг коротко остриженных ногтей в заусенцах.

Она быстро поворачивает голову и видит меня (как страстно я желал вновь пережить этот миг; с тех самых пор, как умерла мать, тосковал я по этому мгновению). Она суховато улыбается, захлопывает тетрадь и снимает очки. Я по-сыновнему целую ее в лоб и коричневое пятнышко у левого глаза.

— Знаю, что помешал, это ведь твои священные минуты, я знаю. Отец отдыхает перед обедом, а ты читаешь или пишешь дневник. Я только что был в церкви, слу-

шал «Рождественскую ораторию» Баха, это так красиво, и красивое освещение, и я все время думал: все-таки сделаю попытку, на этот раз обязательно получится.

Мать улыбается, как мне кажется — иронически, я знаю, что она думает: «Ты часто, каждый день проходил по Стургатан по дороге в театр. Но тогда тебе редко или почти никогда не приходило в голову заглянуть к нам». Да, действительно не приходило, я ведь был Бергманом: не буду мешать, не буду навязываться, к тому же разговор опять пойдет о детях, не могу я говорить о детях, я с ними не вижусь. И опять начнется игра на чувствах: мог бы сделать это ради меня. Не сердись, мама! Не будем выяснять отношения, это бессмысленно. Позволь мне просто посидеть несколько минут в этом старом кресле, нам не нужно даже разговаривать. Пожалуйста, продолжай писать свой дневник, если хочешь... Стиральная машина! Я же собирался купить стиральную машину, черт! Матери нужна стиральная машина, вспоминал я время от времени и, разумеется, ничего не сделал.

Мать встает и быстрыми шагами (всегда быстрыми шагами) направляется в столовую, пропадает во мраке, какое-то мгновение слышится ее возня в гостиной, она зажигает лампу на круглом столе, возвращается, ложится поверх бордового покрывала и натягивает на себя серо-голубую шерстяную шаль.

— Усталость никак не проходит,— говорит она извиняясь.

— Я хотел бы спросить тебя, мама, кое о чем, очень важном. Два-три года назад, по-моему летом 1980 года, я сидел в кресле в своем кабинете на Форё, шел дождь, знаешь, тихий летний дождь, который зарядил на целый день, сейчас такого не бывает. Я читал, прислушиваясь к дождю. И вдруг почувствовал, что ты рядом, мама, я мог бы дотронуться до твоей руки. Я не спал, это совершенно точно, и это не было каким-то сверхъестественным явлением. Я знал, что ты находишься в комнате, или же мне все это только пригрезилось? Никак не пойму и поэтому решил спросить тебя!

Мать, внимательно глядевшая на меня, отворачивается, берет думочку в зеленую клетку и кладет себе на живот.

— Это была, очевидно, не я,— говорит она спокойно.— Я все еще чувствую страшную усталость. Ты уверен, что это не был кто-то другой?

Я отрицательно мотаю головой: уныние, ощущение, что вторгся в запретную зону.

— Мы ведь стали друзьями, разве мы не стали друзьями? Прежние роли — матери и сына — ушли в прошлое, и мы стали друзьями, ведь так? Говорили искренне и доверительно? Разве нет? Я начал понимать твою жизнь, мама, но приблизился ли хоть на йоту к настоящему пониманию? Или эта наша дружба была всего лишь иллюзией? Нет, не думай, пожалуйста, будто у меня помутился рассудок от самобичевания. Это не так. Но дружба? Может, роли остались неизменными, изменились только реплики? Игра шла на моих условиях. А любовь? Я знаю, в нашей семье не пользуются подобной терминологией. Отец в церкви говорил о любви Господа. А здесь, дома? Как обстояло дело с нами? Как сумели мы преодолеть раздвоенность души, справиться с глухой ненавистью?

— Поговори еще с кем-нибудь, я слишком устала.

— С кем? Я даже сам с собой не могу говорить. Ты устала, это понятно, я и сам иногда чувствую, как усталость парализует нервы и внутренности. Мама, ты обычно говорила: пойди займись чем-нибудь, поиграй в свои новые игрушки. Нет, не надо, я не люблю нежностей, тебе бы только поласкаться, ведешь себя как девочка. Ты как-то сказала, что бабушка была к тебе сурова. Всю свою любовь она отдала младшенькому, тому, который потом умер. А кому ты отдала свою любовь?

Мать поворачивается лицом к свету настольной лампы, и я вижу ее темный взгляд, взгляд, который невозможно ни искупить, ни вынести.

— Знаю,— говорю я поспешно, с трудом сдерживая дрожь.— Цвели цветы, тянулись вверх вьюнки, зеленели ростки. Цветы цвели, а мы? Почему все было так плохо? Из-за бергмановского оцепенения? Или была другая причина? Помню, брат однажды что-то натворил. Ты, мама, вышла из вот этой комнаты, прошла в гостиную, где мы находились, и пошатнулась влево. Я подумал тогда: она играет, но переигрывает, это выглядело не слишком убедительно. Нас что, наделили масками вместо лиц, истерией вместо чувств, стыдом и виной вместо нежности и прощения?

Мать подносит руку к волосам, взгляд — темный, неподвижный, по-моему, она даже не мигает.

— Почему брат стал инвалидом, почему раздавили сестру, превратив ее в сплошной крик, почему я жил с воспаленной, незаживающей раной в душе? Не хочу измерять долю вины каждого, я не учетчик. Хочу только узнать, почему мы так жестоко страдали за непрочным фасадом социального престижа? Почему оказались искалеченными брат и сестра — несмотря на заботу, поддержку, доверие? Почему я столь долго был не способен на нормальные человеческие взаимоотношения?

Мать садится, отводит глаза и глубоко вздыхает — на левом указательном пальце я замечаю полоску пластыря. На ночном столике исправно тикают золотые часики. Она несколько раз сглатывает.

У меня в запасе целый арсенал объяснений — каждого чувства, каждого движения, каждого физического недомогания, потому я употребляю именно эти слова. Люди понимающе кивают головой: так и должно быть! А я все-таки беспомощно низвергаюсь в бездну жизни. Как высокопарно это звучит: низвергаюсь в бездну жизни. Но бездна — реальность, к тому же она бездонна, и не разбиться насмерть в каменистом ущелье или о зеркало воды. Мама, я зову маму, как звал всегда: когда лежал ночью с температурой, когда приходил из школы, когда бежал в темноте через больничный парк, преследуемый привидениями, когда протягивал руку, чтобы дотронуться до тебя тем дождливым днем на Форё. Не знаю, ничего не знаю. Что же это с нами происходит? Нам с этим не справиться. Да, верно, у меня повышенное давление, заработал во времена унижений и оскорблений. Мои щеки

горят, я слышу чей-то вой, наверное свой собственный.

Надо взять себя в руки, успокоиться. Наша встреча оказалась не такой, как я ее себе представлял: мы должны были с легкой грустью вести негромкую беседу о загадках. Ты бы, мама, слушала и объясняла. Все было бы преисполнено чистоты и совершенства, как баховский хорал. Почему мы никогда не говорили отцу и матери «ты»? Почему нас заставляли обращаться к родителям на «вы» — грамматическая несуразность, удерживавшая нас на расстоянии?

Мы обнаружили в сейфе твои дневники, мама. После твоей смерти отец просиживал дни напролет с лупой, пытаясь разобрать микроскопические, частично зашифрованные записи. Постепенно он понял, что никогда по-настоящему не знал той женщины, с которой прожил в браке пятьдесят лет. Почему ты, мама, не сожгла свои дневники? Продуманное мщение: дескать, теперь говорю я, а тебе до меня не добраться, я открываю тебе самое сокровенное, и ты не можешь ответить молчанием; сейчас ты не сможешь промолчать, как молчал всегда, когда я умоляла, плакала, неистовствовала.

Я заметил, что мать начала растворяться. Исчезли ноги под шалью, бледное лицо, отделившись от шеи, парило перед восточными занавесями, глаза были полузакрыты. Темный взгляд обращен внутрь, указательный палец с полоской пластыря неподвижно замер на крышке золотых часов. Хрупкое тело слилось с узором покрывала. Я сделал еще одну попытку, не особенно напрягаясь:

— Мы поссорились, ты, мама, ударила меня по лицу, я дал сдачи. Почему мы ругались: эти ужасные сцены, хлопанье дверьми, слезы бешенства? Почему мы ругались? Не помню предметов наших ссор, кроме последней — когда отец лежал в больнице. Что это было: ревность, поиски контакта или только воспитание? Я помню наши примирения, обволакивающее облегчение. Но ложь?

Из кухни потянуло слабым запахом жареной салаки. Вдалеке послышался кашель отца, вот он встал, предобеденный отдых закончен, он усаживается за письменный стол с сигарильей и грамматикой иврита.

Пару лет назад я сделал небольшой фильм о лице моей матери. Снимал восьмимиллиметровой камерой со специальным объективом. А поскольку после смерти отца я выкрал все семейные фотоальбомы, недостатка в материале не было. Фильм рассказывал о лице матери, о лице Карин — от первой фотографии в трехлетнем возрасте до последней на паспорт, сделанной незадолго до рокового инфаркта.

День за днем я изучал через увеличивающий и ограничивающий объектив сотни фотографий: гордая любимица стареющего отца — надменно-любезная школьница со своими подругами в начальной школе тети Розы, 1890 год, девчушка мучительно скорчилась — на ней большой вышитый передник, а подруги без передников. Конфирмация — дорогая белая вышитая блузка русского покроя, чеховская девушка, тоскующая, загадочная. Молоденькая медсестра в форме, недавняя выпускница, начинающая трудовую жизнь, решительная, преисполненная надежд. Помолвка, снимок сделан в Орсе в 1912 году. Чудо интуитивного проникновения: жених сидит за столом, тщательно причесанный, в своем первом пасторском облачении, и читает книгу; за тем же столом — невеста, перед ней — рукоделие, она вышивает скатерть. Чуть наклонившись вперед, она смотрит прямо в объектив, падающий сверху свет затеняет темные, широко раскрытые глаза — две одинокие, не имеющие точек соприкосновения, души. Следующая фотография очень трогательна: мать сидит в кресле с высокой спинкой, перед ней — преданно глядящий на нее пес, мать весело смеется (один из немногих снимков, где она изображена смеющейся). Она свободна, только что вышла замуж.

Крошечная пасторская усадьба в лесу Хельсинге, до ненависти между Ма и Ее милым пастором, как она его называла, еще далеко. Первая беременность, мать несколько отрешенно прислонилась к плечу мужа, тот гордо и покровительственно улыбается, не слишком широко, чуть-чуть. У матери набухшие губы, как будто после длительных поцелуев, глаза с поволокой, нежное, распахнутое лицо.

Теперь идут столичные фотографии. Красивая пара с красивыми, ухоженными детьми в солнечной квартире на тихой улочке тихого Эстермальма. Аккуратная прическа, элегантный костюм, замаскированный взгляд, официальная улыбка, красивые украшения — оживленная, любезная. Они распределили роли и с энтузиазмом играют их.

Еще одна фотография смеющейся матери: она сидит на лестнице веранды, я у нее на коленях, мне не больше четырех лет, брат стоит, опершись на перила, ему — восемь. На матери простенькое светлое ситцевое платье, на ногах, несмотря на жару, высокие тяжелые башмаки. Она крепко держит меня, обняв обеими руками за живот. Сильные руки с короткими пальцами, ногти коротко острижены, кожица вокруг искусана. Лучше всего я помню ее ладонь с глубоко прорезанной линией жизни, сухую мягкую ладонь с голубыми прожилками. Дети, цветы, животные. Ответственность, забота, сила. Иногда нежность. И всегда — долг.

Листаю дальше. Мать все больше растворяется в кишащем семейном коллективе. Ей сделали операцию, удалили матку и яичники, она сидит, чуть сощурившись, в элегантном светлом платье, улыбка уже не затрагивает глаза. Еще фотографии. Вот она распрямляет спину, посадив в горшок какие-то цветы. Запачканные землей руки тревожно повисли. Усталость, может быть, страх, они с отцом остались одни. Дети и внуки разъехались. Это бергмановские дети: не надо мешать, не надо вмешиваться.

И наконец, последний снимок, на паспорт. Мать любила путешествия, театр, книги, кино, людей. Отец ненавидел путешествия, неожиданные визиты, незнакомых людей. Его болезнь усугубилась, он стеснялся своей неловкости, трясущейся головы, затрудненной походки. Мать все больше была привязана к дому. Однажды она вырвалась на свободу и съездила в Италию. Теперь паспорт оказался просроченным, надо было

получить новый — ее дочь вышла замуж и уехала в Англию. Сделали фотографию. У матери уже было два инфаркта. Кажется, будто ее лица коснулось дыхание ледяного ветра, черты чуть смещены. Глаза затянуты пленкой, она, так любившая книги, больше не может читать, сердце не дает достаточного притока крови, серо-стальные волосы над широким низким лбом зачесаны назад, иссушенные губы нерешительно улыбаются — когда фотографируешься, нужно улыбаться. Мягкая кожа щек, изборожденная глубокими морщинами, обвисла.

Стало быть, воскресным днем в начале адвента я был в церкви Хедвиг Элеоноры. Наблюдал за игрой света на стенах свода, проник в квартиру на четвертом этаже. Увидел мать, склонившуюся над дневником, получил разрешение поговорить. Заговорил несвязно, начал спрашивать о вещах, которые, как я считал, давным-давно похоронены. Требовал ответа. Обвинял. Мать ссылалась на усталость. В последние годы она часто ссылалась на усталость. И вот сейчас она истончилась, почти исчезла. Я обязан думать о том, что я имею, а не о том, что потерял или никогда не имел. Собираю в кучу свои сокровища, некоторые испускают особый блеск.

В какое-то мгновение я понимаю боль, испытанную ею, когда она осознала крах всей своей жизни. Она не выдумывала жизнь, как отец, не была верующей. Она обладала достаточной силой, чтобы взять на себя вину даже тогда, когда вина ее была спорной. Моменты пламенного театра в ее жизни не затемняли разума, а разум говорил о жизненной катастрофе.

И вот я, сидя в ее кресле, обвинял ее в преступлениях, которых она не совершала. Задавал вопросы, на которые не было ответа. Направлял луч света на детали деталей.

Упрямо спрашивал — как и почему. В своей тщеславной проницательности, возможно, я и разглядел за драмой родителей холодную властность бабушки: молодая женщина вышла замуж за пожилого человека с тремя сыновьями, не намного моложе ее самой. Муж вскоре умер, оставив жену с пятью детьми. Что пришлось *ей* подавлять и уничтожать?

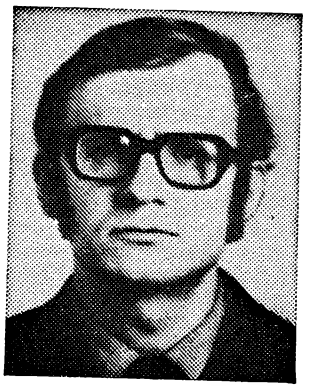
Загадка, без сомнения, проста и тем не менее неразрешима. Но в одном я уверен твердо — наша семья состояла из людей, имевших добрые побуждения, но получивших катастрофическое наследство: чересчур высокую требовательность, муки совести и вину.

Ищу в тайном дневнике матери за июль 1918 года. Там написано: «Была последние недели слишком больна, чтобы делать записи. У Эрика во второй раз испанка. Наш сын родился утром четырнадцатого июля. И сразу же — высокая температура и жестокие поносы. Он похож на крошечный скелетик с большим огненно-красным носом. Упрямо отказывается открывать глаза. Через несколько дней у меня из-за болезни пропало молоко. Были вынуждены крестить его прямо в больнице. Назвали Эрнстом Ингмаром. Ма отвезла его в Воромс, нашла кормилицу. Ма злится на неспособность Эрика решать наши практические проблемы. Эрик злится на Ма за то, что она вмешивается в нашу личную жизнь. Я лежу больная и беспомощная. Иногда, оставшись одна, плачу. Если малыш умрет, говорит Ма, она возьмет на себя заботу о Даге, а я должна вернуться на работу. Она хочет, чтобы мы с Эриком развелись как можно скорее, «пока он со своей идиотской ненавистью не придумал еще какое-нибудь безумство». Мне кажется, я не имею права оставить Эрика. Из-за огромного перенапряжения у него всю весну было не в порядке с нервами. Ма утверждает, будто он притворяется, но я так не думаю. Молюсь Богу безо всякой надежды. Очевидно, надо справляться самой, по мере сил».

Форё, 25 сентября 1986 года

ВЛАДИМИР ЗОТОВ

КИТАЙ: ИСТОКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА



1

Когда в государстве осуществляются правильные принципы, то можно прямо говорить и прямо действовать. Когда же в государстве не осуществляются правильные принципы, действовать можно прямо, но говорить осторожно.

Конфуций

Освещать события в прессе так, чтобы никто ничего не понял,— большое искусство. Первые наши сообщения о южнокорейском самолете, о событиях в Нагорном Карабахе и Тбилиси поражали прежде всего тем мастерством, с которым при многословности сообщений читателю не говорили ничего. А как советский человек, узнав о происходивших весной этого года волнениях в Китае, мог объяснить для себя, с каких это пор смерть партийного руководителя в соседней социалистической стране вызывает студенческие демонстрации, а во время траурных церемоний «некоторые лица» пытаются штурмовать ворота правительственной резиденции?

Только из китайских и западных газет можно было узнать, что в КНР в последнее время усиливалась социальная напряженность. Что после отстранения Ху Яобана от поста Генерального секретаря ЦК КПК в январе 1987 года его имя для многих китайцев стало синонимом либерализации и демократизации. Только в «Жэньминь жибао» можно было прочитать, что студенты вышли на улицы под влиянием слухов о смерти Ху Яобана в результате сердечного приступа, случившегося на заседании Политбюро, где его якобы критиковал другой высший руководитель, Премьер Госсовета КНР Ли Пэн.

Дальнейшее развитие событий, как известно, приобрело трагический характер. Уже через несколько дней (Ху Яобан умер 15 апреля 1989 года) количество демонстрантов на улицах перевалило за сто тысяч. Волнения распространились на другие крупные города. Требования студентов о демократизации страны, расширении гласности, борьбе с коррупцией поддержали рабочие, живущие в пригородах крестьяне, представители научной и творческой интеллигенции, государственные служащие. По утверждению китайской печати, во время демонстраций появились лозунги: «Долой КПК!», «Долой правительство!», призывы к отстранению от власти Дэн Сяопина и Ли Пэна. 13 мая на площади Тяньаньмэнь около двух тысяч студентов начали голодовку. С 20 мая в столице объявлено военное положение, в город стянуты армейские подразделения, которые в последующие дни несколько раз вступали в мелкие стычки с демонстрантами. 2 июня безоружные войска предприняли безуспешную попытку очистить Тяньаньмэнь от собравшихся там студентов. И наконец, в ночь с 3 на 4 июня была проведена военная операция, в результате которой волнения пресечены. Число убитых и раненых достигло нескольких тысяч человек. В высшем руководстве произошел раскол. После борьбы, длившейся около месяца, заменен Гечеральный секретарь ЦК КПК, в Постоянном комитете Политбюро из пяти человек снято двое, в Секретариате из шести — четверо.

Эти события потрясли весь мир. Конечно, внутреннее дело Китая — квалифицировать студенческие выступления как «патриотическое движение» или «контрреволюционный мятеж», снимать одних руководителей и назначать других. Происшедшее является трагедией прежде всего самого китайского народа. Но и для нас чрезвычайно важно понять причины этой трагедии. Ведь до сих пор очень многие явления и процессы, связанные с реформами в КНР и перестройкой в СССР, происходили как будто по одному сценарию.

В обеих странах все началось с того, что после смерти прежних лидеров — Мао Цзэдуна и Брежнева — в высшем руководстве развернулась борьба за власть, продолжавшаяся два с лишним года и завершившаяся

Фотография из журнала «Бейцзин ревью»

победой сторонников реформ. В процессе этой борьбы выдвигались утопические программы «четырех модернизаций» и «ускорения», предполагавшие сказочно быстрое развитие экономики и решение насущных социальных проблем. Новому руководству потребовалось более трех лет для того, чтобы обеспечить себе достаточную поддержку в обществе и партийно-государственном аппарате, пересмотреть и официально сформулировать более реалистичную перестроечную программу на XII съезде КПК (сентябрь 1982 года) и XIX конференции КПСС (июнь 1988 года). После того, как был в принципе решен вопрос, проводить реформы или нет, эпицентр борьбы в обществе и руководстве стал перемещаться в область темпов и приоритетов. Отчетливо выявились два течения — радикальное и умеренное. В условиях все обостряющихся коллизий, с приливами и отливами развернулся процесс обновления: в Китае в основном в экономической сфере, у нас — в политической.

Особенно впечатляет сходство в деталях. В период подготовки XII съезда КПК и XIX партконференции противники реформ выбирают одну и ту же форму противодействия, публикуя в центральной прессе антиперестроечные манифесты (в Китае — в главной армейской газете «Цзефанцзюнь бао», у нас — в «Советской России», печатном органе ЦК). При обострении социальных противоречий первая кровь проливается на почве межнациональной розни. Даже дефицит в торговле возникает на одни и те же товары: мыло, стиральный порошок, сахар, спички, соль.

В Китае реформы начались на шесть лет раньше, чем в Советском Союзе, поэтому часто мы переживаем события, которые китайцы уже испытали на себе. Но нельзя не заметить, что в ряде случаев временной разрыв значительно меньше. Ажиотажный спрос и тотальная нехватка товаров возникли в СССР уже через год после вспышки аналогичных явлений в КНР. А кровавые события в Лхасе и Тбилиси весной нынешнего года разделяет всего месяц. Неудивительно, что общественность нашей страны, особенно неформальные организации, столь бурно отреагировали на политический кризис в Китае, сразу усмотрев в нем один из возможных вариантов нашего близкого будущего.

Для объяснения столь возбуждающих воображение совпадений явно недостаточно привычных нам обществоведческих категорий. Ссылки на общность социалистического базиса мало что проясняют. Ведь ни один из законов, «открытых» политэкономией социализма — будь то планомерное и пропорциональное развитие, неуклонное повышение благосостояния и всестороннее развитие личности или распределение по труду,— до сих пор ни в одной стране реально не действовал. Не помогают и сложившиеся представления о социально-классовой структуре социалистического общества. В них не укладываются антагонизмы, существующие в наших странах. Кроме того, все чаще ученые-социологи при анализе конкретных явлений подмечают, что само деление общества на классы имеет второстепенное значение, тогда как на первый план выходят признаки, которым раньше уделялось мало внимания — скажем, принадлежность к определенному поколению («сталинисты» и выходцы из времен «оттепели», «дети культурной революции» и современная китайская молодежь), место жительства (у рабочего из провинциального города больше общего с крестьянином того же района, чем со столичным рабочим). Находясь в рамках представлений о диктатуре пролетариата или общенародном государстве, трудно объяснить закономерности формирования при социализме авторитарных режимов, противостоящих трудящимся. В учении о партии нового типа не содержится ключ к пониманию судьбоносного значения борьбы высших руководителей за власть.

Перестройка, развернувшаяся в нашем обществоведении, дала толчок новым идеям, преодолевающим ограниченность старых методологических подходов. Плодотворна идея о том, что деление человечества на два основных «лагеря» — капиталистический и социалистический является лишь частным и не самым типичным случаем более крупной классификации по формам цивилизаций или «глобальных обществ» (термин, введенный в научный оборот французским историком Ж. Гурвичем,— выходцем из России). В настоящее время с большой долей уверенности можно говорить о существовании по крайней мере двух скоплений цивилизаций, традиционно именуемых Западом и Востоком. Названия не совсем удачные, так как они, по выражению Л. Н. Гумилева, «ведут себя не совсем географично» (скажем, представитель «Востока» Марокко находится западнее Западной Европы), да и главное их отличие не в местоположении, а в строе мышления людей, в их культуре. Но независимо от того, насколько точны эти определения, они обозначают реально существующие ветви развития человечества, каждой из которых присущи свои собственные закономерности.

Марксистская мысль развивалась на основе изучения западных цивилизаций. У Маркса есть гениальные догадки относительно «азиатского» способа производства, но целостной теории он не создал. Все же есть несколько «зацепок», помогающих современным ученым. Во-первых, если для Запада характерно стадиальное развитие, в основе которого лежит смена общественно-экономических формаций, то для Востока — циклическое. С точки зрения западного человека, азиатские страны столетиями и даже тысячелетиями не двигаются с места, находясь как бы в перманентном состоянии застоя.

Диалог социалистических предпринимателей с Марксом:
— Некоторые обвиняют нас в отходе от вашего учения.
— Это неверно. Ваша практика обогащает научный социализм. *(Рисунок из газеты «Цзефан жибао»).*

Во-вторых, в европейских цивилизациях господствуют созданные человеком материально-вещественные ценности, тогда как в азиатских природные производительные силы доминируют над искусственно созданными, живой труд преобладает над овеществленным. Соответственно, если в одних обществах преобладает материальное начало, ценностные ориентации человека направлены на действие, то в других — духовное, а человека больше интересует свой внутренний мир, чем внешний. Это различие определяет разные типы развития цивилизаций. По Марксу — и это нельзя не учитывать при построении теоретических моделей,— эти типы зависят от того, «протекает ли подлинная признанная жизнь данного народа преимущественно в сфере сознания или же в сфере внешнего мира, является ли она больше идеальной или же реальной жизнью» [1].

Наконец, западные цивилизации отличаются четким делением на классы, а восточные имеют «размытую» социальную структуру в которой невозможно определить, кто эксплуататор, а кто эксплуатируемый. В азиатском обществе, где люди «непосредственно принадлежат к объективным условиям производства», материальное и духовное самоотчуждение человека столь велико, что для тех, кто мог бы присваивать результаты чужого труда, просто не находится места. При таком «поголовном рабстве» эксплуататор оказывается как бы за пределами социума, а прибавочный труд «дает о себе знать как в виде дани и т. п., так и в совместных работах для прославления единого начала — отчасти действительного деспота, отчасти воображаемого племенного существа, бога» [2].

До тех пор, пока две цивилизации не вступают в тесное взаимодействие и не приобретают навыки терпимости друг к другу, человеческое сознание остается в плену изоляционистского убеждения: мой образ жизни самый лучший и единственно возможный, а все, что не соответствует ему,— глупо. Многие экономисты, историки, политологи, привыкшие к закономерностям западного мира, при описании тех или иных явлений жизни восточных обществ независимо друг от друга пользуются одним и тем же эпитетом — «парадоксальный». Действительно, если принять систему координат, в которую «укладывается» западная цивилизация, за универсальную, то при рассмотрении восточной ветви будешь постоянно наталкиваться на мысль, что попал в «страну дураков», сплошь состоящую из парадоксов. Например, в обществе может не быть ярко выраженной социальной поляризации с характерной для нее острой борьбой противоположных сил. Но в то же время вроде бы «ниоткуда» возникает чудовищной силы разрушительный потенциал, постоянно подавляемый, но никогда не ослабевающий.

С точки зрения социально-политического устройства это может быть общество, построенное на гуманных этических принципах (постоянная поддержка слабых, ограничение роста богатства у сильных) и куда больше заботящееся о трудящихся, чем на Западе. Но одновременно это — жесточайшая деспотия, при которой понятие «права человека» отсутствует полностью. Восточная цивилизация представлена чаще всего странами с богатыми экономическими возможностями, которые, однако, столетиями не реализуются. Известно, что китайцы, поселившись в древности на очень плодородных землях (в Европе таких не было), крайне неохотно шли на освоение менее доступных районов. В этом «земном раю» концентрировалось население, истощалась природная база, усиливалась изолированность от внешнего мира. Вынужденное чрезвычайно рано — на целое тысячелетие раньше европейцев — решить для себя проблемы интенсификации труда и защиты окружающей среды, китайское общество стало самодостаточным, не испытывающим потребности в экономическом прогрессе. Посторонний наблюдатель оказывается обреченным на чувство постоянного разочарования: вот-вот страна «рванет» в своем развитии, но каждый раз что-то не получается...

Советский исследователь А. И. Фурсов — автор ряда ярких востоковедческих работ, опубликованных в последние годы, называет восточную цивилизацию «формационным зазеркальем», в котором все общественные отношения как бы вывернуты наизнанку. Если европейские страны постоянно развиваются во времени и пространстве, то азиатские движутся в другом измерении, как бы все глубже уходя в самих себя. Черта эта стала преодолеваться лишь во второй половине XX столетия, когда государства эти вступили на трудный путь самопознания, начали избавляться от изоляционизма и чувства собственной исключительности. В этот процесс включилась и наша страна, где в последние три-четыре десятилетия медленно, но неуклонно начали подрываться представления о мессианском предназначении социализма.

Утвердиться в мысли о том, что реально, а не в мечтах существующий социализм является не «светлым будущим всего человечества», а всего лишь одной из форм цивилизации восточного типа, помогают выводы гонимой в 70-е годы группы советских историков (П. В. Волобуев, И. Ф. Гиндин и

---

[1] К. Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 года. К. Маркс. Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, с. 589.

[2] К. Маркс. Экономические рукописи 1857—1859 годов. Соч., т. 46, ч. I, с. 464, 485, 488.

др.), по-новому, взглянувших на Россию рубежа XIX—XX веков. Они доказали, что капитализм в его «западническом» понимании отнюдь не был для нашей страны преобладающим способом производства. Если он и существовал, то принадлежал к «особому типу», принципиально отличавшемуся от европейского. Из работ историков видно, что многие из «специфических» черт нашего общества вполне укладывались в представления о восточных цивилизациях. Октябрь 1917 года в России (точно так же, как потом октябрь 1949 года в Китае) при всем его революционном значении не мог создать новую цивилизацию, существующую в ином масштабе времени, где счет идет на тысячелетия. Действие ее законов существенно не изменилось и за последующие несколько десятков лет — краткий миг для «глобальных обществ».

Возможно, предлагаемая «смена координат», позволяющая по-иному взглянуть на общество, в котором мы живем, отвечает далеко не на все вопросы, но многие парадоксы все же объясняет. Попытка приложить «цивилизационную» методологию к решению конкретной задачи — выяснению причин политического кризиса в Китае (быть может, самом типичном представителе Востока),— помогает глубже понять перестроечные процессы в странах социализма.

Практически все эти государства оказались в 80-х годах в кризисном состоянии. Исключением выглядел Китай, где начавшаяся с 1978 года реформа принесла ошеломляющие результаты. Самые высокие в мире темпы экономического роста (по ним КНР в первой половине 80-х годов уступила лишь африканскому государству Ботсвана), невиданное увеличение сбора зерна, хлопка и других сельскохозяйственных культур, резкое повышение уровня жизни населения. И вдруг за какие-то год-два положение изменилось настолько, что в мировой прессе стали поговаривать о «закате» китайских реформ, ссылаясь на инфляцию, рост цен, усиление социальных противоречий. Венцом явился политический кризис, заставивший переосмысливать многое из того, что произошло в Китае за последнее десятилетие.

Для специалистов неблагоприятные изменения в стране возникли, конечно, не «вдруг». Их нарастание можно было прослеживать уже с 1985 года. И начались они с экономики.

2

> Когда потребности простолюдинов не регулируются посредством меры и нормы, то даже богатства из десяти тысяч колесниц, вероятно, не хватит для их утоления.
>
> *Ли Гоу, китайский мыслитель XI в.*

Не один холодный день должен пройти, чтобы река промерзла на три чи [1],— гласит китайская пословица. Диспропорции в китайской экономике нарастали постепенно, но рано или поздно они должны были достичь «критической массы». Особенно заметно увеличивался разрыв между спросом и предложением. Заявки предприятий на получение материальных фондов удовлетворялись немногим более чем наполовину, покупательский спрос — на три четверти.

Год от года в процессе осуществления реформы росли цены. Вначале подняли закупочные цены в сельском хозяйстве — результат оказался в целом хорошим, а негативные последствия терпимыми. С 1985 года начали пересмотр оптовых цен в промышленности: они были повышены на энергию, топливо, сырье. Одновременно ускорился перевод госудаственных предприятий на условия хозрасчета. И тут началось. Если в начале 80-х годов индекс розничных цен увеличивался на один-два процента, то в 1985 году — уже почти на девять, а в 1988-м — на восемнадцать с половиной. Это вызвало соответствующую реакцию населения. Спрос «взбесился». Видя, что покупательная способность юаня стремительно падает, люди стали избавляться от наличных денег, превращая их в любые товары, какие только можно было купить. Из продажи исчезли предметы ширпотреба, которыми раньше прилавки были завалены: металлическая посуда, изделия из хлопка и кожи, все виды моющих средств. О товарах длительного пользования — мебели, телевизорах, холодильниках, стиральных машинах и говорить нечего: их просто не стало.

Пришлось возвращаться к нормированному распределению. Наряду с карточками на рис и масло стали вводиться талоны на мясо, соль, различные промтовары. Представитель Госсовета КНР в начале лета прошлого года через средства массовой информации объявил об официальном решении правительства не проводить больше никаких изменений цен и заморозить осуществление их реформы.

Нетрудно догадаться, что ему мало кто поверил. Внешне государственные цены действительно остались на прежнем уровне. Но из житейского опыта жителю любой социалистической страны известно, что это еще ни о чем не говорит. Перешедшие на хозрасчет предприятия, заинтересованные в максимальном увеличении прибыли, прибегают к многократно апробированным хитростям: «вымыванию» дешевого ассортимента, снижению качества продукции и мнимому «улучшению» ее потребительских свойств. Возможны и еще более простые способы. Администрация одного из универмагов города Синина (провинция Цинхай), стремясь ликвидировать свои товарные запасы, вывесила объявление о якобы предстоящем с 1 сентября 1988 года повышении государственных цен на кожаную обувь в размере 15 процентов. Увидев, какой ажиотаж вызвала эта «шутка», решили еще немного пощекотать нервы покупателям, объявив, что цены будут повышены не на 15, а на 45 процентов. Это уже оказалось «перебором». В городе начался такой покупательский «бум», что его заметили провинциальные власти. Разобравшись, они дали официальное опровержение и наказали «шутников».

Влиять на поведение предприятий государственные органы, отвечающие за ценообразование, не в силах. Не могут они воздействовать и на свободный крестьянский рынок, на многочисленные «серые» и «черные» рынки, неизбежно возникающие при

[1] Три чи — около одного метра.

нормированном распределении. На рост дефицитов эти рынки реагируют однозначно. Вопреки широко распространенному мнению, спекуляцией занимаются в основном не опустившиеся асоциальные элементы, а весьма уважаемые организации. Финансовые проверки в провинции Цзилинь, например, показали, что шестьдесят процентов всех случаев продажи товаров по спекулятивным ценам относятся к деятельности государственных предприятий и учреждений. Местными властями только за первую половину 1988 года у них было изъято свыше 3,2 миллиона юаней, полученных благодаря спекуляции стальным прокатом, дизельным топливом, древесиной и другими средствами производства.

Среди основных социальных групп в спекуляцию вовлечены прежде всего те, кто по своему служебному положению находится близко к распределительной «кормушке». К ним относятся в первую очередь руководители разных рангов. Китаю пока далеко до «хлопковых дел», но масштабы коррупции в стране стремительно увеличиваются. Как свидетельствуют данные из разных провинций, примерно треть всех экономических преступлений совершаются коммунистами, большинство из которых занимают ответственные посты. В городе Тяньцзине, например, в 1986—1987 годах из 130 осужденных за экономические преступления членов партии 107 оказались руководящими работниками. Неудивительно, что многим из них удается выходить из-под удара. В Пекине, например, уголовные дела против нарушивших закон коммунистов возбуждаются только в каждом третьем случае, тогда как большинство отделываются административными или партийными взысканиями. Своего поста лишается лишь каждый девятый.

В итоге вслед за эйфорией первых лет преобразований у китайцев появилось чувство разочарования. В прошлом году газета «Жэньминь жибао» привела мнение одного пекинца, который, получив первые талоны на мясо, воскликнул: «Раз так выходит, какая же это перестройка!» Еще пять лет назад, судя по опросам общественного мнения, всего несколько процентов населения страны высказывало недовольство реформами. Сейчас же положение круто изменилось. Подавляющее большинство людей считают неправильной государственную политику цен. Больше половины вообще не доверяют действиям правительства. Каждый третий отмечает снижение реального уровня жизни.

Естественно, что в этих обстоятельствах продолжать реформу цен и другие преобразования прежними темпами уже нельзя. В чем же дело? Где произошел сбой? Можно, конечно, найти просчеты в экономической политике КПК — у кого их не бывает! Но если они и были, то не самые крупные: оглядываясь назад, мы увидим обычный набор преобразований, используемый руководством всех социалистических стран. Подряд, аренда, хозрасчет, децентрализация планирования, изменения в системе кредитов, налогов и цен, развитие кооперативов и индивидуально-трудовой деятельности, реформа внешней торговли. Различия могут быть в темпах, очередности преобразований, не более того.

Говорить о недостаточной настойчивости руководящих органов в проведении политики реформ тоже не приходится. За последние десять лет сделано так много, что другим странам не грех и позавидовать. Значит, есть какие-то объективные причины.

Одно из отличий восточного общества от капиталистического состоит в том, что в нем базис и надстройка не противостоят друг другу, а представляют как бы одно целое. Если на Западе экономику, политику, культуру можно рассматривать отдельно друг от друга, то в восточной цивилизации экономика всегда политизирована и «окультурена». По общему признанию, в старом Китае никогда не существовало экономики как науки, развивалась только экономическая мысль, то есть никому не удавалось создать цельную теоретическую систему. При социализме также до сих пор не удалось решить эту задачу. В нашей стране первый учебник политэкономии вышел лишь после войны, на его основе затем создавались другие, но ни в одном из них при всем желании мы не найдем того изящества, которое отличает стройные теоретические системы. Если же встать на «цивилизационную» позицию, согласно которой производственные отношения в азиатском обществе всегда играют подчиненную роль, то трудности с созданием цельной экономической теории социализма вполне объяснимы — противоречия в ней заложены, так сказать, изначально.

У Маркса основным «кирпичиком», из которого выстраивается политэкономия капитализма, является продукт материального производства — товар. А в «цивилизационной» теоретической модели таким «кирпичиком» является духовный продукт — мотивация человека. Главная задача, которую тысячелетиями решали восточные общества, существовавшие в условиях перенаселенности и крайней узости (можно также сказать — хрупкости) природной базы: как избежать массового голода. В Китае за два тысячелетия выдалось меньше двухсот неголодных лет. При такой жизни вся человеческая деятельность подчинялась принципу «безопасность — прежде всего», а ее цель состояла в обеспечении выживаемости максимального числа людей.

«Отсутствие угрозы голодной смерти п о о д и н о ч к е — вот что делает первобытное общество по сравнению с рыночной экономикой в определенном смысле более гуманным, но в то же время менее рациональным»,— писал известный западный исследователь Карл Поланьи[1]. В этом же состоит основная сущностная черта восточной цивилизации — этические соображения, идея социальной справедливости и экологической безопасности всегда преобладает над экономической целесообразностью.

Очень точно названная Марксом применительно к капитализму теория «политической экономии», таким образом, не совсем подходит для восточной цивилизации. Поскольку этические принципы в ней главенствуют, правомернее говорить о «моральной экономии» (выражение американского исследователя Джеймса Скотта). Поразительно ис-

[1] К а р л П о л а н ь и. Великая трансформация (Бостон, 1957), с. 163—164.

черпывающая характеристика традиционной моралэкономической мотивации содержится в одной из статей советского ученого Б. В. Ракитского, посвященной вопросам перестройки в СССР. Он пишет: «Перестройка экономического мышления, всего общественного сознания под углом зрения стратегии ускорения социально-экономического развития предполагает безусловную приоритетность критериев социальной справедливости и экологической безопасности перед критериями экономической эффективности. Как же в этом случае станет осуществляться сравнение вариантов хозяйственных решений?

Исходя из стратегических и этапных задач осуществляется ранжирование целей. К высшим рангам относятся социальные цели и требования экологической безопасности, к низшему рангу — максимизация экономической эффективности. Варианты хозяйственных решений первоначально проверяются на соответствие социальным целям и требованиям экологической безопасности. Те из них, которые окажутся не соответствующими этим целям и требованиям, выбраковываются независимо от их экономической эффективности. К заключительному туру сравнений принимаются только социально и экологически допустимые (в этом смысле эффективные) варианты. Заключительный тур — это сравнение экономической эффективности. Здесь побеждает самый экономичный из числа социально эффективных и экологически допустимых вариантов»[1].

У Б. В. Ракитского присутствует очень важное признание существенного различия между моральным и рациональным. Дело остается за малым — определить, насколько глубоким является это противоречие. Венгерский ученый Янош Корнаи поставил точку над «и», заявив о неизбежности антагонистических столкновений между условиями эффективности и этическими принципами социализма. Либо всевозможное стимулирование работы лучших и безжалостное избавление от худших, высокая приспосабливаемость к любым изменениям, инициатива, риск и личная ответственность, либо неприятие большой разницы в оплате труда, помощь слабым за счет сильных, социальная защищенность, жертвенность частным и сегодняшним во имя общего и завтрашнего[2].

Подобно тому как в политэкономии товар, имея двойственный характер, содержит в себе, как в зародыше, противоречия всего общества, точно так же в моралэкономии мотивация, объединяя противоположности морального и рационального, принципов этики и эффективности, является простейшим носителем антагонизмов традиционного восточного и современного социалистического общества. С этих позиций вполне логичным выглядит возникновение препятствий перед экономическими реформами в странах социализма, в том числе и в Китае.

На первых порах — с конца 70-х годов — перестройка в КНР почти идеально балансировала между социальной справедливостью и экономической целесообразностью. Перевод крестьянских дворов на семейный подряд позволил, во-первых, резко увеличить производство продовольствия, а во-вторых, уравнять не только права, но и доходы крестьян. По существу, был проведен «черный передел», после которого сельские труженики начали как бы «с нуля», ликвидировав социальные перекосы.

Первые пять лет повсеместно происходило выравнивание доходов крестьян, причем не только внутри каждой производственной ячейки, но и между регионами страны. Уровень жизни в деревне начал «подтягиваться» к городскому.

В городах в это время проводились первые эксперименты с материальным стимулированием. Выравнивались условия работы предприятий, повышалась зарплата низкооплачиваемым категориям рабочих. Ввели премиальную систему, которая всеми была понята однозначно: дополнительные выплаты стали составлять стабильную надбавку к основной зарплате и служить дополнительным средством уравнивания доходов. После этих в общем-то весьма простых преобразований, люди задышали свободнее, на улицах вместо прежней однообразной сине-зеленой хмурой массы времен «культурной революции» появилась подвижная, многоцветная, смеющаяся и улыбающаяся толпа. По воскресеньям в парках и около древних храмов замельтешили отдыхающие, в укромных уголках защебетали влюбленные. Одним словом, настали почти идиллические времена.

Так продолжалось примерно до 1984—1985 года. К этому времени в деревне процессы всеобщего уравнивания сменились быстро нарастающим социальным расслоением. Одни крестьяне занялись фермерским хозяйством, получая годовой доход размером в десятки и сотни тысяч юаней, а другие так и остались ниже официальной черты бедности. В городах расцвели кооперативы и индивидуальные предприятия, владельцы их стали получать значительно больший доход, чем рабочие государственных предприятий, многие из которых год от года становились все убыточнее.

Все это было заранее спланировано и полностью соответствовало установке повысить роль экономических рычагов управления и реализовать принцип оплаты по труду. С точки зрения эффективности результат превзошел самые оптимистические ожидания: практически все показатели — даже те, на которые не только в Китае, но и во всем социалистическом мире уже махнули рукой (фондоотдача, например),— бешеными темпами поползли вверх и побили многие прежние рекорды. А вот с точки зрения социальной справедливости... Разве виноваты в чем-либо бедные крестьянские семьи, потерявшие кормильца или отдавшие работящего сына в солдаты? Разве виновато целое поколение молодых людей, не получивших должного образования и профессиональных навыков в годы «культурной революции» и не способных из-за этого выдерживать экономическую конкуренцию? Разве виноваты рабочий класс и интеллигенция в том, что в государственном секторе зарплата растет медленнее, чем в кооперативном и индивидуальном? Справедливо ли, что из-за низких закупочных цен крестьяне, вы-

[1] «Правда», 9 января 1987 года.
[2] Янош Корнаи. Противоречия и дилеммы. Будапешт, 1985, с. 126.

ращивающие зерно, оказываются в самых невыгодных условиях, точно так же, как предприятия, выпускающие дешевый и такой нужный всем ширпотреб, терпят убытки из-за резко вздорожавшего сырья?

Ответ очевиден: ни в чем не повинным людям надо помочь. Гуманное общество не может бросить в беде тех, кому плохо. Поэтому в деревне активизировалось использование традиционных форм помощи беднякам, существовавших тысячелетиями. К ним относится система «пяти обеспечений», предусматривающая бесплатное предоставление семьям, потерявшим кормильца, всего необходимого — пищи, одежды, жилья, оплаты лечения и похорон. Усилилась помощь так называемым «дворам четырех принадлежностей», к которым относятся семьи погибших героев, военнослужащих, уехавших в город кадровых работников, а также рабочих и служащих. Для многих представителей интеллигенции были улучшены жилищные условия, по всей стране стало налаживаться пенсионное обеспечение.

Для реализации различных программ помощи потребовались средства. Откуда их взять? Есть только два способа: либо обрубить часть доходов передовых предприятий и зажиточных семей, передав их отстающим и бедным, либо увеличить бюджетные расходы. Оба негативно сказываются на экономической эффективности. Попытки более справедливого распределения доходов сковывают инициативу самых предприимчивых и вызывают иждивенческие настроения у тех, кому оказывается помощь.

Иждивенчество приобретает самые разнообразные формы. Особенно широко распространено оно в деревне. Вот типичный случай, рассказанный несколько лет назад журналом «Бейцзин ревью». В одной из сельских бригад провинции Хэбэй была организована дискуссия на тему: «Может ли крестьянин Фань Мао во второй раз стать богатым?» Семья этого человека до революции была единственной в деревне, которую считали зажиточной. После земельной реформы она стала такой же, как все остальные, но с переходом на дворовый подряд вновь разбогатела. На собрании выступил другой крестьянин, чья семья из поколения в поколение влачила жалкое существование и осталась бедной несмотря ни на какие реформы. Он с возмущением говорил о Фань Мао, призывая осудить эксплуататора и раздать беднякам «нечестно» нажитое добро. К счастью для Фаня, у него нашлись защитники, сказавшие, что обвинитель всегда был известен как горлопан и «левак», плохо работавший и в бригаде, и на приусадебном участке. Собрание осудило бездельника и оправдало Фаня, «разбогатевшего благодаря упорному труду».

Но беда в том, что таких горлопанов «большой скачок» и «культурная революция» наплодили великое множество, и отличить их от бедняков, страдающих не по своей вине, крайне трудно. Такие люди объединяются, создают общественное мнение, а нередко и занимаются «раскулачиванием». Летом прошлого года в той же провинции Хэбэй две тысячи крестьян, собравшись из семи поселков, занялись «конфискацией» фруктов из садов, находившихся во владении фермеров. Размер ущерба составил двести тысяч юаней. Похожие случаи в тот же период имели место в Хунани, Сычуани, Хэнани, Шаньдуне — одним словом, легче перечислить провинции, где они не были зафиксированы.

Очень популярным делом стало бродяжничество и нищенство. За последние пять лет по всей стране задержано и отправлено на места проживания несколько десятков тысяч человек, лишь пятая часть из которых, по данным соответствующих органов, действительно испытывает жизненные трудности. Остальные же — здоровые и сильные люди, вполне способные прокормить себя. В некоторых районах нищие собирают за день до ста юаней, что составляет среднемесячный заработок рабочего. Между этими людьми существует определенная иерархия, распределены «сферы влияния». Элита захватывает самые доходные места. «Золотыми приисками» для нищих считают города Гуанчжоу и Шэньчжэнь, где высок уровень жизни и очень много иностранцев.

Другой способ материальной поддержки — за счет государственного бюджета, кредитов и дополнительного выпуска денег — несет с собой еще больше проблем, поскольку неизбежно вызывает инфляцию. «Снижение покупательной силы денег, происходящее вследствие расширения кредитования и усиления эмиссии, является инфляцией, какие бы цели оно ни преследовало» (разрядка моя.— В. З.),— писал крупнейший русский советский ученый Л. Н. Юровский, репрессированный в 30-е годы [1]. Из самых благих побуждений в Китае в 80-е годы в несколько раз были увеличены размеры бюджетных дотаций (на потребление, производство, покрытие убытков, цены, экспорт, импорт и т. д. и т. п.), суммы банковских кредитов предприятиям, учреждениям и населению. Количество денег в обращении только за последние три года утроилось.

Существуют специальные методики, позволяющие математическим путем по косвенным признакам рассчитать реальные темпы инфляции. По весьма умеренным оценкам в 80-е годы они колебались в Китае между десятью и пятнадцатью процентами. Конечно, есть страны, где этот показатель в десятки раз выше, но для социалистического общества с его особыми законами развития уже и этот уровень выглядит очень тревожно. В рыночной экономике инфляция опосредованно проявляется через рост цен. При социализме роста цен может и не быть, а инфляция все равно существует, но в скрытой, а потому практически неуправляемой форме. Руководство страны долгие годы пребывает в полной уверенности относительно благополучия народного хозяйства, тогда как на самом деле экономика тяжело больна.

Такая ситуация вполне соответствует мотивации «морального человека» восточной цивилизации, ставящего надежность выше риска. По отношению к инфляции это означает, что до тех пор, пока она не очень заметна (о ней можно лишь догадываться, чувствуя определенный дискомфорт), социальная стабильность в современном обще-

[1] Л. Н. Юровский. Денежная политика Советской власти (1917—1927). М., 1928, с. 232.

стве восточного типа поддерживается на достаточном уровне. Но как только инфляция достигает таких масштабов, что почти незаметный рост цен становится явным, страна начинает стремительно скатываться к кризису.

Опросы общественного мнения в Китае показывают, что в настоящее время только пятая часть населения, по крайней мере на словах, проявляет готовность жить в условиях риска. Инфляция существует сейчас во всем мире, и ее опасность тем выше, чем сильнее действие экономических, рыночных регуляторов. Конечно, желательно держать инфляцию в узде, но она до сих пор даже для самых искушенных экономистов представляет собой явление, таящее в себе столько загадок, что для ее сознательного регулирования (если хотите — планирования) требуется высочайшее искусство.

Года два назад китайские социологи обнаружили, что население страны, ослепленное успехами первых лет реформы и пропагандистскими обещаниями все новых и новых благ, пребывает в благодушном настроении и практически не готово к трудностям, неизбежно сопровождающим любые крупные преобразования. Но как только в прессе появились осторожные публикации о том, что неплохо бы привить людям известную долю вкуса к риску, сразу же возник так называемый ажиотажный спрос. «На всякий случай», не дожидаясь возможности испытать свою стойкость, население стало скупать про запас побольше товаров.

Этот факт служит хорошей иллюстрацией одной из важнейших особенностей рассматриваемой нами мотивации: стремление к стабильности может быть настолько сильным, что оно зачастую не допускает каких-либо изменений вообще. В соответствии с этой установкой все получаемые блага немедленно потребляются, причем потребление носит, как правило, непроизводительный характер. Прежде всего преследуется цель побольше вложить в себя, грубо говоря — насытить свою утробу.

Сколько ни бьется китайское руководство, пытаясь склонить крестьянские хозяйства к вложению заработанных денег в землю, результат получается мизерный. Сроки владения землей увеличены до 15, 30, 50 лет, чтобы только гарантировать производителям получение отдачи от потраченных средств,— все равно крестьяне «проедают» свой доход. На промышленных предприятиях переход на хозрасчет, расширивший их самостоятельность, вызвал стремительный рост фонда зарплаты. Получив право свободно распоряжаться частью фондов, предприятия стали расходовать их прежде всего на премии и другие формы материального поощрения, в результате чего рост доходов рабочих и служащих вдвое обогнал рост производительности труда.

Эта особенность социалистического общества очень точно подмечена Яношем Корнаи, в работах которого спрос именуется не иначе как «ненасытный», «безграничный», «неконтролируемый». Экономика социализма подобна кадавру братьев Стругацких — фантастическому существу с постоянно растущей желудочной неудовлетворенностью. На макроуровне ненасытность проявляется в постоянном стремлении государства к увеличению накоплений. При этом главный смысл заключается в процессе, а не в результате: само вложение средств оказывается более важным, чем получение конечного продукта. Тем самым формируется пресловутый затратный тип развития. Вполне типичной поэтому выглядит ситуация, сложившаяся при осуществлении хозяйственных реформ в Китае. В отдельные периоды прирост ассигнований в капитальное строительство, что называется, «зашкаливал», достигая сорока и более процентов и в несколько раз превышая прирост национального дохода.

Ненасытный спрос. Надпись на кувшине: «Основные фонды». Человек — «некий подрядчик». *(Рисунок из газеты «Нунминь жибао»)*

На микроуровне неконтролируемость спроса выступает как основная черта деятельности предприятий. Единственное, что сдерживает их тягу к освоению все новых и новых фондов,— это ограниченность ресурсов, служащая неиссякаемым источником жалоб и оправданий хозяйственных руководителей. Предприятия постоянно находятся как бы в тисках хронического дефицита. С одной стороны, при слабой материально-технической базе фондов действительно катастрофически не хватает, а с другой — сколько пищи кадавру ни давай, его неудовлетворенность будет только расти.

В парадоксальной экономике и решения должны быть парадоксальными. Чем больше кормить кадавра, тем больше он хочет есть. А если его меньше кормить? Именно этот выход и нашло китайское руководство, приступив к осуществлению экономической реформы. На рубеже 70—80-х годов оно выдвинуло так называемую политику «урегулирования», представлявшую собой серьезную структурную перестройку. Быть может, не зная того, в Китае избрали метод, предложенный еще в 20-е годы выдающимся советским ученым В. В. Новожиловым в его знаменитой статье «Недостаток товаров». В течение нескольких лет целенаправленно снижалась доля отраслей тяжелой промышленности. Им «перекрыли воздух», уменьшив масштабы нового строительства, сократив снабжение энергией и сырьем, что привело к закрытию одних предприятий и перепрофилированию других. Конечно, темпы роста

по «валу» после этого резко снизились, но каждый процент стал более весомым, так как экономика начала поворачиваться лицом к потребителю. С опережающей скоростью стало увеличиваться производство продовольствия и предметов потребления.

За короткий срок экономику сумели заметно оздоровить. Далось это сравнительно легко, потому что пользоваться можно было привычными командными методами. Довели, например, до предприятий военной промышленности соответствующее указание, и через короткий срок они половину своей продукции стали выпускать для гражданских нужд. Построили новую обувную фабрику, и она обула целый район или небольшой город. Но как заставить эту фабрику выпускать продукцию хорошую и дешевую, а не плохую и дорогую? Как только производству предметов потребления в Китае стал отдаваться приоритет, в легкой промышленности сразу поползли вниз показатели качества, эффективности и рентабельности, намного сложнее стало сбывать товары населению.

Причины этих проблем известны. Когда производитель выступает монополистом и у него не налажена обратная связь с потребителем, никакие приказы и призывы бороться за качество не приносят успеха. Янош Корнаи подметил, что в социалистической экономике рост дефицита на одном полюсе обязательно сопровождается ростом запасов на другом. Но он считает, что запасы увеличиваются в основном «на входе» (на случай перебоев в снабжении предприятия копят резервы материальных фондов, население закупает впрок продукты и промтовары). Китайский опыт свидетельствует, что это не совсем так. Накопление запасов происходит и «на выходе» в виде нереализуемой продукции, работы «на склад». Мало того, что потребление в китайском обществе носит, как правило, вынужденный характер (покупают товар не потому, что он хорош, а потому, что другого нет), а спрос способен быстро переключаться (покупают не то, что нужно, а то, что есть). Потребитель, при всей его покладистости, тем не менее все увеличивающуюся долю продукции отвергает — настолько она плоха.

Попытки приказным путем заставить производителя полнее удовлетворять потребности населения во всех странах приносят результат лишь на короткое время. В Китае без особого успеха пробовали различные меры наподобие нашей госприемки. Но структурная перестройка показала, что без перехода к экономическим методам управления. без создания настоящего рынка дело дальше не сдвинется.

Таким образом, к середине 80-х годов Китай подошел к той грани, за которой отдельные, пусть даже успешные, преобразования перестают быть эффективными. Потребовался перевод всех звеньев экономической системы на рыночные рельсы. Тем самым традиционное противоречие между моральным и рациональным приобрело как бы превращенную форму и стало проявляться как столкновение между стремлениями к «плановому» нормированию и к рыночному регулированию, к уравниловке и оплате по труду Как свидетельствуют исследования китайских социологов, общество расколось надвое: одна — вначале бо́льшая — часть, вдохновленная успехами реформы, прониклась «рыночными» идеями, тогда как другая выступала за сохранение нормированного распределения. Через два-три года, когда ощутимо заработали экономические рычаги и инфляционные процессы вышли на поверхность, расклад изменился в пользу «плановиков».

Но у этого противоречия есть и другая, уже сугубо практическая, сторона. Рынок коренится в восточной цивилизации, быть может, даже глубже, чем в западной. Доказано, что изначально, еще на стадии становления, азиатское общество имело более развитые товарные и особенно денежные отношения, чем Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму. Однако отношения эти на Востоке всегда были загнаны настолько глубоко, что существовали как бы «в тени». Поэтому когда делаются попытки развивать рынок, он прежде всего «в тени» и развивается. В странах, вошедших после освобождения от колониального гнета в систему мирового капиталистического хозяйства, «теневая экономика» составляет в настоящее время порой половину и более валового национального продукта, тогда как в Западной Европе и США — в среднем около десяти процентов.

«Теневая экономика» — это обычные товарно-денежные отношения, но в карикатурном, извращенном виде. Как бы «в пику» этическим принципам она рациональна до бесчеловечности. Прошлым летом китайская пресса забила тревогу: во многих районах страны были выявлены случаи незаконного применения на производстве детского труда. В нескольких уездах провинции Хэбэй до десяти процентов (на некоторых предприятиях — до двадцати) рабочей силы — дети. Для выяснения подробностей столичный корреспондент посетил женское общежитие одной из фабрик города Шэньчжэня на юге Китая. Оно представляло собой лишенный каких бы то ни было удобств сарай с деревянными кроватями внутри, на каждой из них спало по два-три человека. Девушки, младшей из которых было двенадцать лет, рассказали, что их рабочий день длится 14—15 часов — с семи утра до десяти или одиннадцати вечера с короткими перерывами на обед и ужин. Месячная зарплата детей в два-три раза меньше, чем у взрослых,— 80—100 юаней, большую часть из этих денег они уплачивают за жилье, питание и обучение. Одна из девочек рассказала, что на руках у нее остается 10 юаней и она даже не может купить билет на поезд, чтобы уехать домой.

Если судить с позиций европейца, то «теневая экономика», выходя благодаря развитию рынка из подполья (кооперативы, индивидуально-трудовая деятельность), должна начать приносить пользу всему народному хозяйству. Однако в восточном обществе она, подобно экономике «официальной», тоже имеет замашки кадавра. Вместо того чтобы помочь государству подорвать монополизм предприятий «общественной» собственности и лучше учитывать потребности населения, многие «социалистические предприниматели» зачастую еще более цинично наживаются на диспропорциях и дефицитах. В 1987 году городские власти Гуанчжоу

провели крупную проверку работы торговли. С помощью контрольных закупок было установлено, что недобросовестность продавцов находится в прямой зависимости от их удаленности от государственного контроля. В государственных магазинах из каждых ста закупок обвесы были обнаружены в тридцати трех случаях, в кооперативных — в тридцати семи, в индивидуальных — в сорока восьми.

Китайская пресса в последние годы часто пишет о случаях продажи кооператорами и индивидуалами подделок, бракованных товаров. Часты случаи отравления пищевыми продуктами и лекарствами. В провинции Гуйчжоу группа оборотистых дельцов наладила производство вина и стала продавать его без санитарной проверки. Тринадцать покупателей умерли, двое ослепли. Было выяснено, что вино готовилось из технического спирта с содержанием метанола, превышающим допустимую норму в 341 раз.

В государственном секторе усиление рыночных элементов также привело к парадоксальным результатам. Выяснилось, что экономические рычаги, призванные разрушать старые структуры, наоборот, начинают на них работать. Таким образом, оказывается под сомнением вся концепция реформы: ведь развитие товарно-денежных отношений — это стержень реформы хозяйственного механизма. В такой ситуации без переосмысления начатых преобразований не обойтись. Надо всерьез решать, что делать дальше.

В середине прошлого года в условиях нарастающей социальной напряженности в стране развернулась дискуссия о путях дальнейшего развития. Отчетливо выявились два подхода. Одни считали, что надо, несмотря на трудности, не только не снижать темпы реформ, но и увеличивать их. Другие, наоборот, призывали к осмотрительности и приостановке преобразований для «наведения порядка». Оселком, на котором проверялась позиция тех или иных специалистов и руководителей КНР, стал вопрос о ценах. Радикально настроенные деятели главным звеном всей экономической перестройки считали реформу ценообразования, призывая завершить ее как можно скорее. Аргументы были сильными. Взявшись за создание товарной экономики, нельзя останавливаться на полпути. Трудности вызваны не самими реформами, а их недостаточностью. Ведь пока не достигнута «критическая масса» нововведений, старая система «пожирает» новые формы хозяйствования, приспосабливает их к своим законам. Поэтому всякая задержка «работает» на командную экономику, и надо рисковать, но идти дальше к рыночному ценообразованию.

В июне 1988 года Чжао Цзыян, бывший тогда еще Генеральным секретарем ЦК КПК, сделал ряд публичных заявлений об «оправданности риска» при проведении реформы цен. Вслед за ним с аналогичных позиций выступили некоторые другие руководители. Вань Ли, например, в одной из своих речей сказал: «Реформа в нашей стране находится на самом ключевом этапе. В течение ближайших лет необходимо совершить труднейший прорыв в области реформы цен и заработной платы. Можно ли перед лицом огромных трудностей, связанных с реформой цен и зарплаты, подождать несколько лет, а потом уже взяться за дело? Нельзя. Международный опыт свидетельствует, что чем дольше затягивать с проблемами реформы цен, тем труднее их решить» [1].

Была и другая точка зрения. Ее сторонники — и их тоже можно понять — считали безумием опять трогать цены в условиях огромной товарно-денежной несбалансированности. Когда суммы платежных средств значительно перекрывают стоимость всей продукции народного хозяйства, любая реформа однозначно вызовет резкий инфляционный скачок. Цены будут расти уже не на десятки, а на сотни, если не на тысячи, процентов в год. Тогда ни о каких преобразованиях вообще уже не будет идти речь, единственной задачей станет сдерживание недовольства населения всего Китая.

Нетрудно догадаться, что при возросшем в стране за последние годы страхе перед неконтролируемой инфляцией у тех, кто призывал к скорейшей реформе цен, было немного шансов убедить оппонентов. После целой серии совещаний руководство КПК пришло к мнению о необходимости «навести порядок в экономике и оздоровить экономическую среду». Как выстрел прозвучали на третьем пленуме ЦК КПК 13-го созыва в сентябре 1988 года слова: «При переходе от старой системы к новой во избежание хаоса в экономической жизни никак нельзя преждевременно и легкомысленно ослаблять административные методы» [2]. У принятого решения логика была железной. Навести порядок можно только с помощью насилия: остановкой печатного станка, запретами на выдачу кредитов и увеличение зарплаты, ограничениями строительных работ и т. п. Не обойтись и без морального давления: пристыдить одних, наказать других. Пленум с полной серьезностью заявил, например, о том, что одна из главных причин чрезмерного роста ассигнований на капитальное строительство и отчислений в фонд зарплаты — «низкая дисциплина членов партии». Так произошел возврат к администрированию в экономике. За считанные месяцы действие многих экономических рычагов управления было приостановлено.

3

Развертывать демократию можно лишь постепенно, нельзя копировать то, что есть на Западе, иначе это приведет к хаосу.
Дэн Сяопин

Апрельским утром 1987 года жители одного из селений провинции Чжэцзян стали свидетелями трагедии, описанной журналом «Миньчжу юй фачжи». «Маленький мальчик лежал в луже крови. Рядом с ним валялся испачканный кровью топор. В свинарнике неподалеку на вязанках хвороста, окоченевшая и недвижная, лежала девушка с пепельно-белым лицом. Ее сердце уже остановилось. Рядом с трупом — открытая бутылка с инсектицидом распространяла сильный и едкий запах. Девушку звали Тун

[1] «Жэньминь жибао», 2.VII.88.
[2] Там же, 28.X.88.

Цзиньсу. Ей было двадцать пять лет. Мальчика звали Гэ Хайсянь. Ему было четыре года. Он был сыном Гэ Цичэня, заместителя мэра округа Цяньтун. Тун Цзиньсу нанесла мальчику удар по голове и убила его. Затем она бросилась на связку хвороста и покончила с собой, приняв яд».

Местным жителям было жаль невинного ребенка. Однако, осуждая дикое преступление, они сочувствовали убийце. «Пошлите жалобу в высшие инстанции,— советовали они родителям девушки.— Если не хватает денег, мы соберем. Пока Тун Цзиньсу была жива, никто не хотел заниматься ее делом. Теперь ее нет, и мы должны довести дело до конца». Лавина писем обрушилась на партийные и административные органы. Наконец через четыре месяца партийными органами был принят официальный документ, озаглавленный: «Две человеческие жизни за курицу — бюрократизм и личные связи приводят к серьезным последствиям».

Причиной трагедии в буквальном смысле стала курица. Однажды она попала под колеса тележки с пшеницей, которую тащила Тун Цзиньсу. Произошло это рядом с домом родителей и родственников мальчика. Они выскочили на улицу и жестоко исколотили девушку, причем один из них наносил удары ногами по интимным частям тела. Девушка серьезно заболела, но, поскольку она была из бедной семьи, денег на необходимые лекарства не хватало. Она обратилась в официальные органы с требованием, чтобы избившие ее люди оплачивали лечение. Началась многомесячная волокита. Тун Цзиньсу отсылали из одной организации в другую, нередко она выслушивала оскорбления от чиновников. Наконец, когда в очередном кабинете ее обозвали «бесстыжей», она пришла домой и схватила топор...

В этом жутком случае как в капле воды отражаются важнейшие психологические особенности человека восточного общества. Раздвоенность его мотивации имеет свое продолжение в поведенческих стереотипах, для которых характерна находящаяся в единстве противоположность покорности, пассивности, с одной стороны, и агрессивности, разрушительности — с другой. Целый год Тун Цзиньсу безропотно сносила издевательства бюрократической машины, а потом вдруг совершила акт дикой, бессмысленной жестокости.

Сопоставление традиционного восточного сознания с социально-психологическими особенностями «доперестроечного» социалистического общества выявляет много общих черт. Советский психолог Л. Я. Гозман называет следующие факторы, определявшие в нашей стране в период застоя пассивность людей: ощущение бессилия, невозможности что-либо изменить в своей жизни, деиндивидуализация сознания, ощущение «крепостной зависимости», отказ от желаний и др. Многочисленными исследованиями доказано, что при таких установках человек из всех возможных вариантов реагирования выбирает наиболее деструктивный, приносящий максимальный вред окружающим и самому себе [1].

Обратной стороной пассивности является нетерпимость, неспособность принять точку зрения оппонента. Любая конфликтная ситуация доводится до крайности. В ноябре прошлого года газета «Яньчэн ваньбао» рассказала о десятилетиями длящейся борьбе жителей двух соседних деревень провинции Чжэцзян. Между ними регулярно происходят столкновения на кулаках и с применением оружия. Был описан недавний случай, когда драка нескольких молодых людей разрослась в крупное вооруженное столкновение, настоящий бой, в котором участвовало около четырехсот человек, имевших при себе самодельные ружья и даже пушки. Один человек погиб, двадцать ранено.

Даже производственные конфликты заканчиваются трагедиями. Прошлым летом «Жэньминь жибао» опубликовала комментарий-вопль: «Защитить предпринимателей!» В стране нередки случаи убийства хозяйственных руководителей подчиненными. Последней каплей, переполнившей чашу терпения редакции, стал случай, когда двадцатитрехлетний служащий зарезал свою начальницу — известную на всю страну директрису одной из гостиниц города Шэньяня Ван Шуцинь — за то, что та не выполнила его просьбу о переводе на другой участок работы. Суд приговорил его к смертной казни.

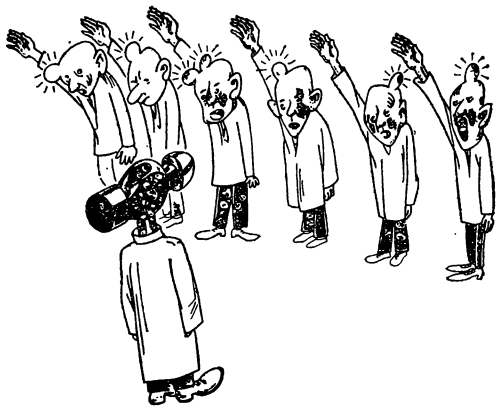
Но самые массовые трагедии происходят на почве межнациональных отношений. В 80-е годы в Тибете, Синьцзяне и других районах Китая произошли кровавые события, в каждом из которых бесполезно искать виновную сторону — настолько сильна взаимная ненависть. «Контрреволюционеры», «агенты зарубежных антикитайских сил», «головорезы», «прячущаяся по углам кучка людей, желающая увидеть мир ввергнутым в хаос» — все это выражения не времен «культурной революции», а современные эпитеты, которыми пресса наделяет участников выступлений по межнациональным проблемам.

Жители Тибета долгое время страдали от унижений и оскорблений со стороны местных властей. Пренебрежение к национально-религиозным особенностям, ограничения в области языка и культуры, деформации кадровой политики — все это десятилетиями подогревало недовольство тибетцев, служило почвой для антикитайских настроений. Рано или поздно взрыв должен был произойти. Пока положение оставалось беспросветным, вероятность обострения обстановки была не очень велика, но как только в стране к середине 80-х годов заговорили о перекосах национальной политики и появились первые надежды на улучшения, эмоции вырвались наружу. Выражения протеста были столь бурны и безрассудны, что для их сдерживания демократическими методами требовалось такое тонкое искусство, которому никто не был обучен.

Один из самых крупных инцидентов в Тибете произошел 1 октября 1987 года во время празднования годовщины образования КНР. Утром в городе Лхасе группа ламаистских монахов со знаменами вышла на улицы и начала выкрикивать по-тибетски: «Китайцы, убирайтесь вон из Тибета!», «Ату китайцев и их собак!» — и тому подобные оскорбления. Собралась толпа. Сопротивлявшихся монахов арестовали и отвели в полицейский участок. Он тут же был окружен тибетца-

[1] Л. Я. Гозман. Психологические аспекты торможения социальных изменений. «Вопросы психологии». 1988. № 6, с. 8—10.

ми, которые начали забрасывать здание камнями. Кто-то перевернул и поджег стоящие рядом автомашины. Прибывшие к месту происшествия пожарники не смогли пробиться к зданию сквозь толпу и направили струи воды прямо на людей. Тогда в пожарные машины полетели камни. Разъяренная толпа облила керосином и подожгла полицейский участок. Находившиеся там сотрудники органов правопорядка выбрались наружу, после чего погромщики ворвались в здание, разгромили кабинеты и уничтожили документацию. Пожар длился почти целый день. По официальным данным, в тот день погибло шесть тибетцев и девятнадцать полицейских было ранено.



Власть молотка. *(Рисунок из газеты «Чайна дейли»)*

Общественные реформы вызвали огромные социально-психологические изменения в Китае. Резкий скачок в уровне жизни, появление элементов материальной заинтересованности в результатах труда, снятие некоторых ограничений на выбор места жительства, сокращение сферы вмешательства государства в личную жизнь граждан способствовали социальному пробуждению страны. Начал размываться стереотип пассивного поведения, у людей появилось больше жизненных интересов, они стали разнообразнее. В первые годы реформ, судя по результатам опросов общественного мнения, большинство китайцев ждало от новой политики одного — улучшения продовольственной ситуации, роста доходов. Сейчас спектр желаний стал заметно шире: среди них и соблюдение принципа оплаты по труду, и достижение социальной справедливости, и демократизация общественной жизни.

Однако, как говорится в китайской пословице, легче передвинуть реки и горы, чем изменить человеческую натуру. Само по себе появление зачатков социальной активности в стране, где тысячелетиями не изменялись традиционные установки общественного сознания,— это, конечно, очень важный факт. Но все же стереотипы пассивного либо агрессивного поведения остаются главенствующими. Принято считать, что общество, воспринявшее социалистическую идеологию, становится социально более зрелым. К сожалению, тут не все так просто. В традиционном восточном обществе идеология тоже играет большую, хотя и весьма своеобразную роль. В условиях постоянного голода и лишений человек всегда пытался компенсировать материальные трудности верой в духовные ценности. В самоотчужденном азиатском обществе это стремление приобретает крайнюю форму: если в европейской цивилизации дело ограничивалось верой в лучшую загробную жизнь и поклонением богу, то в азиатской человек «отказывался» от земных благ ради абстрактной идеи. В Китае такими абстракциями были Небо, Дао. Простой человек мог даже не знать, что это такое, и замена одного символа на другой не представляла собой большой трудности. От этого ничего не менялось.

Такое мировосприятие оказывается чрезвычайно устойчивым и беспрепятственно передается из поколения в поколение. Об этом свидетельствуют организованные в начале 80-х годов опросы китайских школьников на тему «Что ты знаешь о коммунистической партии?». Оказалось, что среди городских детей 54 процента ничего не знали, а из остальных одна половина смогла вспомнить лишь ее название, другая — дату основания и имена нескольких руководителей. Что же касается сельских школьников, то четверо из каждых пяти не представляли отчетливо, является коммунистическая партия (гунчаньдан) организацией или конкретным человеком. Вот примеры ответов: «Гунчаньдан — это Родина». «Гунчаньдан — это председатель Мао». «Гун Чаньдан живет в Пекине, а у нас здесь его нет». «Гун Чаньдан — это человек. В прошлом он сражался с врагами, а сейчас врагов уже нет, и он переменил работу». «Гун Чаньдан не живет в нашем районе, у нас живут только его сподвижники».

Возможно, такие ответы выглядят странно, но на самом деле ничего удивительного в них нет. Хорошая «политическая подкованность» человека социалистического общества — это нередко миф, за которым стоит традиционная установка на соблюдение ритуала. Своего рода игра, в которой каждому отведена своя, заранее расписанная роль.

Лет десять назад среди шанхайских студентов (представляющих, по сути дела, сливки молодежи) был проведен опрос, результаты которого настолько шокировали местных руководителей, что они долго не решались предать их гласности. Выяснилось, например, что только треть студентов своим идеалом назвала коммунизм. Большинство остальных заявили, что у них нет идеала или что они верят «в небо», а два процента признались в своих религиозных воззрениях и «преклонении перед капитализмом». Чуть больше трети высказали заинтересованность в политических вопросах, тогда как остальные охарактеризовали свое отношение к ним как «безразличие», «отвращение» и даже «страх».

Осуществлять демократизацию в таком обществе чрезвычайно трудно. Многие просто не испытывают в ней нужды. Для них, например, богатые прилавки магазинов могут быть куда важнее любых изменений политической системы. Популярность лидеров страны определяется зачастую способностью «накормить народ», а не политическим ис-

кусством. Скажем, в первые годы после начала реформы Чжао Цзыян и Вань Ли работали первыми секретарями провинциальных парткомов (один — в Сычуани, другой — в Аньхое). Эти провинции стали застрельщиками семейного подряда в деревне и добились самых значительных успехов в решении продовольственной проблемы. После этого по всему Китаю из уст в уста распространилась частушка:

Желаешь быть сытым и пьяным —
Сыщи поскорее Цзыяна.
Мечтаешь о каше рисовой —
Вань Ли к себе сразу выписывай.

Популярность этих двух лидеров, так же как и ряда других, совпала с их действительно выдающимися личными качествами, что в немалой степени и обеспечило поразительный успех многих преобразований. Но реформы все же проводились «сверху», что сохраняло отчужденность масс от власти, от принятия жизненно важных решений. Вследствие этого в обществе продолжает существовать столетиями укоренившаяся болезнь, которую можно назвать синдромом стороннего наблюдателя. Ощущение бессилия выступает как устойчивая характеристика общественного сознания, не исчезающая даже тогда, когда возможности влиять на судьбу страны и свою собственную у людей начинают появляться (скажем, благодаря развитию аренды, хозрасчета и т. п.).

За десять лет реформ политическая активность масс возросла, среди студенчества и интеллигенции усилились демократические настроения. Их выразил один из старейших членов КПК Ся Янь, заявивший в интервью газете «Шицзе цзинцзи даобао»: «В области идеологии Советский Союз движется быстрее нас. Гласность Горбачева куда полнее нашей открытости. Они так сурово критикуют Сталина, а кто у нас решится на открытую критику Мао Цзэдуна?» Но в обществе остался и синдром стороннего наблюдателя. Это противоречие выразилось в персонификации активизировавшимся общественным сознанием всех жизненных трудностей независимо от того, являются они объективными или вызваны ошибками руководства, чьей-то злой волей. Виновниками всех проблем люди считают конкретных государственных лидеров, партийно-государственный аппарат или новые социальные группы, появившиеся благодаря реформам (зажиточные крестьяне-арендаторы, кооператоры и частники в городах). А выражать свое недовольство массы могут пока лишь в агрессивной форме, чреватой кровавыми последствиями.

Для конструктивного разрешения такого противоречия нужна политическая реформа. Постепенная демократизация общественной жизни позволила бы массам овладеть навыками демократического волеизъявления. В теории все ясно. А на практике? В одном из своих выступлений 20-х годов Н. И. Бухарин говорил об «опасности политической демократии, которая может получиться, если демократия пойдет через край». Нынешнее китайское руководство знакомо с демократией «через край» не в теории, каждый из лидеров старшего поколения был репрессирован в годы «культурной революции». В нашей литературе долгое время главное внимание обращалось на то, что действия хунвэйбинов и цзаофаней умело использовались «ультралевой» группировкой КПК для захвата власти, и практически никак не оценивалась стихийная сторона этого реакционного переворота. Между тем «культурная революция» представляла собой не что иное, как охлократию — диктатуру черни, чьим идеалом является господство крайне «левого» тоталитаризма.

Но как определить тот «край», за которым демократизация оборачивается своей противоположностью? Что можно отнести к проявлению «плюрализма», а что назвать «массовыми беспорядками» и «антисоциалистическими действиями»? Ответы на такие непростые вопросы вдвойне трудны для руководителей КНР, «обжегшихся» на «культурной революции», не способных, наверное, до конца дней забыть, как их били и унижали, напяливая дурацкие колпаки и заставляя каяться в несовершенных грехах, как заставляли чистить коровники во время «трудового перевоспитания» в деревне.

Неудивительно, что в последние десять лет процесс демократизации в Китае развивался «волнообразно», с приливами и отливами. Первая мощная волна возникла в начале реформ (1978—1979 годы), когда на самом высоком уровне велась жесткая критика порядков «культурной революции», официально названной периодом «феодально-фашистской диктатуры». На такое и мы не решились, хотя гонения 1966—1976 годов в КНР выглядели детской игрой по сравнению с масштабами сталинских репрессий. Эта волна, получившая название «пекинской весны», сопровождалась массовыми движениями под лозунгами демократизации, созданием неформальных организаций, выдвигавших лозунги, находившиеся, что называется, «на грани». Через некоторое время последовали аресты. Критика исторических событий была приглушена.

Впоследствии происходили и другие драматические события: кампании по борьбе с «духовным загрязнением» в конце 1983 года, с «буржуазной либерализацией» в начале 1987 года. Тут уже китайцы могли нам позавидовать. Кампании носили скорее демонстративный характер, чем отражали наскоки «оппозиции». С точки зрения нашего уровня гласности странной, например, выглядела критика ряда деятелей науки и культуры за отстаиваемые ими «теории отчуждения и гуманизма». Высказывали они взгляды, являющиеся для нас уже само собой разумеющимися: о деформациях социализма, об отчуждении человека от средств производства и процесса управления, о примате общечеловеческих ценностей. Тем не менее отношение к ним было жестким, у людей возникали неприятности на работе, некоторых исключили из партии.

Переломным моментом стали в Китае студенческие демонстрации, прошедшие в конце 1986 года в Шанхае и охватившие несколько других крупных городов. Они завершились мирно, обошлось без жертв, но после них Ху Яобан был снят с поста генсека, а официальная пропаганда начала настойчиво проводить тезис о том, что забегание вперед в деле демократизации опасно.

Уже тогда было нетрудно связать студенческие демонстрации и отставку Ху Яобана. В дни политического кризиса вес-

ной 1989 года китайские лидеры публично заявили, что в руководстве страны существовало два подхода к политической реформе. Ее необходимость никто не оспаривал. Но одни призывали ускорить процесс, поскольку без активного участия масс реализация реформ невозможна. Особое внимание они уделяли «раскрепощению сознания», освобождению от идеологических догм, мешающих перестройке. Другие руководители главное содержание демократизации видели в ее постепенности, опасаясь неконтролируемого развития событий, стихии масс. Особым предметом их беспокойства была возможность деидеологизации общественного сознания, отказа от идей социализма в условиях крутого перелома. Эта точка зрения возобладала.

Осенью 1987 года на XIII съезде КПК была принята очень цельная программа постепенного осуществления политической реформы, во многом совпадающая с резолюциями XIX конференции КПСС. Очевидно, партийный аппарат решил, что демонстрационного воздействия съезда будет достаточно для стабилизации положения в стране. Проведенный в начале 1988 года опрос двухсот крупных руководителей Пекина показал, что большинство из них (74 %) не проявляли беспокойства по поводу политической обстановки в стране, считая, что она должна улучшиться по сравнению с 1987 годом. Между тем именно в это время в Китае начались невиданные ранее организованные проявления гражданского протеста и неповиновения. За первую половину 1988 года в местные органы власти поступило более тысячи заявок на проведение различных демонстраций, а на промышленных предприятиях произошло 49 «незаконных забастовок».

Особенно сильное недовольство политическим положением в стране распространилось среди студенчества. В 1987 году пекинские социологи определили, что более половины молодых людей в возрасте до 35 лет выражают недоверие правительству. Наиболее единодушным было мнение о недостаточности демократических свобод в стране (75 % респондентов).

Для новых волнений достаточно было и незначительного повода. Весть о смерти Ху Яобана вывела на улицы сотни тысяч, а затем и миллионы людей. Первая официальная реакция властей была очень жесткой. Передовица «Жэньминь жибао» 26 апреля 1989 года говорила о «кучке людей», которая «под демократическими лозунгами попирает законы демократии» и «всю страну ввергает в хаос». Выступления были квалифицированы как «спланированный заговор», как «беспорядки», которые фактически «отрицают руководство КПК, отрицают систему социализма».

Чжао Цзыян в это время находился с официальным визитом в КНДР. Вернувшись в Пекин, он с полной определенностью публично заявил о том, что демонстрации проходят под лозунгами поддержки КПК, социализма, реформ и демократии, борьбы с реально существующей коррупцией и «вовсе не противостоят основам нашей системы». В течение всего мая Чжао Цзыян при поддержке нескольких своих сторонников на многочисленных совещаниях пытался убедить Дэн Сяопина и Политбюро ЦК КПК в правильности оценки студенческого движения как «патриотического», но, встретив противодействие большинства, попросил об отставке.

18 мая Чжао Цзыян вместе с Ли Пэном встретились на площади Тяньаньмэнь с голодавшими студентами. «Мы пришли слишком поздно,— сказал им Чжао (шел седьмой день голодовки),— простите нас». Он попытался объяснить, что для решения поставленных студентами вопросов нужно время. Некоторые требования могут быть удовлетворены, и стороны способны прийти к единому мнению. Плача, он просил прекратить голодовку: «Вы еще молоды, у вас вся жизнь впереди. Сейчас, когда в нашей стране осуществляются четыре модернизации, вы должны быть здоровыми. Вы не то, что мы. Мы уже старые, и нам все равно. Нелегко было государству и вашим родителям вырастить вас и дать возможность учиться в университете!» [1]. Очень скоро эти слова были расценены как «неразумные», свидетельствующие об отсутствии у Чжао Цзыяна «чувства организованности и дисциплины».

Ситуация оставалась неясной до тех пор, пока количество участников демонстраций не стало превышать самые крупные сборища времен «культурной революции». Когда замаячил этот зловещий призрак, в Пекине впервые за последние годы собрались самые уважаемые ветераны партии, занимавшие в недавнем прошлом высокие посты,— Чэнь Юнь, Ли Сяньнянь, Пэн Чжэнь, Дэн Инчао, Ван Чжэнь. Было принято решение о введении военного положения. 26 мая под председательством Чэнь Юня — человека высочайшего в Китае авторитета, бывшего главным теоретиком в области экономических реформ,— состоялось заседание Постоянного комитета Центральной комиссии советников КПК, на котором было заявлено, что не для того китайская революция прошла через десятилетия страданий и борьбы, не для того миллионы героев отдавали свои жизни, чтобы «жалкая кучка людей» чинила беспорядки. Ветераны решили, что под угрозой не только завоевания десятилетних реформ, но и завоевания кровью добытой революции, завоевания социализма. Через восемь дней на площадь Тяньаньмэнь ворвались танки.

Проявило себя в действии основное противоречие восточных цивилизаций — противоречие между реальной и признанной необходимостью (ввиду угрозы голода, экономического кризиса, внешней опасности, внутренней контрреволюции — перечисление можно продолжить) жесткой централизации власти, позволяющей ускорить общественное развитие, и неизбежностью превращения этой власти в авторитарный режим, становящийся препятствием общественному прогрессу.

Это противоречие является основным и для социализма. Сколько раз в социалистических странах раздавались призывы: «для решения этой важной задачи мы должны все, как один...», «сейчас, как никогда, от нас требуется полное единство действий...», «демократия — это прежде всего дисципли-

[1] «Жэньминь жибао», 20.V.89.

на!» Эти выражения удивительным образом перекликаются с высказыванием Конфуция об управлении государством: «Надо постоянно быть в напряжении, вести дела с чувством преданности вышестоящим».

В самом деле, если в обществе, где поведение людей определяется чередованием пассивности и агрессивности, дать возможность всем до конца отстаивать свою точку зрения, то вся жизнь будет состоять из борьбы идей, время от времени переходящей в политическую и военную сферы, а до практических действий, направленных на развитие страны, дело не дойдет. Но ограничение дискуссий — это ограничение демократии, за которым неизбежно следует усиление авторитаризма, установление режима личной власти, переход к командным методам управления.

Все реформы в социалистических странах до недавнего времени проходили один путь: сначала упор на экономические методы хозяйствования и демократизацию, потом укрепление централизованной власти и, наконец, возврат к администрированию в экономике, после чего круг замыкался. Реформа в Китае не стала исключением. За жесткой оценкой студенческих выступлений и кампанией борьбы с «буржуазной либерализацией» в 1987 году последовали шаги, направленные на стабилизацию положения в народном хозяйстве административными способами. А закончилось все политическим кризисом, разрешенным грубой силой.

4

Дать народу или отнять у него, сделать его бедным или богатым — все в воле правителя.

«Гуань-цзы», древнекитайский трактат

В первой половине 80-х годов в Китае было многое сделано для ограничения власти бюрократии. Действовали очень энергично: крупные сокращения аппарата, перестановки руководящих кадров, резкое омоложение партийных и государственных органов. Можно было предположить, что при таком подходе к делу результаты административных реформ не заставят себя ждать. Но вот, например, что произошло в городе Вэйфан. Через три года после начала перестройки количество органов хозяйственного управления увеличилось почти в полтора раза, численность управленческих работников более чем удвоилась. Обследования показали, что среди «командиров экономики» в городе лишь треть можно отнести к профессионалам, всерьез занимающимся хозяйственными вопросами. Остальные пришли с партийной работы или являются «чистыми» администраторами.

Подобного рода «сокращения» чиновничьего аппарата, заканчивающиеся в конце концов еще большим его разбуханием, встречаются в многовековой китайской истории постоянно. Любые реформы, направленные против бюрократии, оборачиваются ей на пользу. Существует два традиционных способа обращения с чиновниками в период реформ. Первый состоит в том, что высшие руководители, пользуясь поддержкой масс, объявляют непримиримую войну бюрократам. В них видят причину всех напастей, свалившихся на страну. Организуется настоящее гонение: лишение привилегий, сокращение аппарата, кадровая карусель. Исход этой борьбы может быть двояким, но в обоих случаях цель не достигается. Когда решимость «верхов» оказывается недостаточной, чиновники, зная, что без них государство не обойдется, устраивают бойкот реформам. Метод избирается один и тот же: при сохранении всех внешних признаков подобострастия перед начальством его указания извращают до неузнаваемости либо не выполняют вовсе. Если же сопротивление бюрократии удается сломить, то она просто отходит от дел, и экономика, лишаясь элементарных организационных начал, приходит в состояние полного развала.

Другой способ более тонкий. Бюрократию пытаются подорвать с помощью товарно-денежных отношений в надежде на то, что свободный рыночный обмен будет осуществляться помимо ее участия. Но и в этом случае реформаторов постигает неудача. Чиновничий аппарат либо накладывает на элементы рыночных отношений жесточайшие ограничения, которые сводят на нет все благие начинания, либо присваивает себе «право первой ночи» на рынке, быстрее других наживаясь спекуляцией и монопольно высокой прибылью. В результате идея развития рынка дискредитируется и недовольство народа резко усиливается.

Первые же крупные экономические преобразования в Китае после перехода к политике реформ продемонстрировали живучесть традиционного поведения чиновничества. В конце 70-х годов в одном из уездов провинции Хэнань было проведено обследование первых результатов перехода на новые условия подряда. Работа каждой пятой сельской бригады оказалась парализована. Треть этих хозяйств попала в тяжелое положение из-за того, что местные руководители вынуждены были отказаться от ведения дел под напором «анархизма и индивидуализма» агрессивно настроенных масс. Для другой трети характерным стало положение, при котором, как отмечал местный партком, «финансы в беспорядке, счета запущены, кадровые работники занимаются накопительством, сильны коррупция, взяточничество, грабежи и воровство». В остальных бригадах либо руководство установило столько запретов и ограничений, что крестьяне отказались работать, либо массы настолько «отбились от рук», что забыли про земледелие и стали сводить друг с другом счеты за старые обиды, нанесенные друг другу разными кланами и родами.

Опасаясь ввязываться в серьезный бой с бюрократией, китайское руководство постаралось «не ссориться» с аппаратом. Эффект получился поразительный. До сих пор исследователи изумляются тому, что за какие-то два-три года в сельских районах с восьмисотмиллионным населением успешно удалось внедрить семейный подряд. В нашей стране пять лет потребовалось на то, чтобы только саму идею пробить, а в КНР за тот же срок и пробили, и осуществили, и прибавку в сто миллионов тонн зерна получили.

Сделано это было на удивление просто. «Включение» экономических по своему су-

ществу рычагов осуществили административным путем. Из бесед с сельскими руководителями разных районов Китая я понял, что везде сработал один и тот же механизм. Всем партийно-государственным органам по команде сверху вниз был отдан приказ: к такой-то дате обеспечить поголовный переход на семейный подряд. Не обошлось, конечно, без издержек. Семейную форму подряда ввели даже там, где эффективнее была, например, бригадная. Но поскольку в большинстве районов именно семейный подряд лучше всего соответствовал местным условиям, то в масштабах страны потери оказались незначительными. При этом сельским кадровым работникам дали возможность получить от преобразования выгоду. Им удалось не только приобрести землю, но и захватить лучшие участки, получить больше других техники, удобрений. Вскоре выяснилось, что из тех хозяйств, которые перешли на аренду и стали специализироваться на выпуске определенных видов товарной продукции, получая доход в десятки и сотни тысяч юаней, половину составляют действующие или бывшие кадровые работники.

Однако за первый взрывной эффект от «умасливания» бюрократии пришлось затем дорого заплатить. По мере продолжения реформ все большая часть населения стала чувствовать себя обманутой. Хотя обещания о лучшей жизни и были выполнены, потребность в социальной справедливости осталась неудовлетворенной. Люди видели, что работники партийно-государственного и хозяйственного аппарата «обогащаются в первую очередь», им же, как всегда, достаются лишь остатки. Опросы общественного мнения в последние годы зафиксировали все ускоряющийся рост недовольства, имеющего ярко выраженный этический оттенок. Среди его причин главными в социологических исследованиях фигурируют: использование служебного положения в личных целях, широкое распространение местничества и кумовства, неравенство возможностей выбора, получение нетрудовых доходов.

В нашей научной и политической литературе распространен тезис об уязвимости семейного подряда с точки зрения перспектив развития производства. Нередко при этом в качестве примера кивают на Китай, где сборы зерновых, достигнув максимального уровня в 1984 году, не только перестали расти, но и несколько снизились. Действительные причины спада в сельском хозяйстве КНР куда сложнее. Семейный подряд в его чистом виде как всеобщая форма организации труда просуществовал в китайской деревне недолго. Между крестьянскими дворами быстро началось расслоение. Значительная часть сельских жителей стала перебираться в город. Другие оказались на грани разорения и пошли в батраки. Наиболее сильные хозяйства превратились в фермы. Они стали скупать у соседей землю, прибегать к найму рабочей силы, кооперироваться между собой. Одним словом, четко определился фермерский путь развития, который еще нигде в мире себя не исчерпал.

Как представляется, определяющее влияние на рост трудностей в сельском хозяйстве Китая оказал подрыв стимулов в глазах крестьянства, для которого большое значение имеют соображения социальной справедливости. Не узость концепции семейного подряда, а новое возвышение бюрократии подорвало возможность развития аграрного сектора высокими темпами. Опять сработал стереотип: «Зачем я буду стараться, если все деньги и привилегии у кадровых работников?» Земля и остальные средства производства вновь стали выглядеть как «ничьи».

В очередной раз подтвердилась точность марксовой характеристики коммунизма, выступающего «на первых порах» как «всеобщая частная собственность», которая есть не отрицание эксплуатации человека человеком, а «только форма проявления гнусности частной собственности, желающей утвердить себя в качестве положительной общности». На практике «он стремится уничтожить все то, чем, на началах частной собственности, не могут обладать все; он хочет насильственно абстрагироваться от таланта и т. д. Непосредственное физическое обладание представляется ему единственной целью жизни и существования; категория рабочего не отменяется, а распространяется на всех людей...» [1]. Получается парадоксальная вещь: эксплуатация есть, но поиск эксплуататора подобен поиску черной кошки в темной комнате. Прикрываясь принципом «все — для блага человека», никто конкретно, и в то же время все вместе эксплуатируют друг друга. Каждый стремится получить от общественного пирога кусок побольше, обделяя тем самым окружающих. Разница состоит лишь в том, что одни находятся ближе к нему, а другие дальше.

Такое положение настолько непривычно для европоцентристских представлений, что, отказываясь смириться с мыслью о невозможности поиска того, кого нет, выдвигают разные толкования. В последнее время популярность приобрела идея о том, что главные эксплуататоры при социализме — это многочисленный слой людей, получающих маленькую зарплату, но ничего при этом не делающих. Правда, самые крупные шишки сыплются по-прежнему на бюрократов. Именно в них большинство видит главное зло. Существуют теории, согласно которым в лице чиновничьего аппарата противостоит всему обществу и эксплуатирует трудовой народ само государство.

После первых лет «умасливания» кадрового аппарата в процессе реформ китайское руководство начало постепенно урезать его права. Когда к середине 80-х годов недовольство населения стало явным, партийным и государственным чиновникам было запрещено заниматься любыми видами предпринимательской деятельности. Во многих районах для них были введены декларации о доходах. Опубликованы многочисленные запреты на прием подарков и подношений, устройство банкетов и т. п. Правительство стало поощрять доносительство на злоупотребления кадровых работников. За последние пять лет по письмам трудящихся, в том числе анонимным, возбуждено 3,6 миллиона уголовных дел, по кото-

[1] К. Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 года. К. Маркс, Ф. Энгельс. Из ранних произведений, М.,1956, с. 586—587.

Невозмутимый *(Рисунок из газеты «Чайна дейли»)*

рым наказано почти 800 тысяч членов КПК. В ряде городов установлены телефоны, позвонив по которым любой житель, не называя себя, может сообщить об известных ему незаконных деяниях чиновников.

В обществе, где большинство населения пассивно, только государственный и партийный аппарат мог оказаться инициатором процессов обновления, только он оказался способным начать осуществление реформ. Но чем глубже и последовательнее затрагивали жизнь общества реформы, тем сильнее подрывались позиции бюрократии и тем резче обозначалась опасность провала перестройки.

Способность начать преобразования, чреватые самоуничтожением, объясняется неоднородностью интересов аппарата. Если средняя его часть, занимая промежуточное положение, может почти полностью замыкаться на себе, то верхняя и нижняя обязаны (особенно в периоды обострения социальной напряженности) учитывать настроения масс — иначе невозможно долго удержаться у власти. Тем самым внутри аппарата постоянно возникают противоречия. Недаром в конце 70-х годов после первых попыток приступить к осуществлению реформы в Китае приобрела популярность пословица: «Верхи взялись за дело, низы полны надежд, а середина упирается».

При таком положении гигантское значение имеют личные качества высших руководителей страны, их политические взгляды, отношения друг с другом. Китаю в этом смысле повезло. Западные исследователи, не чурающиеся сомнительных, но эффектных параллелей, гипотетически сравнивали приход к власти Дэн Сяопина с возможными последствиями действий Н. И. Бухарина, если бы тот выжил и возглавил нашу партию после смерти И. В. Сталина. Это сравнение — по крайней мере до политического кризиса — не было лишено смысла: Дэн Сяопин, Чэнь Юнь, Бо Ибо и другие лидеры КПК развернули общественную перестройку в конце 70-х годов, имея уже готовую программу действий, за которую они боролись и жестоко страдали (Дэн Сяопин был трижды репрессирован!) в течение десятилетий.

Идеи многообразия форм собственности, развития рынка, хозрасчета и аренды были выношены нынешними китайскими руководителями в ходе непрекращавшейся борьбы с «леваками». Скажем, семейный подряд в деревне был впервые опробован в 1956 году, затем возродился в начале 60-х годов (одним из инициаторов тогда был Чжао Цзыян, возглавлявший партком провинции Гуандун), полуофициально использовался в период «культурной революции». В конце 70-х годов во многом на свой страх и риск эту форму хозяйствования ввели в своих провинциях несколько местных руководителей,— тот же Чжао Цзыян, Вань Ли, Сун Пин. Все они затем заняли высокие партийные и государственные посты.

Однако сколь бы выдающимися ни оказались личности, стоящие во главе государства, в восточной цивилизации неумолимо действует одна и та же закономерность. Анализируя опыт неудавшихся реформ в нашей стране (1953 и 1964 годы), академик ВАСХНИЛ А. Емельянов сделал вывод о том, что «на таких поворотных этапах, спустя 4—5 лет после смены политического руководства страны начинался отход от относительно демократических, коллективных методов руководства к авторитарному правлению. Новому лидеру достаточно было 4—5 лет для широкой узурпации власти. Авторитарность, волюнтаризм в политике неизбежно вели к утверждению административно-командных методов в экономике. Экономические методы, демократический механизм в этой области были несовместимы с недемократическим, авторитарным режимом в политическом курсе» [1].

Говоря об истоках авторитаризма в социалистических обществах, основное внимание обычно обращают на низкий культурный уровень подавляющего большинства населения. Первым наиболее полно обосновал эту концепцию Н. И. Бухарин. В настоящее время она пользуется широким признанием, особенно среди зарубежных ученых. Живущий в Швейцарии чешский экономист Ота Шик так пишет о причинах концентрации власти в СССР: «Особенно гибельной была нехватка специалистов. Будучи отсталой в промышленном и культурном отношении, Россия начинала с небольшим числом специалистов в экономике и технике, да и те в большинстве были представителями старых правящих классов... Эта ситуация была очень благоприятна для общего развития по пути концентрации и централизации, которое при господстве упрощенных теоретических посылок легко нашло рьяных сторонников. Нехватка надежных администраторов в органах управления низшего уровня, негодные концепции единоначалия, примитивно понимаемый «принцип демократического централизма» и нехватка средств производства — все это усилило позиции громадного центрального административного аппарата, несшего ответственность за распределение средств производства, трудовых и финансовых ресурсов, а также за постановку производственных задач» [2].

Однако наш семидесятилетний опыт заставляет усомниться в универсальности тако-

[1] А. Емельянов. Продовольственная проблема: истоки и пути решения. «Вопросы экономики», 1989, № 1, с. 14.

[2] Ота Шик. Система коммунистической власти. (Нью-Йорк, 1981), с. 13.

го подхода. Культурный уровень народа за это время неизмеримо вырос, а авторитаристские тенденции сохранились.

Существуют более общие причины, объяснимые с позиции моральной экономии. Для начала реформы и тем более революции требуется создание соответствующих социально-политических условий: подготовки общественного мнения, занятия ключевых постов в органах власти. Создание этих условий происходит, как правило, в острейшей борьбе, победить в которой могут лишь лидеры, склонные к харизматическому образу правления, обладающие такими чертами характера, как решительность, бескомпромиссность, умение «командовать». Но когда дело сделано (при относительно «мирном» перевороте на это требуется несколько лет) и нужно приступить к тому, ради чего и велась борьба, появляется объективная потребность в руководителях совершенно иного типа. Важнее всего становятся демократичность, образованность, восприимчивость к новому. В одном человеке столь разные качества уживаются редко. Если исходить из соображений эффективности, то очевиден вывод: руководство надо менять, причем не одного-двух человек, а подавляющее большинство. Но при господстве этических принципов это невозможно. Не только призыв, но и сама мысль об отстранении от власти вождей, жертвовавших ради реформ политической карьерой и даже жизнью, выглядит святотатством. Харизматические лидеры сохраняют свои посты, пытаются осуществить намеченные реформы и... губят их, поскольку привычные им командные методы несовместимы с действием экономических рычагов управления и демократизацией.

В Китае за последние десять лет сделано очень много, чтобы разорвать этот порочный круг. Параллельно с ЦК КПК создан новый орган — Центральная комиссия советников, задача которой, по словам Дэн Сяопина, не мешать работе ЦК. Здесь собраны ветераны партии, имеющие перед ней большие заслуги. Они остаются при деле, но, по замыслу, лишены возможности принимать политические решения. На тринадцатом съезде в 1987 году группа лидеров КПК во главе с Дэн Сяопином пошла на редчайший в практике мирового социализма шаг — добровольно, по собственной инициативе оставила свои основные посты. Но все равно старый механизм оказался сильнее. Во время политического кризиса именно за, казалось бы, отошедшими от дел восьмидесятилетними ветеранами осталось последнее слово.

5

— Это ты?
— Это я.
— Ты не человек.
— ...Не человек.
— Ты черт.
— ...Черт.
— Зачем ты пришел?
— Потому что ты думал обо мне.
— Думал о тебе?
— Потому что ты... изнывал.
Ты дожил до таких лет, когда к тебе приходят те, о ком ты думаешь.

Цзинь Юнь.
«Гоц Эре в нирване». Современная пьеса

Сколько ни занимаешься изучением Китая, не перестаешь удивляться обилию загадок, которыми наполнена жизнь страны. Десять лет назад в китайских газетах были опубликованы фотографии человека, у которого на голове вырос костяной рог длиной в тридцать с лишним сантиметров. А совсем недавно геронтологи обнаружили в отдаленных районах на севере страны несколько деревень, где средняя продолжительность жизни населения превышает восемьдесят лет. Предполагается, что причина массового долгожительства — повышенное содержание в почве каких-то минералов, обладающих тонизирующими свойствами. В одном из сел у подножия считающейся священной горы Тайшань, например, люди практически не болеют, и из 710 жителей сорока девяти — за семьдесят, одиннадцати — за восемьдесят и трем — за девяносто. Самый старый житель любит совершать стокилометровые велосипедные прогулки.

Среди многочисленных парадоксов, которыми наполнена общественная жизнь Китая, быть может, самый поразительный состоит в следующем. Китай как типичнейший представитель восточной цивилизации развивается циклически, причем спираль поступательного движения настолько сплющена, что больше напоминает замкнутый круг. Существуют разные предположения о том, что представляют собой циклы. Русский китаевед Е. Е. Яшнов, опубликовавший в 30-е годы в Харбине несколько интереснейших научных трудов, писал о том, что самый полный цикл имеет продолжительность четыреста — пятьсот лет, а внутри него есть несколько все более кратких по времени циклов. Но каждый, условно говоря, состоит из трех стадий: бурного подъема (связанного, как правило, с реформаторскими движениями), застоя и упадка. Возможности вырваться из порочных кругов возникают очень редко. Парадокс заключается в том, что больше всего шансов имеется не в период всеобщей перестройки и обнадеживающего роста, а именно в тот момент, когда, кажется, все способы уже испробованы и общество оказывается в тупике.

В процессе реформ возникают явления, процессы, которые таят в себе зачатки принципиально иных путей развития или же позволяют мысленно их продолжить. После кризисов создается наиболее благоприятная обстановка для того, чтобы увидеть, какие шансы выйти из порочных кругов имела страна.

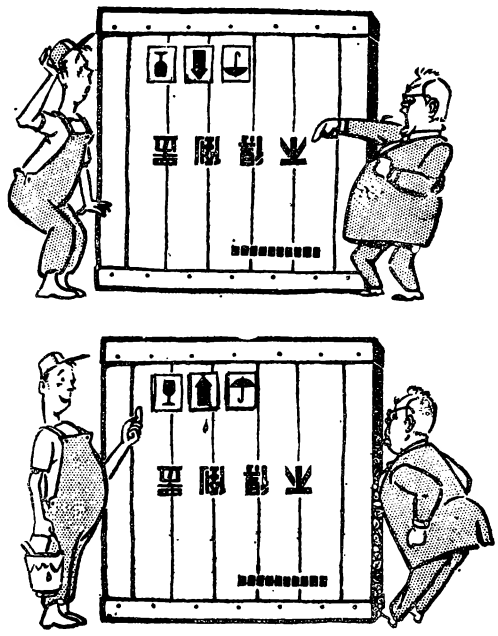
Как правило, подобный опыт и идеи рождаются на стыке глубоко традиционного и «сверхнового». В аграрном секторе Китая, например, в 80-е годы родилось так называемое «экологическое сельское хозяйство», построенное на биотехнологии. Китай,— возможно, самое древнее «биотехнологическое» государство. Еще тысячелетия назад процесс брожения использовался жителями страны для получения вина, уксуса, соевого соуса. Поэтому новые методы воспринимаются китайскими крестьянами как привычные. В настоящее время двести уездов страны с населением почти сто миллионов человек участвуют в разнообразных экспериментах по созданию хозяйств, основанных на полном и комплексном использовании природных ресурсов по экологически чистой, безотходной технологии.

Ярким примером такого хозяйства служит одна из деревень в провинции Сычуань. Ее крестьяне, основным занятием которых всегда являлось рисоводство, перешли на семейный подряд и с помощью специалистов начали на обрабатываемой ферментами рисовой соломе выращивать грибы. После сбора грибов солома идет теперь на корм свиньям. Навоз со свиноводческой фермы подается на небольшие биогазовые установки, вырабатывающие электричество, а после отработки используется для разведения червей и рыбы. Червями откармливают цыплят. Таким образом, на месте монокультурного хозяйства развился единый безотходный производственный цикл, в котором соединены рисоводство, свиноводство, птицеводство, рыбное хозяйство, выращивание грибов и выработка электроэнергии. По развитию биоэнергетики, кстати, Китай сейчас находится на первом месте в мире. В стране действует около восьми миллионов биогазовых установок, обеспечивающих топливом и энергией десятки миллионов человек.

Подобные технологические «прорывы» могут перевернуть жизнь уже нынешнего поколения китайцев. Аналогичные примеры на Востоке есть. Смогла же Япония с ее традиционным искусством миниатюры вырваться на ведущие позиции в мире по развитию микроэлектроники! Да и сам Китай, хотя пока и отстает, по темпам развития информационной индустрии значительно обгоняет среднемировой уровень. Если в 1980 году в стране было лишь 600 персональных компьютеров собственного производства, то сейчас — около двухсот тысяч.

Существуют зачатки революционных изменений и в производственных отношениях. Опыт Китая наглядно демонстрирует, что само по себе использование экономических методов управления не только не пробивает брешь в порочных кругах, а, наоборот, помогает еще глубже в них увязнуть. За годы реформ среди ученых и государственных деятелей КНР окрепла идея о том, что требуется более кардинальная перестройка, которая бы затрагивала основы общественного строя, подчиняющегося законам моральной экономии. Главный удар, по их мнению, должен быть направлен на отношения собственности, и прежде всего — на государственную собственность. Десятилетняя реформа в КНР подтвердила то, что уже неоднократно показывали преобразования в других социалистических странах: государственная собственность никогда не лишается своего бюрократического характера, не способна обеспечить выхода на принципиально новые уровни эффективности и качества, не может отойти от затратного типа развития.

Попытки внедрения хозрасчета на государственных предприятиях КНР требуют гигантских усилий и кончаются, как правило, формализмом. Но даже если настоящий хозрасчет становится реальностью, антагонизмы просто спускаются с макро- на микроуровень. При формальном хозрасчете министерства измываются над народом, а при фактическом хозрасчете этим занимаются предприятия. Хозрасчет на государственных предприятиях, конечно, обеспечивает определенный рост производительности труда. Но сравнение этого показателя с кооперативным и индивидуальным секторами выглядит весьма бледно. За годы экономической реформы в Китае соотношение приростов составило соответственно 1:2:7. В городе Вэньчжоу в прошлом году было проведено обследование работы предприятий разных форм собственности. Выяснилось, что при прочих равных условиях (предприятия выпускают сходную продукцию по одной и той же цене, пользуются примерно равными правами при получении сырья и топлива и т. д.) на частных предприятиях производительность труда на 38 процентов, а фондоотдача в 3,6 раза выше среднего уровня государственных и кооперативных предприятий. Стоит всей китайской промышленности совершить такой скачок — и двадцатилетнее отставание от передового мирового уровня резко сократится.



Перестройка
Надпись на ящике (вверх ногами): «Не кантовать». *(Рисунок из газеты «Жэньминь жибао»)*

В Вэньчжоу на протяжении 80-х годов осуществляется серия крупных экспериментов, наиболее удачные из которых распространяются затем по всей стране. Апробированы там и преобразования, связанные с изменением отношений собственности. Наряду с введением многообразия хозяйственных форм резко изменена их структура. Господствующей стала кооперативная собственность, на которую приходится более половины всей выпускаемой продукции. Около трети дают индивидуальные и частные предприятия, тогда как на государственную собственность приходится лишь 18 процентов.

Ростки нового только тогда не выродятся и не зачахнут, когда возникнут благоприятные условия для их развития. В соответствии с парадигмой моральной экономии, все прогрессивные начинания в восточных цивилизациях будут гибнуть, пока не произойдут глубокие изменения в их основе — мотивах человеческого поведения. Американский психолог Дж. Аткинсон установил, что господство в сознании характерного для

Востока принципа «безопасность — прежде всего» означает отрицательную мотивацию к любым видам деятельности. При общей нерасположенности к изменениям и риску люди в таком обществе, конечно, живут и работают, но их ценности выглядят весьма своеобразно. Если в западных цивилизациях с их настроенностью на прогресс и достижение успеха человека больше всего привлекает решение реальных задач средней трудности, то на Востоке именно они вызывают само сильное неприятие. Куда спокойнее воспринимаются задачи либо простые до примитивности, либо непосильно сложные, близкие к праздным мечтаниям.

Традиционно в Китае в периоды реформ спорили два основные идейно-политические направления — этическое (конфуцианцы) и рациональное (легисты). Одни призывали прежде всего к строгому исполнению моральных норм и ритуалов, возрождению древних принципов организации семьи и государства, усилению патернализма. Другие требовали установить равные для всех рациональные нормы потребления, унифицировать условия и образ жизни, ликвидировать инакомыслие, создать строго иерархичную систему управления. Для одних предпочтительнее выглядело некоторое расширение свободного рынка, использование государством экономических рычагов управления, воздействие на массы идеологическими методами. Другие выступали как «антитоварники», сторонники командной экономики и тоталитаризма. Но все эти различия не имели принципиального характера, поскольку в основе обоих направлений лежала неизменная раздвоенность диспозиции между непосильными и сугубо прагматическими задачами. Имелась единая утопическая цель — материальное благополучие всех членов общества, социальная справедливость, совершенная система государственного управления. И существовал традиционный набор простейших приемов, имевших весьма отдаленную связь с этой целью, которые позволяли добиваться лишь временных улучшений.

В результате вне зависимости от того, кто завоевывал власть — конфуцианцы или легисты, китайское общество, всякий раз после начала реформ устремляясь к созданию идеального бесконфликтного государства, неизменно возвращалось потом в исходное состояние. Подобные разочарования встречались в истории цивилизаций восточного типа столь часто, что трудно удивляться новым. Испытали их и многие страны социализма. Какими древними, например, выглядят рассуждения о том, что только из-за нарушения классических заветов государство пришло в упадок. Что изначально основные принципы общественного устройства были правильными, надо лишь «революционно» изменить второстепенные, и тогда идеалы воплотятся в жизнь. Исходя из таких посылок, даже сейчас трудно избежать соблазна провозгласить утопические задачи достичь скорого материального благополучия (в условиях экономического кризиса), обеспечить все семьи отдельными квартирами (не имея на это достаточных средств), провести реформу цен без ущерба для населения (хотя никому в мире это еще не удавалось) и т. п. Общество с деиндивидуализированным сознанием большинства его членов, по меткому выражению З. Фрейда, легковерно и некритично, для него не существует неправдоподобного. Поэтому утопические задачи не встречают сильного сопротивления, а воспринимаются в зависимости от конкретных условий с энтузиазмом или апатией. А разорванность сознания во времени помогает не придавать значения расхождениям между поставленными целями и реальной политикой прагматического толка. Типичный пример — происходящее в нашей стране в последние годы свертывание товарно-денежных отношений (госприемка, ужесточение фондирования ресурсов, значительное расширение перечня нормируемых продовольственных и промышленных товаров), которое сопровождается призывами к их развитию.

Для изменения мотивации требуются иные условия жизни. Но человек, зажатый в тисках дихотомии «моральное — рациональное», не испытывает необходимости в их создании. Это еще один порочный круг. Где искать выход из него?

Известный французский историк Ф. Бродель утверждал, что жизнеспособность цивилизации зависит от умения устанавливать контакты с другими цивилизациями и заимствовать их достижения. Традиционное общество восточного типа не способно вырваться на путь динамичного развития до тех пор, пока оно находится в изоляции. Пребывая в состоянии самодостаточности, оно всякий раз отвергает встречающиеся ему исторические шансы. С этой точки зрения огромная прогрессивная роль принадлежит политике «открытых дверей», избранной Китаем. Открывшись экономически и, главное, духовно, китайцы получили возможность вплотную соприкоснуться с другими цивилизациями, осознать, что наряду с известными им ценностями могут существовать и другие.

При слабости внутренних факторов изменение традиционных этических принципов может происходить только под воздействием извне. Для КНР оно неизбежно приобрело форму частичной деидеологизации, стало выглядеть как «отказ от принципов», «подрыв устоев» и т. п. Учитывая уязвимость идеологических позиций большинства социалистических стран, вызванную изоляцией, надо признать, что такая опасность действительно существовала. Но связана она скорее с необходимостью коренной перестройки деятельности правящей партии, болезненными переменами в высших эшелонах власти, чем непосредственно с «духовным загрязнением» и «буржуазной либерализацией», столь волнующими китайское руководство. Ведь очевидно, что добиться даже небольших изменений в духовной жизни восточного общества куда сложнее, чем сохранить ее в неприкосновенности. В последние годы советские ученые все чаще обращают внимание на то, что, несмотря на длительный колониальный и неоколониальный период, который, казалось бы, должен был преобразить многие восточные цивилизации, их материальная и духовная культура осталась самобытной и по-прежнему играет определяющую роль в общественном развитии. Что же касается сохранения марксистской или ложномарксистской идеологи-

ческой формы общественного сознания, присущей странам социализма и социалистической ориентации, то и здесь опасения явно преувеличены. Несмотря на длительную дискредитацию — как со стороны противников, так и последователей,— марксизм остается одним из популярных в мире учений, и «открытие дверей» больше способствует его обогащению открытиями западных обществоведов XX века и избавлению от утопических черт, чем подрыву.

Принципиальная возможность выхода восточных обществ из порочных кругов развития через взаимопроникновение с другими цивилизациями доказана на практике в последней трети нашего столетия. Вслед за Японией из традиционного состояния застоя вырвались еще несколько азиатских стран (Южная Корея, Тайвань, Сингапур и др.), получивших название «новых индустриальных». Теперь становится ясно, что высшие достижения западной цивилизации могут накладываться на восточную культуру, в результате чего рождаются «информационные общества» и другие революционные скачки.

Опыт этих стран разрушает идиллические мечтания о всеобщем равенстве и полной социальной гармонии. По мере продвижения вперед происходит все большее усложнение общественных структур, усиление конфликтного характера развития, обострение старых и умножение новых противоречий. Цивилизация теряет свою самодостаточность, а вместе с ней и стабильность. Политическая жизнь резко осложняется, на смену апатии безмятежного тоталитаризма приходят массовые волнения, сопровождающие сложный процесс демократизации.

Конкретные пути выхода из застоя с помощью «открытия дверей» могут быть самыми разнообразными. Китай за последнее десятилетие нащупал свои потенциальные направления перестройки, которые, вероятно, имеют общие черты с другими социалистическими странами. В экономике это два альтернативных варианта: либо развитие прежде всего по рельсам рыночного хозяйства, либо преимущественно на основе структурных изменений. В первом случае ставка делается на создание саморегулирующегося хозяйства с более или менее значительными элементами государственного вмешательства, на медленный, постепенный выход на мировые рынки. В перспективе этот путь, отстаиваемый многими китайскими и советскими экономистами, сулит прелести рыночного изобилия при развитии конкуренции и реализации на деле принципа оплаты по труду.

На практике «рыночный» вариант может нести с собой серьезные издержки, среди которых инфляция и безработица, возможно, не самые тяжелые. Десятилетний опыт Китая, равно как и ряда других стран социализма, показал, что при создании полноценного рынка не обойтись без периода так называемого первоначального накопления капитала со всеми его социальными уродствами, столь впечатляюще описанными Марксом. При низком уровне жизни в Китае резкое расслоение, начинающееся при первых же признаках конкурентной борьбы, оставляет за чертой бедности очень большую, если не бóльшую, часть населения. Попытки жесткого регулирования уровня доходов будут неизбежно мешать свободному развитию рынка и конкуренции, замедляя тем самым экономическую перестройку.

После того как период первоначального накопления закончится, состояния свободной, равноправной конкуренции, вопреки классическому западному пути, не наступит, поскольку экономика уже изначально монополизирована, и монополия, скорее всего, будет только переходить из одних рук в другие (от государства к кооператорам, например), но не уничтожаться. Чрезвычайно велика вероятность полного сращивания теневой экономики с бюрократическим аппаратом, создания своего рода государства-мафии. В брежневский период в нашей стране это направление развития определилось очень отчетливо. В Китае же с его традиционно сильными клановыми связями такой путь может вообще стать единственно возможным.

Пожалуй, самым главным недостатком «рыночного» варианта является его большая растянутость во времени, чреватая усилением отсталости в условиях развернувшейся в мире новой технологической революции. Достаточно вспомнить, что на Западе рыночная система формировалась столетиями. Сейчас она стала неузнаваемой по сравнению с временами Маркса. Товарный рынок отошел на второй план, уступив место «символическому» (биржа, ценные бумаги и т. д.), который по обороту превосходит первый в десятки и сотни раз. Очень высокого уровня организации достигли рынки рабочей силы, технологии, информации. Все это до сих пор остается практически неведомым для рядового жителя социалистической страны, и трудно сказать, сколько времени потребуется для его адаптации к новым условиям.

Первые подходы делал Китай и к альтернативному варианту структурной перестройки (в нашей стране его отстаивают В. Радаев и другие экономисты из МГУ). Главное здесь — включение в новую технологическую революцию через ускоренное развитие новых отраслей: информатики, биотехнологии, новых материалов, космической промышленности. У него есть некоторые преимущества с социальной точки зрения: переориентация традиционных базовых отраслей на нужды потребителя (фактически — «повторная» индустриализация с упором на легкую, а не тяжелую промышленность), создание современной сферы услуг.

Недостатки «структурного» варианта перестройки связаны прежде всего с идейно-политической и моральной сферами. Во-первых, для столь крупных изменений материально-технической базы требуются огромные средства, изыскать которые внутри страны невозможно. Крупные займы за рубежом, широкое привлечение иностранного капитала — все это, по крайней мере на первых порах, вызовет усиление односторонней зависимости от развитых стран Запада. Во-вторых, обеспечить технологический рывок невозможно без закупок и заимствований за рубежом. Но ни один уважающий себя партнер не станет поставлять в такую отсталую страну, как Китай (а вместо него можно подставить название любой другой со-

циалистической страны), передовые образцы. Значит, какое-то время придется мириться с положением «бедного родственника». В-третьих, при структурных сдвигах создание полноценного рынка начнется не внутри страны, а сразу путем интеграции с мировым капиталистическим хозяйством. Это сократит сроки формирования рыночной системы, позволит избежать создания государства-мафии, но будет сопряжено с сильнейшими потрясениями идеологического и нравственного порядка. Китаю и особенно Советскому Союзу как крупным странам, имеющим соответствующие национальные интересы и стремящимся занимать подобающее место в мировом сообществе, особенно трудно пойти на это.

Альтернативы перестройки в политической области лежат между длительным сохранением авторитарного режима и медленной, «волнообразной» демократизацией. Их выбор в определенной степени зависит от выбора экономического. «Рыночному» пути больше соответствует авторитарная форма правления, так как велика вероятность частых вспышек недовольства широких масс населения, которые долгое время не будут ощущать положительных сторон перестройки. «Структурный» вариант, наоборот, больше стыкуется с демократизацией, служащей важным условием его осуществления. Для амбициозной бюрократии неприемлемы идейно-политические издержки интеграции с Западом, и при абсолютном господстве она попросту не допустит последовательного развития в этом направлении. Для большинства населения этот путь, напротив, выглядит предпочтительнее, ибо сулит более быстрые материальные выгоды.

Политический кризис в Китае очень осложнил реализацию открывшихся альтернативных возможностей перестройки. Руководство КПК в силу объективных и субъективных причин оказалось в условиях, когда оно вынуждено не столько искать пути для углубления реформ, сколько наводить порядок в экономике, добиваться снижения социальной напряженности, бороться с «буржуазной либерализацией». В зависимости от того, насколько глубокий след в общественном сознании оставили события весны этого года, страна может либо впасть на многие годы в состояние застоя, либо вступить в новый этап очень болезненной демократизации, который будет сопровождаться периодически подавляемыми вспышками массовых волнений. Но рано или поздно реформаторское движение вновь наберет силу, и тогда накопленный опыт можно будет использовать в полной мере.

■

ВЯЧ. ВС. ИВАНОВ

КЛАССИКА ГЛАЗАМИ АВАНГАРДА

Каждое общество имеет свой пантеон. Это набор богов (на Древнем Востоке, в Греции и Риме, в Индии и многих других странах Азии и Африки, в доколумбовой Америке) или полуобожествляемых — а в более цивилизованных странах высокопочитаемых — героев, мучеников и первооткрывателей, которых на языке современной науки называют «культурными героями». Почти без исключения формы почитания культурных героев совпадают в самых разных традициях.

Приведу пример из собственного недавнего опыта. Когда после 30-летнего перерыва я получил возможность снова выехать за пределы Восточной Европы, первой страной, куда мне разрешили поехать (на ежегодную международную встречу ассириологов, местом которой в тот раз был Стамбул) летом 1987 года, оказалась Турция. Не все, что я увидел в той поездке «на Запад» (как, впрочем, и во многих последующих), было вполне для меня новым. Когда в воскресенье вечером после осмотра поразительных раскопок хеттской столицы в деревне Богаз-Кале директор замечательного музея культур древней Анатолии в Анкаре показывал нам свои сокровища, меня озадачил портрет основателя современного турецкого государства Ататюрка, помещенный посреди перенесенных в музей дивных фресок из храмов Чатал-Гююка (около 7—6 тыс. до н. э.). На мой удивленный вопрос директор музея ответил: Ататюрк первым нам указал, что мы — наследники культуры древней Анатолии.

На следующее утро нас должны были везти на раскопки могилы фригийского царя Мидаса. Стояла жара, и надо было бы выезжать рано. Но наш туристический автобус задержали, нам сказали: нельзя уезжать из Анкары, не повидав мавзолея Ататюрка. И в Турции (как до того на родине) поражали древневосточные формы поклонения историческому деятелю, стремившемуся к переносу в свою страну некоторых европейских установлений.

Пантеоны и связанное с ними почитание героев, а в художественной литературе — авторов-классиков, существуют во всех областях культуры. Теперь, когда мы начали широко знакомиться с западным авангардом и сопоставлять его с нашим отечественным, позволительно задать по меньшей мере два вопроса. Во-первых, как относится авангард, в частности авангардная (в других терминах, сейчас ставших снова популярными, модернистская литература, на смену которой приходит постмодернистская) литература XX века, к предшествующей классической традиции? Во-вторых, что играет роль классики в пределах самой авангардной литературы, то есть кто из ее создателей отбирается в качестве писателя — культурного героя?

Начну с первого вопроса. Западноевропейская и американская авангардная литература в большой степени отправлялась от классического наследия. Приведу хрестоматийный пример. Пишущие об «Улиссе» Джойса [1] не могут обойти его связи с «Одиссеей». Каждая глава романа связана с определенной песней гомеровской поэмы, что отражается на характере персонажей, времени и месте действия и других обстоятельствах. Эта связь часто пародийна, иногда иронична. Нашему читателю можно было бы напомнить и об античном мифологическом прообразе в романе Апдайка «Кентавр», который благодаря случайностям истории переводов у нас стал известен гораздо раньше, чем полный русский перевод «Улисса» Джойса, автора безусловно на Апдайка (как и на почти всех

[1] В том числе и современные Джойсу писатели — авторы откликов на роман, опубликованных в «ИЛ», 1989, № 5, 8, 10, 11.

современных американских писателей) сильно повлиявшего. Но есть и еще более напоминающая Джойса, хотя и вполне от него независимая, традиция эстетической игры с античными прообразами внутри русской литературы XX века. Я имею в виду предтечу русского авангарда Иннокентия Анненского. Уже его переводы Еврипида, оригинальность и поэтическая сила которых до сих пор не оценены должным образом, подготавливали то соединение древнегреческих традиционных символов с весьма современными художественными приемами, которое отличает его собственные стихотворные пьесы. Недаром постановка «Фамиры-Кифарэда» Анненского в Камерном театре Таирова явилась одним из решающих событий в истории нашего театра, столько сделавшего именно для нового чтения классики. Поясню обнаруживающееся у Анненского сплетение архаичных (в том числе и античных, мифологических) образов с техникой почти шифрованного письма в духе сильно на него повлиявшего Малларме (много значившего и для Джойса, который упоминает его в тексте «Улисса») на примере одной строфы его стихотворения «Дальние руки» (такого важного для Блока):

Вы — гейши фонарных свечений,
Пять роз, обрученных стеблю,
Но нет у Киприды священней
Не сказанных вами *люблю*.

В этом потоке едва ли не футуристических (а вернее предсюрреалистических) уподоблений жесты рук женщины, сжимающих глаза автора (поэтому речь идет о «фонарных свечениях», откуда, видимо по смежности, возникают японские гейши), описываются как тайные знаки невысказанной любви, богиней которой была Киприда. Особенно архаичным кажется уподобление руки стеблю с пятью цветками. Подобный образ встречается в древних поэтических традициях.

Обращение к архаике, особенно античной, как и ее модернизация — переосмысление в духе психологии современного человека, вслед за Анненским было развито и нашими писателями следующих поколений. Самым известным из них стал Мандельштам. Еще предстоит открытие Константина Вагинова, проза которого (особенно роман «Козлиная песнь») предполагает постоянное отождествление литературного Петербурга — Петрограда того времени с древними Афинами. Но у Вагинова (друга молодости Бахтина) это отождествление проводится иронически, в карнавальном ключе.

Среди античных мифов есть такие, к которым особенно охотно тянутся в нашем веке. Достаточно вспомнить о стихотворениях Рильке, обращенных к Орфею.

Миф о нем воплощен и переиначен в двух удивительных фильмах французского поэта и драматурга Кокто, где современная техника непрерывно сопутствует Орфею. Для чего Кокто нужно, чтобы его Орфей приезжал на мотоцикле или слушал радио в автомобиле? Миф приобретает новые черты от столкновения с современностью.

Напомним введенное знаменитым французским этнологом Клодом Леви-Стросом различие между горячими и холодными культурами. Горячие общества, такие, как современные западноевропейские и американские, постоянно помнят свою историю и стараются ее не повторять. Если какое-то сочинение уже было написано, его не следует писать второй раз. Наоборот, холодная культура (как многие традиционные восточные) стремится воспроизвести уже готовый текст (например, песню или сказку) по возможности в неизменном виде. Конечно, и при той передаче фольклорного текста по традиции, которая еще сохраняется во многих странах Азии, Африки, у индейцев в Центральной и Южной Америке, каждое новое исполнение может вносить свои вариации, но основной набор стандартных клише (формул) и схема построения текста должны оставаться неизменными. Эти традиции на глазах умирают. Мне случалось слышать приезжавших в Москву из Индии знатоков «Вед» (гимнов, сложенных несколько тысяч лет назад), но с каждым их приездом я замечал, что число строк, которые они могут исполнить, уменьшается. Читая лекции весной этого года в Калифорнии, я мог заниматься туземными американскими индейскими языками, общаясь с последними из тех, кто их знает. Индеец-музыковед демонстрировал мне магнитофонные записи традиционных сказок и мифов, рассказанных его умершей родственницей, он их понимал и объяснял мне, но сам он уже не мог их вспомнить без помощи современных технических средств.

В какой степени культура, приходящая на смену холодной (традиционной, продолжающейся благодаря фольклорной передаче), действительно полностью является горячей? Этому предположению противоречило бы прежде всего именно существование литературы, которая считается классической и должна непрерывно воспроизводиться для каждого следующего поколения. Поэтому авангард, цель которого — превращение культуры в действительно горячую, и хочет разрушить традиционные классические формы. Прежде всего это достигается путем эстетической игры с ними.

Самыми простыми примерами может служить стилизация и пародия. В обоих случаях классическая традиция (во всяком случае, ее формальные стороны) воспроизводится достаточно точно. Обращает на себя внимание стилизаторский характер ранних сборников стихов двух великих англоязычных прозаиков нашего века — Фолкнера (книга «Мраморный фавн») и Джойса (книга «Камерная музыка»). Оба они овладевают системой традиционных лирических иносказаний (избитых и ставших клише у эпигонов конца прошлого века) в пределах очень ограниченного поэтического словаря. Позднее в прозе обоих писателей (у Фолкнера уже и под воздействием Джойса-прозаика, им признававшимся) этот сугубо стилизированный поэтический голос сплелся с другими, от него существенно отличавшимися. У их младшего современника, замечательного поэта Дилана Томаса стремление к пародии сказалось уже в заглавии его автобиографической книги «Портрет художника как щенка» (as a young dog), что представляет собой переиначенное «как молодого человека» (as a young man) в заглавии знаменитого автобио-

графического сочинения Джойса (по-русски обычно передается «Портрет художника в юности» [1] или в юные годы). В текст книги Дилана Томаса включена виртуозная кощунственная стихотворная пародия на известное стихотворение-молитву «Another grace for a child» («Другое благословение для ребенка») английского метафизического поэта XVII века Роберта Херрика, где сочетание «маленький ребенок» (a little child) заменено на «маленький щенок» (a little dog). Иначе говоря, эта пародийная гротескная замена проходит через весь текст Дилана Томаса.

Особый интерес представляет возникновение такого авангардного стихотворного жанра, который, вбирая в себя пародию и гротеск, тем не менее по сути становится частью вполне серьезной литературы. В англоязычной поэзии это прежде всего ранние поэтические сборники Т. С. Элиота. Давно замечено их явное сходство со «Столбцами» Заболоцкого, написанными и изданными примерно в то же десятилетие (хотя и несколькими годами спустя). Эта же линия предельно иронической поэзии, представленная и произведениями Олейникова и других обэриутов, а у них восходящая к Хлебникову, остается весьма живучей в нашей последующей литературе авангарда. Новым шагом на пути к преодолению классического образца может явиться его использование в коллаже из цитат, как в «Опустошенной земле» Т. С. Элиота и у Э. Паунда.

Преображение классического текста в особенно явной форме может проявляться в разного рода его вариациях, переложениях, переводах, сознательно от него отступающих. Кажется, что это обстоятельство не всегда принимается во внимание в многочисленных трактатах о мастерстве перевода. Стоило бы заметить, как трудно бывает отделить переводы великого поэта от его первых стихотворных опытов. Так было с набросками переводов из Рильке, которые в первой публикации были напечатаны, как стихи молодого Пастернака. Издатели переписки великого французского поэта нашего века А. Арто с его возлюбленной коментируют сходство посвященного ей стихотворения «Le palais hanté» («Dans la verte vallée où règnent les bons anges») с ранними стихами поэта [2], не замечая того, что это достаточно точный перевод из Эдгара По («In the greenest of our valleys/By good angels tenanted...» — «В самой зеленой из наших долин, где обиталище духов добра»). Позднее Арто приходило в голову, насколько некоторые подлинники (например, заумных стихов Льюиса Кэрролла) опережают его собственные опыты в том же духе: когда ему предложили переводить Кэрролла, Арто в своем эксцентрическом духе заявлял, будто он (давно к этому времени умерший) подслушал то, что хотел написать сам Арто.

В недавно изданном пятитомном собрании сочинений Пауля Целана, который многими теперь, спустя десятилетия после его самоубийства, признается крупнейшим поэтом Европы нашего времени, два тома (в том числе и один, самый большой из пяти) заняты двуязычной публикацией его переводов с разных европейских языков, также и с русского, который Целан знал с детства. Среди многочисленных переводов из разных русских поэтов (Блока, Есенина, Хлебникова, чьи языковые изобретения Целан по-немецки передавал с не меньшей находчивостью) выделяется большой цикл мандельштамовских стихов. Мандельштама как поэта-мыслителя Целан высоко ценил, о чем он писал в своих эссе о нем, среди которых и недавно изданный текст составленной им радиопередачи о Мандельштаме. Кажется возможным обнаружить в самом стиле его переводов и некоторые особенности мандельштамовской поэтики, Целаном развитые в его собственных стихах. Это относится, в частности, к именному стилю — нагромождению имен существительных и состоящих из них одних именных предложений (как в строке Блока «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека»). В поздних стихах Целан (как, впрочем, и многие другие европейские поэты нашего века независимо от того, на каком языке они писали) широко пользовался именным стилем. В этот период некоторые из его стихотворений представляют собой цепь имен существительных (часто сложных: поэт развил эту особенность немецкого языка, сочинив большое число новых словосложений). В его переводах Мандельштама уже угадывается этот стиль, основание чему дает подлинник:

Веницейской жизни мрачной и бесплодной
Для меня значение светло.
Вот она глядит с улыбкою холодной
В голубое дряхлое стекло.

Тонкий воздух кожи. Синие прожилки.
Белый снег. Зеленая парча.

Venedigs Leben, düster und unfruchtbar —
Sein Sinn:
Er tritt mir klar vor Augen, ich sehe ihn,
genau.
Ein Lächeln um den Mund, ein Kaltes, blickt
es in
die abgelebten Spiegel, im spiegelaltes Blau.
Ein Hautarom, kaum spürbar. Die Äderung,
violett.
Ein Weis, ein Schimmer Schnee. Brokate,
dunkelgrün [1].

Целан не только передает те именные предложения, которые (подряд друг за другом) следуют у Мандельштама в начале второй строфы, он и начало первой строфы (в его переводе буквально «Веницейской жизни...— значение») переделывает в том же духе. Поэтому и в его переводе в стихах «За гремучую доблесть грядущих веков» не только сохраняется «векволкодав» («Wolfshund — Jahrhundert»), но за ним следует и ряд таких же словосложений («Blutknochden Naben»), передающее «кровавых костей» [2] «Ursprungsabend», перелагающее по-своему понятое «ночь... в

[1] Опубликован в «ИЛ», 1976, № 10—12.
[2] Antonin Artaud. Lettres à Génica Athanasiou precédées de deux poemes à elle dediés. Paris, 1961, pp. 15—16, 319.

[1] Paul Celan. Gesammelte Werke in fünf Bänden, Bd. 5. Übertragungen. II Zweisprachig. Frankfurt am Main, 1983, S. III.
[2] Там же, с. 153.

первобытной красе») совсем в стиле позднего Целана. Разумеется, при такой передаче Мандельштама его стихи несколько приближаются к стихам самого переводчика, как Пастернак приближал к себе Шекспира и «Фауста» Гете.

Отношение Целана (и нескольких других лучших западных поэтов середины века — среди них Пазолини) к Мандельштаму как к модели и образцу заставляет особо обратить внимание на то, кто становится писателем-классиком для авангардной литературы. Из писателей прошлого далеко не все остаются в пантеоне: вспомним призыв русских футуристов сбросить их с корабля современности. Обычно все же выбрасывают не всех (молодой Маяковский читает классиков, но новых: «Анненский, Тютчев, Фет»), остаются немногие, обычно из числа тех, кого прежде недооценивали. Так Лорка открывает заново поэзию Гонгоры, французские сюрреалисты — Лотреамона, Т. С. Элиот — Джона Донна, польский авангард возрождает полузабытого Норвида, чешский авангард — Маху. По существу, история литературы пишется заново. Авторы, которых не помнили, становятся наиболее читаемыми, иногда тесня более известных классиков.

Одним из ранних примеров нового прочтения классики через призму литературных вкусов начала нашего века может служить замечательная книга Честертона о Диккенсе, у нас давно переведенная и потому оказавшая влияние и на наших писателей. Напомню, что в ней Честертон противопоставляет Диккенса таким «новым» (modern людям в литературе, как Д'Аннунцио и Горький.

Одной из характерных черт авангарда XX века является его международность. Ханс Магнус Энценсбергер писал когда-то о «международном» (или «мировом») языке поэзии XX века. Его статья на эту тему сопровождала составленную им антологию, которая призвана была подтвердить эту идею. В ней были объединены поэты разных стран, которые в широком понимании относятся к авангарду XX века. При всех различиях между ними можно обнаружить и общие стилистические черты, объединяющие их вместе. Это отнюдь не черта только поэзии: то же можно сказать о новейшей живописи, графике, архитектуре, театре.

Вероятно, мы должны признать, что на рубеже двух столетий сформировался такой стиль века, который позднее не трансформировался радикально, а развивался, как когда-то большие направления, подобные барокко, классицизму, романтизму. Каждого из таких крупных направлений хватало на много десятилетий, иногда даже на столетия. Поэтому не будем удивляться и тому, что авангардное (или модернистское) искусство и литература оказываются столь длительными. Сейчас во всем мире широко обсуждается понятие «постмодернизм», первоначально введенное по отношению к некоторым новейшим веяниям в архитектуре, но позднее ставшее прилагаться к другим видам искусства, в том числе и словесного. Едва ли, однако, постмодернизм (при всей широте и расплывчатости значения этого термина) можно считать новым течением, по масштабам сопоставимым с мировым авангардом. Быть может, самое замечательное в его названии — это приставка «пост»: постмодернизм определяется чисто отрицательно — как то, что пришло после авангарда, после модернизма. Основной запал авангарда как выражения современной горячей культуры сохраняется: искусство нацелено на изобретение всегда нового, того, что не похоже на все раньше сочиненное. Парадокс постмодернизма может состоять в том, что, отвергая перепробованные формы, можно прийти и к тем, которые когда-то давно существовали либо в еще более ранние периоды (в этом смысле к постмодернизму я бы отнес уже и «Леопарда» Лампедузы), либо в других культурах. Герой книги Сэлинджера «Симор: Введение» американский поэт Симор полностью отвергает все, что видит в европейской и американской традиции (исключение он делает только для «Дневников» Кафки): писатели слишком заняты «смысловыми внутренностями» (semantic intestines) текста. У них нет того внимания к реальной жизненной детали, которое Симор находит только в старых дальневосточных — китайской и японской — поэтических традициях (оттого сам он пишет стихи по-японски). Здесь Сэлинджер и его герой имеют предшественников: значение этих традиций для новейшей европейской поэзии и ее обновления было обнаружено еще в 1910-х годах Эзрой Паундом, Клоделем, Гумилевым; примерно в те же годы Малер пишет свою симфонию, вдохновляясь текстами китайских поэтов. Дальневосточная классика входит в пантеон европейского искусства. Позднее японские стихи как образец будут приводить в своих размышлениях о кино такие полярно противоположные друг другу (и совпадающие только в ориентации на модель этих стихов) кинорежиссеры, как Сергей Эйзенштейн и Андрей Тарковский.

Авангардная литература не только черпает из дальневосточного наследия. Она и сама существует и на Западе, и на Востоке. Из тех дальневосточных ее представителей, которые достаточно известны уже нашему читателю, назову имя Акутагава. Этот писатель продолжает изумлять сложностью переплетения в нем разных литературных традиций. Покойный ленинградский японист А. А. Холодович в переписке со мной обсуждал одну загадочную по своим истокам вещь Акутагава. В ней перелагается буддийская притча о дурном человеке, который из-за зависти попадает в ад. Видимо, Акутагава знал и о бытовании этого сюжета в русской литературе — у Льва Толстого, почерпнувшего ее из заинтересовавших его буддийских сочинений, и у Достоевского, опиравшегося на русскую фольклорную передачу аналогичной притчи (о бабе и луковке). Акутагава остается блестящим примером того, как велик диапазон классического наследия в нашем веке: он включает и религиозно-философские тексты восточных традиций, и европейскую (в том числе русскую) классику, и французских «проклятых» поэтов. Особенно показателен один из последних текстов, написанных Акутагава перед самым его самоубийством, в форме диалога самого писателя с чертом. Несомненно, что в

этом сочинении проступает тот же фаустовский архетип, который виден отчетливо и в созданном несколько позднее «Докторе Фаустусе» Томаса Манна, и в «Мастере и Маргарите», и в небольшом рассказе Набокова (из сборника «Возвращения Чорта» конца 20-х годов), где разговор с дьяволом (в образе женщины), предсказывающим близкую гибель одного из персонажей, почти текстуально предвосхищает часть сцены на Патриарших прудах в начале булгаковского романа.

То известное у нас по роману Булгакова и антиутопиям Платонова направление, которое можно было бы обозначить термином (впервые введенным Достоевским по отношению к Эдгару По) как «фантастический реализм», у разных прозаиков XX века, пишущих в этом ключе, характеризуется соединением архетипических схем (таких, как фаустовская у Томаса Манна и Булгакова) с реализмом (а в магическом реализме Маркеса и Льосы — даже часто и натурализмом) деталей, призванных убедить читателя в правдоподобии самых невероятных событий, описываемых в романах этого направления.

Кафка, который может считаться одним из основателей всего этого течения, сознательно ориентировался на жанр библейских притч — назидательных историй. Эта ветхозаветная традиция явственно продолжается и во вставных эпизодах, выполненных им в этом жанре, и в основном замысле «Замка» и «Процесса», которые при возможности разных их прочтений (в том числе и популярного у нас футурологического, когда «Процесс» понимается как антиутопия) самим автором скорее всего задумывались как своего рода философские видения. В этом смысле при всем значении Кафки, как и других основателей философского романа XX века (Музиля, Броха), для создания новых прозаических форм, они ориентировались и на праобразы, лежащие в далекой предыстории европейской литературы.

Поскольку авангард постоянно сменяет критерии новизны (уже сотворенная форма перестает быть желаемой целью), само понятие классического образца для авангарда проблематично. Тем не менее нельзя сомневаться в том, что у современного авангарда (и даже у постмодернистской литературы) есть свой набор таких авторов, теперь ставших классическими и образцовыми, как Джойс (особенно в качестве автора «Finnegan's Wake», вызывающего все большее число «постмодернистических» подражаний), Кафка, Арто.

Что в таком случае означает авангард и как может он спокойно продолжать традицию классики? Весной этого года в Лос-Анджелесе в серии реконструированных сейчас балетов Дягилева мне довелось видеть восстановленный спектакль «Парад», бывший сенсацией 1917 года. Тогда в его создании участвовали вместе с Дягилевым такие звезды авангарда, как Пикассо, Кокто, Аполлинер. Балет был поставлен в гротескной форме, в какой-то мере близкой к спектаклям, которыми несколько лет спустя прославились Мейерхольд и такие его ученики, как Эйзенштейн, переворачивавшие все в театре и полностью разрушавшие классику, к которой они прикасались. Спустя 72 года спектакль выглядел занятным, забавным, но ощущения потрясения, о котором писали зрители, видевшие первоначальную постановку «Парада», уже не было. Мы привыкли и к более крайним театральным формам, развивающим рационалистические построения брехтовского «Берлинского ансамбля». Весь последующий опыт не позволяет сочувствовать реконструкции. Дух авангарда тянет не к музейной реставрации, которая соответствует нынешнему почитанию начала века, а к новому взрыву.

Одной из главных черт авангарда 20-х годов и следовавших за ним течений была тесная связь с теоретическими построениями. Недаром Т. С. Элиот и Оден как критики и эссеисты были известны не меньше (если не больше: поэзию на Западе, в отличие от России, мало кто читает), чем своим поэтическим творчеством. На определенном этапе развития французского литературного авангарда у таких видных его представителей, как Р. Барт, грань между художественным и научным творчеством стала весьма подвижной, чтобы не сказать неуловимой. В этом смысле в родословную европейского и американского структурализма как литературного (не только и не столько научного) течения вплетены и русские формалисты, которые, впрочем, и сами как Тынянов и Шкловский, совмещали в себе писателей и ученых. Они, как и Роман Якобсон, безусловно входят в современный пантеон общеевропейского авангарда. Эта его особенность заставляет продумать вопрос, на который до недавнего времени ответ мог бы показаться затруднительным. Речь идет о сходстве путей и судеб западноевропейского и русского авангарда. Параллелизм их начальных отправных точек не вызывает сомнения и давно уже внимательно исследовался.

Напомню хотя бы известную книгу английского профессора Боура о творческом эксперименте, где рядом с Аполлинером он изучает Маяковского и Пастернака (из разговоров с последним я знаю, что он высоко оценивал эту работу). Но в какой мере и дальше развитие шло параллельно? Только сейчас, когда начинают выходить книги Хармса и других обэриутов, мы в состоянии оценить их роль в развитии той очень важной для культуры XX века тенденции, которую часто обозначают как литературу абсурда. Сходство типа черного или жестокого юмора у Хармса и, например, Арто не вызывает сомнений. Также не приходится сомневаться и в том, что эти именно писатели едва ли не в наибольшей степени оказались созвучными самому духу их времени или даже опередили его своими гротескными предсказаниями (хотя футурологическое их чтение так же необязательно, как и по отношению к Кафке).

В недавно вышедших воспоминаниях А. Наймана об А. А. Ахматовой приводятся ее слова о Хармсе как писателе именно XX века; сама она в поздний период творчества была (особенно в «Поэме без героя» и только что опубликованном посмертно «Прологе») предельно близка к литературе абсурда и фантастического реализма, в которой Гарсиа Маркес и Варгас Льоса соседствуют с Булгаковым и Платоновым.

В «Прологе» Ахматова предсказала собственную литературную судьбу, где, по ее словам, ее «ждал» «Жданов». Говоря о своей работе над романом «Осень патриарха», Гарсиа Маркес рассказывал, что по мере того, как он читал книги о латиноамериканских диктаторах, он убеждался, что его фантазия меркнет по сравнению с гротеском реальной истории. Одним из первых об этой особенности связи авангардной литературы с историей сказал Н. Бердяев в эссе «Астральный роман» (о «Петербурге» Андрея Белого и кубизме Пикассо): по словам Бердяева, авангардная литература и искусство не имеют продолжения, дальше теми же средствами пользуются политика и история.

К появлению абсурда в авангардной литературе можно подходить с разных точек зрения. Философская его оценка была предложена экзистенциализмом. Но развитие идей русских формалистов делает возможным и другое понимание абсурда. С точки зрения современных научных представлений о количестве информации, которую несет любой художественный текст, это количество тем больше, чем текст неожиданнее. Иначе говоря, авангардное искусство нацелено на тексты, благодаря своей новизне (а тем самым — и благодаря своему отличию от всех предшествовавших им текстов) представляющие максимум необычного и непривычного, а оттого и наиболее трудные для восприятия.

Здесь мы сталкиваемся с еще одним парадоксом авангарда: максимум информации может содержаться в абсурдном тексте именно потому, что он отличен ото всех предшествующих. По этой именно причине Арагон в бытность свою сюрреалистом, как позднее Арто, увлекался заумными стихами Льюиса Кэрролла, оказавшегося вместе с Лотреамоном предшественником сюрреализма. Кэрролл писал детские книги в часы досуга, а основным его занятием была математическая логика. Как логик он глубоко подошел к формулировке некоторых основных вопросов, касающихся парадоксальности нашего языка (одному из логическо-языковых парадоксов Кэрролла посвящено специальное приложение к книге П. Флоренского «Столп и утверждение истины»). Поэтому то, что «Алиса в стране чудес» давно уже стала книгой для ученых, черпающих из нее примеры, иллюстрирующие парадоксальность современной науки, совсем не случайно. Основы кэрролловского абсурда связаны с серьезным переосмыслением самого языка, которым пользуется литература.

Авангард в литературе и искусстве совсем не по прихоти случая совпадал по времени с научной революцией. Во всех областях духовного творчества XX века пересматривались устоявшиеся взгляды на время, пространство, способы наблюдения за внешним миром и его описания.

У меня был разговор на эту тему с Пастернаком в начале апреля 1960 года — меньше чем за два месяца до его смерти. Он говорил, что только недавно понял, как его опыты в литературе близки к науке XX столетия.

Непрерывность изобретательства и поиска новых форм отличала всю культуру века. Но она не порывала полностью с прошлым. Так же, как механика Ньютона входит в ту общую картину физического мира, которую более полно описывали Эйнштейн и Бор, так и классические образцы остаются всегда — при всех их переосмыслениях и необычных интерпретациях — составной частью новейшей литературы. По мере движения от собственно модернизма к постмодернизму роль этого наследия постепенно не уменьшается, а возрастает.

■

Философские аспекты

ИЗ ПИСЕМ ВИЛЬГЕЛЬМА ФОН ГУМБОЛЬДТА

Публикуя статью Т. Григорьевой «Встреча с Гумбольдтом — встреча времен»[1], редакция выразила надежду на продолжение начатого в ней разговора, имея в виду актуальность, даже злободневность идей великого немецкого ученого-гуманиста Вильгельма фон Гумбольдта [1767—1835]. На сей раз «ИЛ» обращается к его письмам. Подборке предпослано вступление известного исследователя наследия Гумбольдта профессора Г. В. Рамишвили.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ

Поистине, слово гения не стареет. В смутные времена, когда притупляется видение, способность воспринимать вещи в их сути, возрождается интерес к прошлому, именно к тем мыслителям, которые помогают найти утраченные ориентиры. Так произошло и с Вильгельмом фон Гумбольдтом. Стали вдруг переиздаваться его сочинения, ему посвящают научные встречи, организуют школы его имени. Что же находят в нем наши современники? В плеяде немецких мыслителей, философов и поэтов (Гёте, Гегель, Шиллер) Гумбольдт занимает особое место. Можно сказать, пришло его время: даже эта более чем скромная публикация фрагментов писем Гумбольдта свидетельствует о глубине, глобальности его идей.

Сила Гумбольдта — в видении Целого, в том самом целостном мышлении, которое теперь называют «новым мышлением» и в зависимость от которого ставят существование жизни на Земле. Чего стоит одна лишь мысль Гумбольдта о ЕДИНСТВЕ, к которому извечно устремлен ум и которое называли «божеством», «мировой душой», или «вселенной»! Интуиция целого позволила Гумбольдту увидеть это «единство» в человечестве, а человечество — в каждом человеке (письмо К. Г. Бринкману). Теперь эта мысль актуализируется у нас в философских беседах по проблемам человека; философы говорят об осмыслении смертности человечества в целом — оно может оказаться столь же беззащитным перед мировым безумием, как и каждый отдельный человек.

А разве не служит ответом на один из самых наболевших вопросов нашей действительности мысль Гумбольдта о правильном взаимодействии национальных языков? Ни один не может быть принижен без того, чтобы не пострадало все человеческое сообщество. Как должны соотноситься национальные языки, чтобы не привести к национальной розни, как должны строиться отношения между государством и личностью, чтобы не вызвать социальной катастрофы? Да услышит слышащий!

Мы знаем: языковое и культурное многообразие не раз становилось предметом размышлений и обсуждений лучших умов человечества, однако, пожалуй, лишь Гумбольдту впервые удалось философски осмыслить факт этого многообразия. Им же представлен проект всечеловеческих отношений, который одновременно может служить (выражаясь современной терминологией) введением в философскую и культурную антропологию: «...язык и постигаемые через него цели человека вообще, род человеческий в его поступательном развитии и отдельные народы являются теми четырьмя объектами, которые в их взаимной связи и должны изучаться (...)» (разрядка наша. — *Г. Р.*)

Интерес Гумбольдта к различным по строю языкам и культурам сопровождался историческими, антропологическими и этнопсихологическими исследованиями народов для выявления «чистейшего и высочайшего гуманизма». Гумбольдту, например, представлялся насущным ответ на вопрос: «Каким образом должна отнестись испанская монархия к баскскому народу, чтобы как можно более плодотворно использовались его способности и прилежа-

[1] См. «ИЛ», 1987, № 8 (*Прим. ред.*).

[2] Перевод писем выполнен по изданию: Wilhelm von Humboldt. Sein Leben und Wirken, dargestellt in Briefen, Tagebüchern und Dokumenten seiner Zeit. Перевод письма К. Ф. Беккеру выполнен по изданию: Wilhelm von Humboldt. Werke in 5 Bänden, Band 5. (*Здесь и далее прим. перев.*)

ние?» Ибо, по его словам, мы все чаще сталкиваемся со случаями, когда ущемляются права народов, объединенных в одно государство, но имеющих собственный язык и самобытную культуру. Гумбольдт разъясняет: «До сих пор больше заботились о том, как избавиться от препятствий, возникших из-за разнообразия, нежели о том, какую пользу извлечь из добра, порождаемого самобытностью». И формулирует «всеобщий закон» «всякого человеческого сообщества»: «Уважать чужие системы морали и культуры, никогда не наносить им ущерба, но при всякой возможности очищать и возвышать их».

Г. РАМИШВИЛИ

И. Г. Форстеру [1]

[...] Каждый человек должен способствовать созиданию великого и целого. Но я чувствую, что в определении этого слишком много заблуждений. Для меня способствовать созиданию великого и целого означает воспитывать характер человечества: и всякий, кто воспитывает себя и только себя, уже тем самым содействует этому. Если бы свойством всех людей без исключения было желание развивать лишь свою индивидуальность и свято чтить индивидуальность других, если бы далее каждый человек не пожелал передавать другим или же брать от других более того, что само по себе переходит от него к другим и от других в него, то душам человеческим была бы привита высшая мораль, самая последовательная теория естественного права, воспитания и законодательства. Нужно только быть великим и щедрым, и люди узрят это и воспользуются этим; надо непременно обладать многим, чтобы отдавать, и люди смогут употребить это во благо, и благо сие породит новые силы.

Берлин, 8 февраля 1790 года

Ему же

[...] Если искусство государственного управления в большинстве случаев ограничивается тем, что создает густонаселенные, зажиточные или, как говорят, процветающие страны, то чистая теория должна ему во весь голос возразить, что все эти вещи прекрасны и весьма желательны, но что они возникают и сами по себе, если силу и энергию человека умножать, например, предоставляя ему свободу; если же, напротив, непосредственно стремиться производить их, то может пострадать как раз то, ради чего они, собственно, лишь и желательны [...]

[...] изолированный человек так же мало способен к самообразованию, как и тот, чья свобода сильно ограничена. Именно это привело меня к убеждению, что деятельность государства может заменить деятельность граждан лишь в том случае, когда речь идет о производстве тех необходимых вещей, кои они самостоятельно или без посторонней помощи приобрести не могут. И такой вещью, как мне представляется, может быть только безопасность. Все прочее человек создает себе сам, любое благо он приобретает своими силами, всякому злу он может противостоять либо в одиночестве, либо в добровольном сообществе с другими. Лишь сохранение безопасности, так как в противном случае любая борьба повлекла бы за собой новую, требует окончательной, беспрекословной власти; и так как в этом, собственно, и заключается сущность государства, то именно эта власть нуждается в государственном устройстве. Если же расширить границы деятельности государства, то тем самым будет весьма заметно ущемлена творческая инициатива граждан, наступит однообразие и будет, наконец, нанесен вред духовному развитию человека. Вот примерно тот ход мыслей, который был мною избран, хотя последовательность рассуждения в статье совершенно иная. Далее я более подробно остановился на тех отдельных отрицательных моментах, возникновение которых или неизбежно, или же трудно предотвратимо, если государство вместо того, чтобы ограничить себя функцией безопасности, вознамерится взять на себя заботу о физическом или паче чаяния нравственном благополучии своих граждан. Говоря о безопасности, я, кроме того, коснулся и средств ее повышения, а также попытался устранить все те факторы, которые слишком сильно воздействуют на характер, каковыми являются, например, общественное воспитание, религия (при этом я использовал в переработанном виде знакомый Вам трактат), нравственные каноны и, наконец, те средства, применение которых кажется мне одновременно и безвредным, и необходимым. Помимо этого я в общих чертах, но постоянно опираясь на избранную

[1] Иоганн Георг Форстер (1754—1794) — немецкий просветитель и революционный демократ, публицист, друг Гумбольдтов.

мною точку зрения, останавливаюсь на полицейском, гражданском и уголовном праве. В конце работы я попытался показать несколько случаев применения правильных теорий и преимущественный вред недостаточной подготовки к их применению. Простите мне, мой дорогой друг, это пространное, но столь несовершенное и небрежное изложение моих собственных идей. Однако участие, которое Вы всегда проявляли к этим предметам и к моим занятиям, соблазняло меня не раз. Это сочинение Дальберг прочел сначала сам, затем мы с ним вместе обстоятельно прошли абзац за абзацем и обсудили все доводы и контрдоводы в моей работе. Дело в том, что его идеи не вполне совпадают с моими, так как он предоставляет государству полномочия на гораздо более широкий круг действий. Между тем там, где дело не касается сохранения безопасности, он предлагает устранить насилие как таковое и дождаться волеизъявления нации с тем, чтобы направить заботу государства на какой-либо предмет. Каким бы неопределенным — и прежде всего на практике — ни было бы это положение, Вы, по-видимому, согласитесь со мной, что подобное уважение истинного суверенитета, высказанное будущим правителем, весьма знаменательно и что это первое ограничение устраняет большую часть того ущерба, который всегда сопряжен с чрезмерным управлением.

Эрфурт, 1 июня 1792 года

Ф. Шиллеру

[...] В последние недели я был занят почти исключительно приготовлениями к моей предстоящей поездке. Я надеюсь увидеть Пиренеи, всю Южную Испанию, а из Северной — Мадрид и Бискайю, затем Лиссабон, а на обратном пути — Южную Францию. На всем этом пути много достопримечательных мест, и я хочу воспользоваться этой возможностью прежде всего для изучения языка и литературы этих стран. Так как я уже довольно прилично владею испанским, изучаю также португальский, не перестаю заниматься старопровансальским, который, собственно, является праязыком (Muttersprache) новоитальянского, французского и испанского, то таким образом мне удастся обозреть всю эту семью языков Юго-Западной Европы и на их основе провести сравнение между литературой и национальным характером каждого из этих народов. Италию я, правда, не увижу, и мне будет недоставать того наглядного материала, без которого подобного рода знание людей и наций не может быть полным. Так как, однако, для меня важнее всего изучение отличительных черт и контрастов между французской, немецкой и английской культурами, то я надеюсь еще основательнее изучить французскую путем сопоставления ее с культурой Южной Франции и Испании, чтобы лучше понять, от чего, собственно, проистекает ее своеобразие [...].

Что меня еще радует в моем предстоящем путешествии, так это то, что, как только я ступлю на землю Испании, я окажусь как бы в XVI веке. Испания не только сохранила много старины в своих обычаях и нравах, преимущественно в южных провинциях, но она живет (что дает представление об особенностях испанского характера и испанском достоинстве) лишь своим былым величием. Как и Италия, она лишь в то время имела оригинальных писателей и губит теперь себя и свой язык тем, что неудачно подражает французам. Но та эпоха — я охотно признаюсь в этом — имеет для меня особое очарование. Она — колыбель нашей культуры, переход от античной цивилизации к новой, и если можно рассматривать развитие человечества в целом как последовательный ряд если не продвижений вперед, то по меньшей мере изменений, то для правильного и полного понимания нашей сегодняшней цивилизации мы должны искать ее истоки там.

Бискайя — небольшое, но весьма примечательное место. Это во всяком случае единственная европейская страна, сохранившая свой первоначальный язык (Ursprache), наиболее древний среди всех прочих новых языков и не обнаруживающий даже отдаленного сходства ни с одним из них. В высшей степени примечательна грамматика этого языка, наводящая на интересные размышления о происхождении языков вообще. Как только мои раздумья об этом языке приведут меня к каким-нибудь определенным результатам, я при случае покажу их Вам. Надеюсь, они доставят Вам удовольствие [...]

Когда имеешь дело лишь с мертвыми буквами, теряются не только отдельные нюансы, но прежде всего взаимосвязь между отдельными моментами, единство целого. Для того чтобы правильно понять нацию по произведениям ее писателей, обычаям и нравам, нужно, я полагаю, некоторое время общаться с ней, а правильное понимание — это ведь необходимейшее и главное условие при ее изучении.

Париж, 26 апреля 179? года

К. Г. Бринкману [1]

[...] Те идеи, которые в каждом человеке концентрируют его сокровенную сущность и которые можно назвать по крайней мере его метафизикой, претерпели во мне с некоторых пор значительное изменение, и я пришел чуть ли не к противоположной системе, а именно к такой, которая, надеюсь, найдет большее согласование с другими. Раньше я имел обыкновение погружаться в какую-либо индивидуальность, как бы концентрируя на ней весь мир; теперь же мне кажется, что все индивиды растворяются в человечестве, и единственное, чего мне недостает, так это точного определения конечной сущности. Фихтевское абсолютное «я» (я говорю лишь по памяти) всегда было мне неприятно и непонятно, ибо оно, как я понимаю, снимало истинные «я» и гипостазировало на их месте совершенно химерическое «я». О пантеизме Шеллинга я имею лишь очень смутное представление. Но если Вы согласитесь со мной, что в любой метафизике есть твердая и ясная точка, откуда исходят, а также (не лишенная твердости, но) неясная, к которой направляются, то, мне кажется, что Фихте предполагает первым то, что, собственно, является последним, т. е. абсолютное истинное «я».

Я чувствую теперь в столь многообразных видах несовершенство существа, наделенного человеческим интеллектом, и точно в таком же многообразии единство всех индивидов, что это наводит меня на мысль не о все-единстве, ибо это опять-таки неверное понятие, а о единстве, в котором исчезает любое представление о числе, любое противопоставление единства и множественности. Определение этого единства как божества я нахожу банальным, так как им всюду разбрасываются безо всякой пользы. Выражения «мир», «вселенная» приводят к совершенно слепым силам и к физическому бытию. «Мировая душа» — понятие еще более неуклюжее. Поэтому я предпочитаю остановиться на том, что ближе всего. Это единство — человечество, а человечество есть не что иное, как само «я». Я и ты, как любит говорить Якоби [2] — это совершенно одно и то же, точно так же, как *я* и *он*, я и *она* и все люди. Нам только кажется, будто каждая грань искусно отшлифованного зеркала представляет собой отдельное зеркальце. Когда-нибудь произойдет перемена, и это заблуждение исчезнет, и пелена упадет с глаз. Больше этого не скажешь, и больше этого не сможет выразить ни одна метафизика. Но то, что человечество и в численном отношении представляет собой единицу и что оно есть отнюдь не то, что мы видим, а то, о чем лишь немногие догадываются, хотя склонность к этой догадке есть у каждого, это для меня нерушимая основа всякой метафизики...

То, что я когда-то знал или полагал, что знаю о национальном характере, во многих отношениях подтвердилось во время моего пребывания здесь. Я уже серьезно подумываю о том, чтобы написать что-нибудь на эту тему. Но у меня появилось отвращение к большим книгам, и я думаю о такой форме, которая, если мне удастся это осуществить, только суммировала бы суть вопроса. Изучение языков я продолжаю упорнее, чем когда бы то ни было, и оно превосходно согласуется со всеми вышеизложенными идеями. Меня бесконечно привлекает внутренняя, таинственная взаимосвязь всех языков и прежде всего то высокое наслаждение, которое получаешь, проникая с каждым новым языком в новую систему мышления и восприятия. Ничем так плохо не занимались до сих пор, как языками. Я могу сказать, что нашел ключ, который представляет каждый язык в новом свете, облегчая понимание всех языков. Многое из этого Вы сможете увидеть уже в моем сочинении о басках, но, конечно, далеко не

---

[1] Карл Густав Бринкман, барон (1764—1847) — шведский дипломат и писатель, посол в Берлине и Лондоне, друг юности В. фон Гумбольдта.

[2] Фридрих Генрих Якоби (1743—1819) — немецкий писатель и философ-иррационалист. Противник Спинозы, Канта и Фихте, друг Гёте, Гумбольдта, мадам де Сталь, автор романа «Вольдемар».

все. Мне предстоит еще немало изучить, и я не знаю, когда смогу начать писать. Одно всегда вредит другому, и я неизменно предпочитаю первое, так как это мне легче дается и больше удовлетворяет меня...

Рим, 22 октября 1803 года

Каролине [1]

[...] Все поле мысли, все то, что непосредственно и в первую очередь относится к человеку, и даже то, что составляет основу красоты и искусства, имеет доступ к душе лишь посредством изучения языка, через источник всех мыслей и чувств. Он всегда остается тем предметом, с помощью которого легче всего погрузиться в самого себя, любить мир лишь за то, что познаешь в нем самого себя и испытываешь тоску по высшему, что бывает лишь в состоянии глубокого уединения духа. Тот, кто лишен этого, только наполовину обладает чувством собственного достоинства и тот всегда лишь наполовину счастлив [...]

Кёнигсберг, 13 октября 1809 года

Ей же

[...] Вся жизненная сила, простота и свежесть нации воплощаются в народе, который — поскольку он всегда действует как масса — обладает и соответствующим характером. То, что поднимается над просвещением народа, просто превращается в индивидуальное, выходя таким образом в своем стремлении за пределы нации. Так как, однако, нация в своей истинной сущности должна состоять из того и другого одновременно, исходя из своей природы (ибо человеку суждено идти в ногу со своим родом, и он, невзирая на все индивидуальные способности, может отдаляться от последнего лишь на очень ограниченное расстояние), то характер народа путем воспитания и других средств следует поставить в государстве в такие условия, дабы он не только внушал к себе глубокое уважение высших сословий, которые от народа отделить до конца невозможно, но и склонность укреплять и обновлять их изнеженность его силой и его свежестью; то есть примерно так, как старость тянется к юности.

Низшие сословия в своем развитии нуждаются в высших гораздо меньше, чем наоборот; они самостоятельны, как природа, которая может обойтись без человека, в то время как человека вне природы представить себе невозможно.

Для высших сословий, однако, народность останется чуждым элементом, если не организовать просвещение таким образом, чтобы оно было всеобщим основанием, которым никто не сможет пренебречь, не презирая самого себя, и исходя из которого можно будет строить дальнейшее образование. Поэтому следует принять не двоякое обучение, а одно в ограниченных рамках и другое — более расширенное — для представителей низов и аристократии, а ведь истинное воспитание едва ли допускает еще какое-нибудь различие, кроме названного [...]

Вена, 20 августа 1814 года

Фр. Г. Велькеру [2]

[...] Я полагаю, безо всякого предубеждения можно сказать, что только на языке оригинала можно услышать то индивидуальное, что присуще нации. Перевод же передает лишь фактуру мысли, а то немногое, что даже при хорошем переводе сохраняется из формы, ущербляется в результате изменения, которому подвергается сам материал в новой форме. Именно то, что можно услышать голос самой нации, я считаю наивысшей и, быть может, единственной пользой и смыслом изучения языков, независимо от целей познания и исследования, к коим оно приводит; и чем древнее та или иная нация, тем больше она находится в той связи со своим языком, какая необходима для того, чтобы изучение его привлекало внимание. Ведь конечной целью любого

[1] Жена В. фон Гумбольдта.
[2] Фридрих Готлиб Велькер (1784—1868) — специалист по истории античности, был домашним учителем в семье Гумбольдтов.

истинного познания является понимание того, что́ человек е с т ь на самом деле в соответствии со своей возможностью постичь и даже преобразовать мир [...] Поскольку лишь изучение важного самобытного языка может во всей полноте предоставить такое созерцание, то приобретенный в нем большой опыт, каковым является, например, чтение «Бхагавадгиты», я называю настолько значительным жизненным событием, что можно поздравить себя с подобным счастьем, прежде чем ты ушел из жизни [...]

Тегель, 25 сентября 1823 года

Ему же

[...] Во всех работах о языке при изложении своих взглядов мне приходится сталкиваться с тем фактом, что лишь единицы обладают хотя бы в общих чертах чувством языка, посредством которого только и можно воспринять эти взгляды. Совершенно обычные идеи, как, например, то, что язык-де является средством, орудием, слова — бездушными знаками, грамматика — приспособлением, которым, какими бы преимуществами или недостатками оно ни обладало, можно пользоваться с неизменным успехом, различие между языками — препятствием, устранения которого следует желать, даже если всем придется писать только на латинском или французском, изучение же языков имеет значение лишь в связи с тем, что написано на этих языках, и так далее — преобладают не только в умах, занимающихся, собственно, науками, но и среди филологов. Для подобного взгляда, которому свойственно тупое равнодушие к подлинному чувству языка, все то суть измышления ума или фантазии, что столь глубоко продумано относительно истинной природы языка, что столь убедительно подкреплено примерами и что столь рассудительно изложено. Я немногого жду для этой статьи и от другой категории читателей, а именно от тех, кто смотрят на древность, то есть на наивысшее, как я полагаю, совсем не так, как я, делают между нациями различие, которое по степени своей едва ли измеримо, первоначальное совершенство языка принимают чуть ли не за откровение.

[...] Для тех, кто придерживается подобных взглядов, я, наверно, представляю человека, объясняющего чудеса естественными причинами. Я говорю это, милый друг, для того, чтобы показать Вам, как важно для меня при таком положении вещей услышать Ваше мнение и как ценно для меня, чтобы Вы высказали его откровенно и без церемоний [...]

Тегель, 22 мая 1824 года

К. Ф. Беккеру [1]

[...] Язык в целом и в каждой своей отдельной части есть произведение всего человеческого рода. Он имеет свою основу и в организме всего человечества, из свойственных его природе разделений и смешений он и происходит. Общество является необходимым условием возникновения языка, который иначе не образуется. Поэтому язык во всех своих частностях и возникает по всем законам, направляющим формирование человеческого общества. Я не могу поэтому не признать, что организм частного в происхождении языков всегда является хотя и не единственным, но наиглавнейшим обуславливающим элементом, или же это понятие скорее следует принимать в более широком смысле, нежели его в состоянии дать одна лишь физиология.

Я вообще рассматриваю язык с той точки зрения, что он в человеке представляет собой необходимый инструмент мысли, равно как и коммуникации в жизни. Именно это привело меня к намеченному Вашим высокородием пути, так как язык для этой двойной цели ведь должен быть непосредственно дан вместе с самой природой человека. Но эта точка зрения вынуждает меня объяснять происхождение языка не из идеи организма и заключающейся в нем противоположности, а из изучения всей природы отдельного человека и общего положения человеческого рода в зависимости от времени и пространства. Так и грамматика, на мой взгляд, возникает иным образом, а именно из исследования предпосылок, необходимых для образования членораздельной речи. В принципе это все тот же путь, по которому шли греческие грамматисты, открывающий, учитывая наши знания языков, широкие перспективы...

Берлин, 20 мая 1827 года

[1] Карл Фердинанд Беккер (1775—1849) — немецкий ученый-лингвист.

Кристиану К. Й. фон Бунзену [1]

[...] Народ нужно увлечь именно тем, что является продуктом его ума и сердца, или же тем, что он освоил как таковое. Но то, что можно отнести к этой области, встречается все реже и реже, так как утонченное образование все меньше считается с необходимостью признания существующего рядом с ним народного и вынуждено поэтому в справедливое наказание за это отдавать предпочтение банальности. Это болезнь времени, которое обладает, казалось бы, всем, однако не понимает истых, здоровых, самородных инстинктов, единства разума и чувств, лежащего в основе всего народного. История знает целые периоды, в течение которых лишь массы были движущими моментами духовного прогресса человечества. Я имею в виду периоды образования языков и зарождения мифов. За ними следуют периоды песнопений и философских изречений, в качестве создателей которых называются неопределенные исторические имена. Лишь за названными двумя периодами следует развитие собственно индивидуального, когда конкретный человек живет и созидает, полагаясь лишь на самого себя. На этом постоянном отделении духа индивида от духа массы основывается, по моему убеждению, объяснение эволюции человечества. Но в сегодняшнем состоянии развития высшая и утонченнейшая идейная жизнь не сможет существовать, если здравый народный смысл не будет питать ее полнотой и самородностью чувств. Это естественное единство индивида и массы является той причинной связью, благодаря которой нации представляют собой нечто гораздо большее, нежели лишь скопление отдельных людей. Политика все больше склоняется к тому, чтобы рассматривать нации лишь так [...]

Тегель, 22 ноября 1833 года

Перевод с немецкого Сергея ОКРОПИРИДЗЕ

---

[1] Кристиан К. Й. фон Бунзен (1791—1860) — прусский государственный деятель и ученый.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИР ОБ «УЛИССЕ»

Вступление и составление ЕКАТЕРИНЫ ГЕНИЕВОЙ

В конце 30-х годов Всеволод Вишневский, автор «Оптимистической трагедии», был в Париже. В ту пору там жил Джеймс Джойс. Шумно-скандальный успех, выпавший на долю «Улисса», сделал его не меньшей достопримечательностью города, чем Эйфелева башня. Встречи с Джойсом, его литературного благословения, беседы с ним, наконец, просто почтительного лицезрения мэтра искали начинающие писатели, те, кто через четверть века сами стали классиками,— Эрнест Хемингуэй, Фрэнсис Скотт Фицджеральд.

Искал встречи с Джойсом и советский писатель Всеволод Вишневский. Он прочитал «Улисса» в переводе, был потрясен силой, новаторством искусства Джойса, вступил у себя на родине в бой за Джойса с теми, которые, не читая писателя, утверждали, что проза Джойса — тупик, что она чужда и не нужна молодому советскому искусству.

Джойс нехотя согласился принять автора из далекой и неизвестной ему страны, где, как он слышал, его книги не слишком жаловали. Не успел Всеволод Вишневский переступить порог парижской квартиры писателя, как был оглушен вопросом: «Зачем вы пришли ко мне, молодой человек? Мои книги никто не знает в вашей стране». «Вас переводили у нас с 1925 года, то есть ранее, чем во многих других странах»,— парировал Всеволод Вишневский.

Действительно, первая публикация Джойса по-русски состоялась на страницах альманаха «Новинки Запада» за 1925 год. Это был очень изобретательный коллаж, дающий представление о стиле романа, приемах Джойса. Кстати, в этот коллаж попали отрывки из эпизода «Пенелопа».

Первым рецензентом Джойса в нашей стране стал Евгений Замятин. Его рецензия, подписанная инициалами «Е. З.», была напечатана на страницах альманаха «Современный Запад» в 1923 году. Трудно сказать, читал ли Замятин «Улисса». Может быть, он составил свое мнение по откликам зарубежной печати. С уверенностью можно сказать, что с «английским» Джойсом были знакомы Эйзенштейн и Шкловский. О Джойсе в эти годы размышляли Олеша, Пастернак.

Русская эмиграция — Владимир Набоков и Дмитрий Святополк-Мирский — тоже пишут о Джойсе. С отзывом Владимира Набокова читатель познакомился в № 10 «ИЛ». Мирский — случай гораздо более сложный и путаный. В эмигрантском, недолго существовавшем журнале «Версты» за 1928 год Мирский дал высокую оценку роману Джойса, указал на трудность, в первую очередь языковую, текста, признал, что «Блум — величайший в мировой литературе символ среднего, обычного человека», а сцена в публичном доме «потрясает». В конце статьи Мирский даже сравнивает Джойса с Шекспиром, замечая, что со времен автора «Гамлета» в английской словесности не было более значительной фигуры.

Так писал Мирский на страницах журнала «Версты». Иначе он стал писать и думать, вернувшись из эмиграции на родину в 1933 году и погрузившись в идеологические споры о Джойсе в преддверии Первого съезда писателей. Теперь Мирский называет Всеволода Вишневского «формалистическим коммунистом», который зовет изучать Джойса и Дос Пассоса; Шкловского упрекает Мирский в откровенном формализме, считает, что советский писатель должен воспитывать в себе сопротивление таким явлениям, поскольку пролетарскому читателю, строящему социализм, не нужны ни Джойс, ни Дос Пассос.

Положение Мирского было трудным. В отличие от многих своих коллег он хорошо знал текст Джойса. Поэтому, если отвлечься от идеологического комментария критика, можно увидеть и глубину наблюдений критика. Сцену в публичном доме Мирский называет «джойсовской Вальпургиевой ночью» и замечает, что здесь писатель очень близок Фрейду. Только Джойс, продолжает Мирский, обрядил себя в шутовской костюм, весь же текст — это гигантская метафора, нечто подобное тому, что пытается сделать Маяковский. С другой стороны, гротеск Джойса, его клоунада — все это, пишет Мирский, очень близко Бабелю. И вообще роман пропитан иронией, часто драматической, в нем все время слышится «смех сквозь слезы». Очень любопытны и суждения Мирского о Молли Блум: архетипическое воспроизведение

женского начала, мещанка, филистерка, самка.

Страсти в литературной среде накалялись. Недаром на лекции о Джойсе в Институте кинематографии Эйзенштейну был задан вопрос, почему он не выскажется о Джойсе со всей определенностью на страницах печати, почему не вступит в полемику с его ниспровергателями. Ответ Эйзенштейна был очень нервным: «У меня на это нет времени и вообще не хочу вмешиваться в их литературную полемику. Зачем? Я изучил Джойса».

Серьезно разобраться в искусстве Джойса пытался и Ремизов: «Это не романтизм и не реализм, но... что-то сугубо современное, новое».

Оскорбленный суждениями Мирского о Джойсе и о себе, Всеволод Вишневский выступает в июле 1933 года на страницах журнала «Литературный критик». Для него Джойс реалист, свидетель гибнущей, умирающей эпохи. Критика Мирского его не убеждает: «На ней лежат отблески пламени средневековья, сжигавшего неугодные книги».

В эти годы о Джойсе обстоятельно, но уже с оглядкой на суждения Мирского, пишут Р. Миллер-Будницкая и А. Старцев.

Конец «либерализму» в оценках Джойса положил Первый съезд писателей, на котором была произнесена программная речь Карла Радека. Собственно, он повторил то, что уже говорилось в статьях Мирского после 1928 года, но только в резкой, установочной форме. Что говорить, Эйзенштейн правильно волновался, опасаясь, что после выступления Радека переводы Джойса будут приостановлены. Однако приговор еще был не окончательным. Более того, редакторам журналов даже рекомендовали печатать «кое-что из Джойса».

В ноябре 1934 года на страницах ленинградского журнала «Звезда» был напечатан перевод эпизода «Гадес» под заглавием «Похороны Патрика Дигнема». Переводчиком выступил Валентин Стенич. В его же переводе в 1935 году появился и третий эпизод «Улисса» «Калипсо» под заглавием «Утро мистера Блума». Предисловие к этой публикации написал Мирский. Но уже в 1937 году Мирский был арестован, в 1938 году был репрессирован и Стенич.

В самый разгар дебатов о Джойсе появилась и очень изобретательная пародия Александра Архангельского в альманахе «Год шестнадцатый». В 30-е годы Архангельский был одним из признанных литературных авторитетов. В зеркале его сатиры отразились наиболее значительные явления литературы тех лет. Не успевали современники освоиться с новым стилем, приемом, манерой, которыми изобиловала литература 20—30-х годов, как пародист моментально подбирал к ним ключ. «Пародия,— писал Архангельский,—должна отвечать тем же требованиям, которые предъявляются критике». Пародия «Искатели Джемчуга Джойса» виртуозно передает стиль самого Джойса в эпизоде «Пенелопа» — «поток сознания», ни одного знака препинания, словотворчество. Мелькают имена участников споров: сам «апологет» — Всеволод Вишневский, «шкловун Виктор», «ермилый мидый» — критик Ермилов.

Драма, разыгравшаяся на писательском съезде, не затронула пока Первое переводческое объединение Ивана Кашкина. Кашкинцы трудились над «Улиссом», попутно, осваивая классика, готовили к печати «Дублинцев». Первые десять эпизодов «Улисса» с 1935-го по апрель 1936-го печатались на страницах «Интернациональной литературы». Переводчик Игорь Романович был арестован 2 ноября 1937 года. Перевод раннего романа Джойса «Портрет художника в юности», выполненный М. Богословской-Бобровой, одной из кашкинцев, в 1937 году, увидел свет лишь в 1976-м на страницах журнала «Иностранная литература». Переводчица не дожила месяца до начала публикации. Сборник «Дублинцы», подготовленный кашкинцами, вышел в 1937 году без указания фамилий переводчиков. Автор послесловия был вынужден скрыться за псевдонимом. Имена переводчиков мы узнали лишь в 1982 году, когда в Библиотеке журнала «Иностранная литература» было подготовлено издание «Дублинцев», иными словами — через 45 лет.

В 1937 году публикации Джойса прекратились.

Конечно, наша культура продолжала впитывать, поглощать, осваивать Джойса. Пожалуй, особенно интересны в этом отношении суждения о Джойсе и его «Улиссе», принадлежащие Анне Ахматовой. Анна Андреевна не только внимательно прочла, но и несколько раз перечитала «Улисса». В ее дневниковой записи за 1937 год есть замечание, относящееся и к Мандельштаму: «В то же время мы с ним одновременно читали «Улисса» Джойса, он — в хорошем немецком переводе, я — в подлиннике. Несколько раз мы принимались говорить об «Улиссе», но было уже не до книг».

Есть и еще одно замечание, касающееся Мандельштама и Джойса. Чтобы понять, надобно привести весь отрывок: «В музыке Осип был дома, и это крайне редкое свойство. Больше всего на свете боялся собственной немоты. Называл ее удушьем. Когда она настигала его, он метался в ужасе и придумывал какие-то нелепые причины для объяснения этого бедствия... Любил говорить про то, что называл своим «истуканством». Иногда, желая меня потешить, рассказывал какие-то милые пустяки... Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на «Тучке» (комната Н. С. Гумилева, которую он снимал в Тучковом переулке.— Е. Г.) и хохотали до обморочного состояния, как кодатерские девушки в «Улиссе» Джойса».

«Кодатерские девушки», видимо, «кондитерские» девушки, те две хохотушки-певуньи, барменши из эпизода «Сирены». Существенно другое, рассказ о музыкальности Мандельштама вызывает у Анны Андреевны, обладавшей поразительной памятью, ассоциацию с самым музыкальным эпизодом «Улисса».

Как любой большой поэт, Ахматова могла выделить в произведении главное — так она выделила музыкальную тему «Улисса», так поняла и причины внутренних мучений, разлада Стивена-Джойса. К «Черепкам» эпиграфом она взяла строчку из эпизода «Циклоп». Эта строчка у Ахматовой приведена по-английски: «Он не оставит свою

мать сиротою». Обращает на себя внимания глубокая, собственная интерпретация Ахматовой сыновней трагедии героя Джойса. Впрочем, это уже материал для других размышлений.

Сейчас, когда текст Джойса представлен на читательский суд, разорванная связь литературного времени, как разорванная сеть, начнет лататься. Проступят черты и в нашей словесности, ранее не понятые, не увиденные, образуются, хочется надеяться, и новые связи.

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

«Современный Запад». Книга вторая. Петербург — Москва, 1923

Одной из наиболее выдающихся книг в английской художественной прозе за последний год является «Улисс» Джэмса[1] Джойса.

Джэмс Джойс — ирландец. Перед началом мировой войны вышел том его рассказов — «Дублинцы», немного позже — роман «Портрет художника» и драма «Изгнанники». В течение последних пяти лет о нем ничего не было слышно, он нигде не печатался. И только в этом году вышла — напечатанная во Франции, по подписке (3 фунта стерлингов за экз.) — эта его книга «Улисс», около 700 стр. большого формата мелкой печати.

Это — не роман и не повесть, в обычном смысле этого слова, а что-то в роде живой, острой, художественной летописи подлинной жизни Ирландии: все действующие лица — действительно живущие сейчас в Дублине деятели политики и литературы, художники и завсегдатаи Дублинских трактиров: автор почти не старался прикрыть их вымышленными именами. Книга — жестокая, звонкая; это пощечина и Британии, и Ирландии. Об «Улиссе» много писали, ругали и хвалили автора, как давно никого не ругали и не хвалили. Между прочим, в английской чопорной литературе до сих пор ни один автор не подходил так грубо, реалистически к вопросам сексуального порядка, что дало повод многим критикам усмотреть в книге «порнографию». Рядом с этим отмечалось, что у автора — поразительное и необычайно тонкое понимание Шекспира, критике которого он уделяет много места в своей многосторонней книге. Издана была эта книга во Франции, потому, что ни в Англии, ни тем более в Ирландии ни один книгоиздатель не взялся бы ее напечатать, чтобы не навлечь на себя судебного преследования. О впечатлении, произведенном книгой Джойса на публику, можно судить по тому, что вскоре после ее выхода в газетах время от времени появлялись объявления о готовности уплатить за «Улисса» 8—10—12 фунтов.

Роман, произведший сильное впечатление на континенте, вызывает довольно холодное отношение со стороны английской критики. Она считает его «антиевропейским» за крайний индивидуализм, переходящий в анархизм, за полное отрицание социальной морали. Отмечается нечто общее по духу с «Братьями Карамазовыми». Типичной чертой «ирландского ума» признается своеобразное сплетение в романе трагического и комического начал.

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

Из дискуссии «Советская литература и Дос Пассос». «Звезда», 1933, № 5

Джойс и Пассос заставляют задуматься о том, каким образом передавать мир, адекватно передавать огромную мировую наполненность. Миновать этих писателей, которые дают замечательным рисунком огромное многообразие жизни, рисунком, доводящим вас до физического ощущения, жизни, смерти, солнца, воздуха,— нельзя. Каким же образом это сделать? Их приемы надо использовать. Пробы уже идут, и ничто их не остановит.

Из письма В. Киршону от 1937 г.

Ты грубо ведешь себя... Попробуй прочесть Джойса (трех периодов: 1912, 1922, 1932—1933 гг.), дай анализ и выступи с публичной оценкой объекта, который так вас тревожит и раздражает. Ты долбишь в запале о классическом наследстве. Очевидно, где-то наследство внезапно кончается (на Чехове?) и дальше идет всеобщая запретная зона! «Тут плохо и не ступите сюда». Но как все-таки быть: существует мир, человечество, классы, идет борьба. Есть искусство (Чаплин, Гриффит, Джойс, Пруст, Барбюс, Жироду, Ремарк, Роллан, Уэллс, Тагор, Киплинг и др.). Оно сложно, в нем непрерывные столкновения и изменения... Не было «запретных» книг для Маркса, Ленина. В познании жизни надо брать все. (Дело уменья, конечно).

Из дневника. 1938—1940 гг.

Бы.л у Джойса. Узнав у Леже, он пригласил меня. Вошли. Тихо. Прошло минуты две. Входит человек и что-то ощупывает: Джойс пятнадцать лет почти слепой. Чудом окулисты Франции вернули ему маленькую часть зрения. И для того, чтобы он мог читать, ему писали на больших листах плотной бумаги громадные буквы. Теперь он вооружается сложными оптическими приборами и читает небольшие вещи. Мы поздоровались.

Начался разговор о его книгах, отношении к СССР...

Больной, почти ослепший человек. Уже лет двенадцать-пятнадцать не читает, следовательно не знает литературы. Он только слышит о ряде вещей, но этого мало. Держится возможно естественнее — будто светский, зрячий человек. Высокий, тощий, седоватый. Говорит с сильно английским акцентом. «Мои книги в Англии жгут...» Разговор касался ряда тем. Очень оживился, когда я рассказал ему насчет «Улисса» в СССР — о дискуссии, о самом романе, о переводе его в «Интернациональной литературе».

И вот сидит этот пожилой, больной европеец в неуютной, старомодной квартире

[1] Здесь и далее орфография оригинала.

(«модерн» 1909 года) и в лупу пытается что-то прочесть. Иногда шутит зло над немцами. Задел и нас: «Шекспир, вероятно, пользуется у вас успехом потому, что в последнем акте убивает всех королей?» Я говорю, что в числе ряда свойств Шекспира мы ценим и эту его склонность.

Джойс поводит длинными худыми руками. Из-за огромных специальных стеколочков глядят блеклые глаза. В зеркальном шкапике джойсовские издания на двадцати двух языках: "Dubliners", „Ulysses" [1].

«Как вы относитесь к СССР?» — «Никак».— «Можно просить пояснения?» — «Я никогда не был в вашей стране, я знаю о ней очень мало. Мне говорили, что мои книги у вас запрещены».— «Этого никогда не было: вас переводили у нас с 1925 года, то есть ранее, чем во многих других странах. Вас печатали в сборнике «Новинки Запада» и других».— «Благодарю вас».

Странный мир у этого полувыключенного из жизни писателя. Он продолжает работать. Ищет. В беседе он понемногу оживляется. Я стараюсь сделать эту беседу как можно более простой, непринужденной. Джойс слышал о фильме. Ему говорил Леже. «Если я сяду в первом ряду — я увижу». И он перебирает свою оптику. Я благодарю за доброе желание.

Подошел Леже. Заговорили о живописи и музыке. Я рассказывал о Советском Союзе, спрашивал о новых работах Джойса, интересовался, может ли он диктовать. Он сказал, что не диктует никогда,— он может только писать. Рассказал еще о ряде вещей. Мы посидели, поговорили.

Я почувствовал, что надо уже уходить, чтобы не утомлять старика. Джойс все время старался казаться вполне зрячим — он смотрит в вашу сторону и т. д. Мы встали. Джойс нас вышел провожать. Прощаясь, он сказал: «Спасибо вам за дружеское посещение». И вдруг, помолчав, вспомнил и прибавил несколько слов по-русски — тоже дружески, благодарю. (Он знает десять — двенадцать языков, в 1930 году занимался специально русским языком). Мы пожали друг другу руки...

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Вс. Вишневский. Искатели Джемчуга Джойса. Отрывок из романа. 1932 г. [2]

«Год шестнадцатый». Альманах первый. М., 1933.

...Юго-западный ветер шевелит волосы Джойса отойдите макаркающие я хочу равняться затылок учителя не боюсь молод здоров оспопривит гип-гип полундра луженый желудок весь мир материки океаны лопай малютка дюжиной ртов глаза уши познать мир весь весь потрохами ах какой бодрый кувыркач шкловун Виктор кадры кино 33 печеных листа в Огизайро в Гихлинойсе в МТПейре в академии-фасольлясидо макромикрокосмы вселенной зачатие любовь рождение смерть пищеварение страсть сон эмоция сложумножение вычитание деление пищи скальпель-пель-пель желудочный сок печенку селезенку бога душу жеманфиш брось митрофан про пустово ложе мало мало гехто что такое гехто доспассется молодой хвостомах пасись дитя мое майнавира лабиринт пролетариата домна дымная рожает чугунные мальчики ты была в красном платочке восьмое марта я люблю тебя сказал Соревнованичка ах какой клещастый подъемнокранный будь моей да возьми ты сказала бога нет да распишемся в загсе что ты делаешь это вам не бровонасупленный толстофадеев мне отмщение и аз разгромлю дифиурамбы ермилый милый толстофадеич старо старо я бравый моряк — бодрый ныряк в подсознанье видеть инфузории бациллы атомы пока не всплывешь Эйн-зейн-штейн вишневые трусики ура ура искателям Джемчуга Джойса...

Б. ПИЛЬНЯК, Б. ПАСТЕРНАК

Из некролога Андрею Белому.
«Известия», 1934, январь 9.
Подписи: Б. Пильняк, Б. Пастернак и др.

...Джойс — это само воплощение мастерства в современной европейской литературе ... надо помнить, что Джеймс Джойс — ученик Андрея Белого.

КАРЛ РАДЕК

«Джемс Джойс или социалистический реализм!»

Из доклада «Современная мировая литература и задачи искусства пролетариата», август 1934 г.

В чем основа Джойса? Основа его в убеждении, что **нет ничего в жизни крупного — нет крупных событий, нет крупных людей, нет крупных идей** и писатель может дать картину жизни, именно взяв «любого героя в любой день» и пересняв его тщательно. **Куча навоза, в которой копошатся черви, заснятая кинематографическим аппаратом через микроскоп,**— вот Джойс. ...Нечего говорить, что методом Джойса дать картину революции можно так же успешно, как неводом ловить дредноуты...

В этом интересе к Джойсу бессознательно выражается то же **желание правых писателей, приспособившихся к революции, но на деле не понимающих ее величия, уйти от Магнитогорска, Кузнецкстроя, уйти от великих дел нашей страны к «великому искусству»,** дающему маленькие дела маленьких людей, убежать от бурного моря революции к застойным водам маленького озера и болотам, в которых живут лягушки.

---

[1] «Дублинцы», «Улисс» *(англ.)*.

[2] Название пародии образуется сложением имени Джеймса Джойса и названия оперы Бизе «Искатели жемчуга». Поводом для создания пародии стали теоретические выступления Всеволода Вишневского на дискуссиях о Джойсе и Дос Пассосе, в которых он рьяно доказывал необходимость усвоения их стиля.

СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН

Из статьи «Одолжайтесь!», 1932 г.

Только киностихии доступно ухватить представление полного хода мыслей взволнованного человека. Или уже если литература, то только литературе, вышедшей за пределы своих ортодоксальных ограничений. Предельно блестяще это решено внутри жестких рамок литературных ограничений в бессмертных «внутренних» монологах агента по сбору страховых объявлений Леопольда Блума в замечательном «Улиссе» Джеймса Джойса.

Недаром, встретившись со мной в Париже, Джойс так интенсивно интересовался моими планами в отношении «внутреннего киномонолога» гораздо более необъятных возможностей, чем литературный.

Несмотря на почти полную слепоту, он хотел видеть те части «Броненосца» и «Октября», что на киноучастке культуры выразительных средств движутся по сродственным путям.

«Внутренний монолог» как литературный прием упразднения различия между субъектом и объектом в изложении переживаний героя в откристаллизовавшейся форме впервые отмечается в литературе и относится исследователями к 1887 г., к работам Эдуарда Дюжардена над «Срезанными лаврами»...

Как тема, как мировосприятие, «ощущение», предмет описания, но не прием его, он встречается, конечно, и раньше. «Скольжение» из объективного в субъективное и обратно сугубо характерно для писаний романтиков: Э. Т. А. Гофман, Новалис, Жерар де Нерваль. Но как прием литературного письма, не сюжетного переплетения, а формы литературного написания, как специфический прием изложения, как специфический прием конструкции, он впервые встречается у Дюжардена; своего же абсолютного литературного совершенства он достигает лишь у Джойса и Ларбо тридцать один год спустя.

Из лекции «Режиссура», 1933 г.

Когда видишь готовую вещь — по существу, совершенно не знаешь, как она делается. Вкратце вы будете знать, что какой-нибудь Джойс писал «Улисса» десять лет, что был роман переписан четыре раза целиком, было несколько вариантов и т. д. Обычно такие вещи вы, вероятно, пропускаете мимо внимания, а вместе с тем страшно интересно знать, что вот человек работал несколько лет над одним романом. Как же человек жил эти годы? Очень интересно проследить, какие бывают срывы, как не выходит желаемое, что такое неудача. «Улисс», конечно, наиболее интересное для кинематографии явление на Западе... деанекдотизация и непосредственное выявление темы через сильно действующий материал. Совсем стороной от сюжета, только еще из добросовестности фигурирующего в произведении.

Из лекции «Улисс» Джеймса Джойса, 1934 г. (Из архива С. Эйзенштейна)

...Что же главное в романе Джойса?.. Он берет один характер, одного героя, одно событие и рассматривает его через очень мощный микроскоп. Если бы он пользовался обычной техникой, то описание такого дня уместилось бы на трех-четырех страницах. Под микроскопом он рассматривает все детали, иными словами, показывает все, что попадает в поле его зрения в этот миг... Если говорить о самом методе, то это вживание искусства в науку, приближение искусства к науке...

Польза Джойса с точки зрения постижения самого искусства литературы огромна... Я как раз сейчас занимаюсь вопросами техники письма и вопросами формы. Джойс в этом смысле бесценен. Впервые в истории литературы показана сама литературная фактура. То же самое, наверное, произошло, когда впервые клетку смогли рассмотреть под микроскопом.

...Критика Джойса часто бывает несправедливой и предвзятой... Радек не хочет принимать во внимание открытия Джойса. Он утверждает, что нам не нужно такое микроскопическое изучение предмета... Его выступление настолько дискредитировало Джойса, что теперь уж, наверное, и не будут переводить роман. Или же переведут и издадут ограниченным тиражом для особо избранных творческих и научных работников. Нет, скорее всего после того, как Радек разделался с Джойсом, его и вовсе не будут переводить. А значит, он будет доступен лишь тем писателям, которые читают по-английски и по-немецки. Широкие массы советских читателей и писателей останутся без Джойса.

Но в конце концов, у разных писателей мы учимся разным вещам. У Бальзака — умение «писать» характер. Мы этому вовсе не учимся у Золя. А у Джойса поразительный запас собственно художественного опыта, а как бы это было полезно нашим писателям...

Почему считают, что Джойса надо не осваивать, а что Джойса непременно будут копировать. Что само по себе невозможно. ...Но ведь постижение чужого опыта не есть копирование, но понимание сути самого процесса, не механическое заимствование, но понимание самого принципа, пересмотр принципа, самоврастание в него...

Формально Джойс достиг пределов литературы. Многое из того, что он сделал, повторить невозможно, многое из сделанного им гармоничнее воплотилось бы в других формах искусства. От Джойса один шаг до искусства кино, фильма...

АННА АХМАТОВА

17 октября 1940 г.

Л. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. «Нева», 1989, № 7

...Изумительная книга. Великая книга... Вы не понимаете ее потому, что у вас времени нет. А у меня было много времени, я читала по пять часов в день и прочла шесть раз. Сначала у меня тоже было такое чувство, будто я не понимаю, а потом все постепенно проступало,— знаете, как фотография, которую проявляют. Хемингуэй, Дос Пассос вышли из него. Они все питаются крохами с его стола.

Протоиерей АЛЕКСАНДР МЕНЬ

КАМЕНЬ, КОТОРЫЙ ОТВЕРГЛИ СТРОИТЕЛИ

Размышления, навеянные романом Мигеля Отеро Сильвы

Еще не утихли первые оживленные дискуссии вокруг «Плахи» Чингиза Айтматова и «Факультета ненужных вещей» Юрия Домбровского — романов, включающих евангельские мотивы,— как появился перевод последней книги венесуэльца Мигеля Отеро Сильвы, на сей раз целиком посвященной жизни Христа [1].

Факт этот по-своему знаменателен. С одной стороны, он опровергает мнение, будто евангельская тема в нашей литературе — просто дань моде, возникшей в связи с общей переоценкой культурного наследия. Ведь на Западе такой переоценки не было, а в советской литературе образ Христа появился отнюдь не сегодня (вспомним хотя бы «Мастера и Маргариту» или цикл стихов в «Докторе Живаго»). С другой — обращение писателей XX века к Евангелию — явление отнюдь не случайное. Столетие, насыщенное трагическими кризисами, ознаменовавшееся разгулом ненависти, крушением утопий, идет к своему завершению в атмосфере угрозы, нависшей над цивилизацией. Все это доказывает жизненную необходимость укрепления нравственных устоев в обществе. А ведь совсем недавно их считали, по сути дела, чем-то второстепенным в сравнении с социально-политическими проблемами.

Разумеется, вопросы о смысле жизни, о подлинном призвании и ценности человека никогда не носили отвлеченного характера, но сегодня элементарный инстинкт самосохранения требует задуматься над ролью этических ценностей. Вот почему Евангелие, на почве которого веками возрастала культура многих народов, снова и снова входит в круг животрепещущих тем в художественной литературе.

Великие христианские мыслители последних ста лет, такие как Владимир Соловьев, Николай Бердяев или Пьер Тейяр де Шарден, справедливо утверждали, что демоническим, разрушительным началам в людях может противостоять только дух любви и милосердия, жертвенности и уважения к личности. Они указывали на Евангелие как на фундамент общечеловеческой этики.

Однако надо оговориться. Евангелие представляет собой не только моральный кодекс. Оно повествует о Личности. Личности, которую Новый Завет называет Спасителем, то есть Тем, Кто открыл человеку путь спасения от мирового зла. Тайна Христа является средоточием Нового Завета, и не только его, но и всей Библии.

Не потому ли за книгу о Христе взялся на склоне дней Мигель Отеро Сильва, писатель-коммунист? Ведь он не просто искал в Евангелии сюжета для исторического романа или беллетризированной биографии. Тема Христа тесно связана для него с духовными и политическими проблемами современности.

Не боюсь еще раз подчеркнуть: Мигель Отеро Сильва, повествуя о Христе, ищет ответов на вопросы современности. И в этом он среди писателей не одинок. Его книга органически вписана в художественную традицию, восходящую еще к античным временам. И в каждую эпоху жизнь и личность Христа в творчестве писателей преломлялись по-своему.

Надо сказать, что среди марксистских интерпретаторов этой темы Отеро Сильва не одинок и не является пионером. Его книге предшествует написанный в 20-е годы цикл произведений Анри Барбюса, который исходил из гипотезы Карла Каутского, тоже марксиста. Согласно этой гипотезе, Иисус Назарянин был революционером, казненным как предводитель восстания.

М. Отеро Сильва оставил в стороне подобного рода фантазии, построенные на песке, не подтвержденные текстами. По его собственному признанию, писатель предпочел «в качестве основных источников использовать рассказы четырех евангелистов». Это было верное решение, поскольку Евангелия до сих пор остаются уникальными и надежными свидетельствами о жизни и учении Христа.

[1] Роман «И стал тот камень Христом» опубликован в «ИЛ», 1989, № 3.

Может быть, стоит сразу оговорить некоторые особенности романа — они составили основу его художественной ткани.

Местами он является простым переложением Евангелий, порой удачным, порой несколько вялым и многословным. Через всю книгу проходят длинные монологи персонажей, которые описывают те или иные события, делятся переживаниями, излагают свои взгляды. Это наиболее «модернизированная» часть романа. Язык и стиль мышления в ней соответствуют не I веку н. э., а скорее нашему времени.

Подобный прием вполне оправдан и часто употреблялся в исторической беллетристике. Цель его — актуализировать прошлое, приблизить его к читателю, выдвинуть на первый план то, что волнует людей в любой стране.

И все же соблюсти меру М. Отеро Сильве полностью не удалось. Постоянно балансируя между прошлым и настоящим, он то перегружает текст историческим материалом, то облекает речи героев в форму новейшей эссеистики.

Особенно это бросается в глаза в монологах Иисуса. Яркая лапидарность, образность евангельских афоризмов превращается под пером писателя в тягучие рассуждения, зачастую лишенные внутренней силы. Впрочем, иногда они содержат такой парафраз слов Христа, который помогает нашему современнику лучше понять их смысл.

Однако я не хочу подробно останавливаться на этой, чисто литературной стороне романа, хочу остановиться на мысли, заложенной уже в самом его заглавии. На мысли о Красугольном камне.

Краеугольный камень — древний и многозначный библейский символ.

За восемь веков до н. э. пророк Исайя называл так духовные основы жизни общества, которые остаются незыблемыми, даже если совесть и разум людей омрачены ненавистью и заблуждениями. История, учил пророк, движется к полноте творения, к торжеству конечных замыслов Предвечного, к Царству Божию. И хотя многое в мире препятствует этому движению, залогом победы является Краеугольный камень веры и правды, дарованный миру. Исайя связывал этот дар с таинственным Избавителем, потомком царя Давида, Мессией, грядущим Христом. Он соберет народы воедино и приобщит их к высшему божественному бытию. Он не будет похож на тиранов-поработителей. Его сила — это сила духа.

Реальные события, реальный ход истории внушали мало надежд на исполнение этих пророчеств. Люди жили, погруженные в повседневные заботы, трудились, занимались политикой, воевали, грешили. Призыв пророков идти навстречу Царству, исполняя заветы Божии, оставлял их глухими или даже вызывал протест. Однако лучшие умы не отреклись от заветного чаяния. Пусть мир ищет своих путей в суете, лжи и корысти — остается Краеугольный камень, его ничто не сможет поколебать.

Это напряжение между идеалом и действительностью выразил ветхозаветный псалмопевец, воскликнув:

> Камень, который отвергли строители,
> соделался главою угла.

Банкротство тех, кто рассчитывал лишь на силу оружия, кто блуждал в лабиринте земных иллюзий, будет постоянно обнаруживаться, напоминая людям, что есть лишь одно твердое основание жизни — вера, надежда, любовь.

Иисус Христос прямо ссылается на слова псалма об отвергнутом камне, когда говорит о Своей миссии в мире. Его благовестие встречало активное сопротивление. Его проповедь была борьбой. Она несла «не мир, но меч», в том смысле, что благодаря ей обнажалась правда, человек ставился перед решающим выбором.

На этой борьбе и сосредоточил свое внимание Мигель Отеро Сильва.

В Евангелии Христу противостоят четыре ведущие силы: законники-фарисеи, зелоты, саддукеи и государственная власть в лице Ирода и Пилата. Кроме того, хотя в Новом Завете нигде не упомянута группировка ессеев, их доктрина тоже во многом была антиподом Благой Вести Иисусовой.

Отеро Сильва характеризует фарисея как «обуянного патриотизмом и религиозным пылом фанатика-буквоеда». В целом такая характеристика исторически верна, несмотря на то, что и среди фарисеев было немало людей чистых, с широкими взглядами. Христос нередко общался с ними и находил в их среде последователей.

Впрочем, для основного замысла романа существенна не реконструкция облика партии фарисеев, какой она была в истории, а некий *обобщающий* тип, свойственный всем векам и народам. В эпилоге книги Мария Магдалина говорит, что наступит время, когда явятся «новые фарисеи... попытаются изуродовать» заветы Христа «в клещах фанатизма» и «задушить вольную мысль людскую». Однако, чтобы понять суть фарисейской «модели», стоит оглянуться и на евангельскую эпоху. *Тогдашние законники были прообразом всех, кто в дальнейшем шел за ними.*

Те фарисеи, из древних времен, считали, что истово преданы Богу. Они отличались благочестием и знанием священного Закона. Их взгляды были в целом вполне правоверными. Примечательно, что и Христос говорит народу: «...все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте...». Пагубной «закваской фарисейской» Он называл не теорию, а «практику» фарисеев. В чем же она заключалась?

Слово «фарисей» значит «отделившийся». Члены этого религиозного союза, гордясь своей набожностью и праведностью, смотрели свысока на весь мир, порой уподобляясь тем пастырям, которые, по слову пророка, «пасут самих себя». Их переполняло кланово чванство, уверенность в том, что лишь им вручены ключи истины, что только они — блюстители отеческой традиции. «Невежд в Законе Божием» книжники считали проклятыми. Традиционно-культовые устои, национальное наследие превращалось ими в своего рода фетиш, неприкосновенную реликвию. Отсюда рост среди них ханжества, обрядоверия, лицедейства. Даже те, кто уважал их, приходили порой к мысли, что фарисеи «губят мир».

Христос обличает книжников за их слепую приверженность букве, обрядам, уставам, канонам. Он говорит, что они возложили на народ непосильное бремя, а сами «оставили важнейшее в Законе» — милосердие к людям и подлинную любовь к Богу. Живя постоянно в страхе нарушить какой-либо канон, они, по евангельскому выражению, «отцеживали комара, а проглатывали верблюда».

Повторяю, далеко не все члены фарисейской общины были таковы, но указанные черты фарисейства как явления реально существовали. Неудивительно, что эти люди, считавшие себя избранными «хранителями Предания», не могли примириться с тем, что какой-то галилейский Плотник говорит с ними и с народом «как власть имеющий».

Законникам-фарисеям были родственны ессеи, то есть «благочестивые», хотя обе группировки и враждовали между собой.

Ессеи селились в пустыне, в уединенных обителях, разбросанных по берегам Мертвого моря, где вели полумонашеский образ жизни. Они также славились строгим соблюдением обрядов, также считали себя избранной, обособленной элитой и с еще большим презрением взирали на мир, оставляя его «погибать во грехе».

В их глазах свободное отношение Иисуса Христа к традициям и священным церемониями, Его сострадание к отверженным, Его общение с грешниками было, разумеется, опасным вольнодумством. Примечательно, что в Евангелии есть изречения, содержащие скрытую полемику с ессейством.

Это противоборство между Иисусом Назарянином и религиозными вождями евангельской эпохи Отеро Сильва объясняет новым пониманием Бога, которое принесла евангельская проповедь. «Для Иисуса,— говорит в романе старик Иаков,— Яхве просто отец. Очень добрый отец, одинаково любящий своих детей, даже неблагодарных и порочных. Древние верили, что Бог — это безграничная далекая-предалекая сила, живущая где-то там, за звездами, за небесной лазурью, употребляющая свое всемогущество, чтобы карать неверных. Иисус видит в Боге словно бы отца близкого и любвеобильного, который выбирает милосердие, чтобы выразить свое всемогущество. Бога — доброго отца, обитающего где-то среди нас, не могут допустить книжники со своими забитыми наукой головами, но для простого народа это ясная и чистая истина».

В чем-то писатель несколько упрощает дело. И в Ветхом Завете знали Бога как «многомилостивого», и в Ветхом Завете возвещалась Его любовь к людям. Вместе с тем Христос отнюдь не учит, что грех оставляет Бога безучастным, что не существует нравственного миропорядка, в котором зло не влекло бы за собой возмездия. Однако нельзя отрицать и известной правоты Отеро Сильвы. Тайна, выраженная словами «Бог есть любовь», раскрывается в Евангелии с исключительной полнотой, неведомой древним. И это не спекулятивное «богословствование», а *призыв к новой жизни*. Любовь небесного Отца есть образец, идеал; она начертывает человеку путь жизни. Ответная сыновняя любовь человека к Создателю неотделима от любви к себе подобным. На этом, по слову Христа, зиждется все основание Ветхого Завета. *Сам же Христос есть совершенное воплощение любви, но любви подчас подлинно требовательной.* И Закон Божий, и Он сам составляют тот Краеугольный камень, о котором говорил пророк и на котором должна строиться жизнь. Обряд и традиции в проповеди Иисусовой не отрицаются. Он лишь указывает на подлинную иерархию ценностей, где сострадание, доброта, умение прощать, любовь, служение возвышаются над рамками уставов.

Кастовая гордыня и ритуальный формализм законников мешали им понять и принять благовестие Христа. Однако Мигель Отеро Сильва не случайно упомянул о «новых фарисеях». Если бы речь шла просто об идейной борьбе времен императора Тиберия, то многочисленные речи в Евангелии, направленные против фарисеев, имели бы сегодня лишь преходящий, чисто исторический интерес. В действительности же проблема выходит далеко за пределы истории древнего мира. Законническая психология оказалась на редкость живучей. Проникла она и в среду самих христиан.

Это она вдохновляла ярость гонителей и религиозные войны. Проявлялась в безумстве инквизиторов и в слепоте фанатиков старины. Она надевала шоры на человека, оправдывала преследования и убийства людей, которые иначе, чем другие, налагали на себя крестное знамение или не так толковали догматы.

Поистине, вновь и вновь Камень Христов оказывался в отвержении.

А затем следовала неизбежная историческая расплата...

Еще одна оппозиция Евангелию — зелоты. Слово это означает «ревнители». Зелоты мечтали освободиться из-под власти цезаря силой оружия. Для них и Мессия, Христос, был в первую очередь великим Воином.

«Стань нашим вожаком,— говорят в романе зелоты, обращаясь к Иисусу,— и мы снесем горы и стены, чтобы освободить Иерусалим». На что получают ответ: «Я не царь, которого вы жаждете, и не воин, которого вы хотите венчать на царство против его воли. Я всего лишь бедный плотник, посвятивший себя тому труду, какой поручил мне мой небесный Отец, а труд этот освобождение всех угнетаемых».

У Евангелистов такого диалога нет. Но нечто подобное и в самом деле происходило. Ведь зелоты упорно искали себе предводителей или знамени, чтобы «поднять меч».

И опять-таки дело не в исторической ситуации давних времен. И даже не в том, что поколение спустя зелоты толкнули Иудею на войну с Римом, чем и погубили свою страну (что Иисус и предсказывает в романе). Это ведь только прошлое. Отеро Сильва ставит вопрос шире, *вопрос о насилии и мести как достижении благих целей.*

Казалось бы, ему, латиноамериканскому коммунисту, борцу с диктаторскими режимами, на родине которого сформировалось «богословие освобождения», путь зелотов

должен был быть очень близок. И поскольку Отеро Сильва хотел изобразить Христа Краеугольным камнем, перед ним была возможность показать Его главой повстанцев, как сделали К. Каутский, А. Барбюс, А. Робертсон или Дж. Кармайкл. Однако писатель избежал этого соблазна. Умудренный годами, он чувствовал, что все далеко не так просто. Что насилие, как правило, рождает еще более злое насилие. Что дух справедливости созидается не одними внешними действиями, а вынашивается в сердцах людей.

«Меч мой,— говорит в романе Иисус, обращаясь к зелоту Варавве,— это меч правды, а огонь мой — огонь жизни, и никоим образом это не металл и не костер, обращенные в орудия мести. Превыше всего я возношу любовь, и быть ей горнилом, преобразующим человека, и быть ей краеугольным камнем для построения иного мира. Любовь побуждает меня защищать гонимых и бросать вызов деспотам; ради любви к добру я сражаюсь со злом, ибо невозможно любить бедных и не биться за них. Завтра я буду распят, и смерть моя обратится в бурю любви, которая повергнет в прах крепостные стены душегубов, меня распинающих».

Эта грань Краеугольного камня слишком часто игнорировалась строителями мира, даже в христианскую эпоху, хотя после явления Христа они уже не решались откровенно воспевать насилие, как то делали древние завоеватели. Стало принято говорить, что пролитие крови необходимо для блага народа. И Робеспьер отправлял толпы ни в чем не повинных людей на гильотину во имя «свободы, равенства и братства», а Сталин со своими подручными губил их якобы ради достижения «светлого будущего».

Так человечеству приходилось убеждаться, в какую бездну зла ведет отвержение Краеугольного камня.

А саддукеи? Партия, состоявшая из богатой знати и высшего духовенства,— чего хотели они? Только сохранить статус-кво, уберечь свою власть над душами и телами. Все прочее было для них второстепенным.

Проповедь Христа колебала веру в незыблемость существующего порядка. Поэтому они и объединились с Иродом Антипой и Понтием Пилатом. Именно они, саддукеи, судили Иисуса и выдали Его римскому наместнику.

Для режима, для господства «сильных мира сего» не имело значения, что Иисус отказывался от насильственных действий. Они-то хорошо понимали, что *свободный дух и слово опаснее для них, чем любое оружие.* Но власти маскировались под народных радетелей. Кайафа якобы пекся о спасении страны от смуты, а Пилат, этот «великий комедиант», как называет его Отеро Сильва, боясь потерять выгодную должность, демонстративно умыл руки, чтобы снять с себя ответственность за казнь невиновного.

Итак, Камень отвергнут. Многократно. И по разным мотивам.

Теперь стражи традиций и власти, клерикальные и светские, могут спокойно спать, а зелоты могут по ночам ковать свое оружие. Каждый из них продолжает идти своим путем.

Кажется, что в мире ничто не изменилось. Но нет. Конец оказывается началом.

В глухую ночь, когда зло торжествует победу, совершается пасхальная мистерия...

Здесь повествование евангелистов и писателя, идущего за ними вослед, подходит к таинственной черте, где все внезапно преображается. Тот, Кто умер на кресте, идет как Победитель, «смертию смерть поправший». Словно лучи встающего Солнца, которые один за другим озаряют холмы и деревья, вступает в мир радостная весть о Воскресении...

Отеро Сильва пытается угадать, что было в то утро на душе Марии Магдалины, верной ученицы Иисусовой. Вот она стоит на сумрачном Лобном месте. Но скорбь ее растаяла, как предрассветная тьма. «Он воскрес, и она это знает. История Иисуса не может закончиться таким поражением, таким отчаянием, прийти к такому бесплодному, трагедийному финалу. Нужно, чтобы он преодолел смерть, чтобы он победил смерть, как не побеждал ее еще никто и никогда,— иначе будет бесплодной легендой его чудесная жизнь, а семена его учения не дадут ростков и развеются среди скал и забвения. Он возвестил пришествие Царства Божьего, и Царство Божие родится из его смерти, как рождается из ночи дивное разлитие зари. Своим воскресением Иисус Назарянин победит ненависть, нетерпимость, жестокость и самых заклятых врагов любви и милосердия. Вместе с ним воскреснут все те, кого он любил и защищал: униженные, оскорбленные, бедняки, которые никогда не дождутся освобождения, если он не разобьет вдребезги стены, возводимые смертью».

Могли ли подобные мысли тесниться в умах учеников Иисусовых? Возможно. Мы никогда этого не узнаем. Но скорее всего они были слишком подавлены случившимся, чтобы рассуждать. Кроме того, ведь и у Крестителя были приверженцы, и погиб он в расцвете сил. Почему же тогда они не ждали воскресения учителя?

Вспомним о рассеянных по просторам Востока «ступах», памятниках, под которыми мирно покоятся частицы останков Будды. О миллионах последователей Конфуция, Моисея, Магомета. Для них смерть великих мудрецов и пророков — нечто естественное и неизбежное. Люди благоговейно хранят память о героях и святых, возводят саркофаги над их гробницами. Можно даже сказать, что они воскресают, живут в сердцах поколений. То же могло произойти с Иисусом Назарянином. Его бы чтили, как чтят Сократа, Яна Гуса и других мучеников..

Однако совершилось иное, небывалое, единственное в своем роде, чего не знают анналы истории.

Отеро Сильва осторожно и целомудренно, с глубоким тактом говорит о пасхальных явлениях Христа. Он предоставляет читателю свободу судить о них так или иначе. Думать, например, что это было лишь «ма-

териализацией» страстного желания, тоски сломленных горем людей. Но ведь и каждая смерть дорогого существа вызывает подобные чувства. Достаточно ли их, чтобы «свет воссиял из гроба», чтобы горстка отчаявшихся, обезумевших от ужаса рыбаков стала эпицентром мирового взрыва, который изменил русло всей истории?

Знаменательно, что для христиан Пасха — самый великий праздник. Воскресение — подлинная основа Вселенской Церкви. «Если Христос не воскрес — тщетна вера наша»,— говорил апостол Павел. И на протяжении двадцати веков духовный опыт познавших Христа подтверждает это. Здесь не просто доверие к древним свидетельствам и текстам, а тайна встречи с живым Иисусом. Он победил смерть, чтобы незримо остаться с нами, на земле. И Он остался. Как говорит Франсуа Мориак: «Он неустанно проходит через человеческий ад, чтобы достичь до каждого из нас». В этом разгадка несокрушимой силы христианства.

Отеро Сильва пытается по-своему передать это таинство Его присутствия. «Он воскрес,— говорит Мария Магдалина,— и будет жить вечно в музыке воды, в цветении роз, в смехе ребенка, в глубинной жизненной силе людей, в мире между народами, в возмущениях бесправных, да, в возмущениях бесправных и в любви без слез».

Однако, могут спросить, разве Иисус Назарянин живет во всем этом? Не вернее ли сказать, что во всем прекрасном и истинном, что есть в мире, открывает себя та верховная Реальность, которая создала Вселенную и ведет ее к совершенству? И все же писатель не ошибся. В конечном счете слова Магдалины означают, что именно эта божественная Реальность воплотилась в лице сказавшего: «Я и Отец — одно». Для нас, христиан, Он и Брат наш, и Бог наш, открывшийся человеческому роду. Богочеловек. Путь, Истина и Жизнь. Краеугольный камень...

Его земная участь в царстве зла неизбежно вела к Голгофе. Он вызвал сопротивление царства тьмы, которое пыталось убить Его, похоронить и поставить печать на гробе. Но отвергнутый Камень остался «главою угла».

Так происходило и происходит с Его Евангелием, с Его Церковью в истории. Сколько раз всемогущий Кесарь распинал их! Сколько раз Великий Инквизитор силился угасить дух Христов! Их попытки неизменно оборачивались крахом. Ярость волн оказывалась бессильной перед священным Камнем. «Хотя,— читаем мы у Отеро Сильвы,— под хоругвями его убеждений и возгорятся несправедливые войны, и запылают костры для пыток, и будут унижены женщины и порабощены народы и расы, никому не удастся убить его».

Сегодня мы — свидетели пророческой глубины этих слов.

Чего достигли Кесарь и Великий Инквизитор в борьбе с Евангелием? Что дало им обоготворение властителей, науки, прогресса, утопий, обоготворение абстрактного человека? Сегодня мы явственно слышим зловещий гул обвала, шум надвигающейся лавины. Не рушится ли почва под ногами мира, который захотел обойтись без Краеугольного камня? Словно актеры на сцене, сменяются политические мифы, призраки, иллюзии, посулы, а пьеса тем временем идет к трагической развязке. Сумрак сгущается. Растерянность и цинизм, потребительство и бездуховность, обесценивание личности и зверство, шовинизм и преступность выползают из всех щелей, заволакивая арену жизни клубами черного дыма.

И в который раз сквозь его пелену видны, словно маяк надежды, очертания спасительного Камня, который был отвергнут строителями. Камня, который есть Христос.

■

Книги, о которых говорят

Редакция обратилась к известному английскому писателю Фрэнсису Кингу с просьбой рассказать о наиболее значительных, на его взгляд, книгах, недавно опубликованных у него на родине.

ФРЭНСИС КИНГ

В ПОИСКАХ УСКОЛЬЗАЮЩЕЙ ПРАВДЫ

Лет двадцать назад, когда я ездил за границу читать лекции о современном английском романе, я обычно говорил слушателям, что наиболее смелые и увлекательные произведения появляются у нас по большей части в драматургии, нежели в прозе. Сегодня дело обстоит иначе. И вот почему. За прошедшие годы в английскую литературу влились два мощных течения. Одно из них, «фантастический реализм» — детище латиноамериканских прозаиков Хорхе Луиса Борхеса, Габриэля Гарсиа Маркеса и Алехо Карпентьера,— повлиял на творчество таких отличных друг от друга авторов, как Джон Фаулз и Анджела Картер. Другое течение возникло благодаря небольшой группе писателей — выходцев из разных стран и пишущих на английском. Патриархом здесь, несомненно, следует считать 57-летнего индийца В. С. Найпола — он родился в Тринидаде, но вот уже больше тридцати лет живет в Англии. Остальные пятеро — это китаец Тимоти Мо, нигериец Чинуа Ачебе, Анита Десаи из Индии, японец Кадзуо Исигуро и, наконец, индиец из мусульманской семьи Сальман Рушди[1], ставший всемирно известным после вынесения ему аятоллой Хомейни смертного приговора.

В истории с Рушди много парадоксального. Во-первых, едва ли кто-либо из немусульман, читавший «Сатанинские стихи» до того, как аятолла объявил свой приговор, подозревал, какой гнев могут вызвать у приверженцев ислама некоторые эпизоды. Во-вторых, если бы Хомейни не вынес этого приговора писателю, книга не разошлась бы миллионными тиражами (в этом ее можно сравнить с романом Пастернака «Доктор Живаго», который, безусловно, не стал бы так популярен за границей, не возникни международного скандала из-за его запрещения на родине поэта). В-третьих, именно правительство М. Тэтчер, столь часто подвергавшееся злым нападкам со стороны Рушди за консерватизм и авторитарность, теперь защищает его жизнь и его право на свободу слова. Лично я отношусь к спорам вокруг романа примерно так же, как к проблеме Фолклендских островов. Немногим из нас понравилось бы жить на Фолклендах, и немногим могут понравиться «Сатанинские стихи». Однако в обоих случаях дело касалось принципов, и, как это ни грустно, за них пришлось бороться.

Нашумевший роман (автор работал над ним пять лет) скорее может доставить удовольствие специалисту, чем рядовому читателю. Пожалуй, нетрудно пересказать основные события,— то фантасмагорические, то вполне реалистичные,— но гораздо сложнее вникнуть в потаенный художественный замысел писателя.

Мистическое начало напоминает работы латиноамериканских отцов «фантастического реализма». В небе над Ла-Маншем отчаявшиеся воздушные пираты взрывают авиалайнер. Спасаются лишь два пассажира — оба актеры и оба индусы. Безо всяких парашютов они благополучно приземляются и находят приют у немолодой вдовы аргентинского помещика. Вскоре у одного из них, кинозвезды по имени Джабраил Фаришта, над головой появляется нимб, у другого, англофила Саладина Чамчи, специалиста по озвучиванию рекламных роликов, тело покрывается шерстью, ступни превращаются в копыта, а на лбу вырастают рога. Четко обозначается главная тема книги: противостояние Добра и Зла. Однако все не так просто, поскольку даже самые добрые люди могут причинять зло, а злые делать добро.

Повествование о прошлом героев отличается большей реалистичностью, оно окрашено то в сатирические тона, то в мелодраматические. Здесь талант Рушди проявляет

[1] Роман С. Рушди «Стыд» опубликован в «ИЛ» № 8, 9, 1989 г. в сопровождении статьи советского критика М. Салганик. *(Здесь и далее прим. ред.)*

себя во всем блеске. Звезда экрана Фаришта в юности развозил на велосипеде обеды конторским служащим; Чамча обосновался в Англии после разрыва со своим богатым, влиятельным и неразборчивым в средствах отцом. Автор умело сопоставляет артистическую карьеру одного — красавца с дурным запахом изо рта, и другого — малопривлекательного Обладателя Тысячи Голосов, которому предназначено судьбой «вещать» от имени ковров в магазине и бобов в кастрюле. Оба героя по воле романиста — «соединимые противоположности», тени друг друга. Фаришта самонадеянно хочет изменить мир под стать себе, Чамча с рабской покорностью пытается изменить самого себя, чтобы приспособиться к миру; Фаришта — «ангелочек», которому все сходит с рук, Чамча — homme moyen sensuel [1], и ему не прощаются даже мельчайшие промахи.

Познакомив читателя с главными действующими лицами, Рушди переходит к сновидениям Архангела Джабраила. Путешествуя в снах, Джабраил вторгается в жизнь людей, отдаленных от него во времени и пространстве, в результате чего происходит нечто загадочное и необъяснимое: из глухой деревушки страдающая эпилептическими припадками красивая девушка, всегда в ореоле из бабочек, совершает вместе с односельчанами паломничество в Мекку, и океан расступается перед ними; альпинистка, польская еврейка, впоследствии возлюбленная Фаришты, явственно видит на склоне Эвереста призрак погибшего в 1934 году Мориса Уилсона, первого человека, который предпринял попытку совершить одиночное восхождение на знаменитую вершину, и, воодушевленная этим, сама мечтает покорить в одиночку величайший пик мира; в песчаном городе Пророк слышит ужасающее откровение о добре-во-зле и о зле-в-добре (именно эта глава наиболее сильно оскорбила чувства мусульман). Первая и вторая истории довольно занятны, последняя местами утомительна. Как мы узнаем позднее, они — лишь галлюцинации Фаришты, которые сопровождают его в ад параноической шизофрении, откуда ему удается вырываться время от времени с помощью наркотиков.

В романе есть несколько ссылок на «Отелло». Аналогии с этой пьесой, по мнению Чамчи, самой великой в мировой драматургии, подводят читателя к заключительной, на мой взгляд лучшей, части книги. Чамча как бы преображается в Яго. Он строит дьявольские козни против Фаришты-Отелло, тем самым усугубляя его болезнь; ловко используя Тысячу Голосов, заставляет поверить в измену возлюбленной-альпинистки. Подобно Отелло, Фаришта убивает сначала девушку, а потом себя.

Если бы эссе практически не исчезло из английской литературы, Рушди мог бы считаться мастером этого жанра. В манере, свойственной Олдосу Хаксли, он наполнил книгу дерзкими, проницательными и глубоко продуманными суждениями о политике, морали, искусстве, о поведении людей.

Как человек, вместивший в себя две весьма далекие друг от друга культуры — восточную и западную, Сальман Рушди не может не интересоваться различиями между ними. Одни кажутся ему смехотворными, другие вызывают горечь и боль. Из своих наблюдений автор черпал вдохновение для наиболее удавшихся сцен, тех, в частности, где речь идет об иммигрантах, приехавших в Англию с намерением переделать приютившую их страну; о новом поколении, выросшем на чужбине, которое отвергает ценности отцов; о безобразных проявлениях нетерпимости и даже жестокости у полицейских или общества в целом. Писатель не скрывает смешанного чувства отвращения и уважения, когда говорит об англичанах, и в то же время презрения и сострадания по отношению к бывшим соотечественникам. Насмешливый взор и беспощадное перо романиста разят лживый мир кино с его вероломством, мотовством и безвкусицей.

«Сатанинские стихи» чрезвычайно интересны замысловатым сюжетом, оригинальными мыслями и богатством языка. Тем не менее, когда читатель перевернет последнюю страницу, у него может остаться странный привкус разочарования. Роман довольно объемен, и складывается впечатление, что рассказчик либо в какой-то момент просто потерял нить повествования, либо все время пытался вплести ее в им же самим запутанный клубок событий. Угадывается параллель между паранойей Фариштa, чьи галлюцинации рождают невиданные образы, и причудливым воображением самого автора. Однако подобное сопоставление весьма условно. Непонятно к тому же, зачем Рушди понадобилось так много персонажей, больных раком, и омрачающие конец книги тягостные подробности смерти отца Чамчи от этого недуга.

Все это я бы сравнил с работой искусного резчика по дереву, который виртуозно вырезал детали какого-то изделия, но вдруг с удивлением и даже испугом обнаруживает, что они не соединяются в одно целое, а тщательно выполненная инкрустация дает трещины.

Кадзуо Исигуро в романе «На закате дня» ставит перед собой задачи поскромнее и решает их более успешно. Рассказ ведется от лица главного героя — стареющего дворецкого Стивенса. Однажды он замечает: «Говорят, настоящие дворецкие бывают только в Англии. В других странах, как бы их не именовали, они всего лишь слуги. Пожалуй, это верно».

Впрочем, когда вспоминаешь, как надменный и всесильный французский maître d'une maison privée или итальянский maggiordomo с видом нарочито безразличного превосходства кладет в карман банкноту, полученную в качестве чаевых после званого обеда, начинаешь сомневаться в справедливости подобного утверждения. Однако абсолютно верно, что именно в английской литературе дворецким отводится исключительная роль. До известной степени Стивенс — персонаж, списанный не столько с реального дворецкого, жившего под лестницей в каждом солидном английском доме, сколько со своих «коллег» из других книг: скажем, Лейна из «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда, с учтивой невозмутимостью заявляюще-

[1] Здесь: «обыкновенный человек» *(франц.)*.

го своему хозяину Алджернону Монкрифу, что с утра на рынке не было огурцов, «даже за наличные»; «Восхитительного Крайтона» Джеймса Барри; Буяливанта из «Слуги и служанки» Айви Комптон-Бернетт и, конечно, Дживза П. Г. Вудхауса. В чем же состоит писательский замысел? Да в том, что слуга во всех отношениях, кроме образования, материального и социального положения, может считаться равным своему господину, а в чем-то и превосходит его. Он обладает врожденным достоинством, какового нет у его хозяина, и в отличие от своих иностранных собратьев не теряет самообладания в любых щекотливых ситуациях.

Автор «На закате дня», я уже говорил об этом, излагает события устами главного героя. Но под его пером эта привычная, казалось бы, форма повествования наполняется своеобразным содержанием. Словно в кривом зеркале, в рассказе Стивенса искажаются собственные мысли, чувства и значение происходящего, хотя сам он искренне убежден, что все обстоит именно так, как он себе представляет. Однако читатель без труда разгадывает подлинную суть его высказывания. Создать такой образ рассказчика с «преломленным сознанием» нелегко, но Исигуро он удался, и в этом я вижу главную силу романа.

В основе сюжета — путешествие Стивенса по стране в поисках миссис Кентон, бывшей экономки, с которой его связывают воспоминания о долгих годах совместной службы у лорда Дарлингтона. Она вышла замуж (как оказалось, неудачно) и уехала неизвестно куда. Прошло много лет. Лорд Дарлингтон умер, дом куплен богатым американцем. Неожиданно дворецкий получает письмо от миссис Кентон и, одолжив у нового хозяина автомобиль, отправляется в путь с единственной, как ему кажется, целью уговорить ее вернуться на службу. Не надо быть особо проницательным, чтобы понять истинные чувства героя — его влечет любовь.

Такой же самообман вся его в общем-то бессмысленная и пустая жизнь слуги с непреложным для Стивенса законом: «хозяин знает лучше». Находясь рядом с теми, кого он называл «вершителями истории», дворецкий уверился и в собственной причастности к различным событиям общественной жизни. Лишь глубокая депрессия, овладевавшая им в конце каждого из проделанных путей (физически — в поисках миссис Кентон; духовно — в поисках постоянно ускользающей правды), помогает ему осознать горькую истину, которая читателю давно известна: его ощущение своей значимости — полная иллюзия.

Стивенс всегда был безоговорочно предан лорду Дарлингтону, как всякая мелкая сошка, восторженно принимающая деспотический или продажный режим: «Он — свой, и нечего тут рассуждать!» После первой мировой войны Дарлингтон испытывал «благородное» негодование по поводу поражения Германии и вознамерился переиначить судьбу этой страны. Такая великодушная забота позднее привела его к заигрыванию с британским союзом фашистов, к увольнению двух евреев из числа прислуги; а перед началом новой войны он содействовал установлению прямых контактов между королем Эдуардом XIII и Чемберленом, с одной стороны, и Риббентропом и Гитлером — с другой. Хотя действия Дарлингтона становятся все более безрассудными, если не сказать преступными, Стивенс продолжает служить ему верой и правдой. Именно преданность хозяину заставила его в час смерти отца (тоже работавшего в доме лорда) пренебречь сыновьим долгом ради почетных гостей.

Для человека, родившегося в Нагасаки в 1960 году, совсем не легко достоверно описать английского дворецкого середины 50-х годов, и вполне простительно, если автор кое в чем погрешил. Однако незначительные промахи не уменьшают очарования книги. Сегодня это редкость в английской литературе по сравнению с произведениями, созданными сто или даже пятьдесят лет назад.

Кроме изящества стиля я отметил бы свойственный писателю тонкий юмор, а в изображении человека, подчинившего всего себя чувству долга,— горестный пафос. Трагедия Стивенса в том, что он не научился «дурачиться» (так он называет способность расслабиться и повеселиться) и лишь к концу своих дней осознал, что «шутка — это ключ к сердечности». Сам Исигуро шутить умеет, поэтому его роман излучает тепло и доброту.

Если задуматься, идея присуждать премию типа «Букер» за «лучший» роман года сама по себе глупа. Что значит «лучший» роман? Тот, что производит ошеломляющее впечатление по выходе в свет, как, скажем, «Хижина дяди Тома»? Или тот, что подобен «Улиссу» Джеймса Джойса, получившему наибольшее признание через 20 лет после первой публикации? А может, тот, которым из века в век наслаждается каждое новое поколение читателей, как «Гордостью и предубеждением» Джейн Остин? Однако еще более нелепо давать премию типа «Уитбред» за «лучшую» книгу года. Как можно сравнивать роман, первый роман, биографию, сборник стихов и книгу для детей? Попробуйте-ка определить, что лучше: баллада, поп-песня, опера, симфония или струнный квартет?

В марте 1989 года премия Уитбред была присуждена первому роману (а точнее, первой повести) Пола Сейера «Благо сумасшествия» — небольшому по объему, мрачному по содержанию и замечательному по исполнению. Автор книги работает санитаром в большой психиатрической клинике на севере Англии. Но мир, в котором живут душевнобольные люди и те, кто пытается их излечить, показан через восприятие пациента, а не медика.

Рассказчик Питер в состоянии кататонии прикован к постели, он нем, страдает недержанием мочи и не может открыть рта, чтобы принять пищу (или не хочет этого делать, что, впрочем, никому, включая его самого, неизвестно). После долгого заточения в больнице его неожиданно переводят в реабилитационный центр, где к лечению приступают психотерапевты Анна и Джон, казалось бы, люди сострадательные, но в душе безразличные и честолюбивые. Все шире

используя нетрадиционные и даже жестокие методы, они пытаются сломать в Питере то, что принимают за активное нежелание выздороветь.

Между тем под хрупкой скорлупой высохшего тела скрывается недремлющий разум, который все слышит, все подмечает и все понимает. Такое проявление исключительно здравого смысла со стороны Питера, наблюдающего за собственной болезнью и страданиями товарищей по несчастью, на мой взгляд,— единственный недостаток книги. В конце концов, психически больные люди живут в особом, отгороженном от всех прочих мире, а герой Пола Сейера — с его полной неподвижностью и поразительной ясностью ума, существующей как бы отдельно от телесной оболочки,— почти такой же, как те, кого ежедневно можно встретить на улице.

Сейер блестяще передает состояние постоянного раздражения у врачей и сестер, работающих в психиатрической клинике: они-то уверены, что в каждом больном заключен нормальный человек, который стремится вырваться наружу, и подозревают, что сумасшествие — всего лишь удобная защитная маска. Автор показывает их безудержную жизнерадостность, а рядом больничные ужасы: окровавленный человек, пытавшийся покончить с собой; несчастные, одержимые неподвластными им страстями, преследуемые кошмарами; палаты, пропахшие испражнениями; сравнимые разве что со средневековыми пытками медицинские опыты, терзающие бедного Питера. Читать первую часть книги тяжело, вторую — просто жутко. Под воздействием «лечения» Питер возвращается в свое безрадостное детство, с которого отчасти начался путь в безумие. Он вспоминает психически неуравновешенную мать, обреченную погибнуть от руки маньяка-отца, человека неуправляемого, то равнодушного, то безжалостного, слабоумную сестру. С такой наследственностью (Питер сам это чувствует, как чувствует и читатель) предопределенность его болезни очевидна.

Роман Пола Сейера, где мрачная поэзия соседствует с еще более мрачным юмором, вводит читателя в реальный мир душевной болезни и ее лечения, который предстает так же зримо, как реальный мир преступления и наказания у Кафки (рассказ «В исправительной колонии»). Если начать раздавать премии за «лучшие» книги, автор «Блага сумасшествия» — идеальный кандидат в победители. Он не из тех, кто знаменит и получает высокие гонорары, ему пришлось доказывать, что он — действительно яркая индивидуальность. Как и большинству начинающих английских писателей, Сейеру необходимо признание, поддержка и деньги, но в отличие от многих других всего этого он заслуживает.

Романы, о которых я рассказал — один, написанный индийцем, другой японцем, а третий англичанином,— и опубликованные совсем недавно, убеждают меня, что затяжной период спада в развитии английского романа послевоенных лет заканчивается, наступает быстрое пробуждение. Ни одна из названных книг не безупречна, взятые же вместе, они свидетельствуют о наличии интеллектуальных и творческих сил в литературе.

г. Лондон.

Перевод с английского Г. МАСЛЕННИКОВОЙ

■

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Роман ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Печальный детектив». Издательство «Народна култура».
Рассказы и сказки ВИТАЛИЯ БИАНКИ. Издательство «Отечество».
Роман ОЛЕСЯ ГОНЧАРА «Собор». Издательство «Народна култура».
Роман И. ГРЕКОВОЙ «Пороги». «Профиздат».
Роман ДАНИИЛА КРАМИНОВА «Сумерки в полдень». Издательство «Христо Г. Данов».
Сборник статей ЮРИЯ НАГИБИНА «Не чужое ремесло». Издательство «Народна култура».
Стихотворения БУЛАТА ОКУДЖАВЫ. Издательство «Христо Г. Данов».
Роман ВАСИЛИЯ ШУКШИНА «Любавины». Издательство «Народна култура».

ВЕНГРИЯ

Повесть МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Собачье сердце». Издательство «Европа».
Повесть ДАНИИЛА ГРАНИНА «Зубр». Издательство «Магветё».
Сказка ВИТАУТЕ ЖИЛИНСКАЙТЕ «Робот и бабочка». Издательство «Мора».
Книга КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО «Золотая роза». Издательство «Европа».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Магветё».
Пьеса МИХАИЛА ШАТРОВА «Дальше... дальше... дальше!». Издательство «Европа».

ГДР

Повести ФЕДОРА АБРАМОВА «Пелагея» и «Алька». Издательство «Ферлаг дер национ».
Роман ЛИЛИИ БЕЛЯЕВОЙ «Несыгранная роль». Издательство «Ауфбау».
Научно-фантастические рассказы ДМИТРИЯ БИЛЕНКИНА. Издательство «Фольк унд вельт».
«Сказки об Италии» МАКСИМА ГОРЬКОГО. Издательство «Ауфбау».
Фантастическая повесть ЮРИЯ КОРИНЦА «Заблудившийся робот». Издательство «Киндербухферлаг».
Повесть ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Голоса». Издательство «Ауфбау».
«Сказка о глупом мышонке» САМУИЛА МАРШАКА. Издательство «Киндербухферлаг».
Книга НАТАЛИИ САЦ «Новеллы моей жизни». Издательство «Хеншель».
Повесть ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА «Чистые воды Китежа». Издательство «Фольк унд вельт».
Рассказы ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ «Зигзаг». Издательство «Нойес лебен».
Рассказы ЮЛО ТУУЛИКА. Издательство «Фольк унд вельт».
Сказка КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО «Телефон». Издательство «Юнге вельт».
Роман ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА «Падение Парижа». Издательство «Фольк унд вельт».

ИСПАНИЯ

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Плаха». Издательство «Планета».
Роман ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Печальный детектив». То же издательство.
Повесть АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА «Солнечное затмение». Издательство «Эдисионес С. М.».
«Амурские сказки» ДМИТРИЯ НАГИШКИНА. Издательство «Анайа».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Планета».

ИТАЛИЯ

Книга СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА «Поэтика ранневизантийской литературы». Издательство «Мулино».
Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Плаха». Издательство «Мурсиа».
Книга МИХАИЛА БАХТИНА «Эстетика словесного творчества». Издательство «Эйнауди».
Роман АНДРЕЯ БИТОВА «Пушкинский дом». Издательство «Серра э рива «эдитори».
Повести ЮРИЯ НАГИБИНА «Встань и иди». Издательство «Ликена».

НОРВЕГИЯ

Повесть ВИВИ ЛУИК. Издательство «Норске самлагет».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Гюльдендаль».

ПОЛЬША

Повесть КИРА БУЛЫЧЕВА «Девочка из будущего». Издательство «Наша ксенгарня».
Роман НОДАРА ДУМБАДЗЕ «Закон вечности». Издательство «Чительник».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Искры».
Роман ВИТАЛИЯ СЕМИНА «Плотина». Издательство «Чительник».
Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ. «Перевернутый мир». Издательство «Искры».
Роман МАТИ УНТА «Осенний бал». Издательство «Выдавництво литерацке».

ФРАНЦИЯ

Роман АЛЕКСАНДРА БЕКА «Новое назначение». Издательство «Мессидор».
Роман АНАТОЛИЯ ПРИСТАВКИНА «Ночевала тучка золотая». Издательство «Лаффон».
Сборник рассказов ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ. То же издательство.

ФРГ

Повесть НАТАЛИИ БАРАНСКОЙ «Неделя как неделя». Издательство «Лухтерханд».

«Сказки об Италии» МАКСИМА ГОРЬКОГО. Издательство «Фишер».
Повесть ДАНИИЛА ГРАНИНА «Зубр». Издательство «Паль Ругенштайн».
Роман ИЛЬИ ИЛЬФА и ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА «Золотой теленок». Издательство «Фишер».
Рассказы ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ «Зигзаг». Издательство «Паль Ругенштайн».
Документальная книга ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Отблеск костра». Издательство «Лухтерханд».
Роман МИХАИЛА ШОЛОХОВА «Поднятая целина». Издательство «Паль Ругенштайн».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Роман АНАТОЛИЯ АНАНЬЕВА «Танки идут ромбом». Издательство «Наше войско».
Роман-сказка АНАТОЛИЯ КИМА «Белка». Издательство «Словенски списователь».
Повесть ЮЛИЯ КРЕЛИНА «Заявление». Издательство «Лидове накладателстви».
Рассказ ЮРИЯ НАГИБИНА «Терпение». Издательство «Одеон».
Повесть «Пожар» и рассказ «Век живи — век люби» ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА. Издательство «Лидове накладателстви».
Повесть КОНСТАНТИНА СИМОНОВА «Софья Леонидовна». Издательство «Словенски списователь».
Повесть ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА «Чистые воды Китежа». Издательство «Лидове накладателстви».
Роман ИЛЬИ ШТЕМЛЕРА «Универмаг». Издательство «Одеон».

ШВЕЙЦАРИЯ

Ранние стихи ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА. Издательство «Амман».
Повесть ЮРИЯ ТЫНЯНОВА «Подпоручик Киже». Издательство «Диогенес».

ШВЕЦИЯ

Роман ТИМУРА ПУЛАТОВА «Жизнеописание строптивого бухарца». Издательство «Норстедск фёрлаг».
Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Живи и помни». Издательство «Вальстрем».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Бромбергс».

ЮГОСЛАВИЯ

Сборник стихотворений ВЯЧЕСЛАВА КУПРИЯНОВА «Извещение об ангеле». Издательство «КОВ».
Роман БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Путешествие дилетантов». Издательство «Обзориа».
Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Время и место». Издательство «Светлост».

■

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

В саду единорога

«Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая, маленькая жизнь»,— произносит Просперо из шекспировской «Бури», и подобное отношение к жизни как таинственной и скрытой реальности во многом близко художнику Фрицу Хёрауфу. Он подразумевает и ощущает жизнь как нечто, что проясняется, проступает словно из тумана, сна, постепенно обретая форму картины, стиха, скульптуры, строения...

Фриц Хёрауф (род. в 1949 г.) — художник необычной для нас традиции. С непривычным складом личности, устремленной к особому поиску важнейших загадок и вопросов бытия, искусства и творчества. Для определения его манеры трудно найти отчетливые характеристики; нежное, тонкое, изысканное существо его картин ускользает от жестких понятий: романтизм, сюрреализм, модернизм...

В 1968 году Ф. Хёрауф поступил в Мюнхенскую академию изобразительных искусств, одновременно посещая университет. Через три года после начала учебы впервые принял участие в художественной выставке, а уже в 1974 году состоялась его первая персональная выставка — в Мюнхене, в галерее Дельфе.

С тех пор внимание западногерманской публики к творчеству Ф. Хёрауфа растет. Выставки его проходят также в Австрии, Франции... Критики много и охотно пишут о его работах. Так, Мюллер-Мелис отмечает соединение фантастики, сказочности и мистичности в творчестве Ф. Хёрауфа. Он же приводит размышления художника о ключевом образе его картин — единороге: «Где есть единорог, там есть торжество натуры, торжество облитых светом лиственных лесов, тонких березовых рощ, пустынных лугов. С ветки на ветку, с листка на листок натянуты стеклянные нити паучьей пряжи, которые, когда их тронет рука эльфа или дуновение ветра, вибрируют и передают дальше это дрожание самых заветных уголков в саду единорога. Рождается ясный, серебряно-стеклянный тон: звук арфы, звон маленьких колокольчиков — ясно-голубое звучание, постепенно нарастающий, пульсирующий зеленый гул, который находит в глубинах листьев бесконечное эхо. Враг единорога — какофония...»

В этой картине всеобщей связанности, уравновешенности, гармонии, которая встает перед нами,— своеобразная эстетическая программа художника. И его главная задача, как не устает повторять Фриц Хёрауф, вовсе не удаление от реальности жизни или тем более «побег от действительности»; если зритель, остановившись перед причудливой, сложной, таинственной картиной, почувствует какой-то импульс, сигнал, нечто, неизъяснимое словами, тогда, по мысли художника, работа его души и кисти достигла цели.

ЛАРИСА ШУЛЬМАН

Авторы этого номера

ВИКТОР ПАСКОВ (род. в 1949 г. в Софии) — болгарский писатель. Окончил консерваторию в Лейпциге. Автор сборника новелл «Наивные убийства» («Невръстни убийства», 1986). Повесть «Баллада о Георге Хениге», вторая книга писателя, вышла в Софии в 1987 г. («Балада за Георг Хених». София, Български писател, 1987) и была отмечена премией Союза болгарских писателей.

РОБЕР САБАТЬЕ (ROBERT SABATIER; род. в 1923 г.) — французский поэт, прозаик, эссеист. Член Академии Гонкуров и Академии Малларме. Участник Сопротивления. Автор многочисленных романов, в том числе автобиографического цикла, из которого на русский язык переведен роман «Шведские спички» (М., 1975), многих сборников стихов, среди которых «Празднества солнца» («Les Fêtes solaires», 1951), «Посвящение корабля» («Dédicace d'un navire», 1959), «Сладостные яды» («Les Poisons délectables», 1965), «Миллионнолетние замки» («Les Châteaux de millions d'années», 1969), «Икар и другие стихотворения» («Icare et autres poèmes», 1976), «Чтения» («Lectures», 1987).
Робер Сабатье является также автором десятитомной Истории французской поэзии, фундаментального труда, исследующего развитие франкоязычной поэзии в течение десяти веков, от средневековья до наших дней.
Публикуемые стихи взяты из сборника «Птица из завтра» («L'oiseau de demain». Paris, Editions Albin Michel, 1981).

ГЕОРГ ТРАКЛЬ, GEORG TRAKL, 1887—1914) — австрийский поэт. При жизни была издана лишь одна его книга — «Стихотворения» («Gedichte», 1913), вторая, «Себастьян во сне» («Sebastian im Traum»), вышла в 1915 году. На русском языке первые переводы вышли в 1923 году; за публикацию подборки стихотворений Тракля в русском переводе в антологии «Золотое сечение» (М., «Радуга», 1988) группа советских переводчиков (С. Аверинцев, В. Вебер, В. Куприянов, В. Топоров и посмертно К. Богатырев) удостоена австрийской премии имени Тракля.

ЗОТОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ (род. в 1957 г.) — советский китаевед, кандидат экономических наук. Автор ряда статей по проблемам современной китайской экономики, публиковавшихся в научных изданиях и в периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ (род. в 1929 г.) — советский лингвист, литературовед, переводчик, доктор филологических наук, лауреат Ленинской премии. Автор работ о русских поэтах XX века (Блоке, Хлебникове, Ахматовой, Цветаевой), книг «Очерки по истории семиотики в СССР» (М., 1976), «Индоевропейский язык и индоевропейцы» (в соавторстве с Т. В. Гамкрелидзе, М., 1984) и др.

МЕНЬ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1935 г.) — кандидат богословия, получил высшее светское и богословское образование, окончил духовную академию. Печатается с 1959 года. Автор книг и статей, главным образом по истории религии, выходивших в Советском Союзе и за рубежом.

ФРЭНСИС КИНГ (FRANCIS KING; род. в 1923 г.) — английский писатель — романист, поэт, новеллист, критик. Окончил Оксфордский университет. Автор многих романов, в том числе «Поток отчуждения» («The Dividing Stream», 1951; премия имени Сомерсета Моэма), «Человек на скале» («The Man on the Rock», 1957), «Домашнее животное» («A Domestic Animal», 1970), сборников рассказов «Японский зонтик» («The Japanese Umbrella», 1964), «Косвен-

ным методом» («Indirect Method and Other Stories», 1981). В русском переводе вышел сборник рассказов Ф. Кинга «Дом» (Библиотека журнала «Иностранная литература», 1985).

Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

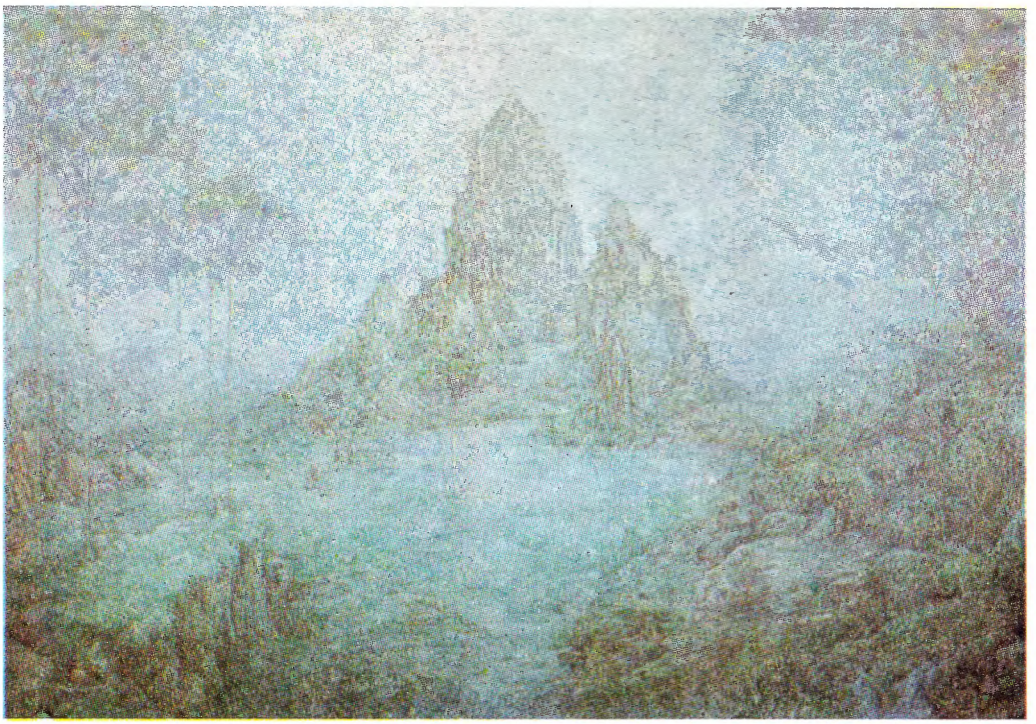
Переводчики

ТАРАСОВА МАЯ ВИКТОРОВНА — советский переводчик с болгарского. В ее переводе опубликованы повести П. Вежинова «Барьер» («Иностранная литература», 1978, № 1), Б. Райнова «Черные лебеди» («ИЛ», 1979, № 9), романы И. Давидкова «Прощай, Акрополь!», А. Карасимеонова «Двойная игра», «Дикие рассказы» Н. Хайтова и др. произведения болгарских писателей.

АНАНИАШВИЛИ ЭЛИСБАР ГЕОРГИЕВИЧ (род. в 1912 г.) — советский переводчик. В его переводе публиковались стихи американских, французских, итальянских поэтов, в том числе К. Сэндберга, Э. Мастерса, Ж. Одиберти, И. Бруссара и др. Переводит также грузинскую поэзию и прозу. Лауреат литературной премии имени Мачабели.

АВЕРИНЦЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1937 г.) — советский литературовед, член-корреспондент АН СССР, переводчик. Автор работ по истории позднеантичной и средневековой литературы, по западной философии культуры XX в. (К. Г Юнг, О. Шпенглер, К. Ясперс и др.). Ему принадлежат стихотворные и прозаические переводы «Книги Иова», Платона, Каллимаха, Плутарха, писателей средневековья, немецкоязычных авторов XIX—XX вв. (Гёльдерлина, Тракля, Гессе) и др. работы.

■



Долина пастухов (вариант).

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130—6545 Иностранная литература № 11, 1989, 1—256